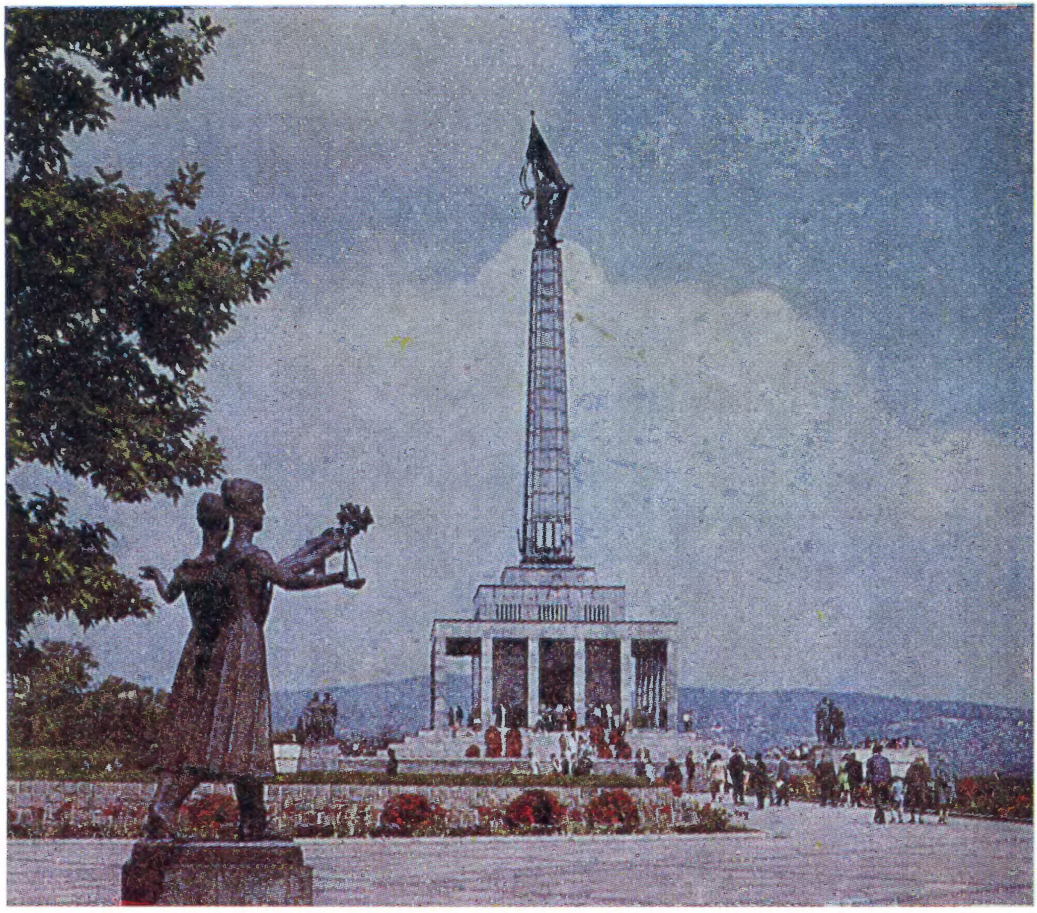
ISSN 0130 – 6545

5. 1985

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



МАГРИФ. Памятник Освобождению в городе Пече. (Венгрия)

40-летие ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ

Шла великая война...

Из писем и телеграмм военного времени

На все 100 процентов солидаризируюсь с Советским Союзом в его военном отпоре фашистской агрессии. Народ Советского Союза своей борьбой защищает все народы, сопротивляющиеся фашистскому порабощению. Горячо приветствую Советский Союз и его героическое сопротивление.

27 июня 1941 г. **ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ**

Россия, Советский Союз — это та единственная страна, тот единственный народ, который наконец установил справедливую и общественно-прогрессивную форму правления...

Я считаю нападение Гитлера величайшим злодеянием — в полном смысле этого слова — против великой державы. Это хладнокровная и преступная попытка уничтожить свободу человечества и — что еще важнее — духовную и социальную справедливость в семье народов, справедливость, коей, кроме как в СССР, не только не достигал, но о которой не помышлял ни один народ, ни одна раса никогда и нигде.

Эти преступления надо пресечь, а их инициатора и исполнителя, победив, всенародно казнить за его злодеяния... Мы видим, как Англия ради самосохранения идет на помощь России. Что же касается Америки, то я вместе с миллионами других американцев буду призывать наше правительство не только к самозащите путем всемерной помощи России теперь же, но и к лучшему пониманию этой великой демократии, которая делает сейчас для своего многомиллионного народа больше, чем когда-либо за время своего существования сделала Америка для своего народа.

Июль 1941 г. **ТЕОДОР ДРАЙЗЕР**

Из телеграммы Союзу советских писателей

В эти трагические ужасные часы историю делают народы Советского Союза.

Ноябрь 1941 г. **ЭПТОН СИНКЛЕР**

Приветствие советскому народу

Нацистское движение было с самого начала чудовищным восстанием варварства против разума. Оно началось убийствами интеллигенции и сожжением книг. Армия варваров, естественно, продолжает свое дело в Советском Союзе в духе тех, кто ее послал. Они уничтожают все памятники великой русской культуры, которые встречаются на их пути. Эти глупцы наивно полагают, что могут убить самый дух, если разрушат дом. Они не понимают, что дух книги продолжает жить и тогда, когда уничтожают бумагу этой книги и дом ее творца. Они не понимают, что звуки музыки продолжают жить и тогда, когда уничтожена рукопись музыкального произведения и разрушен дом композитора. Развалины, которые они оставляют за собой, не позорят великих мертвых. Они остаются только памятниками позора самих разрушителей.

Февраль 1942 г. **ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР**

Заявление в связи с разрушением Ясной Поляны

...Шесть или восемь миллионов человек сражаются там, на огромном русском фронте. Это величайший фронт борьбы, который когда-либо видел мир. Мы здесь, в Америке, знаем, что, если тот фронт падет, русских должны будут заменить наши сыновья, наши братья и друзья, наша собственная плоть и кровь. К армии, которую мы создаем уже сейчас, придется прибавить еще шесть миллионов американцев. Только подумать, что это значило бы для Америки! Эти люди умирают за нас. Это такая простая правда, что больно говорить о ней. Чем заслужили мы такие жертвы? Стыдно вспомнить всю ложь о России, которой снабжала нас наша пресса.

12 июня 1942 г. **ТОМАС МАНН**

Из заявления в связи с годовщиной начала войны

С огромным уважением и восхищением посылаю свои искренние поздравления по случаю 25-летней годовщины Красной Армии и Флота, которые столь успешно защищают изумительные достижения советской культуры и промышленности и которые отодвинули смертельную угрозу будущему развитию человеческого прогресса.

6 февраля 1943 г. **АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН**

Приветствие Красной Армии

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

5 май 1985

Содержание

Шла великая война...

Из писем и телеграмм военного времени: Эрнест Хемингуэй, Теодор Драйзер, Эптон Синклер, Лион Фейхтвангер, Томас Манн, Альберт Эйнштейн 2

ИВАН СКАЛА — Стихи *(Перевод с чешского Юрия Кузнецова)* 6

БОГДАН ЧЕШКО — Рассказы *(Перевод с польского Г. Аксеновой, С. Попковой, М. Зубкова)* 11

МЛАДЕН ОЛЯЧА, БРАНКО ЧОПИЧ — Рассказы *(Перевод с сербскохорватского Александра Романенко)* 26

ЮРИЙ БРЕЗАН — Каменотес и граф *(Рассказ. Перевод с немецкого Н. Литвинец)* 37

ХАНС ВАН ОЙЕН — Цветы на могиле *(Рассказ. Перевод с немецкого М. Федорова)* 40

АЛЬБЕРТ МАЛЬЦ — Однажды в январе *(Повесть. Перевод с английского С. Митиной)* 44

ЛАЙЛА и ТУР ТУРСЕН — Через границу с Россией *(Фрагменты романа Перевод с норвежского Т. Доброницкой. Вступление Генриха Анохина)* 135

ЯННИС РИЦОС — Хозяйка виноградников *(Главы из поэмы. Перевод с новогреческого Виктора Лунина. Вступление Виктора Соколюка. Послесловие Александра Межирова)* 151

Критика

ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ — Литература исторического оптимизма 159
ИРИНА МЛЕЧИНА — От Джеймса Бонда до Джорджа Смайли 166

Наш друг Фаиз Ахмад Фаиз

Вступление Олжаса Сулейменова. Стихи последних лет *(Перевод с урду Натэллы Горской).* Круги бытия художника *(Публикацию подготовила М. Салганик)* 174

Культура и современность

В. ИВАНОВ — Не стоять в стороне... ✦ Т. Р. —«...Войны каждую субботу-воскресенье» 179

Публицистика

Память...

В строке документальной записи

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ — Девятое мая *(Перевод с английского М. Загота).* МИХАЙЛО БЛЕЧИЧ — Последнее эхо. ВЛАДА ЗЕЧЕВИЧ — Рассветает свобода *(Перевод с сербскохорватского Александра Данилова).* БИДДИ ЯНГДЕЙ — Берлин, 1944, 1945... *(Перевод с английского Т. Жуковой).* БРЮС МАЙЛЗ — «Ночные ведьмы» *(Монтаж по книге. Перевод с английского И. Истратовой).* КАРЕЛ БОРСКИЙ — С автоматом и фотокамерой... *(Главы из книги. Перевод с чешского Наталии Васильевой).* ДЖЕЙ ХИГГИНБОТЭМ — Дорога жизни *(Перевод с английского В. И.)* 184

СТАДС ТЕРКЕЛ —«Хорошая война» *(Устная история второй мировой войны. Фрагменты книги. Перевод с английского С. Литвиновой)* 213

Слово, бьющее в цель

Страницы немецкой антифашистской сатиры

ЭРИХ ВАЙНЕРТ, БЕРТОЛЬТ БРЕХТ, ЛУИ ФЮРНБЕРГ, ФРАНЦ КАРЛ ВАЙСКОПФ, ВАЛЬТЕР МЕРИНГ, ГЮНТЕР ВАЙЗЕНБОРН, ПЕТЕР БРАТТ, ФРИДРИХ ВОЛЬФ *(Вступление Т. Михайловой. Перевод И. Больчева, Вальдемара Вебера, Павла Френкеля, Е. Кащеевой, А. Солянова)* 228

Наши интервью

Г. СУСЛОВА — Георгиос Вакиртзис — мастер-солдат 236

Среди книг

Издано в СССР

А. БОЧАРОВ — Бессмертие смертных *(Я жил в суровый век. Писатели Западной Европы о годах антифашистского Сопротивления)* ✦ В. СТЕЖЕНСКИЙ — Непреодоленное прошлое *(Бернт Энгельман. Спустившаяся петля)* ✦ С. ЧУГРОВ — Что скрыто под листьями? *(Сэйити Моримура. Контейнеры смерти. Кухня дьявола)* 239

Издано за рубежом

И. ВОЛЕВИЧ — «Это Ленинград...» *(Клара Хасарт, Даниэл ван Рейсел. Фламандские поэты о Ленинграде)* ✦ Н. НИКОЛАЕВА — Равнодушие преступно *(Иветт З'Граген. Годы умолчания)* ✦ ОЛЕГ МАЛЕВИЧ — Пятое время года *(Зденек Вольный. Пятое время года)* 245

Наши гости

Д-р Хиссам аль-Хатыб (Сирия) 248

Из месяца в месяц

249

На 1-й странице обложки — Памятник воинам Советской Армии в Братиславе. Авторы — Я. КУЛИХ, И. КОСТКА, Р. ПРИБЕШ...

На 4-й странице — Т. ТРЕПКОВСКИЙ (Польша). «Нет!»

© «Иностранная литература», 1985

ИВАН СКАЛА

Перевод с чешского ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА

Дети-сироты

От мертвых и живых вдали
легко ли по миру скитаться!
Укроет мертвых холм земли,
но детям некуда податься.

Саднила голые ступни
земля дорожными камнями,
когда сквозь снег и зной одни
брели они под небесами.

© Ivan Skála, 1985.

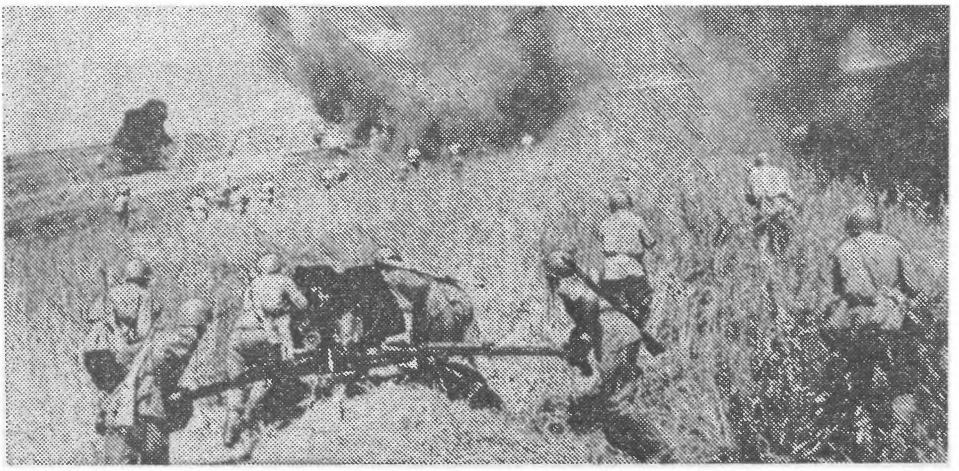
ИВАН СКАЛА — IVAN SKÁLA (род. в 1922 г.)

Чешский поэт. Дважды лауреат Государственной премии имени Клемента Готвальда, народный писатель. Автор многих сборников стихов и поэм. На русском языке вышел сборник «Утренний поезд надежды», стихи И. Скалы широко печатались в периодике, в том числе в «Иностранной литературе» (1968, № 11; 1971, № 4; 1979, № 9; 1982, № 9). Публикуемые стихи и фотографии взяты из журнала «Литерарни месичник» («Literarni měsičnik», 1985, № 1).

К своим, к своим, к своим брели —
как заклинанье, фраза эта.
Вот так стремятся журавли
к теплу за море после лета.

Простые люди в эти дни
их обнимали и жалели.
Вкушали мирный сон они
в объятиях, как в цитадели.

Чтобы прийти опять домой,
в поля, изрытые войною,
и миру возвратить покой,
и заслонить его собою.



И снова был июнь

Был июнь, хлеб звенел на корню,
как тогда, в сорок первом проклятом.
Шли в колосьях по грудь, и июнь
вашу кровь озарял своим златом.

Был июнь, вы к черте горизонта
из лощины бежали, как свет,
и тяжелая линия фронта
продвигалась за вами вослед.

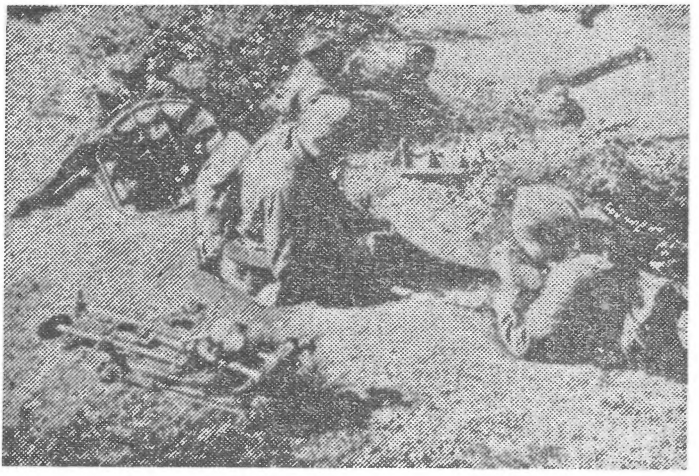
Сколько взяли вы с бою высоток
и вершин покорили огнем,
час расплаты короток
был с жестоким врагом.

Кто пришел к вам с мечом и огнем,
тот сегодня влачит за собою
конский хвост вместе с черным крестом
и смертельною брызжет слюною.

Вы не дрогнули в ратном бою,
устояли в печали,
вы любимую землю свою
подпирали плечами.

Как цыган понимает коня
за версту — мы войну узнавали
по глубоким воронкам огня
и по мускулам спекшейся стали.

Все навеки остались: живой
и безвременно павший —
на страницах эпохи большой
и на памяти нашей.



Горящая спичка

Одно мгновенье между вспышек —
и вот прозрачный огонек
таким глубоким миром дышит,
как будто смерть он превозмог,

или повеяла прохлада,
или вздохнула тишина
среди черешневого сада —
война ли, где она, война?

Меж двух времен одно мгновенье,
меж двух безвремений скорей
былое озарит виденье
в тумане памяти твоей.

Эх, закурить бы козью ножку,
родных и близких повидать
и затянуться под гармошку!
И вспоминать, и вспоминать.

На спичке пламя шевелится,
как будто виден дальний край,
дымок над крышею курится,
и на огне вскипает чай.

И словно землю охватила
волна глубокой тишины,
горящей спичкой осветила
и смыла бедствия войны.

Жажда

Со свистом из дымящихся кустов
испуганные ласточки взлетали.
Над сельской крышей проносился рев
моторов, выстрелов, дрожащей стали.

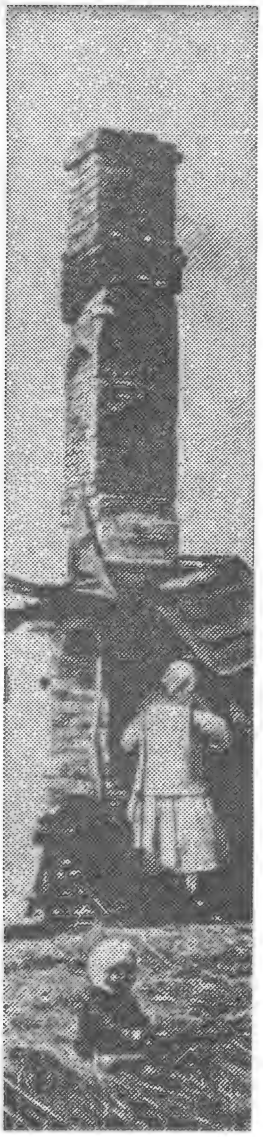
Всего осталось несколько дворов,
над пепелищем тучи громовые,
да маки, проливающие кровь,
да небеса иссиня-меловые.

Все отражала глубина
колодца, как всевидящее око.
Все это, как земные письмена,
запомни ты подробно и глубоко.

Была вода темна и глубока,
как душу леденящие глубины,
но острый холод каждого глотка
таил в себе горчайшие картины.

Когда, склонясь к ведру, ты жадно пьешь
тернистый ужас стылыми губами,
колотит воду огненная дрожь
и черный дым в воде стоит столбами.

Пускай из пепла встанут города,
ты эту воду вспомнишь не однажды,
но никогда, ты слышишь, никогда
не утолить тебе великой жажды.



Снова дома

Сидит он на соломе,
соломинкой играя,
как дудочкой простой,
что скоро протрубит отбой любой войне,
чтобы не гибли люди и города в огне
и не седели дети,
от страха замирая.

Хотя огонь кругом,
жива земля родная.
Храни ее, храни,
чтоб над родным гнездом
стальной не грянул гром,
чужим штыком сверкая.

Чудовище войны уже на запад тащат
вояки, что еще вчера рвались к Москве.
Подметки их сапог уже устремлены
в Империю, назад,
за их спиной пожарище войны,
и чад, и смрад.

Хотя огонь кругом,
возмездие, однако, совершилось,
«катюши», самоходки, как судьба,
гремят уже далече,
осталась только черная труба
от хлебной печи.

Мучная горстка, перемешанная с пылью,
пережила, как страшный сон,
годину эту роковую.
И выше Триумфальных врат,
и арок, и колонн
свободный день
буханку поднимает золотую.
Ты помни: где есть хлеб и есть клочок земли,
вместивший след ноги заступницы твоей,—
там родина, семья и круг твоих друзей.

■

КУЗНЕЦОВ ЮРИЙ ПОЛИКАРПОВИЧ (род. в 1941 г.)

Советский поэт. Автор семи сборников стихотворений, в том числе «Край света — за первым углом» (1976), «Отпущу свою душу на волю» (1981), «Русский узел» (1983). Переводил стихи чешских, словацких, венгерских, югославских поэтов.

БОГДАН ЧЕШКО

Рассказы

■

С польского

Солдат-хозяин

Распахнутый черно-белый пейзаж сопровождал нас повседневно. То моросило, то шел снег, дули тугие и пронизывающие ветры. Батальон шагал по прифронтовой полосе навстречу своей судьбе. На склоне дня солдаты проходили мимо мертвого металлолома войны, раздувшихся трупов животных, пустых домов. На улицах городишек шелестели под шагами батальона разбросанные деловые бумаги, уже ничего не значащие, пестревшие зазористой готикой и скрепленные печатью со свастикой.

А когда солнце снова опережало батальон, неустанно гнавшийся за ним, и заходило далеко впереди, все вокруг делалось более сносным. Опускалась милостивая ночь. По ночам болели уже только ноги, стертые в походах. Отдыха нет на войне.

На пасху завалились мы в деревушку, приютившуюся среди лесов, холмов и озер. Место было даже чересчур красивым. Деревушка была покинута обитателями. Мы прибрали в доме, соорудили нары и пирамиды для оружия, после занятий пекли картофельные оладьи, ребята называли их «блинами». Разговоры не клеились, во взводе не было ни одного краснобая. Все падали от усталости. Вечерами мы сидели вокруг коптилки и выковыривали песок из автоматов. Руки были тяжелыми, словно после жатвы, в подушечках пальцев болезненно пульсировала кровь, горели щеки, исхлестанные ветром. На чердаке гудел ветер, на сковороде шипели оладьи. Их переворачивал немецким кинжальным штыком хозяйственный капрал Жмурко из Люблина, на гражданке мясник. Оладьи он делил несправедливо, не беспокоясь, что тем самым усугубляет презрение и враждебность, которые внушал товарищам и разжигал с присущей ему наглостью. Развязный и чванливый донельзя, Жмурко рассказывал глупые анекдоты и бессмысленно насмехался над людьми разумными и спокойными, которым достоинство не позволяло ввязываться в

© Bohdan Czeszko, 1983.

БОГДАН ЧЕШКО — BOHDAN CZESZKO (род. в 1923 г.)

Польский писатель. В годы второй мировой войны сражался против фашизма в Армии Людовой, был участником Варшавского восстания. После освобождения учился в Академии художеств в Варшаве. В 1949 г. вышел первый сборник его рассказов. Автор романа «Поколение» («Pokolenie», 1951; русский перевод — 1965), повестей «Реквием» («Tren», 1961), «Наводнение» («Powódź», 1975), сборников рассказов и репортажей. Богдан Чешко дважды награжден Государственной премией ПНР (1952, 1975).

Публикуемые рассказы взяты из книги «Богдан Чешко. Избранные произведения» (Bohdan Czeszko. Utwory zebrane. Warszawa, Książka i wiedza, 1983).

нелепую перебранку, а он по непроходимой тупости считал себя победителем. Надоедливый служака, безудержный подхалим, довоенный, как он называл себя, подофицер.

Большинство во взводе составляли крестьяне — поляки из Западной Украины, Западной Белоруссии. Люди неторопливые, наделенные безмерной терпеливостью. Царила в их среде крепкая молчаливая дружба.

Ручной пулемет довольно увесист и не очень-то удобен для ношения на плече. Пройдешь десять километров, и тяжесть его начинает донимать, как зубная боль. Без единого слова касался моего плеча кто-то идущий сзади и принимал мою ношу в тот момент, когда, сколько не перекладывай с плеча на плечо и не ухищряйся, добиваясь иллюзорного облегчения,— ничто не помогало.

Итак, в тот вечер Жмурко жарил оладьи и тушил дичь. Косули были здесь непуганые, стельные козы убегать не торопились. Жмурко стрелял хорошо. Одиночным выстрелом он бил из автомата без промаха до восьмидесяти метров. Безмятежным туманным утром отголосок выстрела тонул в зарослях камыша и перелесках. Старшина роты молчал, задобренный порцией вырезки.

Жмурко свежевал тушу на гумне со сноровкой, присущей людям его профессии. Я курил мою первую утреннюю трубку и наблюдал, как он это делает. Капрал взвешивал на ладони плод, плававший в пузыре, полном жидкости. В жестах мясника чувствовалась даже какая-то нежность. Я отошел. Он смотрел мне вслед с улыбкой и приговаривал:

— Закаляйся, сержант, закаляйся, война ведь...

Был также другой человек во взводе, звали его Дымидко. О нем много не расскажешь, все помалкивал. Это был мужик — косая сажень в плечах, медведь медведем и неутомимый на марше.

Неизвестно, владел ли он землей или был батраком. Умел чинить сапоги. Все спорилось в его тяжелых узловатых ручищах. Он сколачивал на квартирах нары и пирамиды для ружей, он поддерживал порядок на пропахших махоркой, сияющих сырым тесом солдатских биваках. Добрая душа, а выразить своих чувств словами не мог, вот и выражал их делами. Для военного времени достаточно.

Вечерами мы чистили оружие, сидя вокруг коптилки. Некоторые писали письма на четвертушках бумаги, которые потом хитроумно складывали в треугольники и помечали номерами полевой почты.

Я любил этот час перед отбоем. Сон медленно заполнял голову, словно густая смола. Я брал меховую безрукавку, выходил во двор, садился на лавку у стены и выкуривал свою последнюю за день трубку. Я чувствовал себя старым добряком в мои двадцать лет.

Как быстро возникают привычки: на третий день отдыха я уже точно знал, что сейчас из коровника выйдет Дымидко с ведром молока, потом я вытряхну из трубки раскаленные крошки, выколочу ее о каблук, немного погляжу на то, что видно при луне. Месяц мне кажется более грозным, чем над Варшавой,— тут он суров, холоден и морщинист. Земля уже закисает к весне. Озера полнятся рыбьей любовью. Затем я подумаю, вернусь ли с войны, и, уже не сопротивляясь нахлынувшей сонливости, пойду в теплую комнату.

Крякнула скоба на дверях коровника. Дымидко задул лампу и поднял с земли ведро.

В эту минуту из-за угла рыкнул своим зычным голосом Жмурко (все раздражало меня в этом человеке), который вышел перед сном по нужде.

— Давай, пастушок, подкармливай корову. Поклон ей от Чеплицкого... (Чеплицкий был нашим батальонным поваром.) Придет она мне под ножичек,— добавил он, возясь со штанами.

Дымидко подошел к моей лавке, зачерпнул пенистого, теплого

молока и подал мне. Поверхность его слегка пузырилась, когда я брал кружку из рук солдата.

— Это золотая корова,— сказал Дымидко, когда я сделал глоток.— Капрал Жмурко плохой хозяин,— добавил он тоном, в котором прозвучал вопрос. Хотел знать мое мнение.

— Ничего не могу поделать с подобными людьми, Дымидко,— сказал я.— Мы идем на войну. Если бы не это, можно было бы с таким и не знаться.

Когда я вошел в дом, все уже получили свою порцию молока, у дверей был оставлен в ведре «расход» для ребят из дежурного отделения, которые ночью будут заступать на посты.

На следующий день мы сидели вокруг коптилки, заправленной каким-то жиром. Как всегда, щелкали затворы автоматов, но кроме этих звуков, с которыми сливалось шипение козьего жира в коптилке и на капральской сковороде, в комнате царила тишина, полная ожидания. Поступил приказ привести в порядок и погрузить на повозки шанцевый инструмент. Это означало, что готовимся выступать.

Жмурко повернул к нам свое раскрасневшееся у плиты лицо и бросил вдруг через плечо слова, которых все ждали.

— Завтра до рассвета забью корову,— сказал он.— Поклон ей от Чеплицкого.

Снова воцарилась тишина, нарушаемая только шипением жира. Дымидко сидел спокойно, держа на коленях длинную снайперскую винтовку. Он поставил оружие в пирамиду, не поднимаясь с табуретки, и когда Жмурко глянул в его сторону, покачал головой — возразил. Потом в напряженной тишине, поддерживаемый отовсюду взглядами, повернулся к капралу спиной. Кто-то нервно кашлянул. Этих людей, столь скупых на слова и жесты, поступок Дымидко поверг в замешательство. Для них много значило — повернуться к кому-то спиной.

— К подофицеру задом поворачиваешься, деревня...— заворчал мясник.

Дымидко вытащил кисет и принялся спокойно свертывать самокрутку.

— Деревня...— начал Жмурко.

— Тихо,— сказал я.— Отставить разговоры.

— На веревке ее потащит на фронт...— ворчал, склоняясь над оладьями, Жмурко, которому уже ничто не могло помочь после того, как Дымидко продемонстрировал ему свое презрение.

Хлесткий ветер, бичующий все между небом и землей, выдувал из моей трубки раскаленные крупицы махорки, когда я предавался своим вечерним раздумьям.

Стукнула скоба на дверях коровника.

— Тут такое дело,— начал Дымидко.— Надо бы до утра отвести корову. На хуторе, в двух километрах отсюда, есть люди. Говорят вроде бы по-нашему, только иначе, пришепетывают. К утренней поверке вернусь. Дозвольте сходить.

— Пусть они сами придут,— сказал я.

— Не осмеливаются. А времени мало.

— Не могу разрешить.

— Жаль скотину. Такая корова улучшает породу.

— Могу только ни о чем не знать,— буркнул я старую как мир лицемерную отговорку командиров, оказавшихся в щекотливом положении.

Дымидко выдохнул облегченно и по-уставному доложил о своем отбытии.

В тот вечер мое сознание не подавил клейкий сон. Я ворочался с боку на бок во вмятине на соломенной подстилке. Около двух часов ночи меня поднял дневальный, и я отправился проверять посты.

Ветер усилился, хлестал по ушам и рвал полы шинели. По двору кружил старый Жмурко, засунув руки в рукава.

— Дымидко в коровнике,— сказал он.

Я стукнул скобой. В нос ударил сладковатый запах навоза и парного молока. Здесь было черным-черно и не дуло. Когда зрачки достаточно расширились, я разглядел в темноте внушительные контуры коровы и фигуру Дымидко, который дремал, привалившись к ней.

— Ты уверен,— спросил я,— что люди, которым отдашь корову, не зарежут ее сами?

— Нет, это люди хозяйственные, я предупредил, что, как буду возвращаться с войны, проверю, в случае чего — засужу. Корова ничья — значит, общая, а такую нельзя резать, как какого-нибудь барана. Корова эта чистой породы, потомство даст хорошее, а тут ведь идешь по дорогам — побитая скотина валяется.

Он захлопотал, звякнув цепью, забормотал прямо-таки не по-человечески. Корова понюхала мою руку, громко втянула воздух и двинулась за Дымидко, постукивая копытами о порог коровника. Я вышел во двор и посмотрел им вслед. Он исчез за сараем, а потом я заметил его огромную тень, когда шел по гребню холма, борясь с весенним ветром. Тянул за собой корову. Ветер донес его монотонный пастуший окрик: «Гоо-гоо...»

В тот день батальон двинулся по прифронтовой полосе, навстречу своей, уже близкой судьбе.

Перевод Г. АКСЕНОВОЙ

Вернули мне Старе Място

Рынок на Старе Място навсегда запомнился мне как самый красочный уголок города. В мое время он никогда не был иным, и я не хочу представлять себе его по-другому. Картина эта переплетается в моей памяти со всеми сказками моего детства, образуя изобилующий завитушками барочный орнамент. Запыленная модель корвета, висевшая в подъезде особнячка Фукера, много раз верно служила мне в моих дальних морских странствиях, которые я предпринимал в мечтах, прежде чем уснуть. Необычайностью своих очертаний корвет превосходно конкурировал с трансатлантическими лайнерами, украшавшими витрины пароходных компаний. Конечно, я выбирал парусник, больше доверяя пассатам и муссонам, нежели непонятной силе пара. «Торопиться некуда»,— решал я и, заняв место на капитанском мостике, приказывал поднять якорь. Десять удальцов вращали кабестан (это были мои друзья со двора), затягивали монотонную песню, и корвет «от Фукера» медленно выходил из порта на Праге, чтобы отправиться на помощь детям капитана Гранта.

Седобородый портье в сарматско-расхожем наряде, который стерег дверь с алебардой в руке, был моим святым Миколаем, живущим как частное лицо от рождества до рождества.

Городские власти заботились о том, чтобы Старе Място выглядело предельно сказочным. А из более поздних лет мне помнится почтовый дилижанс, возивший экскурсантов. Почтальоны, облаченные в ливреи табачного цвета, трубили, и колымага трогалась с Рыночной площади в анахроническое путешествие по Варшаве, чтобы завершить его снова на сказочно многоцветном Рынке Старе Място.

Не следует забывать также об огромных стаях голубей и пенсионерах, что кормили их со старческой педантичностью. На задах собора тихо сновали чистенькие ксендзы в черном, цвели цветы в ящиках под окнами в переулке Канония. Патроном этой родной безалаберщины и сказочности был добродушный Ор-От[1], чирикающий, как воробушек, свои трогательные стишки о Старе Място.

[1] Псевдоним польского поэта и публициста Артура Опимана (1867—1931). *(Здесь и далее прим. перев.)*

Чуть-чуть дальше, за пестрой суетой Рынка, на Свентоерской, Фрета, Кшивом Коле или Рыбаках, мир утрачивал свою праздничность. Унылые, серые доходные дома с дворами-колодцами вытесняли старые особнячки. Старушки, сидящие у ворот на низеньких табуретках, теряли внешние приметы благообразно мещанской старости, становились попросту вконец измотанными пролетарками, которые лечили солнечными ваннами нажитый в подвалах ревматизм.

Безработные подпирали стены, на баржах с речным песком словно каторжные надрывались черпальщики.

В годы оккупации я избегал Старе Място, его извилистые, изобилующие перекрестками улочки сулили немало неожиданных встреч со стальными касками. По своей топографии район был слишком привлекательным для обеих противоборствующих сторон.

В ту пору как-то вечером я оказался на Старе Място свидетелем крайне неприятной сцены. На Подвале была распивочная «только для немцев» под названием «Кривой фонарь». Швейцаром в ней служил мой бессмертный седобородый старик, выряженный «поляком» (венгерка со шнурами, конфедератка с барашковым околышем). В густой сумрак улицы вываливалась из кабака на сей раз по-скотски упившаяся солдатня. Немцы дергали старика за бороду, нахлобучивали ему на глаза конфедератку, выкидывали все те грубые, школярские, винными парами порожденные фортели, на которые только мог подтолкнуть их его экзотический вид.

Святой Миколай уже давно не был для меня фигурой, что-либо значащей, но закат его земного воплощения все же наполнил мое сердце горечью.

С людьми Старе Място, его улочками и интерьерами домов я, житель отдаленной Воли [1], по-настоящему познакомился лишь в дни Восстания. Дома́ я изучил основательно — от чердака, представляющего возможность снайперу контролировать окрестности, до подвалов, арочные каменные своды которых манили иллюзорной безопасностью, словно уговаривали забыться безмятежным сном. Я знал каждый закоулок, прикидывал на глазок расстояния, которые следовало преодолеть в броске наперегонки со смертью, прижимался к камням мостовой и стенам домов, желая слиться с ними. Я познавал людей досконально, ибо это было время искренности. Ввергнутым на дно ада людям из подвалов — «штатским», как их называли,— скрывать было нечего, и они ничего не скрывали. Они были брошены на произвол судьбы перед лицом голода и пожаров и безжалостно косившей смерти. Три долгие недели обрушивался на Старе Място железный ураган.

Что можно было сделать для них? Дать для ребенка немного кускового сахара, поделиться порцией конины... Утешений они не ждали и не хотели, требовали наказания виновных. К «аэловцам» [2] относились с доверием, полагая, что мы знаем больше. Мы же, отрезанные от мира, ничего обнадеживающего сказать не могли. Мы сражались в величайшем душевном смятении, вполне осознавая политический смысл восстания, отдавая себе отчет в том, что, участвуя в нем, мы служим чуждому нам делу, и одновременно понимая, что не сражаться было бы преступлением [3].

Неподалеку от того места, где в 1943 году погибла Ганка Савицкая, на стыке улиц Мостовой и Рыбаков, удерживали позицию «Чвар-

[1] Район Варшавы.

[2] Члены АЛ — Армии Людовой, основанной 1 января 1944 года и действовавшей под руководством Крайовой Рады Народовой в оккупированной Польше.

[3] Варшавское восстание 1944 г. было организовано и начато руководством Армии Крайовой, которое преднамеренно не согласовало выступление с советским командованием, рассчитывало захватить власть и противопоставить себя демократическим силам. Приняло массовый характер, было поддержано членами Польской рабочей партии и частями Армии Людовой.

таки» Армии Людовой, блокируя движение на Вислостраде и прикрывая район от атак со стороны Вислы. Упорная оборона этой позиции определяла направление вражеского наступления. Сколько яростных атак, поддержанных артиллерией и танками, вынесли эти молодые ребята, плохо вооруженные, почти без боеприпасов! Несколько танков сожжено бутылками с горючей смесью, подорван с помощью неразорвавшихся артиллерийских снарядов дом, превращенный в опорный пункт противника...

Прежде чем возмужал в боях за Старе Място батальон «Чвартаков», прежде чем стяжал нежеланную славу одного из самых стойких боевых подразделений, он был обескровлен... На Старе Място погибли также от авиабомбы все члены варшавского штаба Армии Людовой...

Многих... Многих славных сынов варшавского люда, многих закаленных бойцов рабочего движения поглотила земля Старе Място.

Подумайте о том, что они пали на пороге свободы, перед самым рассветом того дня, за наступление которого они мужественно боролись долгие годы.

Когда я вернулся с войны, довелось мне идти на Жолибож. Смеркалось. С трудом разобрал я надпись на неизвестной мне доселе надгробной плите, появившейся в скверике неподалеку от костела Святой Анны.

Это была могила товарищей из штаба. Редких прохожих, даже в те удивительные времена, должен был удивить солдат, отдающий честь у могильной плиты не по случаю какой-либо годовщины, а мимоходом, в будний день.

Я пробирался через Старе Място, карабкаясь по горам щебня, скорее интуитивно угадывая направления улиц. Мрачная пустыня окружала меня, в такой пустыне люди не живут, только ветер может свистеть в таких пустынях.

С улицы Фрета я увидал первые огоньки. Один где-то на Кшивом Коле, другой возле развалин костела Святого Яна. Это была будка, торговавшая по совместительству сельтерской, пивом и овощами.

Следующий огонек мерцал в развалинах харчевни «Под Василиском», где в дни восстания находилась столовая «Чвартаков».

На развалинах дома номер шестнадцать, где мы когда-то размещались, я прочел при свете карманного фонарика одну из многочисленных тогда надписей: «Мин нет» и рядом: «Влодек! Мы у тетки Анны в Константине».

Я обрадовался, что кто-то из штатских выжил.

Огоньки, говорящие о людях, не сопутствовали мне далее, снова обступил меня лунный, каменный пейзаж. Сбежал я тогда оттуда.

Но на протяжении восьми лет, отделяющих тот день от нынешнего, я все-таки неоднократно возвращался на Старе Място, и все труднее стало мне отыскивать следы прошлого, что не так уж плохо — нет нужды, чтобы варшавяне ходили сюда, неотступно вспоминая об убитых.

Несколько дней назад строительные леса стояли только по двум сторонам Рыночной площади. Рынок постепенно покидают даже реставраторы и художники, которые почти закончили украшение фасадов либо восстановление старинной позолоты и росписей. А ведь два месяца назад Марков сетовал, когда я навестил его на стройке:

— Соревнование у меня хромает, невозможно развернуть широким фронтом работы. Все, как видишь, наперекосяк: надстройки, пристройки, и вдобавок реставраторы. Хоть под пальцами рассыпается, а ты сохрани, залатай, собери по кусочкам.

В интерьерах домов Старе Място царит суета. Столяры крепят панели из драгоценных пород дерева, оковывают резные дубовые двери. Работа высочайшего класса и материал отменный. Лепщики уже выполнили орнаменты на потолках и стенах. Женщины из Залипя

украшают цветочным бордюром потолочные балки будущей «Цепелии».

Я смотрю, как они необычайно быстрыми и точными движениями кисти наносят орнамент, лишенный и следа графической сухости, сочный и безошибочный в подборе красок, так и хочется сказать: душу вкладывают. В окнах на Рынке уже виднеются кое-где занавески и цветы. Люди вернулись насовсем. Я вспоминаю ту надпись, вопиющую среди развалин... Хотелось бы, чтобы среди поселившихся здесь оказался кто-нибудь из тех «штатских», кто-нибудь «из подвалов». Хотелось бы встряхнуть его за плечи и крикнуть от радости, переполняющей мое сердце теперь, когда я стою посреди Рыночной площади, озаренной солнцем, переливающейся красками: «Разве я не говорил, что не кто-то, а мы сюда вернемся?»

Я люблю мой город, воскрешенный руками рабочих. Ведь здесь, а не где-нибудь изведал я то, что было в моей жизни самым прекрасным и самым горьким. Пережил то, что способен пережить человек, и даже то, что пережить, как мне кажется, уже не в состоянии. Стены этого города были моим партизанским лесом и романтическими кущами первой любви.

Я видел, да что там видел... ощущал, как он превращается в пустыню из битого кирпича тогда — в августе.

Здесь убили моих родителей. Здесь убили моих самых близких друзей. Адам, Мартин, Михал, Халина, Гражина, Рысек, Казик, Ганка... Все они пали на варшавскую мостовую, сраженные вражеской пулей. Приняли смерть не на коленях. Они боролись ради людей, ради них и погибли. Они вечно будут жить в моей памяти.

В городе этом я впервые прочел «Манифест Коммунистической партии».

Здесь появилась на свет моя дочь.

Все трагическое, возвышенное и самое будничное в моей жизни связано с Варшавой.

Перевод С. ЛОПКОВОЙ

Коралл

— Прошлой весной я кровь себе застудил,— сказал оперативник, играющий со мной в шахматы.— В такую же, как сейчас, пору довелось мне несколько часов пролежать в болоте. Был не в себе от огнестрельного ранения... Шок — понимаете? Теперь вот выскакивают чирьи...

Он провел ладонью по белоснежной повязке на шее, осторожно минуя больное место.

— Тянет, жмет, головы не повернешь. Ну так я рокируюсь...

— На доброе здоровье! — бросил я подслушанную где-то шахматистскую подначку, чтобы показать, что мне от этого ни холодно ни жарко.

— Это вот он меня так отделал,— сказал мой партнер, машинально кивнув в сторону красного уголка и крякнув от боли.— Вся кровь застужена... Вся кровь...

В углу просторного и темного помещения красного уголка с низко нависшим потолком, напоминающего зал ожидания захолустного вокзала, лежал на столе застреленный бандит. Это был мужчина лет сорока с двухнедельной чернявой порослью на щеках, один глаз широко открыт, другой — жутковато полуприщурен. Худощавое лицо его напоминало морду голодной собаки. Он был в обшарпанном кожухе и бриджах домотканого сукна, сшитых деревенским портным, из штанин высовывались желтые, ороговевшие стопы. Он не успел обуться, захваченный врасплох во время сна. Отстреливался он из пистолета.

В поясе штанов у него нашли зашитые золотые доллары и царские десятирублевки, не так уж много, он не был крупным хищником.

Молодой пухлолицый мужчина с засученными рукавами рубашки суетился вокруг стола. Снял последний отпечаток пальца и осторожно вложил картонку в конверт.

— Кончено,— сказал он.

К столу подошли двое. Подняли негнущееся, мерзлое тело бандита.

Дело не из приятных, и, видимо, ради того, чтобы пересилить отвращение, один из них приговаривал:

— Кончилась твоя власть, Михалко... кончилась, мать твою...

Мы смотрели вслед выходящим — я, мой партнер по шахматам и болельщик.

Болельщик произнес:

— Получил свои девять граммов. Собаке собачья смерть.

Партнер сказал:

— Сколько людей загубил, сколько вреда наделал, а сколько золота за это получил? Одиннадцать монеток. Последнее время совсем распоясался. Старого Коралла связал, прогнал по морозу в одном белье несколько километров и повесил на сухой вербе. Записку написал: «Так будет всем вам, большевикам»— и прицепил старику к рубахе. Не спешил, растягивал удовольствие... эх...

Я сказал:

— Коралл? Редкая фамилия.

— Вы знали его? — спросил болельщик и смерил меня быстрым, испытующим взглядом, как и все входившие в красный уголок.

— Нет,— ответил я.— Я говорю о фамилии, а не о человеке.

— Прошу.— Капитан, который привез меня сюда, пригласил в кабинет начальника. Там стоял застарелый запах табачного дыма и архивной пыли. Печь дышала томительным зноем. За столом, когда-то искусно инкрустированным перламутром, сидел офицер в грубом суконном мундире. Лицо его было изрезано глубокими косыми бороздами.

— Да,— сказал замещающий начальника офицер, поглаживая углубления, которые остались от выкрошившегося перламутра.— Вы приехали, а я даже и не знаю, что бы вам тут порекомендовать. Сейчас надо идти на похороны... А вы пойдете с нами? Уже пора собираться.

Мы вышли. В воздухе чувствовались первые предвестники весны. Снег искрился на солнце, словно россыпи хрусталя. От лесов и озер тянуло уже не тугим зимним ветром, а легким ветерком, чуть пахнувшим влажной хвоей, касающимся лица осторожно, словно жеребенок обнюхивал замшевыми ноздрями.

В прогале между окрестными борами лежало местечко на белом снегу. Резко и чисто вырисовывались грани красных крыш и желтоватых стен прусской кладки, разграфленных балками. Голосил петух на куче дымящегося навоза, с желобов с шелестом падали сосульки.

На фоне этого пейзажа, сулившего только все доброе, двигалась похоронная процессия. Черная толпа людей с непокрытыми головами медленно шла полем. Люди брели по снегу, облепляющему сапоги. Гроб над их головами колыхался. У ветра не хватало сил пошевелить яркий кумач партийного флага.

Товарищи из местечка проводили гроб с телом погибшего начальника только до машины, ожидавшей перед зданием Отдела общественной безопасности. Шофер проверил, хорошо ли закреплен печальный груз, и нерешительно взялся за ручку дверцы своей кабины. Но тут же замер по стойке «смирно», поскольку люди начали петь «Интернационал». Первым запел высокий, плотный мужчина с мясистым лицом. Он стоял, прочно упираясь в землю ногами в толстых войлоч-

ных бурках и сжав в кулаке шапку. Я стоял поблизости и смотрел в его запрокинутое лицо. Он затянул песню громким, грудным голосом, не так, как это делают люди слабые, которые пищат, неуверенные, подхватят ли другие. Я знаю, что он ничего не видел тогда в отдельности, я знаю, что он видел весь этот черно-белый край лесов и озер, где на третьем году своего существования свобода кровоточила, как утренняя заря.

Тотчас гимн подхватили голоса, как бы нащупывающие правильную тональность, затем песня полилась дружно и мощно.

— Видели того бандюгу? — говорил человек в войлочных бурках, секретарь повятового комитета партии.— Ну видели... А говорили: Михалко появился, Михалко убил, Михалко сжег то либо это, Михалко напал, Михалко опять появился. Я стрелял в него раз на лесной просеке, промахнулся и даже не представлял себе, что это он. Думал — атаман. Думал — разъезжает, вероятно, на добром коне, разодетый, откормленный, под полушубком образ богоматери, покрикивает басом на своих дружков. А оказалось — ничтожество, рвань последняя. Если встретишь такого на дороге — подумаешь: бедствует человек. Неустроенный. Рвань! И глядите, начальника — такого человека — убил. Не скоро другого такого найдете. Совсем как крыса его загрыз, бешеная крыса. Так это выглядит, а не иначе.

— Один орудовал? — спросил я его.

— Нет. С бандой. Когда шли на грабеж, натягивали на рожи чулки с вырезанными отверстиями для глаз. Разные у него были люди, в том числе крестьяне-хлеборобы, которые легким заработком не гнушались. Живет человек на легальном положении, хозяйствует, семейный, а чуть Михалко кликнет — моментально батя с сынком вытаскивают автоматы и суют в мешок. Айда в лес, чулки на рожи натянуты и в крови людской полощутся, да еще мимоходом лес подпалят, чтобы мы занялись тушением, а сами грабят. Корни он еще тут оставил что твой георгин. Годы корчевать придется...

— А кто такой Коралл? — спросил я.

— Вы спрашиваете о молодом или о его дяде, которого повесили на вербе у Тайного Мёта? Двое их было. Старый был наш человек. Надо сказать — настоящий коммунист. Работать умел. Организовал рыбацкий кооператив. Знаете, настоящий кооператив, ведь эти кооперативы, да будет вам известно, разные бывают... Да... специалист высшего класса. Копчение наладил, ледник устроил великолепный. Рыбоводство, то... другое... Из щук икру выдавливал, как зубную пасту. Польет молоками и притопит на такой, знаете, подушке из пихтовых веточек на прогретом солнцем мелководье. Оглянуться не успеешь, а уж сотни тыщ крошечных щурят с огромадным пузырем вместо брюшка в этой подушке копошатся. А старый Коралл бурчит над водой, трубкой попыхивает. Доволен. Трубку он курил по немецкому обычаю, хотя говорил только по-польски. «Не те сейчас времена, кум Конколь,— говаривал своему дружку,— чтобы я по-немецки болтал. Не обязан, вот и не говорю». Для партии это был не человек, а настоящее золото, потому что из местных. Михалко знал, где ударить. Молодой остался один. Избили его и бросили, заморыш, пули пожалели...

Он пришел и попросил оружие. Я говорю: вступай в дружинники, тогда дадим оружие, и ты его из рук не выпускай, а то пристукнут тебя как местного... Хороший парень. В школу его надо послать. Пусть учится на ихтиолога. Мало ли их тут требуется?

На следующий день я нанес визит старшему лесничему, который жил в большом доме возле шоссе, в двух километрах от городка. Я постучал медным молоточком легонько и осторожно. Поскольку впервые имел дело с подобным инструментом, кашлянул, переступил с ноги на ногу и стукнул посильнее. Пришла, шаркая шлепанцами, служанка и, как куница из дупла, высунула голову наружу. Прихожая

имела такой вид, что я пожалел, что у меня нет визитной карточки. А холл, который последовал за прихожей, усилил мое сожаление по поводу визитной карточки. Это не были интерьеры, загроможденные кричащим изобилием тканей и предметов, свидетельствующих о дурном вкусе обывателей,— это были интерьеры, холодные в своей чопорности, где чувствуешь себя так, словно весь накрахмален. Пол в холле был выложен крупными отшлифованными валунами, скрепленными прожилками серого цемента. Благородством дышали уже одни эти камни, которые как-никак были принесены некогда тем самым ледником, который оставил после себя окрестные озера. На полу распластались кудлатые шкуры зимних кабанов. Стоял там тяжелый дубовый стол, достойный последней вечери. На камине без каких-либо украшений, в просторной и, как полагается, закопченной нише пылали четыре больших сосновых полена. Отблески огня легко скользили по выпуклостям отличной чеканки, покрывавшей металлические тарелки, которые украшали дымоотводный колпак камина.

Я утонул в кресле и блуждал взглядом по стенам, обшитым панелями темного дуба. Там висели оленьи рога, снабженные табличками: «Ян Павельский. Лесничество... 1946 год. Выстрел прицельный. Пуля... Расстояние 150 метров».

Явился хозяин. Весьма эффектный. Он был высок и сед. Над усами, по-сарматски вислыми и подкрученными, торчал кривой мощный нос, из-под густых бровей с ледяным спокойствием глядели серые бесстрастные глаза. Это были глаза охотника, которому нет нужды зыркать по сторонам, чтобы все видеть. Мы обменялись поклонами и назвали свои фамилии, и вся эта церемония смахивала на обмен адмиральскими салютами двух броненосцев.

Потом он предложил мне сесть и подал табакерку. Черный сигарный табак шибал в нос резким запахом перца.

— Если вы курите, пожалуйста, вот готовые сигареты,— он пододвинул мне пачечку «Pall-mall». Сам же точным движением свернул толстую самокрутку, вставил ее в янтарный мундштук и со смаком закурил. Скрестил длинные худые ноги в черных, сверкающих сапогах, стряхнул с зеленых бриджей табачную крошку и, проследив за моим взглядом (а я снова уставился на оленьи рога), спросил:

— Вы охотитесь? Вас интересуют мои олени?

— Нет, нет,— ответил я.— Я здесь по вопросу лесных пожаров.

— Ах да, мне звонили из окружной дирекции...— Он задумчиво потер лоб.— Да... да... Леса у нас горели, но если вы ищете в этом сенсации или чего-то из ряда вон выходящего, то я наверняка вас разочарую. Источник бед — в человеческом невежестве. Сейчас, знаете ли, принято во всем доискиваться проявлений сознательной враждебной деятельности. Создается атмосфера недоверия, людей учат смотреть исподлобья... Не применяются простые профилактические меры, а потом перед лицом понесенного ущерба мы лихорадочно ищем врага... Если же я его не найду — значит я враг. Поверьте, это меня унижает, я не привык к роли, которую мне навязывают. Я специалист и влюблен в здешние дебри... Если бы не последнее, поверьте, давно бы уехал... Извините меня за это лирическое отступление. Я раздосадован. Знаете ли вы, что является в моем районе главной причиной пожаров?.. Выжигание лугов. Переселенцы выжигают задичавшие луга, когда получают их во владение. Пепел удобряет землю, на следующий год вырастает прекрасная трава, а огонь перебрасывается на леса и уничтожает сотни гектаров древостоя. Вот вам и враг — человеческое невежество и эгоизм...

Потом он долго толковал о разновидностях огня, о верховом огне, который мчит по вершинам деревьев, бушует в кронах, пожирая хвою и листья.

— Уничтожается хлорофилл,— говорил он,— дерево перестает

усваивать углерод. Это что-то вроде удушья. Дерево оказывается задушенным...

Он говорил и о низовом огне, ползущем по вереску и ежевике. Этот якобы менее опасен, если возникает в высокоствольном лесу, а не в посадках молодняка.

Ничуть не затрагивая моего воображения, у меня в ушах звучали специальные термины и статистические выкладки. Воображению моему помогал огонь в камине, вишневое пламя на сосновых колодах, истекающих смоляными слезами.

Я представлял себе ревущие реки золотистого огня, поглощающие лес, и листья, скручивающиеся от дыхания горячего вихря в черные трубки, и паническое бегство зверья; людей, борющихся врукопашную с волнами вездесущего пламени. Я видел людей с выеденными дымом глазами, которые бежали за плугами, запахивая вереск на просеках, людей, которые, обливаясь потом, перекапывали лопатами неподатливый лесной грунт, скрепленный сетью корней.

— Существует в этих местах еще одна дополнительная опасность,— продолжал мой собеседник.— Немецкая армия (о гитлеровских войсках он говорил «немецкая армия», о Советской Армии — «Советы») оставила здесь очень хорошо замаскированные склады боеприпасов. Случается, что эти склады взрываются от огня...

— Известен ли вам парень по фамилии Коралл, Ромек Коралл?— спросил я.— Говорят, здорово отличился в борьбе с пожарами.

Лесничий усмехнулся и отпил глоток чая, который принесла нам похожая на куницу служанка. Стаканы с чаем были поставлены в ажурные серебряные подстаканники с удобными ручками.

— Не угодно ли?— сказал он.— Значит, вам о нем рассказывали. Колеса фортуны крутятся в нашем бедном крае так же быстро, как и колеса истории. Парень прославился со всеми вытекающими отсюда последствиями. В нашем бедном крае столь же быстро и случайно можно подвергнуться уничтожению. Это любопытно с психологической точки зрения. Его жизнью пренебрегли люди, которые убили старика Коралла. Я полагаю, что он был этим глубоко уязвлен. Парень ищет компенсации, чтобы подняться в собственных глазах. Возможно, я преувеличиваю с этими тонкостями. Возможно, он попросту хочет продемонстрировать рвение и лояльность как коренной житель этих в прошлом отторгнутых немцами земель. Вторая версия представляется мне более правдоподобной, поскольку мы говорим об истоках смелости.

— Но смелость была проявлена? — спросил я.

Он слегка кивнул и, помолчав, произнес:

— Мне трудно оценивать. Отсутствие смелости я привык применительно к мужчинам считать делом столь же недостойным, как венерическая болезнь...

Он проводил меня на крыльцо и, говоря обычные любезности, сжал мне ладонь твердыми сухими пальцами.

Ночевал я в маленькой гостинице над пивнушкой «Эдельвейс». Ночью меня разбудили два милиционера, проверявшие документы. Двигались они медленно, разомлев в теплом помещении, так как пришли с мороза. Сонными голосами извинились и вышли, поплелся за ними засыпающий на ходу хозяин в засаленном шлафроке на вате. Сон мне перебили. Я долго прислушивался к отголоскам, доносившимся с улицы. Вдалеке монотонно гудела фабрика, круглосуточно изготовлявшая фанеру и паркетную плашку.

Через несколько дней я встретился с молодым Кораллом. Ехал я к нему по последнему в сорок восьмом году весеннему снегу, минуя лесные массивы, выгоревшие дотла. Черные стволы торчали из-под снега, как мачты ушедшего под лед флота, щетинился черный, убитый огнем молодняк. Эти хрупкие, обгоревшие колья, оставшиеся от тысяч быстро устремлявшихся в небо молодых сосен, не годились ника-

да. Можно было теперь огородить ими загон для гусей, да и то не наверняка.

Кованые полозья саней кромсали водянистую снежную кашу на разъезженной дороге. В кронах придорожных тополей, еще нагих, совсем по-весеннему хлопотали грачи.

Местечко, где жил парень, располагалось вдоль канала, соединяющего два озера. Канал перегораживали старые деревянные шлюзы, трухлявые и замшелые. Стояли там сараи, открытые настежь, в снегу возле озера лежал на боку, как снулая рыба, белый корпус яхты. Местечко было наполовину разрушено. Через него прошла война, прошли мародеры, не акулы — охотники до ковров и машин, а помельче— промышляющие по части печек, дверей и домашней утвари. Невеселое это было местечко. Только в дальнем конце его торчал в ясном небе столб густого дыма. Это работала Кораллова коптильня, приготовляя рыбу, выловленную из-подо льда Конколем и его дружками. Поскольку лишь этот столб был знамением жизни, я направился к нему по улице среди придавленных тяжелым, мокрым снегом развалин домов и хозяйственных пристроек.

И тогда по дороге я увидел картину, похожую на наваждение. На ступеньках крыльца дочиста разграбленного дома стоял рогач. Это был молодой самец косули с первыми в его жизни маленькими рожками, с которых он еще не начал стирать пушистый покров. Изящный, поджарый зверек, напоминающий маленького чертенка, вытянул в мою сторону острую мордочку и принюхивался, насторожив одновременно большие уши. Я застыл на месте. Козел сердито стукнул копытцем, нетерпеливо затопал.

— Что с тобой, Мачек? — донесся из глубины дома слегка охрипший тенор. Вслед за этим оттуда вышел молодой парень в вельветовой куртке, надетой поверх женской телогрейки, и в лыжной шапочке. В правой руке он держал автомат, а в левой — электрический счетчик.

«Видимо, он,— подумал я.— У другого автомат висел бы за спиной».

По поручению гминного начальства Коралл снимал в разрушенных домах электрические счетчики. Несколько штук их уже лежало на маленьких саночках. Он потянул санки за веревку, и дальше мы пошли вместе. Рогач следовал за парнем, как собака.

— Он мне даже малость мешает,— говорил Коралл.— Смешно это выглядит, когда он так всюду ходит за мной. Люди удивляются и сразу смотрят на меня как-то иначе, пока не привыкнут. Он тоже людей не пугается, а я боюсь, что когда он уйдет в лес, то его запросто даже косой кто-нибудь зарежет. А ведь уйдет. Уйдешь, Мачек? Уйдешь, уйдешь, как только козы летом засвистят, потянет тебя, брат, не усидишь... Лес, понимаете, горел, и огонь шел не лавой, а полукругом. Два крыла по бокам вырвались вперед, а середина на болото наткнулась и малость забуксовала. Коза с маленьким и осталась в этом мешке. Слишком засиделась там и потом пришлось бежать зигзагами от одной стены огня к другой. Обгорела, пока добежала до линии тушения. А там люди кричат, гасильниками размахивают, песком сыплют. Огонь шел низом, не такой уж страшный, воздух в тот день был тяжелый, как бы душил его. Коза совсем очумела. А люди как люди, руки расставляют, хотят поймать. Наконец вырвалась и помчала на всем скаку вслепую. Трах головой о ствол — и конец. А я взял Мачека к себе и выходил, и даже неплохо, потому что был один... Теперь летом попрощаемся — он в лес уйдет, а я в город подамся на подготовительные курсы. Хорошее дело, не?

Последнее слово кольнуло неприятным воспоминанием. Некий немецкий унтер, который во время оккупации продавал мне сигареты,— а делал он это с такими издевками, как будто речь шла бог

весть о чем,— так вот этот немец каждую вторую фразу завершал этим блеющим «не-е-е».

— А старший лесничий позволил вам взять козленка?

— А я не спрашивал. Я вообще с ним почти не разговариваю. Это не наш человек,— сказал Коралл и огорошил меня этой формулировкой, которой партийцы иногда определяют людей, желая избежать пространных характеристик.

— Холодноват этот старший лесничий,— сказал я.

В свою очередь Коралл внимательно взглянул на меня.

— Старый Конколь говорит, что за лесничим тянется какое-то давнишнее темное дело и что он не был бы таким, какой есть, если бы у него в жизни было все просто.

Мы добрались до местного поста милиции.

— Я живу здесь на чердаке, ход со двора,— сказал парень.— Заходите к вечеру, сейчас я должен сдать счетчики в правление.

Он пошел дальше по белой улице. Сгорбившись, тянул свои санки, за которыми вышагивал, как балерина, рогач по имени Мачек.

Начальник поста, огромный чернявый детина, взлохмаченный и крикливый, вдруг напустился на меня, едва я задал несколько вопросов.

— Что вы вообще знаете о наших людях,— говорил он, жестикулируя.— А кто должен парнем заняться? Ксендз? Что нам, куска хлеба для него жалко? Он ведь работает. И как работает! Прежде я думал: что за работа эта наука? Сидишь себе книжку почитываешь, мух не ловишь... А теперь вижу, как он эту науку перепахивает, трактор, не человек! «Антоний,— говорит мне,— Антоний, или башка у меня треснет, или сдам экзамены». Известно вам, что три года назад он едва говорил по-польски? Вслух читал людям книжки. Последний раз читали мы «Фараона».— Он, не глядя, достал с полки за своей спиной потрепанный томик. Хлопнул по переплету и сказал:— Тоже, значит, человека попы доконали. Неплохая вещь.

Вечером Коралл сказал мне:

— Буду лесником...

— Секретарь,— вставил я,— говорил об ихтиологии.

— Так вы ему об этом ничего не рассказывайте. Он теперь только об одном: рыба. Когда сдвинулись с мертвой точки лесопилка и паркетная фабрика, заготовка леса и живицы, он отоспался и принялся за рыбу. Дядю донимал. Говорит: «Научи меня щук щупать, Франтишек». Когда я недавно побывал в повятовом центре и навестил его, он сидел дома и читал брошюру. Читает и пот отирает. Я подумал, что он в трудном положении и ищет совета у Ленина. А как закрыл брошюру, я прочел название: «Лещ — разведение и отлов». «Мне нужен специалист по рыбе, говорит. Что касается лесного хозяйства, то будем нашего графа подталкивать, покуда сможем. Но, говорит, в этих озерах я носом чую золотую жилу. Это богатство. Я из наших озер все выжму. Должны они дать что могут. Никогда не думал, что вода тоже может лежать под паром»,— так он говорил. Но я пойду по лесной части...— сказал Коралл, задумался и добавил спустя минуту: — Озера не горят.

Возвращался я в повятовый центр ночью. Шумели леса по обочинам дороги. Дул ветер, снежная каша затвердела от заморозка.

— Отпустит,— приговаривал возница,— отпустит завтра к обеду. Солнце подымается все выше, уж оно справится.

Вот так почти случайно встретился на моем пути человек по фамилии Коралл, и было это весной 1948 года, когда исполнилось сто лет Весне Народов. Коралл, думал я, так называется великолепный морской кустарник. В Тихом океане возникают архипелаги коралловых островов. В течение тысячелетий этот красивый кустарник с красными веточками, из которых делают также ожерелья и прочие украшения, сооружает остров. Наслаиваются миллионы поколений корал-

ла, противостоящих тихоокеанским циклонам, и, наконец, какое-то из поколений достигает поверхности вод и начинает порождать новые, неведомые ранее формы жизни.

Образуются тихие атоллы, где в кристально прозрачной воде кружат рыбы с такой чудной окраской, что первейшим колористам не пришло бы в голову подобное сочетание красок — на это способны только дети. Колышутся на дне лагун нивы радужных актиний. По берегам взмывают в небо пальмы. Из влаги океанов и доброты солнца рождается буйная всепобеждающая жизнь.

Вот почему к этому животнорастению, окраской напоминающему цвет человеческой крови, люди питают дружбу, ценя его за упорство и смелость в борьбе со слепой стихией, в борьбе победоносной.

Вы скажете, что метафора неудачна, что судьбы поколений тех людей, которых нарекли людьми доброй воли, несравнимы с судьбами как-никак неразумного существа, ничего не чувствующего, не испытывающего ни мощных взлетов мысли, ни эмоций, ни трагедий. Но что знаем мы о трагедиях природы? Одно знаем, что они существуют. Если не верите, представьте себе пылающий лес.

Перевод М. ЗУБКОВА

Кукушка

Вам наверняка знакомо тягостное и нелепое ощущение собственной ненужности, когда вы приходите к кому-то не вовремя, с настроением и делами, резко отличающимися от их дел и настроений. Позавчера я оказался именно в таком положении, когда проселок привел меня вечером в деревню Курган.

Знакома вам и удивительная красота сырых и теплых сумерек весенней поры. От деревни тянется понизу дым, пахнет горящим деревом; в хлевах барабанят по жестяным донцам еще пустых ведер струи парного молока, настоянного на молодых травах.

Следует добавить, что я шел навестить человека, которого — учитывая его почтенный возраст — едва смею называть приятелем. Это пан Антоний, здешний столяр, благороднейший человек. Дело свое он знает до тонкостей и трудится так самозабвенно, что мне всегда вспоминаются безвестные мастера Возрождения, из творений которых словно по кирпичику складывалось здание лучезарного искусства той эпохи, когда понятия искусство и ремесло почти не разграничивались.

Легко догадаться, с каким безмятежным спокойствием в сердце приближался я к деревне. Да еще предвкушение — сначала ужина, состоящего из простокваши, ломтей ржаного хлеба, посыпанных крупной солью, и белоснежного творога, а потом ловли серебристых судаков в здешней реке.

Подойдя к околице, я почуял неладное. Деревня, всегда оживленная по вечерам, словно присмирела. Люди, знающие меня и приветствуемые мной, отвечали серьезнее, чем обычно, на мое: «Добрый вечер, Гжеляк; добрый вечер, пан Владислав; привет, Костек». Возле одного двора сбились в кучку, тихо переговариваясь, мужчины и женщины. Даже две маленькие девчонки, стоявшие у канавы, перешептывались с вытаращенными глазами, как будто слушали сказку о бабе-яге. Проходя мимо этого двора, я, признаюсь, облегченно вздохнул, ибо смерть миновала дом Антония, в другой заглянула.

Антоний рассказывал:

— Принесли его с пустоши в дерюжке. Она промокла насквозь, и в пыль дорожную капельки падали. Я две войны прошел и знаю, что могут нести в такой дерюжке... Граната лежала еще с 1942 года, когда они шли на Россию. Землей ее присыпали, и образовался бугорок на

меже. Видать, дожди песок размыли, но не до самой железяки. А мальчонка разжег костер на этом бугорке, костер из прошлогодней картофельной ботвы. Родился он уже в мирное время и какое мог иметь понятие о гранатах. Ко мне в мастерскую заглядывал, нравились ему стружки, скрученные, как пружины. Я разрешал склеивать из них длинные полосы, которые он развешивал на изгороди, словно гирлянды...

Антоний рассказывал на рассвете, когда мы сидели вдвоем в лодке. Течение тут было быстрое, и вода тихонько урчала у бортов. В таких местах хорошо берет судак. Узенький молодой месяц висел в небе. Заря прочерчивала длинные красные полосы на плоских облаках, уплывающих на восток. Свету все прибывало, и вода, и бледная еще зелень прибрежных деревьев и трав обретали мягкую, облагораживающую тональность. Каркая, пролетели в вышине вороны. Вставал день. Ослепительно засияли белые откосы каменоломни на западном берегу, и вспыхнул золотом новый флюгер монастырской часовни, когда его шевельнул ветер, разбуженный солнцем.

Рыбачить расхотелось. Рассвет не радовал — резким отблеском солнца на воде он сулил утомительный летний зной. Антоний тоже не следил за удочками. Мы договорились порыбачить, потому и выплыли на быстрину — вот и все.

Одновременно с отзвуком монастырского колокола, созывающего к заутрене, по воде донесся голос кукушки. Я заметил, что Антоний зашевелил губами. Он считал. И на мой вопросительный взгляд ответил не сразу. Взглянул на берега, на воду, на деревья, на землю, которая курилась и крепко пахла весенней сыростью...

— Я загадывал мирные годы,— сказал он.

Перевод С. ПОПКОВОЙ

■

МЛАДЕН ОЛЯЧА

Рассказы

■

Перевод с сербскохорватского
АЛЕКСАНДРА РОМАНЕНКО

Лес

Тот самый лес. Он поджидает меня на горизонте, притаившийся и безмолвный. Сине-зеленое переплетение стволов и веток стеной поднимается над полями и склонами гор. Там бездна и могила. Когда-то мы бешено неслись оттуда (толпы людей и собак), стремясь вырваться сюда на дорогу и уйти дальше, к западу. Судорожно пытались мы вырваться из обруча, но нас осталось мало. Погибли почти все мои товарищи — из двухсот двадцати бойцов уцелело сорок, остальные пали в хлебах, по которым пытались незаметно подползти к врагу. Остались во мраке, позади нас. Не знаю, погребены ли они и где их могилы. Позже крестьяне рассказывали нам, что здесь, после боя, над окопами долго кружились стаи ворон и во́ронов и земля здесь исходила смрадом.

Последний раз я был в этом лесу двадцать лет назад, я бежал вот этой канавой справа, с винтовкой в руке, изнемогающий и растерзанный. Это было в тысяча девятьсот сорок втором, жутким летом, в июне, ночью. Гремели орудия, вспыхивали молнии, и рокотал гром. Раздавались крики. Человеческие голоса смешивались с взрывами, пальбой и громыханьем. Вокруг меня гибли люди, я позабыл о том, что смерть меня тоже подстерегает, и тщетно пытался в раскатах боя различить голос своей матери. Отчетливо различал я женский голос: он звал из тьмы, словно из могилы. Мне показалось, будто это моя мать, именно она откуда-то зовет меня, но она обессилела и прощается с жизнью. Я устремился на этот голос, во тьму, но он смолк, и напрасно я звал: «Мама, мама! Это ты, мама?» Напрасно я звал, голос умолк. Я ничего не мог различить, кроме звуков боя. Я не слышал даже детского плача, только что звучавшего в плеске ливня под темными небесами. Не знаю, каким образом я остался жив и поклялся, что никогда больше не войду в этот лес.

МЛАДЕН ОЛЯЧА — MLADEN OLJAČA (род. в 1926 г.)

Югославский писатель, публицист, уроженец Боснии. Участник Народно-освободительной войны против фашизма с 1941 года. Автор романов «Три жизни и две смерти» («Три живота и две смрти», 1953), «После полуночи» («После полноћи», 1954), «Черные топоры» («Црне секире», 1958), «Молитва о моих братьях» («Молитва за моју браћу», 1957), «Надя» («Нађа», 1963), эпопеи «Козара» (1966; русский перевод — 1970). В «ИЛ» опубликованы очерк «Это было в Крагуеваце...» (1965, № 5), рассказ «Моя мать» (1969, № 11).

Предлагаемые рассказы взяты из газеты «Политика» (Белград, 1984, ноябрь) и «Антологии новеллистов Боснии и Герцеговины» («Antologija pripovjedača iz Bosne i Hercegovine», Saraejevo, «Svjétlost», 1967).

Однако я иду, все быстрее, по этим склонам. Зачем я здесь в самом деле? Почему бы мне не вернуться, выполняя данное однажды слово? Неужто я нарушу свою клятву? Неужто я должен туда идти?

В самом деле, что ищу я в этом лесу?

Тот голос, может быть, тот стон?

Теперь и страх начинает охватывать меня. В самом деле я будто снова слышу голос женщины. Она стонет, стонет в темном лесу. Женщина. Чья ты и кого призываешь, несчастная? Мужа ли ищешь, или брата, или сына? Ты ли это, мама? Ты зовешь дочь свою Джую, мою сестру, которую мы навеки потеряли той ночью. Ты ищешь могилу нашей Джуи...

Она там, могила моей сестры. Может быть, там в лесу, в какой-нибудь канаве, под елью, у дороги, по которой той ночью прокатилось столько телег, столько упряжек, битком набитых женщинами и детишками — в колыбелях и тряпках.

Теперь мне понятно, почему я нарушил обет и почему иду туда, в этот лес. Я ищу могилу сестры своей Джуи. Она исчезла той ночью после боя. Следом за своим войском из обруча вырвалось несколько тысяч женщин и девушек. Вышла и моя мать Стана, и невестка Босилька, жена брата Гойко, через несколько дней родившая сына.

Тогда мы потеряли Джую. Никто не знает, как это произошло. Они пошли вместе, рассказывала мать, и долго шли рядом, вдоль Млечаничского оврага, за толпою крестьян и телег; ночь настигла их возле Боканских мельниц, перед линией фронта. Где-то здесь, когда вспыхнула пальба, потерялась Джуя: матери почудилось, будто она ушла вперед, она была молодая и могла бежать; она была лучшей жницей в деревне; она была землекопом, пахарем, она могла даже косить наравне с мужчинами. Ей было двадцать лет.

Ей было двадцать лет, и она могла даже косить наравне с мужчинами и ни в чем им не уступать. Она была молодая и сильная, быстрая и здоровая, неутомимая и легкая. Она валила лес с братом Гойко (и со мной), когда мы решили ставить новый дом, перед самой войною; она могла, как Гойко, одна поднять сваленное дерево и с нашей помощью взвалить его на телегу; и точно так же она грузила камень, который мы доставляли с Цветнича, из Жулевицы, в двух часах хода отсюда, издалека. Она делала самую тяжелую работу, а я, стараясь ускользнуть и избавиться от полевых работ, пас коров и овец по зарослям Кестенарича и Благайской косы, чтобы по воскресеньям, когда в поле не выходили, снова попытаться удрать, заставив Джую приглядывать за скотиной даже в этот день, в то время как сам бездельничал возле дома, бросал камни с ребятами или боролся на зеленом ковре под горою Пошта. Джуя хмурилась, но не отказывала: она уходила по воскресеньям к скотине, а я бездельничал. Она была доброй, моя сестра Джуя. Она обладала добрым сердцем и врожденным благородством. Она была по-настоящему прекрасна, моя сестра Джуя...

Теперь я ищу ее могилу в лесу. Ради этого я приехал. Поэтому я все глубже ухожу в темный лес, поглотивший столько людей. Я ищу могилу сестры своей Джуи, но знаю, что ее нет и что наверняка я никогда ее не найду... Потому что она бесследно исчезла...

Я далеко зашел. Хотел бы вернуться, но что-то увлекает меня вперед, все сильнее, в полумрак. Синевато-зеленые кроны молчат, исполненные достоинства и сдержанности. Выглядят равнодушными. Они не знают меня, не машут мне, не кажутся радостными оттого, что снова видят меня...

Тот ли это лес или какой-нибудь другой? Равнодушие веток, травы, деревьев и неба? Нет ничего из того, что я оставил. Нигде нет той полянки, по которой мы бежали во время последней атаки. Поднялся кустарник, высокая трава, что у нас зовут конской. Кусты стали моложе, заросль — гуще. Остался только прежний запах хвои — зе-

леный и влажный, он проникает в ноздри, щиплет их и забирается в горло...

Господи, тот ли это лес? Когда я подходил, он напоминал прежний, лес из моих воспоминаний, который я возненавидел и давным-давно покинул. Он показался мне прежним и когда я различил его первые стройные деревья, но как только вошел под его сень и увидел траву под ногами, гущу веток, и листвы, и вечнозеленой хвои над своей головой, закрывавшую небо настолько, что лесная полутьма казалась непроницаемой, я почти испугался. Зачем идти дальше, почему не вернуться? Никогда не бывал я в этом лесу. Собьюсь с дороги, заблужусь и не сумею найти дорогу обратно...

Но я не хочу возвращаться. Я буду идти дальше, вперед, все глубже, к цели. Я найду эту могилу или сам умру. Я должен найти эту могилу...

Но может быть, ее нет. Разве не рассказывали мне очевидцы о том, что произошло после того, как наш отряд ушел на запад? Враг прорвался к уходившим в отступ людям и начал бесчинствовать, ловить, жечь, рубить и убивать. Пленных не было. Мужчин убивали на месте, разлучая с женами; сперва стариков, потом юношей и даже десятилетних мальчишек. Приканчивали и старух, чтоб не кормить лишние рты, беременных женщин, чтоб не думать о них и об их семени. Оставляли пока в живых только девушек, которых можно было насиловать, а потом перебить или, обесчещенных, отправить на принудительные работы или в лагерь...

Те самые женщины, из которых уцелела лишь каждая сотая или одна из пятисот, потом, после возвращения в родные места, рассказывали нам, будто Джую захватили одной из первых. Ее сразу заметили и отвели в сторону. Мужчин перебили и тела их побросали в реку. Девушек и женщин постарше, с детьми, погнали к городку на севере, босых и голодных, не давая хлеба и воды. Солнце палило их, ливни хлестали, пока несчастные, изнемогая, двигались к северу. Солдаты подгоняли их прикладами и штыками. Кричали, ругались и угрожали, а потом стреляли в тех, кто не мог идти дальше. Неподвижные тела несчастных старух оставались лежать непогребенными на полях, на склонах, вдоль дорог, и лишь ветер в сумерках тихонько стонал над ними вместо отпевания. А несчастная и жуткая процессия, словно заклятая, уходила дальше на север, к реке Сава...

Где-то там их опять разделили: на мосту у Дубицы перебили одну группу; другую — чуть подальше, над Уной; третью — еще дальше, на берегу Савы... Тела бросали в реку, пусть плывут по Саве в Сербию...

Говорили, будто Джуя пережила и это, а потом, почти полумертвую от голода и мучений, ее отправили в какое-то славонское село или куда-то дальше, в Австрию или Венгрию. Там, говорили, ее поместили в крестьянском хозяйстве работать вместо ушедших на войну мужчин. Здесь она будто бы оставалась долго, до осени, до того дня, когда партизаны из леса атаковали немецкий и усташский патруль. Несколько немцев (или усташей) погибло в этом бою; те, что остались живы (когда партизаны отступили в лес), решили отыграться на безоружных боснийках, девушках из Боснии, которых привели в это село с Козары, после облавы. Девушек убили...

Слыхал я, будто тогда убили и мою Джую. Об этом рассказывали нам после войны какие-то женщины, но ни одна из них не могла назвать точно село или дату, когда все произошло...

Другие женщины, чтоб меня утешить, принесли весть о том, будто Джую с другими девушками отправили в Германию, на какую-то фабрику. Там, говорили, она оставалась до самого конца войны, до бомбардировок, когда они и погибли... И опять не знали ни места, ни дня этого несчастья, убогие женщины...

Спустя несколько лет после окончания войны я поехал в Германию, залез на гору над Дахау, где в огромном лагере пропали сотни

тысяч людей со всего мира. Целый день я обходил кладбище за кладбищем, от могилы к могиле; на камнях не было имен; здесь хоронили безымянных; на одном камне я увидел несколько французских слов, которыми родители прощались с погибшим сыном: по слухам, он здесь погиб. Тщетно осматривал я могильные камни: на них были слова, адресованные неизвестным людям. Имени моей Джуи не было нигде. Напрасно я искал его целый день — его не было, его не было...

И вот я опять пришел в этот лес, размышляя о том, где могла исчезнуть Джуя, как и когда. Вот я опять здесь, ищу ее могилу. Нужно осмотреть лес. Может быть, мою Джую убили все-таки здесь. Может быть, она даже похоронена и, может быть, где-нибудь под сосной, или елью, или дубом, молчит холмик над нею, как-то отмеченный или вовсе без какого-либо знака... Если он отмечен, я найду его и обрету покой; не окажется знака, тогда буду дальше продолжать поиски.

Поэтому и пришел я опять в этот угрюмый и проклятый лес, куда не заглядывал более четверти века... Чтобы еще раз проклясть этот лес или найти могилу своей сестры, которую той ночью мы потеряли навеки...

Надежда моя, конечно, слабая и почти угасшая. Но я иду дальше, глубже, в чащу. Я не хочу возвращаться и не хочу терять надежду. Если я потерял сестру, неужели мне оставаться и лишенным надежды?

Сын

Их привели к могиле.

Их привели к могиле на исходе жестокого дня. Десять человек, осужденных на смерть, среди них отец и сын со связанными проволокой руками. У отца оставалась свободной левая рука, у сына — правая. Молча они стояли друг возле друга, опустив головы, измученные, истерзанные, и соединяла их лишь тонкая нить ржавой проволоки.

— Ну, ты не передумал? — спросил усташский офицер.

— Нет,— отрубил сын.

Усташ мельком взглянул на него.

Сын старался выглядеть храбрым, но голова его дрожала, а ослабевшие мускулы начали болеть.

Офицер принялся выстраивать солдат. Он поставил их на расстоянии двадцати шагов от могилы и приказал зарядить винтовки.

Защелкали затворы.

Сын посмотрел в яму — огромная, желтая от глины и полная грязи, видимо расстрелянным всем вместе суждено покоиться в ней.

«Здесь»,— вздрогнуло сердце, и больше не было мочи смотреть вниз.

Отец стоял рядом, угрюмый и равнодушный, держась из последних сил, и по всему было видно, что в тюрьме он подвергся избиениям и пыткам. Казалось, он никого не замечает.

Солдаты выстроились у ямы. Зарядив винтовки, они ждали команды. Одни проявляли нетерпение, другие явно скучали, а кое у кого в глазах светилось нечто похожее на печаль.

— Ты не передумал? — снова спросил офицер.

— Нет! — ответил сын.

— Тебе же хуже! — ухмыльнулся офицер.

Сын ответил ему взглядом, полным затаенной ненависти. Так смотрят друг на друга волк и собака, неожиданно встретившись на дороге.

Приговоренные стояли у самого края могилы, спиной к ней, друг возле друга. Оборванные, в располосованной какими-то твердыми

предметами, вполне вероятно, даже металлическими прутьями, одежде, несчастные, лишившиеся всякой надежды, одни простоволосые со спутанными и слипшимися волосами, другие в кепках или меховых шапках, напоминая ветхую изгородь, которая вот-вот упадет.

У отца на голове была меховая шапка из шкуры черного барана, у сына — кепка из светлой шерстяной ткани. Отец носил густые черные усы, закрученные на концах, а сын, по-видимому, лишь недавно начал бриться — волосы росли у него редко и были короткими и почти незаметными.

— Цельсь! — приказал офицер, стоя позади шеренги солдат, и уточнил, что открывать огонь надо слева направо.

— По каждому стреляют трое! — закончил он. Но, словно усомнившись в том, поняли ли солдаты его приказ, повторил:— Слева направо!

Солдаты прицеливались. У одного из них винтовка то и дело клонилась к земле, и он прилагал все усилия, чтобы поднять ее до нужного уровня.

— Огонь!

Раздался залп. Дула винтовок окутал черный пороховой дым.

Трое осужденных упали в яму, потянув за собой четвертого, которого не задела пуля. Он встал как человек, подвернувший ногу. И казалось, ему было обидно, что пули пощадили его. Это был сын.

— Итак? — спросил офицер.

— Нет! — ответил сын.

— Заряжай! — крикнул офицер.— Цельсь!

Сын увидел три огромных винтовочных дула, зиявших возле самой его груди.

— Погоди! — произнес он.

Офицер приказал солдатам приподнять винтовки над головой осужденного и ожидать дальнейшего приказа. Затем он повторил свои слова, точно испытывал особую заинтересованность в том, чтобы сын остался в живых. Он, казалось, был даже обрадован наступившей перемене. Высокий, костистый и крупный, но с нежным и бледным лицом, по-девичьи красивым, в длинной зеленой шинели, закрывавшей голенища сапог, и с буквой «У» на грязной фуражке, офицер выглядел неумолимым олицетворением судьбы.

Последовал приказ опустить винтовки. Затем офицер приказал взять их к ноге. Слова застревали у него в горле, словно он был взволнован. Сын удивил его.

— Итак?

Этот вопрос офицер задавал постоянно уже в течение десяти дней и постоянно же получал ответ: «Нет!» Часами раздавалось: «Итак?» — и часами в ответ слышалось: «Нет!» Десять дней подряд: «Итак?» и десять дней подряд: «Нет!» — и вот только что сын произнес: «Погоди!»

Офицер требовал, чтобы он убил своего отца. Вероятно, ему доставляло удовольствие видеть, как заключенные у него на глазах убивали друг друга, а он, презрительно ухмыляясь, наблюдал за ними. Теперь он был особенно заинтересован в том, чтобы сын убил своего отца. Сперва он требовал, чтобы отец убил своего сына, но старик отказался это сделать и плюнул фашисту в лицо. Тогда наступил черед сына. «Я подарю тебе жизнь!» — посулил офицер.

И вот теперь он снова спросил:

— Итак?

Сын прерывисто дышал.

— Ты знаешь, что я тебе обещал! — Офицер говорил громко, и его могли слышать все осужденные, кроме троих мертвецов.

— Я не могу!— простонал сын, бросая на отца взгляд, полный безнадежного отчаяния. Отец стоял непоколебимый как скала.

Офицер приказал солдатам поднять винтовки.

— Погоди! — сказал он.

— Чего погодить?

— Дай дубину! — сказал сын.

— Если ты дубиной убьешь отца, я подарю тебе жизнь.

— Дай дубину! — повторил сын. Он еле удерживал крик.

Офицер приказал освободить ему руки. Кто-то из солдат принес дубину.

Сын стиснул бледные губы.

Словно предчувствуя свою судьбу, отец полоснул сына взглядом, исполненным презрения. А тот больше и не старался оправдать перед отцом свой поступок. Ему даже показалось, будто он ничуть не жалеет старика: «Бил мать, пьянствовал... спасу свою жизнь... из-за него я и попал в засаду...»

Офицер тронул его за плечо.

Старик остался один. На глазах его, бог знает отчего, выступили слезы — одна большая и светлая слезинка скользнула по щеке к верхней губе и исчезла в морщинах.

— Держи дубину! — усмехнувшись, сказал офицер. Эти мгновения всегда были для него самыми приятными: отчаявшийся осужденный, оскорбленный и униженный, теряет все — и силу и душу.

Сын принял дубину.

— Обеими руками! — сказал офицер.

Солдаты, не скрывая явной скуки, наблюдали за происходящим. Только один из них, совсем молодой, выглядел растерянным, даже несчастным.

— Обеими руками! — повторил офицер.

— Ладно! — ответил сын.

Силы у него оказалось немного. Руки его дрожали. Все тело сотрясала дрожь.

Следя за движением дубины в воздухе, офицер остановил взгляд на старике; тот стоял неподвижно, примирившись со смертью, как умудренный жизнью человек, ничего более от нее не ждущий. А когда дубина взметнулась ввысь, оба они, и старик и офицер, одновременно взглянули на нее, старик — беспомощно, офицер — с радостным блеском в глазах.

И тут все замерли от неожиданности — сын повернулся к офицеру, яростный и обезумевший, занося дубину над головой. После первого удара офицер покачнулся, голова его повисла, но он удержался на ногах. Потом, устремив на сына мертвые глаза, он повалился на мокрую землю, загребая грязь дергающимися ногами.

Сын еще дважды ударил его, потом швырнул дубину под ноги солдатам и устало сказал:

— Стреляйте!

Отец растерянно посмотрел на него, и в уголках его губ чуть дрогнула улыбка.

■

БРАНКО ЧОПИЧ

Рассказы

Перевод с сербскохорватского
АЛЕКСАНДРА РОМАНЕНКО

Горькая трава забвения

Памяти дяди Андрия

По моему краю во время войны проходили партизанские бригады и дивизии, следовали штабы и госпитали, здесь проводил смотры Верховный главнокомандующий и давали спектакли знаменитые партизанские актеры. Вдаль уносились исполняемые хором песни Великого Октября, и тонко, одиноко звучали цыганские мелодии испанских добровольцев.

Были мы, кажется, чем-то вроде главного города, сердца всей страны. Любой уцелевший дом мог мгновенно стать Верховным штабом, Центральным Комитетом или резиденцией правительства. Какая-нибудь бабка Бейя, с воинственно торчащим кверху платком, нахлестывала гнедую клячонку, нагруженную картофелем для слушателей партизанских курсов, и важно объясняла:

— Вот гоню провиант для наших курсачей, только это конспирация, не моги более спрашивать. Парни хоть куда, молодые, здоровые, а животы совсем подвело...

А потом, словно за одну ночь отодвинулась и ушла война, ушли войско и штабы, опустели дороги и умолкли горы. Погрузились села в тишину и тьму, а жизнь, та настоящая, наша, бурлящая и поющая партизанская жизнь, укатилась куда-то, словно невозвратные звонкие весенние воды.

Следом ушли и люди, более или менее молодые и здоровые.

Теперь у нас в селе, в сумерках, постоянно светится только огонек моего родственника. Заверну я туда, а он все какую-нибудь водку гонит: то сливовую, то яблочную, то грушевую, то кизиловую, а когда пора приходит перейти к лютой кукурузной, и тут не сдается и бодро возвещает:

— Я б и из рябины сумел, только где ее достанешь...

Рябина! Она ведь самая скучная ягода, какую я знаю, хуже боярышника и реже всего попадается в наших краях. Откуда она у него в голове засела?

У него есть небольшой котел, склепанный из бог знает каких частей и остатков каких-то старых сосудов. Такая вот уцелела у него

БРАНКО ЧОПИЧ — BRANKO ĆOPIĆ (1915—1984)

Югославский поэт и прозаик, уроженец Боснии. Участник Народно-освободительной войны против фашизма с 1941 г. Автор многих романов, сборников рассказов. На русский язык переведены романы «Прорыв», «Восьмое наступление», «Засада», книги рассказов «Горький мед», «Случаи из жизни Николетины Бурсача» (рассказы из этой книги были опубликованы в «ИЛ», 1957, № 3), «Избранное» в двух томах (Москва, «Художественная литература», 1982).

Бранко Чопич — лауреат премии Антифашистского веча освобождения Югославии и национальной литературной премии имени Негоша.

Предлагаемые рассказы были напечатаны в газете «Политика» (Белград, май 1974 и июнь 1983).

посудина в этом его винокуренном заведении. Нашли здесь себе применение и гильза от пушечного заряда, и немецкая каска, чтоб напоминать о минувшей войне.

Вокруг этого котла, как ночные бабочки к огоньку, собираются ежедневно мои земляки, все сплошь пожилые, усталые и худые люди. Похоже все это на один из последних военных призывов, когда словно позабыли им сказать, что пришла свобода и можно возвращаться домой, к будничной мирной жизни.

Родственник мой изредка достает газету и читает им о том, что делается в стране, а старики смотрят картинки, узнают то одного, то другого и печально толкуют:

— Смотри-ка, здорово он потолстел! Бывало, столько раз у меня ночевал...

Не помню уж, когда впервые у него в руках появился пузырек с какой-то травинкой внутри. Мне показалось, будто полынь, но он, светясь изнутри, объяснил:

— Это вот и есть кантарион, горькая трава, от всякой хвори желудочной излечивает. Принес мне ее один старик сверху с гор и показал вдобавок, где она растет. Вон у меня на делянке, все красное, как она расцветет...

Потягивают старики «кантарионовку», вздыхают и гудят:

— Может, и излечивает, помоги ей господь...

А я, как снова приеду в село, опять иду к родственнику. От порога хибары слышу его кудахтающий голос:

— Вот тебе и лекарство от почек, от желчи, целиком тебя очистит — и выйдешь ровно молодой. Глянь, какой цвет пустила...

— Чудо-молодцы, воины Франца-Иосифа из Семьдесят девятого полка...— долетает из озаренного мерцающим светом кружка голос его ровесника Миле Будимира.

После нашей последней встречи старики словно бы еще ниже согнулись и побелели. И никто, захмелев, больше не затянет песню.

— Дряхлеет у нас село,— гудит кто-нибудь утомленно.— Меньше юных стало. Кто уцелел, ушел в город, в мир, а ты сиди здесь и дожидайся, пока смерть за шиворот схватит...

Родственник мой на миг умолкнет, словно услыхав свою собственную невысказанную думу (у него тоже есть и погибшие и ушедшие), а потом поскорей тянется к своей темной бутылке, и тогда весело вспыхивают его маленькие, глубоко сидящие глаза.

— Какая там смерть, побратим! Четыре года мы ее за усы держали, и вот они мы, живы. Глотни-ка моей кантарионовки, она пять хворей снимает. Доктора далеко, а она под рукою. Тот старик мне рассказывал...

Последний раз я своего родственника видел в прошлом году поздней осенью.

Весь тот день под нависшими синими тучами рвались мины и ревели бульдозеры. Прокладывали дорогу к моему селу, и народ взволновался: очень это напоминало четвертое вражеское наступление и всеобщее бегство, плачущих детишек и уходящие вереницы беженцев. Вечером возле заветного котла старики еще больше походили на беженцев, окруживших убогое пламя. И только родственник мой, светящийся и торжественный, с неустанной своей бодростью демонстрировал спасительный напиток.

— Ты только глянь, от семи хворей излечивает. Верно, горькая, да только я ею лет двадцать обороняюсь. Стиснет сердце, вздохнуть нет мочи, глотну наперсток — и готово, как рукой сняло...

Сгорбленный старик с повисшими усами, у которого недавно подался за границу на заработки единственный внук, поднял к нему грустный взгляд и глухо спросил:

— Ежели она сердечная, брат мой Яндро, исцеляет ли она от тоски, вот ты о чем мне скажи?

— Исцеляет, Джюран. Потому она и горькая, чтоб избавлять человека от всяческой скорби и печали. На-ка глотни за здоровье, и счастливый путь этому твоему мотыльку, который бросил старого деда и пошел на стороне искать счастья. Не надо, милый, своей скорбью дорогу мальчишке застилать...

Покинутый старик чуть растянул губы и блеснул зубами, а целительное снадобье пошло по кругу.

Кантарион, горькая трава с наших сенокосов, выросшая под нашим солнцем, если б могла ты еще стать травою забвения!

Книги и воины

Спустя столько лет я снова стою перед начальной школой своего родного села. Разрушенная бомбами во время войны, она сейчас отстроена заново и даже стала немного больше. Мой кум Будимир, член сельского совета, влюбленными глазами смотрит на белое здание и рассказывает:

— Все у нас шло ладно, только вот когда понадобилось присвоить школе имя, тут заминка и случилась. Был бы ты, брат, уже на том свете, и забот никаких не было б, дали б ей твое имя и конец...

— Спасибо, куманек, за память,— отвечаю я скромно, а про себя думаю: «Чтоб у тебя язык отсох!»

Тихо, пусто на школьном дворе. С кем перекинуться словом, чтобы ожили воспоминания о давних утрах, исполненных шумом и гамом?

В углу двора, точно нос корабля, высится большая каменная плита, на которой высечены имена павших бойцов. Друг за другом, почти все ученики нашей школы. Мне кажется, я читаю окаменевший школьный журнал, навсегда раскрытый тем, кто в будущем войдет в это здание. Пусть видят и пусть знают: вот эти ребята, названные здесь по именам, делали историю своей школы, своего края, своей страны.

Я стою, взволнованный и утративший дар речи, с трудом проглатываю комок в горле, но мой рассудительный и несентиментальный кум быстро возвращает меня к будням:

— Видал, совсем мальчишки, дети. Э-эх, постарели мы с тобой... Взять тебя, сделаешь два шага в гору и сипишь, как гусак, а бывало...

«Пошел ты к черту! — закипаю я про себя.— Я академик, можно сказать, пожизненно бессмертный, а ты меня гусаком! Понимаешь, с кем говоришь?»

Поколебал кум мой культ личности, хуже быть не может, и в ту же минуту как по волшебству ожил мир моего детства. Пустился я гонять по школьному двору с ватагой своих давних приятелей: Раиличами, Новаковичами, Десницами, Дамьяновичами, Рашетами, Кечеями, Джюкичами, Угреновичами, Якшичами, Джюками, Будимирами, Стоисавлевичами, Бабичами, Угарчинами... Ух, брат, вот чертенята были! Озорники, певуны, забияки, упрямцы, прогульщики, второгодники... Кто бы мог подумать, что придет час, и именно они будут погибать как пулеметчики и гранатометчики. Посмотри-ка только на моего соседа (не надо его тут называть по имени!), как он торжественно приосанился в камне, будто никогда не лазил со мною по огородам Мичи Петровича...

Кому-то из сельчан пришло в голову высадить тополя вокруг двора. Кто бы он ни был, доброе дело сотворил. За несколько лет тополя поднялись над школьной кровлей, но остались стройными и гибкими — истинный прообраз юной весны, устремленной в чистое небо.

Появились двое молодых учителей и повели меня в класс, где стоит парта, за которой я когда-то сидел. Одну ее и сохранили, остальные давно сгнили и развалились.

— Вот видите, вырезаны ваши инициалы: «Б. Ч.»...

Расшатанная еловая парта вся изукрашена ножичками. И правда, отчетливо видно «Б. Ч.», кажется, точно, моя работа. Был у меня отличный ножичек в деревянном красном футляре, самый лучший на свете. Им я чинил карандаши, вырезал палки, выделывал свистульки, сверлил дудки, оборонялся от нападавших и, разумеется озабоченный проблемой бессмертия, вырезал на скамье свое имя.

— Послушайте, ребята, а сейчас эта парта не служит вам «ослиной скамьей»? У нас без этого не обходилось...

Парни хохочут от всего сердца и спешат увести меня в школьную библиотеку.

— Вот книги, что вы нам посылаете...

Книги!

Словно все мое школьное детство, зачарованное и восторженное, склонилось над этими истрепанными и запачканными книжками, лежащими на столе. Богатый, неведомый мир, без границ и пределов, увлекал и звал в свои колдовские дали: пошли, мальчуган!

Как отчетливо помню я каждую книжку, редкую и драгоценную, которая когда-то в этой самой школе попадала мне в руки! То были отрывки из «Дон Кихота» и биографии Сервантеса, до смерти печальные рассказы Оскара Уайльда и народные песни — «По диким степям Забайкалья»... Волнующий, увлекательный и прекрасный мир этих книг стал частью моего собственного мира, обогатил меня на всю жизнь. Я забыл, что обо всем этом я только читал. Нет, я все это пережил на самом деле, слышал это и видел.

Спустя много лет мне вновь довелось столкнуться с тем же: я пролетал над зеленой бескрайней сибирской тайгой, бродил в промозглом тумане по лондонским площадям, жарился в угрюмом безмолвии обожженных солнцем испанских гор, но... в детстве, читая книги, я все это пережил полнее и ярче.

Я перекладываю на столе книги, разлохмаченные, истрепанные, засаленные, порванные, протертые, поблекшие,— красота небывалая! Ведь они переходили из рук в руки, их читали, листали, рассматривали — словом, они жили достойной жизнью, «на всю катушку»! Кое-какие, глядишь, и овечка пожевала, пока усердный читатель, ее хозяин, пытался справиться с двумя делами: со своим стадом и обязательным чтением по школьной программе.

Ничего нет прекраснее книги, которую читали и зачитывали и которая прожила свой короткий век, переходя из рук в руки и незаметно умирая, как воин, не покидавший седла.

И вновь я вспоминаю имена бойцов на мемориальной плите в школьном дворе. Вспоминаю жаркие дни восстания, когда в перерывах между боями мы учили неграмотных бойцов читать.

У нас не было ни букварей, ни иных подходящих пособий, поэтому годилась первая попавшаяся книга. Нередко это было «Явление пресвятой богородицы» или «Чудеса святого Сисоя», и пока выучишь бойца чтению, глядишь, он уже поверил во все эти небылицы и выдумки. Ничего не остается, как тут же начинать антирелигиозную пропаганду, доказывать парню, что все это ерунда и пустое вранье.

— Зачем же ты мне это давал читать? — удивляется он.

— Не было книги получше,— оправдывается учитель.— Главное читать выучиться.

— Спасибо, только из-за такой чепухи не стоило и стараться,— бурчит ученик.

Еще хуже бывало, когда приходилось учить грамоте по вражеской листовке. Упрется тут парень как осел и ни шагу.

— Пускай это твой дед читает, а я не хочу...

Молодой учитель вновь вывел меня из размышлений:

— Придет подарок, посылка с книгами, а почта далеко, в десяти километрах, транспорта нет, вот мы вдвоем, как самые молодые из учителей, получим посылку, привяжем ее к жерди, жердь на плечи

и пешком обратно. По дороге и песню споешь, и анекдот расскажешь, и в грязи искупаешься, кое-как живым добредешь до школы...

— Десять километров?

— Если б хоть дорога хорошая была, а то колдобина на колдобине, из одной в другую перекатываешься, сам знаешь...

«Знаю, знаю»,— говорю я про себя, хотя впервые слышу о том, что учителя из моего родного края и по десять километров на собственных плечах несут посылки с книгами для своих учеников. Да еще и анекдоты путем-дорогой рассказывают...

Что же, такие воспитатели могут каждый день проходить мимо мемориального памятника во дворе своей школы с высоко поднятой головой.

■

РОМАНЕНКО АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ (род. в 1932 г.)

Советский литературовед и переводчик, славист. Переводит с сербскохорватского и словенского. В его переводе в «Иностранной литературе» печатались рассказы и очерки Иво Андрича (1972, № 10, 1975, № 11, 1984, № 10), повесть Меши Селимовича «Чужая земля», Цирила Космача «Баллада о трубе и облаке», Нады Крайгер «Terminus».

В его переводе выходили также романы Ивана Супека «Еретик», Франа Финжгара «Солнце свободы», книга Иво Андрича «...Человеку и человечеству» и др. произведения современных писателей Югославии.

ЮРИЙ БРЕЗАН

Каменотес и граф

РАССКАЗ

Перевод с немецкого Н. ЛИТВИНЕЦ

Неба не было. Мутноватый, рассеянный дневной свет исходил, казалось, из пустоты. И туда же, в пустоту, уставился своими зелеными болотными глазами господский пруд, из которого давно уже выловили всю рыбу. В парке на одном из платанов с облетевшей листвой расположился на отдых отряд ворон. Над плоскими черепичными кровлями деревеньки поднимался легкий обеденный дымок. Какая-то женщина тянула за собой ручную тележку с последними остатками выращенной на болоте свеклы. Сверху восседал ребенок, завернутый в попону из коровьей шкуры. Со двора, оттуда, где стояли двое мужчин, казалось, что на женщине, да и на ее тележке тоже, висят старые лохмотья.

Оба мужчины были горбаты, у одного горб был справа, у другого — во всю спину; вот уже четыре года благословляли они за это судьбу, поскольку для горбатых не были предусмотрены обелиски с надписью «Павшим на поле боя».

Крестьянин, у которого горб был справа, уже извлек из этого обстоятельства для себя немало, другой же, начальник местного почтового отделения, как раз намеревался не упустить свой шанс. Минут пять назад у него на почте телеграфный аппарат отстучал важное сообщение, и теперь уже сам начальник почтового отделения отстукивал его здесь, на широком мощеном дворе, где никто не мог его слышать, кроме горбатого крестьянина:

«В Берлине революция. Как в России. Наш граф пока ничего не знает. Я сейчас иду к нему сообщить эту новость. Ты приносишь монеты. И петух три раза не кукарекнет, а половина этой старой графской усадьбы будет уже твоей. Мне один процент».

Но граф уехал еще до того, как петух кукарекнул хотя бы раз. Он уехал в Берлин, прихватив с собой шофера, денщика, оружие и патроны. Не для того, разумеется, чтобы спасать династию Гогенцоллернов, родословное древо которых насчитывало значительно меньше поколений, чем его собственное. У графа были цели гораздо более возвышенные, а точнее, конкретные. Ведь что ни говори, а своя рубашка ближе к телу.

© Jurij Brězan, 1979.

ЮРИЙ БРЕЗАН — JURIJ BRĚZAN (род. в 1916 г.)

Лужицкий и немецкий писатель (ГДР), трижды лауреат Национальной премии ГДР. Автор романов, рассказов, стихов, пьес для театра и телевидения, книг для детей. В русском переводе вышел роман «Крабат, или Преображение мира», в «Иностранной литературе» напечатаны роман «Портрет отца» (1984, № 9), повесть «История одной любви» (1963, № 9), рассказ «Впечатления» (1974, № 10).

Рассказ «Каменотес и граф» взят из сборника «Свадебный убор» («Der Brautschmuck und andere Geschichten». Berlin, Neues Leben Verlag, 1979).

Вечером того же дня служитель магистрата привез в деревню распоряжение:

«В Берлине революция. Бургомистр не допустит ничего подобного в деревне. Возвращающиеся с фронта солдаты обязаны в интересах поддержания порядка немедленно зарегистрироваться и сдать оружие».

Первый солдат появился в деревне ближе к ночи. С собой у него была винтовка и двадцать патронов. Он сказал, что сейчас революция, припрятал винтовку с патронами так, чтоб в случае чего они были под рукой, и спросил у жены, засеяны ли озимые. Ночью возвратились еще семнадцать солдат. Утром десятого ноября в деревне насчитывалось с дюжину винтовок и чуть более двухсот патронов. Ни одна винтовка не подозревала о существовании остальных.

Утром все крестьяне собрались в трактире и подвели общий итог войне — четыре убитых года и двадцать девять убитых мужчин.

Потом они пересчитали присутствующих и обнаружили, что кроме тех, кто числился убитым, недостает еще двадцати четырех человек, тех, кто оказался в плену, пропал без вести или не успел еще добраться до дома. Один из этих двадцати четырех дрался в это время в Берлине на баррикаде. Если бы его спросили — ради чего, он бы ответил: против войны. И еще за хлеб и справедливость.

На меньшее он был не согласен.

О графе у себя в деревне он тогда не думал.

Граф же приказал своей роте взять баррикаду штурмом, а затем принял под личное командование взвод, расстреливавший уцелевших.

Человека из его деревни не было среди убитых, не было его и среди расстрелянных. Ночью его вытащили из-под обломков баррикады.

Оба они, бывший солдат и его граф, вернулись в деревню почти одновременно, только один — днем, а другой — ночью. Оба были убеждены, что оружие, которое они прихватили с собой — один на глазах у всех, другой тайно,— им вскорости пригодится.

А еще оба принесли с собой страх. Граф боялся, потому что знал: что сошло в этот раз, можно сказать, на голубом глазу, в следующий может стоить и обоих глаз. А бывший солдат боялся, потому что понял: предстоит еще немало нужды и лишений, пока борьба на баррикадах не получит иного исхода.

Четырнадцать лет прожили они бок о бок в одной деревне, граф — своей обычной графской жизнью, а бывший солдат — скудной жизнью каменотеса; с помощью избирательных бюллетеней они поигрывали в демократию, побеждали и терпели поражение на выборах: так, например, депутат каменотеса во время одной избирательной кампании собрал большинство, зато сам каменотес потерял при этом кусок хлеба.

На пятнадцатый год они потерпели поражение оба; тогда граф уединился в своем замке. Каменотес же переселился в концлагерь. С изумлением отмечал граф, как жизнь все чаще заставляла его признать правоту каменотеса, а когда — вслед за старшим — и младший его сын нашел смерть в своем бронированном гробу во время битвы на Курской дуге, он целую ночь, а может и не одну, не смыкал глаз, пытаясь понять, не предъявляет ли ему теперь тогдашняя его победа на баррикаде свой жестокий счет. Не искушенный в подобном подведении баланса, ослепший на оба глаза, этот последний представитель древнего рода не был уже в состоянии ни точно продумать свой жизненный актив и пассив, ни хотя бы отличить один от другого.

Порой в этих ночных размышлениях ему начинало казаться, будто он укрылся за баррикадой из слов — из слов, которые еще столетие назад, семь столетий назад, были такими же прочными, как дубовые панели у него в замке, а теперь вдруг, изъеденные жучком, обратились в труху. И самое странное было то, что он уже не в состоянии был определить, ради чего стрелял тогда на баррикадах. Временами ему приходила мысль: ради тех самых слов.

У каменотеса в лагере не было времени подводить жизненные итоги, все свое время он употреблял на то, чтобы бороться за жизнь — жизнь, которая начнется для него после лагеря.

В тот день, когда эта послелагерная жизнь вольной нахлынула на сторожевые вышки и взорвала массивные железные ворота, каменотес и его граф начали одновременно собираться в путь-дорогу, один — на свободу из лагеря, другой — за пределы земного существования.

Граф, хотя и был уверен, что у него нет ничего общего с побежденными, за исключением разве что той баррикады двадцать семь лет назад, считал себя тем не менее побежденным и проигравшим тоже, а поскольку себя, то, значит, и всю страну. Приложив пистолет к виску, он вдруг обрел веру в слова, бывшие столетие, даже семь столетий назад такими же прочными, как массивные дубовые панели у него в замке, слова эти вновь явили ему — а может, никогда и не теряли — свою значимость. Потому что уж совсем без всякой веры невозможно даже убить себя.

Человек из концлагеря лежал в то время на больничной койке, и его осторожно кормили с ложечки: ровно столько еды, сколько было необходимо его измученной плоти, сплошь состоявшей из кожи и костей. Он из последних сил старался вынырнуть из неопределенного сумеречного состояния, чтобы окончательно вернуться к жизни. Он совершал невероятные усилия, пытаясь представить себе свою жену, детей, которые давно уже стали взрослыми, знакомую каменоломню и товарищей в рабочей одежде.

На одиннадцатый день он уже мог сам держать в руках чашку с бульоном. А еще — додумывать до конца свои мысли. И он вспомнил: хлеба и справедливости для всех. Тут он потребовал, чтобы его немедленно отпустили домой.

■

ХАНС ВАН ОЙЕН

Цветы на могиле

РАССКАЗ

Перевод с немецкого М. ФЕДОРОВА

В эту минуту старик выходит из своей двухкомнатной квартиры на третьем этаже по Штайнштрассе, 14. Дверь за собой он закрывает рывком, так как замок уже несколько недель заедает. Конечно, он давно сообщил об этом, но когда еще придут...

Старик тщательно запирает дверь, покрепче сжимает букет и начинает спускаться по лестнице. Ноги он ставит осторожно, ибо с некоторых пор ходить ему стало трудно. Частенько, особенно на лестницах, он замечает, что ему уже не тридцать.

Ему семьдесят пять.

Суббота, два часа дня.

Каждую субботу ровно в два старик выходит из квартиры, тщательно запирает дверь, берет цветы, купленные утром на рынке, и отправляется на близлежащее кладбище.

Он медленно идет вниз по Штайнштрассе мимо других грязно-серых шахтерских домов.

— Привет, Герман. Что, опять на кладбище?

Человека, внезапно заговорившего со стариком, зовут Вальтер Кубиш. Он забойщик и член производственного совета. Живет он в соседнем доме, и старик время от времени заходит к нему, так как живо интересуется всем, что происходит на шахте, хотя сам давно уже на пенсии. Кубиш тоже иногда заходит к нему, и тогда за пивом они часами толкуют о том о сем. Старик порой и совет Кубишу даст, вполне дельный и полезный. Да и на улице они нередко разговаривали, по-соседски...

Старику нравится Кубиш, ибо напоминает ему о том времени, когда он сам возглавлял производственный совет в тяжелые послевоенные годы.

— Да, Вальтер. Нынче суббота.

Они понимают друг друга без лишних слов. Смотрят друг другу в глаза и молчат. Они давно знакомы.

— Заглянешь ко мне?— немного погодя спрашивает Кубиш, и старик кивает.

Они опять смотрят друг на друга, молодой и старик. Старик чуть заметно улыбается. Потом медленно идет дальше.

Когда умерла Кэте Затлер, ей было тридцать шесть, а она вырастила четверых детей. Руки ее огрубели от работы, волосы потеряли блеск.

© Asso Verlag, 1981.

ХАНС ВАН ОЙЕН — HANS VAN OOYEN (род. в 1954 г.)

Немецкий поэт, драматург, прозаик (ФРГ). На русском языке публикуется впервые. Предлагаемый вниманию читателей рассказ взят из сборника «Надпись на стене» («Die Schrift an der Wand». Oberhausen, Asso Verlag, Anneliese Althoff, 1981).

Когда умерла жена Германа Затлера, в Германии и во многих других странах шла война.

Когда она умерла, Германа Затлера с нею не было.

Герман Затлер подошел к входу на кладбище — к кованым, четырехметровой высоты воротам, одна створка которых всегда открыта. Он, как всегда, медлит, прежде чем ступить на гравийную дорожку, и, как всегда, вздрагивает, слыша скрип песка.

Он до сих пор еще не вполне осознал, что Кэте мертва, вот уже много лет мертва, стала землей. Узнав о ее смерти тогда, зимой сорок четвертого, он подумал, что больше ничего не будет. И заплакал, как никогда раньше не плакал, и подумал, что теперь все, конец, теперь больше ничего не будет.

Без нее ничего больше не будет, все кончено...

Но оказалось — нет, не кончено.

Когда умирала Кэте Затлер, рядом с ней не было никого, кто мог бы ей помочь.

Герман Затлер идет мимо могил. Он знал многих, очень многих, и кто похоронен здесь. Вот тут лежит Эрнст, его завалило в шахте. Здесь — Вернер, медленно истаявший от силикоза. А здесь — Элли, которая так и не вернулась от повитухи. Вот Фридрих — он был в Сталинграде и годы спустя умер от осколка, засевшего возле сердца. А это Герберт, его тоже убил уголь. Страшная тогда случилась беда. Засыпало двенадцать шахтеров, и ни одного из них спасти не удалось. Герман Затлер держал надгробную речь. А здесь...

Что это?!

Герман Затлер останавливается и остолбенело глядит на невзрачный могильный камень. Пронзительно красной краской поперек стершейся надписи выведено: *смерть евреям*.

Пронзительно красной краской.

Это могила Авраама Гольдмана.

Пронзительно красная надпись.

Цветы падают наземь. Этого не может быть!— кричит все в нем. Не может быть! Ты бредишь!

Он закрывает глаза, и все вокруг него кружится.

Авраам Гольдман держал лавку на Аннаштрассе, мелочную лавчонку, где можно было купить все — от шнурков для ботинок до копии греческой статуи. Авраам Гольдман был маленький и тщедушный, но в поселке его уважали.

А потом — задолго до прихода нацистов к власти — в витрину однажды полетели камни, а несколько дней спустя дети нашли его труп, страшно изуродованный. Убийцы нацепили ему на шею картонную табличку. Табличка была вымазана кровью, и на ней красными буквами стояло: *смерть евреям*. Лавку разграбили, разорили в пух и прах.

Глаза Германа через силу открываются. Не может быть...

Смерть!— кричит надпись.

Этого не может быть!— молотом стучит в его мозгу.

Он отворачивается. Перед глазами пляшет пронзительно красная надпись. *Смерть*...

Прочь!— стучит в мозгу.

Герман не смотрит по сторонам. Он вообще никуда не смотрит. Глаза его открыты, но он ничего не видит. Все расплывается. Кладбище розовое... красное... пронзительно красное...

Цветы, вспоминает он и, тяжело дыша, останавливается. Цветы так и лежат у могилы Авраама Гольдмана, убитого нацистами...

— Успокойся!— громко говорит он.— Успокойся же!

Смерть!— бьется сердце.

Он глубоко вздыхает. Призрак, думает он. Призрак из другого времени. Страшного времени, которое давно миновало. Он постепенно успокаивается.

Когда старик подходит к могиле Кэте, пульс у него снова в норме и дышит он глубоко и ровно.

Глаза тебя обманули, говорит он себе. Что ж, они старые, им простительно.

Он решает вернуться за цветами.

Я же всегда украшал цветами могилу Кэте. И сегодня не должно быть иначе. Говоря это самому себе, он хочет повернуть обратно, пойти за цветами, и тут его взгляд падает на могилу Кэте.

Пронзительно красная надпись... Надпись на надгробии Кэте. Через весь камень пронзительно красная надпись: *красных девок в газовую камеру!*

Красных девок... в газовую камеру...

Когда Герман вновь открывает глаза, он видит белое небо. У Германа слабое сердце, и пульс стучит как бешеный.

Он не знает, сколько времени пролежал на дорожке. Смотрит в белое небо. Там пляшут красные пятна. Пляшут пятна краски, пронзительно красные. Пляшут обрывки слов... *в газ... девок... красных...*

Пятна краски пляшут.

Надпись исчезает и снова появляется, отчетливая, яркая. Только одна фраза на небе, на снежно-белом небе: *красных девок в газ!*

И в голове у Германа все стучит: *газ... газ...*

Герман чувствует, как его захлестывает холод.

Руки дрожат. Ему необходимо подняться.

Надпись пляшет на белом небе.

Слова расплываются.

Небо красное, пронзительно красное, красное как кровь...

С трудом Герман поднимается. Все красное: небо, трава, могилы...

Колени дрожат.

Герман наклоняется к могиле жены.

Кончики пальцев осторожно скользят по краске, точно он боится запачкать руки, но красная краска суха.

Пальцы скользят по контурам букв.

Это правда, говорят кончики пальцев.

Не может быть!— кричит в нем все.

Но это так, говорят кончики пальцев.

Вот так же все начиналось — тогда.

Стены, размалеванные кричащими погромными лозунгами. Выбитые окна. Разоренные кладбища. Потом дети нашли труп торговца, которого сначала избили, а потом перерезали горло...

Все начиналось с размалеванных стен. С кричащих погромных лозунгов. С выбитых окон. С разоренных кладбищ. Так все начиналось — тогда.

И теперь начинается снова?

Герман читал в газетах, что сейчас вновь происходит такое — вновь разоряют кладбища, вновь малюют погромные лозунги. Читал и не верил.

Он читал, что полиция охраняет нацистские сборища. Что блюстители порядка избивают демонстрантов, вышедших на улицы в знак протеста против коричневого террора. Читал, что процессы против нацистских убийц намеренно затягиваются. Что кровавые палачи, творившие чудовищные преступления, в концлагерях, остаются безнаказанными, если вообще попадают под суд. Читал, что офицеры бундесвера приходят на встречи нацистских союзов даже в форме. Читал, что до зубов вооруженные неонацисты проводят в лесах боевые учения.

Он про все это читал, про это и многое другое, но по-настоящему не верил. Газетчики преувеличивают, думал он. Те времена прошли раз и навсегда.

Но газетчики не преувеличивали.

Это существует.

Сегодня, сейчас.

В нашей стране.

Вновь существует.

Начиналось все с размалеванных стен. С погромных лозунгов кричащими буквами. С выбитых окон. С разоренных кладбищ. А кончилось все Дахау, Треблинкой, Освенцимом, Заксенхаузеном, Бухенвальдом...

Герман был в Бухенвальде. Двенадцать лет.

Начиналось все с кричащих надписей.

А кончилось братскими могилами.

Герман трет надпись, будто желая оттереть краску. Но ее не оттрешь. Краска застыла, пронзительно красная. Ее не оттрешь.

Когда они пришли за Германом, их власти было ровно восемь часов. Они ворвались в квартиру с пистолетами в руках. Выволокли его на улицу и пинками затолкали в машину. У них была власть, и они пользовались ею без пощады. Началось все с выбитых окон, а кончилось Бухенвальдом...

— И они снова употребят ее, власть, если мы им позволим,— громко говорит Герман.

Они снова вернутся и станут хватать людей: евреев и турок за их происхождение, проституток — за их профессию, священников — за их веру, цыган — за их образ жизни, коммунистов — за то, что борются против них, социал-демократов — если те будут бороться, членов профсоюза, рабочих, мужчин, женщин, детей...

Они снова начнут нас хватать, если еще раз получат власть.

Они снова начнут нас хватать, и миллионы одних погибнут в концлагерях, а миллионы других — в окопах, а женщин они заставят делать гранаты и бомбы. И они снова начнут войну против всех людей, против собственного народа, и в кассах снова зазвенят монеты, в кассах фабрикантов оружия...

Меня они схватили, потому что я выступал против фашизма, против эксплуатации и войны, против того, чтоб забирали людей и выбивали детям зубы,— схватили, потому что я был за мир.

Поводов схватить кого-нибудь всегда предостаточно. Для каждого найдутся. Для каждого.

Неделю спустя субботним утром Герман стоит на рыночной площади с букетом цветов под мышкой, ибо в два нужно идти на могилу Кэте. Поэтому он снова купил цветы.

В правой руке он держит пачку бумаги. Ему отпечатали пятьсот листовок. Их он и раздает теперь на рыночной площади.

В листовках написано, как это начинается и чем кончается.

Его друг, тот самый Вальтер Кубиш, спрашивает:

— Зачем ты это делаешь? Тебе не кажется, что ты для этого староват?

А Герман отвечает:

— Знаешь, Вальтер, это из-за Кэте. Я ухаживаю за ее могилой больше тридцати лет. Нельзя, чтоб она умерла напрасно.

— По-твоему, от этих бумажек будет прок?— спрашивает Вальтер.

— Если каждый, кто это пережил, раздаст такую вот пачку листовок, выйдет изрядная гора,— отвечает он.— Каждый должен сделать все, что в его силах.

■

АЛЬБЕРТ МАЛЬЦ

Однажды в январе

ПОВЕСТЬ

Перевод с английского С. МИТИНОЙ

Глава первая

ПОБЕГ

1

В день двадцатишестилетия Клер в пять часов утра верная подруга Лини обняла ее и преподнесла ей купленный дорогой ценой подарок: два сладких печенья и башмаки. Зная, чем за них заплачено, Клер не смогла удержать слезы. И теперь, восемь часов спустя, она жевала печенье, с тяжелым предчувствием разглядывая башмаки: надо их снять во что бы то ни стало, но даже подумать об этом страшно.

2

Давным-давно, лет сто тому назад, в совсем другой жизни, человек, который потом стал мужем Клер, написал ей шутливое послание, где посмеивался над ее пристрастием к высоким каблукам. И сейчас о письме его ей думалось как о чем-то далеком, туманном, но в памяти оно всплывало не отрывками, а целиком, словно бы его повторял тихий голос, поднимающийся откуда-то из глубин ее существа:

«Портрет Клер (для грядущих поколений)

Она красива — той красотой, что не терпит ухищрений косметики. Длинные шелковистые волосы цвета пшеницы причесывает просто, без затей, закручивая их низким узлом на затылке; они легкие, словно пух, прядки их то и дело выбиваются из прически на лбу и на висках, и небольшой этот беспорядок очарователен. Кожа у нее очень

АЛЬБЕРТ МАЛЬЦ — ALBERT MALTZ (род. в 1908 г.)

Американский романист, новеллист, драматург. Сборник его новелл «Такова жизнь» («The Way Things Are», 1938) был удостоен премии О. Генри. Автор романов «Глубинный источник» («The Underground Stream», 1940; русский перевод — 1949), «Крест и стрела» («The Cross and the Arrow», 1944; русский перевод—1961), «Путешествие Саймона Маккивера» («The Journey of Simon McKeever», 1949), «Длинный день в короткой жизни» («A Long Day in a Short Life», 1957; русский перевод — 1958). Ему принадлежит также сборник эссе «Писатель-гражданин. В защиту американской культуры» («The Citizen-Writer. Essays in Defence of American Culture», 1950). Многие рассказы А. Мальца публиковались по-русски отдельными изданиями и в периодике, в том числе в «Иностранной литературе». Перевод повести «Однажды в январе» выполнен по изданию книги, вышедшей в 1966 г. («A Tale of One January». London, Calder and Boyars).

светлая, а рот и щеки такие яркие, что, вздумай она их подкрашивать, они прямо-таки пламенели бы, и это бы ее, безусловно, простило, но она благоразумно избегает косметики. Черты лица у нее почти классические — впрочем, благодарение богу, все-таки не совсем: тонкий овал лица, высокий лоб, необычайно живые синие глаза, небольшой, красиво очерченный рот (как пылки и сладостно-нежны его поцелуи!), а вот нос — отмечу не без удовольствия — немножечко длинноват для классического, и к тому же кончик его чуть вздернут.

Наделив мадемуазель Оливье столь плебейским носиком, природа оказала ей неоценимую услугу: с юных лет Клер привыкла к мысли, что она не красавица, а разве что недурна собой. И это спасло ее от падения в холодную яму кичливого самолюбования — обычного удела красивых женщин. Она не из тех, кто минуты не может прожить без зеркала; не питает она пристрастия и к тем жестам и позам, к которым так склонны женщины, сознающие свою красоту; вот потому-то ей удалось всесторонне развить свой интеллект... а благодаря этому стать обаятельнейшей женщиной, непосредственной и пылкой, содержательной и полной жизни.

Фигура у нее великолепная — во всяком случае, насколько об этом может судить человек, которому еще не дано было узреть ее обнаженной: маленькая соблазнительная грудь, плоский живот, тонкая талия, округлые бедра и длинные, изумительной красоты ноги.

И вот у этой-то Клер, такой трогательно-непосредственной, пленительно-женственной, очаровательной, обожаемой мною, есть — увы! — серьезный моральный изъян. Она испытывает неодолимую тягу — только не к вину, не к наркотикам, не к флирту и не к чужой собственности, а к чему-то не столь пагубному, но как-то более outré[1]: к туфлям на высоченном каблуке, которые она имеет обыкновение надевать во всех случаях жизни. Например, затеваем мы пикник в Булонском лесу, и Клер надевает эти ужасные ходули — пусть даже она потом их сбросит, чтобы побегать по траве; но как бы то ни было явится она в них. Ни босоножек, ни туфель для улицы у нее нет, и я не сомневаюсь, что и на лыжах она катается в туфлях на каблуке. Я слишком влюблен, чтобы считать это ее пристрастие манией или фетишизмом, но хотелось бы знать, как расценил бы его человек более объективный, чем я?

Душу мою беспрестанно точит червь сомнения: когда придет долгожданный, несказанно счастливый миг и она станет совсем моей; когда, трепеща от радости, я увижу ее, мою красу, обнаженной, распростертой на священном брачном ложе... Неужели... Неужели же и тогда на ней будут эти дурацкие ходули?

Пьер Барбантан»

В ответ Клер написала ему: «Дражайший Пьер... Так скоро вам это выяснить не удастся».

3

Вот уже сколько времени Клер и думать забыла о туфлях на каблуке, как забыла о многом другом, что было таким обычным в ее прежней жизни, скажем, о том, чтобы причесываться, ежедневно принимать ванну, прикладывать к шее пробочку от пузырька с одеколоном, читать книги, любить мужа... От прежней Клер только и осталось что синие глаза да красиво очерченный рот — единственное, чего так и не смог обезобразить голод. С обритой головой, повязанной сейчас платочком, она напоминала изголодавшегося мальчика: огромные глаза над ввалившимися, как у мертвеца, щеками, хрящеватый вытянувшийся нос, мертвенно-бледная кожа. Тело ее под полосатой лагерной одеждой потеряло свою женскую прелесть, руки и ноги превра-

[1] Здесь: бросающемуся в глаза *(франц.)*.

тились в палочки, шея стала жилистой, ребра выпирали, от груди остались лишь соски. В этот день, восемнадцатого января сорок пятого года — по иронии судьбы то был день ее рождения,— Клер впервые очутилась за воротами лагеря, но не по собственной воле: она шла в бесконечной колонне таких же изможденных, оборванных женщин, что брели, спотыкаясь, сквозь метель, не зная даже, куда их гонят. По временам до них доносился отдаленный гул русской артиллерии. И сколько их молилось о чуде, о внезапном спасении, вновь и вновь представляя себе в мечтах, как оно придет. Но оно не приходило, и в действительной жизни все было совсем по-другому: по обеим сторонам колонны через каждые пять рядов шагает конвоир — здоровенный, раскормленный солдат вермахта с раскормленной рычащей сторожевой собакой, команды его отрывисты, подсумок полон. И когда какая-нибудь из женщин, обессилев, падает на колени в снег, он молча берет ее на мушку.

Прошло лишь несколько минут с тех пор, как этап, с которым шла Клер, загнали в сарай — на кратковременный отдых. Был час дня. С семи утра колонна прошла двадцать два километра. Ее подруга Лини, как и все остальные, завернулась в тонкое заледеневшее одеяло, закрыла глаза и мгновенно уснула... Впрочем, нет, прежде чем уснуть, она все-таки успела засунуть под рубашку свою пайку и для верности зажать ее между ног. И теперь, сидя рядом с нею, Клер изо всех сил боролась со сном. Веки словно налились свинцом, усталость дурманом разливалась по жилам. Но Клер понимала: прежде чем их погонят дальше, надо во что бы то ни стало растереть ноги — массировать до тех пор, пока чувствительность не возвратится.

Новые башмаки, которым Клер так обрадовалась утром (старые развалились вконец), были попросту деревянные колодки с брезентовым верхом, и теперь брезент обледенел, стал жестким, как железо. Сперва башмаки спадали с ног, а сейчас так стискивали пальцы, что с первой довольно слабой попытки сбросить их не удалось. Чтобы хоть как-то подкрепиться, Клер сжевала два печенья и сделала вторую попытку: ухватилась обеими руками за левый башмак и принялась отдирать его — все равно нога не чувствовала боли. Дважды она делала передышку, чтобы собрать жалкие остатки сил; но вот ледяная колодка отделилась от окоченевшей пятки, и Клер вцепилась в носок башмака — тянула, тянула, покуда нога наконец не высвободилась.

С ужасом оглядела она распухшие, словно чужие, пальцы, отекшую, бескровную, посеревшую стопу. Смертельный страх ужалил ее в сердце: ей сразу стало ясно, что несколько минут или даже полчаса массажа ничего не дадут. Она знала, как выглядят обмороженные ноги, и понимала, что далеко ей не уйти. Так что когда конвоиры выкрикнут: «Los! Ausgehen!»[1] — незачем и вставать: лучше пусть ее пристрелят здесь, в сарае, чем час спустя, когда она, выбившись из сил, упадет на дорогу.

За двадцать три месяца в Освенциме Клер перевидала слишком много смертей, чтобы теперь, когда, быть может, пришел и ее черед, почувствовать удивление. Муку, страх — да, но только не удивление и даже не отчаяние. Для отчаяния пока рано, оно придет, когда на нее будет наведено дуло автомата. Безотчетно, еще не приняв никакого решения, она тут же сосредоточилась на мысли о побеге. С пяток конвоиров вместе со своими собаками расположились у двери в противоположном конце сарая. А нет ли здесь другого выхода? Она торопливо оглядела сарай в бледном свете зимнего дня — нет, как будто нету. В низкой крыше — ни единого просвета, в стенах — ни единого оконца. Что же еще придумать? Неужели все? Неужели конец?

И тут ее осенило: когда их загнали в сарай, ей пришлось взобраться на высокий ворох сена. Пола не было видно, только сено. Ско-

[1] Давай-давай! Выходить! *(нем.)*

тины нет, значит, здесь просто сеновал, но почему же тогда крыша такая низкая? Может быть, сарай наполовину ушел в землю?

В тот же миг, преодолев усилием воли смертельную усталость, Клер перекатилась на живот и, став на колени, принялась лихорадочно разгребать сено обеими руками. Уложено оно было в натруску, не утоптано, и за несколько секунд она прорыла нору, куда рука ее ушла по плечо. Тихо охнув, она приподнялась с колен и стала тормошить подругу.

— Проснись,— настойчиво зашептала она по-немецки.

Лини заворчала во сне и вытянула было руку, чтобы оттолкнуть Клер, но вдруг села рывком.

— Что, уже идти?

— Нет еще,— прошептала Клер.— Слушай... Я отморозила ноги... Больше идти не могу, но...

— Что ты такое говоришь? — перебила ее Лини сиплым шепотом.— Ты *должна* идти! Ты же знаешь — я рядом.

— Не могу, мне конец — смотри!

Неимоверным усилием Клер перевернулась на спину и вытянула босую ногу. Лини взглянула на нее, тут же ухватилась за правый башмак, с трудом стянула его. Потом испуганно посмотрела на подругу.

— Еще час ходьбы,— быстро проговорила Клер,— и мне конец. Но, по-моему, здесь можно спрятаться.

— Спрятаться? Где?

Клер показала на вырытую в сене нору.

— Сено не утоптано. Его много — думаю, можно зарыться с головой.

— Что они, дураки, что ли? Станут искать и найдут.

— Нас не пересчитывали, когда загоняли сюда. С чего же они вдруг хватятся? Нас тут человек двести.

— Станут тыкать в сено штыками.

— Но если зарыться поглубже...

— Все равно собаки учуют.

— В сене собаки учуять не могут.

— С чего ты взяла?

— Потом скажу, сама знаешь, я зря говорить не стану. Так что решай, как ты. А для меня это единственная возможность... Ну?

Мгновение Лини, кусая губы, смотрела на Клер с острой мукой в глазах; скуластое, исхудавшее лицо ее застыло в нерешимости. Потом она метнула взгляд на дверь, где, отделенные от них полутемным провалом, виднелись фигуры конвоиров. И сдавленным шепотом выдохнула:

— Мы так давно вместе, не могу я тебя бросить.— То не было обдуманное решение, скорее душевный порыв, и обе это понимали. Лини отшвырнула одеяло, торопливо зашептала: — Чтобы нас не нашли, надо зарыться поглубже, но тогда дышать будет нечем.

— Сено уложено неплотно; думаю, воздух проходит — попробуем.

— Давай я первая. Постараюсь уйти поглубже — покуда воздуха хватит.

И Лини встала на четвереньки. Крутобедрая, по-крестьянски ширококостная, она была в куда лучшем состоянии, чем Клер, хоть и потеряла фунтов двадцать. Она сунула голову в лаз и принялась торопливо раскидывать сено, зарываясь в него все глубже, словно крот в рыхлую землю. Несколько секунд — и она ушла в сено по грудь. Клер бросила быстрый взгляд сперва на конвоиров, затем на расположившуюся неподалеку женщину — та, приподнявшись, смотрела на них во все глаза. Теперь из сена торчали только ноги Лини.

— Ш-ш-ш,— бросила Клер наблюдавшей за ними женщине и предостерегающе прижала палец к губам. Женщина безучастно на нее поглядела.

«Merde!» — мысленно выругалась Клер и, сунув голову в лаз, стала в него заползать.

Лаз круто шел книзу. Клер ползла за башмаками Лини, держась сантиметрах в десяти: ужас и надежда перемешались в душе. Будут ли башмаки двигаться и дальше? В нос и в открытый рот сыпалась труха, сено смыкалось над ее босыми ногами, в голове бухало, но Клер почти не замечала этого. Энергично работая руками, она уходила все глубже и глубже, сумрак вокруг нее сгущался, но дышать было можно, и Клер затрясло от радости. Глубоко ли они зарылись? Трудно сказать. Вдруг она уперлась лбом в подошву башмака. Почему Лини остановилась? Но тут башмак снова медленно двинулся вперед, и Клер поползла вслед, стараясь не отрываться и лишь смутно различая его. До нее вдруг дошло, что теперь они ползут не вниз, а вверх. Но почему? Медленно, медленно вверх — остановка, снова вверх — стоп. Клер поняла: это для того, чтобы можно было лечь плашмя. Но почему все-таки Лини не ушла глубже? Протянув руку, она ухватила Лини за лодыжку. И словно в ответ башмаки повернули куда-то вбок. Клер поползла было за ними, но потом сообразила: Лини поворачивает. Клер замерла, вытянув руки, словно щупальца. Секунда-другая — и рука Лини, чуть коснувшись вытянутых пальцев Клер и проскользнув было мимо, вернулась и сжала их. И вот уже тенью надвинулось ее лицо. Лини нащупала ухо Клер, прижалась к нему ртом, зашептала:

— Глубже... не могу... дышать... нечем.

— А мы и так довольно глубоко,— взволнованно ответила Клер.— Темень такая, я еле тебя вижу.

— Господи боже мой,— пробормотала Лини,— неужели спасены? Они умолкли, обеих била дрожь. Вдруг Лини прошептала: — А откуда ты знаешь про собак?

— Что знаю?

— Ну что они ничего не могут учуять в сене?

— Мне дедушка говорил, у него были охотничьи собаки.

— Да ведь это полицейские овчарки — может, у них нюх острее?

— Ну что ты! Дедушкины собаки брали кроличий след даже через несколько дней, а в стоге сена не могли крысы учуять. Так он мне говорил.

— Хорошо бы,— пробормотала Лини.— Господи, до чего страшно, меня всю трясет.— Она прокашлялась.— От пыли в глотке пересохло.

— Молчи,— Клер потянулась к ней, и они схватились за руки. Теперь беглянки лежали на боку, глядя друг другу в глаза и целиком обратившись в слух. А время ползло. Сколько же это прошло — пятнадцать минут, полчаса или больше? И вот страшный роковой миг — пронзительные свистки, отрывистые выкрики конвоиров:

— *Выходи! А ну живо! Строиться!*

Они оцепенели. И вдруг Лини стал бить кашель. Клер рывком высвободила руку, зажала ей рот. Все ближе резкие выкрики конвоиров и лай овчарок, все слышней шуршание сена под множеством ног.

— *Выходи! Живо!* — И наконец, голос прямо над ними:— *Если которая-нибудь из вас, подлюг, спряталась в сене — выходи, не тронем. Но если кто вздумает остаться, найдем и застрелим на месте!*

Дрожа от страха, ждали они удара штыком, вспышки света, наведенного сверху дула. Грубый голос выкрикнул ту же угрозу, но уже в другом конце сарая. Сено все шуршало, похрустывало... Вдруг шорохи разом стихли — только лай собак да тяжелые шаги конвоиров: взад-вперед, взад-вперед. И вот пронзительные свистки зазвучали уже за стенами сарая — значит, заключенных выстраивают в колонну. А потом и лай стал доноситься снаружи... Беглянки остались одни в наступившей внезапно тишине.

Лини больше не кашляла, и Клер сняла руку с ее рта. Они лежали неподвижно, взмокнув от напряжения, тяжело дыша. Наконец отрывистые команды конвоиров на марш и скрип смерзшегося снега под сотнями ног.

— О господи,— прошептала Лини.— Удалось-таки. Сбежали.

— Да, да, да, удалось! — всхлипнула Клер.

— Мы сбежали,— удивленно повторила Лини,— сбежали.

С радостным волнением они прислушались. Невдалеке хлопнул выстрел. Обе вздрогнули, потом Клер сказала:

— Это в меня. Это я убита.

Их вдруг стал душить смех, тот исступленно-радостный смех с острым привкусом горечи, что ведом лишь людям, которые жили бок о бок со смертью. Вконец обессилев от смеха, они лежали неподвижно, впитывая тишину,— она была словно нектар для их пересохших глоток. Прошло немного времени, и топот удаляющейся колонны стал затихать.

— Мы могли оказаться в другой колонне,— едва слышно сказала Клер.— В той, что отдыхала у дороги. А нас загнали в сарай. И как это нам так повезло?

— «Как это, как это...» — ласковым шепотом передразнила ее Лини.— Ты и тут себе верна — вечно ищешь философию там, где ее в помине нет. Как это ты не померла от тифа? Как это нас обеих не расстреляли в Тулузе? — Потом, после короткого молчания: — Подумала бы лучше, что нам теперь предпринять.

— Не знаю,— растерянно пробормотала Клер.— Я вообще больше не могу думать. Мне надо поспать. Я совсем выдохлась.

— Ой, пайку-то я оставила! — всполошилась Лини.— Что я наделала! Пропал мой хлебушек.

Но Клер не ответила — она уже забылась тяжелым, болезненным сном. Лини прокашлялась. Последнее, что она услышала, был отдаленный выстрел.

4

В тяжелом кошмаре Лини привиделось: она прячется в каком-то ящике, и ей невыносимо душно, а разъяренные овчарки шныряют вокруг, ищут ее. Внезапно она проснулась — в сарай входила новая партия заключенных. Клер похрапывала во сне. Лини осторожно потормошила ее, зашептала в ухо:

— Тише, тише, тише...

— А? Что?— Язык у Клер заплетался.

— Еще этап! Проснись!

— Я не сплю.

Они прислушались: усталые мужские голоса, разноязыкая ругань, шорох сена под телами измученных людей. На этот раз конвоиры выкрикивали свои угрозы не перед уходом, а заранее:

— Если какая-нибудь сволочь вздумает спрятаться, застрелим на месте! Только сперва проткнем задницу штыком. Вам от нас не уйти. Не надейтесь!

Дурнотный страх отравой растекся по жилам обеих женщин. В первый раз их не нашли, но теперь конвоиры могут оказаться дотошней. Лини зашлась в сухом кашле и испуганно зажала рот обеими руками. Время ползло бесконечно, все туже завинчивая их в тиски тревоги. Вдруг где-то над ними захрустело сено. Все ближе, ближе... Они сжались, словно два морских зверька, для которых единственный способ самозащиты — уйти в облюбованную расщелину в скале. Вдруг в их нору просунулась мужская голова и с маху угодила Лини в плечо. Сдавленный вскрик Лини... Испуганная брань мужчины... А потом они опознали друг в друге заключенных. Даже в полумраке женщины

заметили, что голова мужчины, очутившаяся почти у самых их глаз, обрита, а он различил на них платки, какие носили узницы концлагеря.

— Вы что здесь делаете? — прошептал он по-немецки.

— Прячемся,— так же шепотом ответила Лини.

— Вот и я хочу.

— Давай. Только бога ради подальше от нас.

— Идет. Ну пока.— Он пополз было в сторону, но потом снова просунул голову к ним в нору: — Не волнуйтесь, наш этап последний. Я организовал бутылку коньяку!

И, углубившись в сено, он исчез из виду, на сей раз окончательно.

— Господи боже мой! — прошептала Лини.— У меня сердце зашлось.

— Нет, это здорово! Мужчина лучше нас с тобой сообразит, что делать.

На душе у них стало немного легче. Вот и мужчина этот тоже решил, что в сене вполне можно спрятаться. И уж если он умудрился вынести из Освенцима бутылку коньяку, значит, он лагерник бывалый, нюхом чует, как верней спастись.

— Давно уже они здесь? — спросила Клер.

— Минут двадцать...

— Мне показалось — дольше.

— Ну как ты?

— Ох, устала! Могла б целую вечность проспать.

— А долго мы спали?

— Думаю, несколько часов.

— Пить до чего хочется.

— Мне тоже. И есть.

— Это надо же, забыть пайку — вот дурость!

— Зато мы живы. Даже со своей пайкой долго ты еще смогла бы идти?

— Не знаю.

И тут Клер на мгновение дала волю фантазии. Ей представилось: она бредет в бесконечной колонне полумертвых женщин вдоль заснеженных вымерзших полей. Сколько раз за последние два часа щелкали выстрелы... И как ей вообще удалось дойти до этого сарая? Пожалуй, лишь по инерции, среди других... Да еще потому, что у нее сохранилась воля к жизни. Не настолько, впрочем, чтобы донести пайку. Она бросила ее в снег, хотя Лини заклинала ее не делать этого.

— Ни в коем случае не бросай! — твердила Лини.— Хлеб — это жизнь.

— Я не могу его удержать,— отвечала она.— Руки закоченели.

— Тогда съешь.

— Есть не могу. Сил нет.

— Тогда неси. Смотри не выброни. Постарайся.

Она старалась сколько могла, но вскоре пайка вывалилась у нее из рук. Вот и другие женщины тоже побросали хлеб — единственную свою пищу на весь этот день, а может быть, и на следующий — и тем сделали первый шаг навстречу смерти... Так же как и Клер. Последние полчаса пути она уже понимала, что дошла до той крайней степени изнурения, физического и душевного, когда человеком овладевает тупое безразличие и смерть становится желанней жизни. Сколько раз наблюдала она это у женщин в Освенциме, когда они, еле волоча ноги, брели в свои бараки после целого дня полевых работ... У Клер даже мелькнула смутная мысль, что взгляд у нее совсем недавно был такой же отсутствующий, погасший, как у тех... Но теперь огонек жизни вновь разгорелся в ней, а затеплился он еще в ту минуту, когда она переступила порог сарая. Отчего же? Оттого что пока больше не надо идти... И в сене тепло... И можно поспать... А главное, вновь появилась надежда. Там, на дороге, она уже перестала надеяться, надежда покинула ее после первого же часа пути, потому что ясно ведь: рано или

поздно она все равно упадет — как те, чьи тела уже темнеют на дороге. Что же это за штука такая, душа человеческая, почему надежда необходима ей, как телу — влага? Сколько людей, попав в Освенцим, теряли надежду в первые же дни — и через неделю-другую погибали, кто от чего...

Пронзительный свисток, грозный рев конвоира:

— *Встать! А ну шевели задницами! На дорогу, строиться!*

Лай овчарок, торопливые шаги заключенных, беспрерывное шуршание сена над головой... У беглянок перехватило дыхание. С перекошенными от страха лицами, они замерли, стискивая друг другу руки. Но вот свистки доносятся уже откуда-то снаружи.

И вдруг яростный крик:

— *Ага, вон тут один прячется! А ну вылезай, жидовская морда!*

Отчаянный вопль на ломаном немецком языке:

— Я спаль — я нэ слихаль — я только укриваль сэном для тепло!

— *Кру-гом! Эй, мразь, живо!*

Им не раз доводилось слышать душераздирающие крики женщин, но чтобы так кричал мужчина... Клер зажала уши. Грохнул выстрел, и крик разом оборвался.

Конца этому нет. Хруст сена под солдатскими сапогами, хриплый лай шныряющих вокруг овчарок, злобные выкрики раскидывающих сено конвоиров.

— *Вроде все. Пошли. Выбросить труп! Не дело это, чтобы доброе сено провоняло падалью!*

И вот уже заскрипел под множеством ног замерзший снег.

— Он был француз! — всхлипнула Клер.— И что бы ему зарыться поглубже!

— А может, он и в самом деле заснул? Хорошо хоть, что это не тот, не наш.

Они прислушались к удаляющемуся топоту ног, к надсадному лаю овчарок, бегущих по обеим сторонам колонны.

— И как мир узнает об этом? — выговорила наконец Клер.— Как смогут те, кто в глаза не видел Освенцима, поверить, что все это и вправду было?

Они по-прежнему лежали рядом, не разнимая взмокших от пота рук.

5

Вот уже минут двадцать, как топот удаляющейся колонны затих, а они все ждали какого-нибудь знака от того мужчины, что прятался в сене. Наконец он дал о себе знать — довольно-таки залихватской речью:

— Порядок, девушки! Меня чуть было не насадили на штык, но вот он я, целехонек — ха-ха! Все спокойно, вылезайте и тяпните коньячку. Норберт, ты что там, заснул, старик? А ну покажись, красавчик, где ты есть?

— Слыхала? — обрадовалась Клер.— Тут еще один.

Стоя на коленях, они торопливо раздвигали над собой сено, пока не выпрямились во весь рост. Света сразу прибавилось, дышать стало легче. Тогда они поползли наискосок — все выше, выше, и вот уже головы их выпростались из сена.

— Отдохну,— еле выговорила запыхавшаяся Клер.

— Мы метра на два... — начала было Лини, но тут же удивленно смолкла: тот человек, что их окликнул, стоял рядом с бутылкой в руке, а из сена вылезали еще трое. Вертя головами, беглецы с любопытством разглядывали друг друга.

— Ха-ха! Да тут целая компания собралась! — возбужденно объявил человек с бутылкой.— С освобождением вас, товарищи! — Потом представился: — Отто Майер, к вашим услугам, девушки! Миллион лет не видел женщин. Надо же — вы такие чумазые, а для меня

все равно красотки! Выпейте коньячку. Вот жареной уткой разжиться не удалось, что поделаешь. Чем еще могу служить?

— Помогите ей, пожалуйста, выбраться,— попросила Лини.— Она совсем обессилела.

Отто поставил бутылку, засунул обе руки в сено и, ухватив Клер под мышки, вытянул ее.

— Да в тебе, сестренка, и весу-то ничего не осталось, совсем мусульманка[1].

— Не называйте меня так! — сердито оборвала его Клер, но ей тут же стало совестно за свою вспышку: ведь она и впрямь страшно исхудала, так что обижаться нечего.— Извините. И спасибо, что помогли.

С покаянным видом Отто пробормотал:

— Да я это так, в шутку.

— Понимаю.

Стряхивая с одежды сено, все шестеро стали в кружок; мужчины инстинктивным движением вытащили из карманов круглые полосатые лагерные шапки и поспешно нахлобучили их на обритые головы. Растерянные, до глубины души потрясенные тем, что они на свободе, что нет вокруг ни колючей проволоки, ни охранников, они молча, с неуверенной, напряженной улыбкой разглядывали лагерные знаки друг друга — цветные треугольники, какие носили заключенные Освенцима[2]. Оказалось, что из них только одна Лини — еврейка, двое — немцы, один — поляк, один — русский, все мужчины и Клер — политические. У Клер кроме красного треугольника с буквой «ф» (француженка, политическая) была еще нарукавная повязка с надписью «Переводчица». Женщины сразу поняли, что поляк и оба немца выполняли в лагере не очень тяжелую работу: хоть они исхудали, но в доходяг не превратились и в отличие от большинства заключенных были в обычной теплой одежде, а не в полосатой лагерной, которую и одеждой не назовешь. Все это говорило о том, что они имели возможность «организовывать» на черном рынке Освенцима кое-какую еду и носильные вещи.

— Ну, стало быть, так — мы на свободе! — воскликнул Отто после короткого молчания, и его серо-зеленые глазки радостно засверкали. Внешность у него была ничем не примечательная: рост чуть ниже среднего, лицо изжелта-бледное, с резкими чертами.— По-немецки все говорят? А то мы с товарищем никакого другого языка не знаем.

Первым отозвался поляк, очень красивый, молодой:

—Я жил в Силезии, так что немецкий знаю. Но лучше вы говорите медленно, да-а? — И он улыбнулся ослепительной, белозубой, мгновенно гаснущей улыбкой.

— Говорить могу плохо совсем,— сказал русский,— но понимаю. Зовут Андрей. Солдат, Советская Армия.

Был он высокий, невероятно худой, с измученным лицом и, так же как обе женщины, в полосатой лагерной одежде. Чтобы расслышать, что говорят другие, приставлял к правому уху согнутую лодочкой ладонь.

— Мы обе говорим по-немецки,— сообщила Лини.— А моя подруга знает еще польский и русский.

Андрей весь так и засветился радостью. Взволнованно спросил Клер, не русская ли она.

— Француженка,— ответила Клер и усмехнулась: до того разочарованный был у него вид.

— Товарищи, нам надо сразу же кое о чем договориться,— объявил второй немец. Могучего телосложения человек с волевым, спокой-

[1] «Мусульманами» на лагерном жаргоне назывались заключенные, доведенные до крайней степени истощения. *(Прим. авт.)*

[2] Цветной треугольник с буквой указывал, что́ инкриминировалось заключенному концлагеря, и его национальность; политические носили красный треугольник. Евреи носили не треугольник, а желтую шестиконечную звезду. *(Здесь и далее, кроме оговоренных случаев,— прим. перев.)*

ным лицом, он явно был старше их всех — на вид ему было лет сорок шесть.— С этапа нам бежать удалось, но что нас ждет впереди, неизвестно. Как будем пробираться дальше — поодиночке или вместе?

Отто вытащил пробку из бутылки с коньяком, уже наполовину опорожненной:

— Я считаю — вместе. Ты посмотри на девушек — им одним не сдюжить.

— Вместе,— поддержал его поляк.

Андрей кивнул:

— Вместе. Так делать правильно.

Лини и Клер переглянулись.

— Ой, ну конечно! — ответила Лини за них обеих.

Беглецы разом заулыбались.

— Все за одного, один за всех! — с подъемом воскликнул Отто.— Выпьем по такому случаю! — И он протянул бутылку Лини.— На-ка согрейся. Нам с Норбертом это весь день дух поднимает. Тебя как звать?

— Лини.

— Коньяк... В нашем-то состоянии... — засомневалась Клер.— Что из этого получится?..

— А вот — единственный способ проверить! — весело объявила Лини, сделала маленький глоток, ухмыльнулась и глотнула снова.— Спасибо! Теперь я уж точно знаю, что вырвалась из лагеря!

Карие глаза ее горели, скуластое исхудалое лицо с потеками грязи так и сияло.

— Что значит услышать женский голос! Теперь и мы, мужчины, знаем, что вырвались из лагеря! — И Отто передал бутылку Клер.— А вас как звать?

— Клер.

Едва пригубив, она вернула ему бутылку.

— Вы даже губ не смочили.

— А больше боюсь.

— Так делать правильно,— поддержал ее Андрей. Отто хмыкнул, передал бутылку поляку.

— Ну а тебя как зовут?

— Юрек. Спасибо.— И он с наслаждением отхлебнул из горлышка.

— А меня — Норберт.— В голосе второго немца пробилось тщательно скрываемое нетерпение.— Давайте уточним свои запасы. Что у нас из еды? — Он вытащил из кармана куцего пиджака ломоть черного хлеба.— Это все, что у меня есть.— И, взяв у Юрека бутылку, он сделал несколько торопливых глотков.

— А у нас и вовсе ничего,— сказала Клер.

Юрек молча протянул пустые ладони.

Андрей, беря одной рукой бутылку, другой расстегнул полосатую куртку и достал кусочек хлеба. Потом жадно прильнул к горлышку и с явным усилием оторвался, боясь выпить больше, чем ему полагается.

— Ах, спасибо,— хрипло воскликнул он по-русски, возвращая бутылку Отто.

— Ну а ты, Отто? — спросил Норберт.— Удалось тебе организовать на кухне что-нибудь стоящее?

Отто помедлил с ответом. Глоток у него получился чуть более долгий, чем следовало, и, закупоривая бутылку, он глядел на нее чуть дольше, чем нужно. Оттяжка вышла крошечная, едва заметная, но обостренным чутьем лагерников они тотчас же уловили ее.

— Есть кое-что, но далеко на этом не уедешь.

Из одного кармана кожаной куртки он извлек с полфунта конской колбасы, из другого — горбушку хлеба и бумажный кулек.

— Колотый сахар! — объявил он с гордостью.

— Колотый сахар,— севшим от волнения голосом повторила Лини.— Нет, такого просто не бывает.— Покачнувшись, она плюхнулась в сено и весело захохотала.— Я пьяная. А хорошо!

И тут все грохнули, затряслись от смеха, словно ничего смешнее в жизни не видели. Внезапно Норберт смолк, будто его хлестнули по лицу, возмущенно выбросил руки вперед:

— Ш-ш! Тихо! — Все стихли, кроме Лини, и Норберт тряхнул ее.— Довольно! Уймитесь!

— Ой, простите меня.

Бурный приступ веселья прошел, но она все никак не могла сдержать радостного смешка.

— Да что это мы в самом деле? — возмутился Норберт.— Мы же не на луне. Может, тут совсем рядом эсэсовцы шастают. Надо все время смотреть в оба.

— Да, да! — встревоженно зашептал Андрей по-русски. Потом по-немецки: — Мы с ума сойти — так смеяться.

Все еще улыбаясь широченной улыбкой, Отто заговорил быстро, взахлеб:

— Мы сбежали с этапа, остались в живых,— нет, и правда с ума сойти, а? Да я вопить готов, плясать, петь, напиться в стельку, всех перецеловать! Черт побери, мы же на свободе!

— Верно,— согласился Норберт.— Но надо все время быть начеку, иначе плакала наша свобода. Теперь слушайте меня все: еды у нас почти никакой, а мы должны прятаться, пока русские не придут. Как же быть?

— Раньше я для себя так думал,— заговорил Юрек.— Я иду до того крестьянина — ну, кто есть хозяин этого сарая. Я поляк — он поляк. Вот и прошу его накормить меня и спрятать. А теперь, значит, прошу за всех, та-а-к?

— Нет! — выкрикнул Андрей по-русски и отогнул ладонью правое ухо. Потом пояснил по-немецки: — Вдруг крестьянин — предатель. Что тогда? Он говорит немцам, они нас убивают.

Но в разгоревшемся споре Андрей остался в одиночестве — просто потому, что никаких других предложений ни у кого не было,— и вынужден был подчиниться большинству, хоть и с явной неохотой.

— Вшистко бендже добже.— И Юрек улыбнулся ему своей ослепительной, мгновенно гаснущей улыбкой.— По-польски то значит: все будет хорошо.

Он подошел к двери и, приоткрыв ее, выглянул. Потом распахнул дверь пошире и огляделся. Остальным была видна лишь полоска двора, а в глубине его — угол двухэтажного дома. Юрек выскользнул из сарая, прикрыл за собой дверь.

— Снег перестал,— тихо сказала Клер.

— Перестал? — удивился Норберт и как-то странно посмотрел на нее.— А когда гнали ваш этап, разве шел снег?

— Весь день.

Норберт переглянулся с Андреем и Отто.

— Что вы делали после того, как ваш этап ушел?

— Спали.

— До нашего прихода?

Клер кивнула.

— И ни разу не просыпались?

— Нет.

В голубых глазах Норберта промелькнула откровенная жалость:

— Выходит, девушки, вы проспали двое суток!

Лини приподняла голову с плеча Клер.

— Как это?

— А так. Первые этапы вышли восемнадцатого, тогда снег валил вовсю. Но с тех пор его больше не было. А сегодня двадцатое.

Клер и Лини недоуменно уставились друг на друга. Потом Клер слабо улыбнулась:

— Я могла бы два года проспать.

— Слушайте, девушки, а как это вы решились спрятаться? — спросил Отто.— Ведь из вашего этапа больше никто не рискнул.

— Я не могла идти,— ответила Клер.— Для меня это был единственный выход. Ну, а Лини решила остаться со мной, потому...— Клер улыбнулась.— Потому что это Лини.

— Я вот чего не могу понять,— продолжал Отто.— Почему из мужчин больше никто не решился — только мы четверо?

— Насчет мужчин не скажу, не знаю,— ответила Лини.— А женщины до того были измучены, что как дотянулись до сена, так сразу и уснули. Вот хоть я, к примеру. Если б не Клер, до подъема бы проспала.

— И мужчины то же самое,— вставил Норберт.— Так были измочалены — уже ничего не соображали. Да и вообще эсэсовцы давным-давно выбили из них самую мысль о побеге. На этот счет они специалисты.

— А как же вы оба? — удивилась Лини.— Вы разве меньше других устали?

— Мы с Отто — бывалые лагерники. Мы лучше питались и, когда вышли с этапом, были все-таки в лучшей форме, чем остальные. Вот и решили бежать при первой же возможности — понимали, что по такой погоде не дойдем, погибнем.

— А вы? — обратилась Клер к Андрею.

— А я всегда про одно задумывал — бежать. Такая моя... — Он запнулся, подыскивая нужное слово, потом стал что-то объяснять Клер по-русски.

— Такая у него психология,— перевела Клер.— Он уже раз бежал — из лагеря для военнопленных.

— Вот это да! — восхитился Отто. Потом взволнованно: — Слушай, ты когда попал в плен?

— Уже семь месяцев назад — в прошлый год, в июле.

— А ты не знаешь, как там американцы и англичане — вторглись во Францию?

— Да, это так. Вторжение было еще до того, как я попадал в плен.

— Ага, Норберт, ну что я тебе говорил! — обрадовался Отто.— Ты в лагере уже так давно, что вообще ничему не веришь.

Норберт пожал плечами, улыбнулся.

— Выходит, Гитлера теперь и на востоке гвоздят и на западе, а? — счастливым голосом спросил он Андрея.

— «Гвоздят» — что это такое?

— Бьют, значит.

— Да, да! В этот год, я думаю, его кончают.

— А я совершенно уверена, что союзники уже в Германии,— вставила Клер.— Я слышала, офицеры гестапо говорили об этом между собой.

Отто снова вытащил бутылку с коньяком.

— Осталось маловато, но такие новости как не вспрыснуть? Начнем с тебя, Лини, а?

Но Лини со смехом отмахнулась.

— Нет,— сказал и Андрей.— Мне больше нет. Спасибо.

Передавая бутылку Норберту, Отто слегка подтолкнул его локтем, и они отошли в сторону.

— Если не разживемся жратвой у этого мужика, тогда что?

Норберт пожал плечами:

— Тогда и будем думать.

Длинное, заострившееся лицо Отто стало жестким.

— Не для того я семь лет в этом пекле выдюжил, чтоб теперь

околеть с голоду.— Он сунул руку в карман брюк, вытащил завернутый в тряпку длинный армейский нож и с жидкой улыбкой сказал: — Капо[1] с нашей кухни купил на той неделе у эсэсовца. А я вчера у него спер.

— Ну и что?

— А то, что лучше пускай полячишка гонит жратву, иначе...

— Убери нож.

— Ты мне не ответил.

— Нет, ответил. Я сказал: убери нож. Мы не фашисты, верно?

Отто скривился.

— Да ну, трепотня это все,— буркнул он и отошел.

А Норберт взволнованно зашагал по сараю.

6

Андрей обратился к Клер по-русски, очень почтительно:

— Разрешите присесть рядом с вами?

— Конечно, пожалуйста.

— Мне хотелось спросить... — Он вдруг умолк, подался вперед.— Да у вас ноги отморожены!

Клер кивнула.

— Их необходимо растереть. Это же очень опасно.

— Знаю, но на радостях я совсем про них забыла. Вот только вы сейчас напомнили.

— Позвольте! — Он с силой нажал ей на ногу.— Вы уже два дня в тепле и все еще не чувствуете боли?

— А что, это плохой признак?

Он оставил ее вопрос без ответа.

— Надо сейчас же растереть ноги! Начните сверху и спускайтесь от бедра вниз. Но стоп не трогайте.

— Спасибо. Так я и сделаю, не знаю только, надолго ли меня хватит. Я очень ослабела.

— Да и вообще лучше, чтобы это делал кто-то другой, не вы сами. Если у вашей подруги сил маловато, тогда кто-нибудь из нас. Тут стесняться нечего. Начинать надо сию же минуту и массировать не переставая.

— А может, растереть снегом?

— Нет, ни в коем случае. Как раз этого-то и нельзя. Не могла бы ваша подруга взяться за дело сейчас же? Или она совсем сонная?

Клер окликнула Лини, и та подняла голову.

— Да ничего, я справлюсь,— пробормотала она.— Только пить ужас как хочется. Притащил бы кто снегу пожевать, а?

Но Андрей возразил ей по-немецки:

— Так делать неправильно, нам выходить нельзя. Вы ждите Юрека, просите у него воды.— Затем обратился по-русски к Клер: — Объясните ей, как делать массаж.

И, приставив к уху ладонь, стал вслушиваться в разговор женщин, внимательно следя за тем, как Лини усаживается напротив Клер, укладывает ее ногу к себе на колени. Но вот Лини приподняла полосатое лагерное платье подруги и грубую рубашку. Клер так и ожгло смущение — и она сразу поняла почему. Когда их транспорт прибыл в Освенцим, ее обрили, заставили раздеться и вытатуировали на руке номер, причем женщины-заключенные проделывали все это с вновь прибывшими на глазах у охранников, но тогда Клер не испытывала стыда, потому что для нее эсэсовцы были не люди, не мужчины. И если теперь она застеснялась, значит, она снова в реальном мире и на нее снова смотрит мужчина, человек, и смущает ее не то, что пришлось обнажить ногу у него на глазах, а сознание, что в облике ее осталось

[1] В гитлеровских концлагерях помощник надзирателя из числа заключенных.

так мало женского. «Видно, во мне опять пробуждается женщина»,— подумала она с дрожью в сердце.

— Сверху вниз? — спросила Лини Андрея.

— Да, и вот так.

Он сделал несколько круговых движений.

Подошел Отто, постоял, глядя на них, и спросил Клер:

— Вы что, босиком шли?

— Нет, в башмаках, но потом, уже здесь, сбросила их.

— Где же они?

— Где-то тут, не знаю.

— Ой, будь другом,— вмешалась Лини.— Когда мы зарывались в сено, то и одеяла бросили, и мою пайку. Может...

— Сейчас поищу.

Андрей снова заговорил с Клер:

— Ну а теперь — откуда вы знаете русский?

— Мой дед родился в России, а бабушка — в Польше. Они меня и учили, а потом я занималась русским в Сорбонне. Это университет в Париже.

— Ясное дело,— усмехнулся Андрей.— Сорбонна — университет, а не гречневая каша. Думаете, мне это неизвестно?

Клер смущенно улыбнулась:

— Но ведь мы совсем не знаем друг друга.

— А Дебюсси — не сорт сыра,— беззлобно поддел ее Андрей и тут же принялся напевать что-то из Дебюсси. Клер слушала с удивлением и интересом.

Снова подошел Отто.

— Ни башмаков, ни одеял, ни хлеба!

— Тсс! — с улыбкой сказал Андрей.— Это Дебюсси — в честь наш французский товарищ.— И он снова принялся напевать, водя в такт пальцем. Вдруг дверь с шумом распахнулась. Он смолк. Разом насторожившись, все уставились на вошедшего Юрека. В руке у него был карандаш и клочок бумаги.

— Ну что? — спросил Норберт.

— Еды он нам даст. А прятаться здесь — нет. То будет слишком опасно, дорога проезжая. Ночью мы должны уйти.

Молчание.

— Он прав,— решительно объявил Норберт.— А он не сказал, куда нам податься?

— Там, за лесом, деревушка, Стара Весь.

— Далеко?

— Три километра.

— А знает он в этой деревушке кого-нибудь, кто мог бы нас спрятать? — спросил Отто.

Юрек пожал плечами.

— Там видно будет... Он требует от нас бумажку. Говорит, мы должны написать по-русски, что мы есть шесть заключенных, утекли из Освенцима и он нас спас. Требует наши фамилии и номера.

Андрей воскликнул:

— Ну вот! Начинается! Не он нас спасал, мы сами себя спасали. Может, там никакой деревни нет, где он говорил.

Снова вспыхнул спор, и снова Андрей остался в одиночестве. Все сошлись на том, что другого выхода нет. Сердито пробормотав что-то себе под нос, Андрей достал карандаш и стал писать. Отто вдруг опустился на колени рядом с Клер, зашептал ей в ухо:

— Вы знаете русский. Проследите, чтоб все было правильно, как оно есть.

Когда бумажка попала к Клер, она, прочитав ее, написала свою фамилию и номер и молча передала ее Отто.

Юрек двинулся было к двери, но его остановил Норберт.

— Погоди-ка. Придется у него еще кое-что попросить.— Он пока-

зал сперва на Андрея, потом на обеих женщин.— Им надо переодеться. А вот ей,— он кивнул в сторону Клер,— нужно что-нибудь на ноги.

— И воды! — добавила Лини.— Ради бога, немножко воды.

Юрек молча кивнул и вышел.

Андрей заговорил с Клер по-русски:

— Если у этого поляка не найдется для вас туфель, не волнуйтесь. Я сделаю вам обувку из сена.

— Как это?

— А вот увидите. Скажите своей подруге — пусть теперь помассирует правую ногу. Пять минут правую, пять минут левую — попеременно.

Пока Лини пересаживалась, Андрей толкнул Отто локтем и едва заметным кивком отозвал его в сторонку; затем они вместе подошли к Норберту — тот лежал, наморщив в раздумье лоб, и жевал сухую былинку.

Андрей негромко сказал ему:

— Слушай меня, пожалуйста. Француженка слабый, как ребенок. Женщины надо кушать больше.— Потом повернулся к Отто: — Ты отдавай им всю колбаса, ладно? Так делать правильно.

И опять Отто какую-то долю секунды помедлил с ответом.

— Что ж, пожалуй, верно. Как скажешь, Норберт?

— Правильная мысль. Но... — это уже Андрею,— ты ведь и сам, можно сказать, мусульманин.

Андрей замотал головой:

— Теперь я свободный и быстро стану сильный. Больше не хожу в команда на полевые работы.— И он усмехнулся.

— Может, все-таки спросим Юрека? — предложил Отто.

Дверь распахнулась.

— Вот и он, спрашивай,— ответил Норберт.

За Юреком, тащившим ведро воды, в котором плавал черпак, шел высокий, крепко сколоченный крестьянин лет пятидесяти в грязном овчинном полушубке. Норберт встал, подошел к нему, протянул руку и поблагодарил его по-польски.

Крестьянин молча кивнул, пожал ему руку. Потом, показав на Андрея и Клер, бросил что-то Юреку хрипловатым голосом и ушел.

— Для Андрея одежда есть,— перевел Юрек.— Для Клер, может, найдется, для Лини — нет. Я еще раз схожу до хозяина, принесу.

Тронув его за руку, Отто сказал ему шепотом, как они порешили насчет колбасы.

Юрек кивнул в знак согласия, добавил только, что жена хозяина поставила варить картофельную похлебку и лучше бы оставить побольше колбасы на потом.

Клер и Лини жадно пили, передавая друг другу черпак, когда к ним подошли Отто, Андрей и Норберт.

— Ну так, девушки,— добродушно проговорил Отто.— Мы, мужчины, решили маленько вас подкормить. Вот, получайте.— Он достал из кармана колбасу.— Это будет только вам.

— А еще немножко хлеба.— И Норберт протянул Лини горбушку, сбереженную им во время перехода.— А то у вас двое суток крошки во рту не было.

Андрей молча протянул свой хлеб Клер.

Но женщины не соглашались — надо все поделить поровну, настаивали они.

— Большинством голосов предложение отклоняется,— объявил Отто.— Вы представить себе не можете, до чего это здорово — снова увидеть женщин.— И он отрезал каждой по изрядному куску колбасы.— Больше пока не будет — нам варят картофельную похлебку.

— Ну если так,— растроганно улыбнулась Лини,— нам остается только сказать спасибо.

А Клер поглядела на хлеб с колбасой, лежащий у нее на ладони, и тихонько заплакала.

— В чем дело? — удивился Отто.

— Вы так к нам добры... В первый раз за два года мужчины обошлись с нами по-человечески...

— Ах ты, господи! — воскликнула Лини, за обе щеки уплетая колбасу.— Вот и радовалась бы, а она — в слезы. Вечно она со своей чувствительностью! Только такая, как ты, и может из-за этого сырость разводить.

Глава вторая
ЗАВОД

1

Под вечер, когда уже стемнело, беглецы вышли из сарая по двое: Юрек и Норберт впереди, за ними метрах в пятнадцати обе женщины, Андрей и Отто — замыкающие. Лини по-прежнему была в полосатой лагерной одежде, а Клер и Андрей переоделись, и оба выглядели довольно странно. На Клер были вельветовые брюки, бумазейная рубаха, фуфайка и суконная курточка — все с худющего, долговязого подростка лет четырнадцати, как потом выяснилось — хозяйского сына, умершего в прошлом году. Клер страшно обрадовалась этим обновкам, потому что они были теплые и пришлись ей в самый раз, прямо на удивление; но она до того напоминала в них отощавшего мальчишку-подростка, что платочек у нее на голове выглядел просто нелепо. А вот Андрею не повезло: он получил изношенную одежду хозяина, прослужившую тому добрый десяток лет. Замызганная, продранная, вся в разноцветных заплатах одна на другой, она болталась на его исхудавшем теле как на вешалке. Не поймешь — то ли огородное пугало, то ли клоун на манеже. Когда Андрей и Клер надели эти обноски, грохнул взрыв хохота.

...Выйдя из сарая, беглецы перешли дорогу и сразу же углубились в лес. Шли молча, настороженные, полные страха. Они так привыкли чувствовать себя заключенными, что в темном лесу их тотчас же обступили призраки: отовсюду глядели гнусно ухмыляющиеся хари охранников-эсэсовцев, готовых спустить на них овчарок — злобных тварей, натасканных на человека, норовящих искромсать ему лицо, пах, бедра.

Но как ни томила их тревога, всех лихорадило от радостного волнения и надежды: ведь им и вправду удалось бежать, они и вправду на воле!

Шли медленно — из осторожности и из-за Клер. Башмаки хозяйского сына оказались ей непомерно велики, и Андрей сдержал обещание — сделал ей обувку из сена. Терпеливо обертывал он ей ноги, навивая сено слой за слоем и обвязывая его скрученными все из того же сена жгутами. Поначалу Клер опасалась, что «сапожки» тут же развалятся; но нет, они пока выдерживали переход по снегу и были такие мягкие, теплые — сущее спасение для обмороженных ног, уже начинающих чувствовать боль.

Юрек вел их, как научил его крестьянин, наискосок через лес — туда, где, если верить ему, должна находиться деревушка. Кругом ни души, ни единого следа на снегу, ни единого звука — лишь поскрипывает под ногами наст да время от времени откуда-то сзади доносится отдаленная, едва слышная канонада. Снег был неглубокий, по щиколотку, и идти было довольно легко; зато мороз пробирал до костей. Но и его они сносили с привычной стойкостью. Ведь они приучились терпеть муки пострашней холода — постоянный голод и вечный страх,

ужасающий смрад сжигаемых в крематориях трупов, все надругательства, какие только может вынести человек,— и остаться в живых. И это связывало их прочными узами горького братства.

Луна поднялась рано — полная, яркая. И когда лучи ее пронизали лес, беглецов словно бы отпустило немного, но они по-прежнему шли в молчании. Через час пути лес начал редеть. Еще десять минут — и передние остановились. Остальные подтянулись к ним, и Юрек молча показал вперед: шагах в двухстах виднелось длинное кирпичное здание в два этажа.

— Пришли,— зашептал он.— Крестьянин мне говорил: где пустой завод, там и деревня близко.

Все торжествующе заулыбались, разом уставились на Андрея — выходит, зря он твердил, что на хозяина полагаться нельзя, хоть тот хорошенько их накормил и снабдил одеждой.

Андрей молча развел руками.

— Ждите тут,— снова зашептал Юрек, растирая замерзшие уши.— Пойду посмотрю.

— Гляди в оба,— предупредил Норберт.

Но Юрек только улыбнулся, беззаботно махнул рукой:

— То есть моя отчизна. Вшистко бендже добже!

— Стой! — Лини схватила Юрека за рукав: — Нет, ты посмотри! — И она показала сперва на красный треугольник с буквой «П» у него на груди, потом на его полосатую шапочку лагерника.

— Черт подери! — ахнул Норберт.— Мы столько пробыли в лагере, что ничего этого уже не замечаем. Надо все время быть начеку.

— Ну, ну, ничего ведь не случилось,— весело сказала Лини.

И пока Отто спарывал красные треугольники с куртки, рубашки и брюк Юрека, Клер объясняла мужчинам, до чего Лини практичная.

— Если нас приводили на вещевой склад и приказывали за две минуты подобрать себе обувь, я выхватывала из кучи два левых башмака, а Лини успевала выудить две пары: одну для себя, другую для меня.

— А как же! — подхватила Лини.— Голландцы — народ хозяйственный. Потому-то Амстердам чище Парижа.

— И красивее,— поддела ее Клер.

— А то как же!

— Клер, как ноги? — прошептал по-русски Андрей.

— Болят.

— Все время?

— Да, боль не прекращается ни на минуту.

— Что поделаешь... Впрочем, это неплохо — значит, возобновилась циркуляция крови.

— Ну тогда слава богу.

— А идти трудно?

— Я сильно устала, но картофельная похлебка — великая вещь!

— И еще сознание, что вы на воле, а?

Клер улыбнулась, кивнула.

— Андрей, почему вы с таким подозрением отнеслись к этому крестьянину? Ведь он поступил с нами очень порядочно.

— Я был к нему несправедлив, готов признать. Дело в том, что когда я бежал из лагеря для военнопленных, то здорово обжегся. Пробирался, само собой, ночами, трое суток голодал, и пришлось мне зайти в крестьянский дом. Хозяин накормил меня и уложил спать, а наутро пожаловали эсэсовцы.

Отто помахал у Юрека перед носом тремя споротыми красными треугольниками.

— Ну как, может, сохранить это для тебя? Сувенир из Освенцима!

Юрек сунул лагерную шапку в карман, усмехнулся:

— Здесь дамы. Потому я лучше промолчу, та-ак?

И он двинулся к заводу. Все смотрели ему вслед: идет, заложив руки в карманы, голова вскинута — словно и впрямь шагает человек по родной и уже свободной земле.

— Господи, сделай так, чтоб там не было немцев,— со страхом прошептала Лини куда-то в ночь. Голое поле, отделявшее их от завода, было залито лунным светом, и Юрека легко могли заметить даже издалека.— Господи, ну пожалуйста,— вновь забормотала Лини, сама не замечая, что говорит вслух.

Но вот Юрек исчез в глубокой тени, отбрасываемой зданием, и все облегченно вздохнули.

— Слушай-ка, Отто,— сказал Норберт.— Ведь и мы с тобой еще треугольников не содрали.

Спарывая лагерные знаки с одежды Норберта, Отто задумчиво проговорил:

— Нам-то Юрек нужен, а мы ему нет.

— А по-моему, он человек надежный. И если сказал, что останется с нами, то можно ему верить.

— И все-таки мы ему не нужны. А жаль — так было б вернее.

2

Лини и Клер отошли в сторонку — облегчиться. Теперь они сидели рядышком на поваленном дереве, сунув руки в рукава.

— Знаешь, о ком я думала всю дорогу? — прошептала Лини.— О моем Йози. Теперь я, может, и правда его увижу, а?

Клер кивнула:

— Ему уже семь. Он меня не узнает.

Клер промолчала. В прошлом году Лини говорила: «Ему уже шесть», в позапрошлом: «Ему уже пять, я его целых три года не видела!» Клер всей душой любила Лини, полюбила и малыша, о котором Лини рассказывала ей десятки тысяч раз; знала адрес друзей Лини в одном из предместий Амстердама, у которых она его оставила; свято обещала усыновить мальчика, если Лини не выйдет из лагеря живой; но давно уже исчерпала все мыслимые ответы на тоскливые, неуверенные слова подруги: «Теперь я, может, и правда его увижу...»

Клер шепнула:

— Ах, какая ночь чудесная! Снег в лунном свете — что-то в этом прекрасное, чистое.

— Иногда я верю, что еще покажу тебе зимний Амстердам — замерзшие каналы, люди на коньках, заснеженные крыши. Прямо как на картинах Брейгеля.

— До чего здесь мирно, тихо. Ах, до чего тихо! — прошептала Клер.— Так бы весь век здесь и сидела.— Потом с глубоким вздохом:— Эти несколько минут без охранников, без собак, что они для меня значат! Теперь и умереть не жаль.

— Ну еще бы,— усмехнулась Лини.— Теперь тебе и умереть не жаль. Француженочка ты моя восторженная! Что с тобой может натворить лунный свет! Вот если б и я могла приходить от него в телячий восторг!

Клер рассмеялась:

— А меня вообще многое приводит в телячий восторг, например, картофельная похлебка.

— Потрясающая похлебка, а? Нет, просто потрясающая. А мы с тобой и поговорить о ней не успели.

— Я совсем позабыла вкус молока. Если когда-нибудь попаду домой, напьюсь горячего молочка — буду пить до тех пор, пока оно у меня носом не пойдет!

— А что за картошка! Настоящая картошка! Да понимаешь ли ты, что мы целых два года человеческой еды не нюхали?

— Еще бы не понимать! С удовольствием сейчас повторила бы. Я опять голодна.

— А сама отдала мне половину своей порции, сказала — больше не можешь!

— При таком истощении, как у меня, есть надо понемножку. Если наесться досыта, можно умереть.

— С чего ты взяла?

— А мне это доктор Одетта объяснила, когда я выздоравливала после тифа. Она сказала — нормальный обед, какой люди съедают дома, меня бы убил.

— Выходит, я вот-вот помру?

— Но ты же не так истощена, как я, значит, твой организм может усваивать гораздо больше, чем мой... Ой, смотри какое облако — словно серебристым пухом подбито! Лечь бы на него и чтобы оно унесло меня в Париж, а по пути чтобы каждые два часа мне была картофельная похлебка! Пока оно долетело бы до улицы Риволи, я опять стала бы похожа на женщину!

— А интересно, как нас находят мужчины?

— Уверена — им хочется, чтобы мы снова обрели человеческий облик. Во всяком случае я. Ты все-таки не такая страшная.

— Этот Юрек красивый, правда?

Тут к ним подошел Андрей и, похлопывая в ладоши, чтобы согреться, зашептал по-русски:

— Клер, вам нельзя на таком холоде сидеть без движения. Или походите, или надо опять помассировать ноги.

— Пожалуй, вы правы. Спасибо.

Андрей отошел, и, глядя ему вслед, Клер перевела Лини его слова.

— Ни на минуту о тебе забыть не может, а? — не без лукавства бросила Лини.— Ну ладно, клади ногу мне на колени.

— Славный он, они все славные. Что бы мы делали одни? До чего же нам повезло, что с нами оказались такие хорошие люди.

— Ой, боже мой, это же еще одно слово, которое знал мой Йозеф. Ест, бывало, что-нибудь вкусное или гладит котенка и приговаривает: «Хо-ло-о-сый!» И за все годы я ни разу об этом не вспомнила, подумать только!

3

Минут через двадцать после своего ухода Юрек вдруг возник из густой тени, отбрасываемой заводским зданием, и теперь был отчетливо виден в лунном свете. Он поманил их рукой и снова шагнул в темноту.

— Пойдемте все вместе,— предложил Норберт.— Клер, постарайтесь идти быстрей — как только можете, ладно? Обопритесь на мою руку, если хотите.

— Стойте! — вмешалась Лини.— Я-то еще в лагерной одежде. И это погубит вас всех, если нас заметят. Так что вы четверо ступайте вперед, а уж я потом...

— Скажете тоже! Пошли!

Лини промолчала, только бросила на Норберта благодарный взгляд.

Двести шагов через поле дались нелегко. Клер из сил выбивалась, чтобы не отставать, и когда они наконец дошли, она тяжело дышала, худые ноги ее тряслись.

— Он пустой, тот завод,— прошептал Юрек.

Все двинулись за ним — обогнули здание, пересекли захламленный двор, где навалом лежали ящики, обрезки железа, битый кирпич и обломки машин, кое-где припорошенные снегом. Фасадом завод был обращен на широкий простор поля, и к середине его вела едва приметная дорожка. Юрек отворил дверь. Проходная, еще одна

дверь — и они очутились в пустом помещении, светлом от лунных лучей, проникавших сквозь большое окно.

— Я все осмотрел,— сказал Юрек уже не шепотом, а в полный голос.— И второй этаж тоже. Никого. Теперь пойду до деревни. Вы ждите, да-а?

— А где она, деревня? — спросил Отто.

Юрек показал в сторону, противоположную той, откуда они пришли.

— Но я не видел домов.

— Со второго этажа виден один, метров полтораста отсюда. Верно, то и есть начало деревни.

И Юрек вышел.

— Глотнем коньячку, а? — предложил Отто.

Клер, распростершаяся без сил на полу, едва слышно выдохнула:

— Нет, спасибо.

— У меня предложение,— объявила Лини.— Коньяк пусть будет мужчинам, а нам — по кусочку сахара.

— Ну что ж, сделка выгодная.

С некоторой торжественностью Отто извлек из кармана бумажный кулечек и дал каждой из женщин по два куска сахара.

— Вы так к нам добры,— тихо проговорила Клер и сунула в рот оба кусочка сразу.

— Когда-нибудь вы мне отплатите тем же. Хотите еще по ломтику колбасы?

— Лучше сбережем,— решила Лини и, пристроившись возле Клер, принялась массировать ей ногу.

Мужчины расселись на полу, и бутылка пошла по кругу.

— Каждому только по глотку, идет? — предупредил Отто.

— Ой, до чего сахар вкусный! — вздохнула Клер.— Еще раз спасибо. Какой прекрасный был сегодня день — поели, умылись... И ни собак, ни охранников, ни поверки. Сон какой-то.

— Только бы нам от этого сна не пробудиться,— с нервным смешком сказал Отто.

Лини вытащила из кармана свои два кусочка сахара и стала совать их Клер в руку.

— Не надо,— запротестовала та.

— Ну вот, а сама отдала мне половину своей похлебки!

— А башмаки?

— Ты это о чем?

— Да о твоем подарке ко дню моего рождения. Ведь ты, должно быть, всю ту неделю отдавала за него половину своей пайки!

— Вот еще, целую бухгалтерию развела.— Потом вполголоса: — Клер, сахар тебе необходим. Должны же мы тебя подкормить.

И Клер не стала спорить. На этот раз она грызла сахар мелко-мелко, смакуя каждый сладкий осколочек, каждую крупинку.

— Неплохо бы здесь остаться,— сказал Отто.— Рамы двойные — обратили внимание? Мороз, правда, градусов пятнадцать, но тут мы бы не замерзли.

— Все зависит от того, удастся ли раздобыть еду и нет ли поблизости немцев,— ответил Норберт.— Мы оставили следы на снегу, вот что плохо.

Андрей сразу же поднялся, подошел к широкому, в треть стены, окну и стал у косяка — так, чтобы снаружи его не было видно. Оглядывая поле, он что-то рассеянно напевал себе под нос.

— Что вы поете? — поинтересовалась Клер.

Ответа не последовало.

— Туг на ухо, ясно,— прошептала Лини и растянулась рядом с Клер.— Что-то я выдохлась. Растирать тебе ноги — работа не из легких, надо полежать немножко.

— Ну конечно. Помнишь то чудесное облачко?

— Оно так и стоит у меня перед глазами.

— Угу.

— Ну и любуйся на него. А я лучше буду глядеть в витрину гастрономического магазина у нас в Амстердаме. Нет, передумала. В витрину кондитерской — на торты!

4

Прошло около часа, и Норберт, сменивший у окна Андрея, сообщил, что возвращается Юрек. Тот вошел, растирая замерзшие уши и улыбаясь своей ослепительной улыбкой.

— Нам очень сильно везет,— радостно объявил он.— Захожу до первого дома, да-а? Хозяина звать Кароль. Сперва тот Кароль ничего не говорит, он осторожный. Требует — покажи номер, тебе же его накололи в Освенциме. Говорю ему: до лагеря я был партизан. Тут он делается добрый, но все равно спрашивает дальше. Много всего спрашивает. Потом уже поверил и говорит: буду вам помогать сколько смогу. О, то есть настоящий патриот!

Сперва раздался дружный вздох, словно во время рассказа Юрека никто не осмеливался дышать, потом все обрадованно зашумели.

— Да ты просто чудо! — воскликнула Лини.

А Норберт хлопнул Юрека по плечу:

— Никому из нас этого бы в жизни не провернуть!

— Он даст нам еду,— оживленно продолжал Юрек.— Сам он есть бедный человек, он будет ходить до соседей, собирать что можно.

— А если мы тут останемся, это не опасно? — спросил Андрей.

— Опасно? Не-е-т! В деревне немцев нету. Она совсем маленькая, та деревня. После жатвы немцы до них не приходили ни разу.

И Юрек рассказал, что крестьянин поставил два условия: не зажигать огня и не выходить из помещения — никому, кроме Юрека, а его он в случае чего выдаст за родственника. Как видно, Кароль не очень доверяет кому-то из соседей. Обнаружат немцы беглецов — всей деревне несдобровать. А значит, если их заметят, кто-нибудь может просто из страха донести в гестапо, в Катовице. Это единственная опасность.

— Выходит, мы тут спокойненько просидим до прихода русских! — обрадовался Отто.— Юрек, ты награждаешься золотой медалью... Медалью за... Сам не знаю за что.

— А теперь я опять иду до Кароля,— объявил Юрек.— Его сестра готовит нам ужин.

— Как, снова будем есть? Ведь совсем недавно поели,— блаженно проговорила Клер.— Нет, мы из Освенцима попали прямо в рай.

— Погоди-ка,— остановил Норберт Юрека.— Спроси Кароля, не найдется ли у него какой-нибудь одежды для Лини.

Юрек кивнул.

— И вот еще что,— попросила Лини.— Не мог бы ты принести нам воды помыться?

— Ой! — оживилась Клер.— Может, у него и кусок мыла найдется, как вы думаете?

— И хорошо бы парочку одеял,— добавил Отто.

Юрек расхохотался.

— О, то есть просто бедный крестьянин, то не есть универсальный магазин в Варшаве! Но я попрошу. Там видно будет.

Все притихли. И он вышел.

5

Кое-кому из беглецов уже думалось о доме, о близких, о родном городе. Только существуют ли они еще — родной дом, близкие, родной город?

«Не разрушен ли Росток?» — вертелось в голове у Норберта.

«Там ли еще Йози? — спрашивала себя Лини.— Вдруг я вернусь в Амстердам целая и невредимая, а он...»— Она не позволяла себе об этом думать.

Молчание нарушила Клер, заговорившая с Андреем по-русски. Она спросила его о самом для них важном: скоро ли русская армия будет здесь? Андрей пожал плечами: кто знает? В последние месяцы наступление развертывается стремительно. Может, до прихода русских остались считанные дни, может, их задержат неделю-другую на нынешних позициях, а может, они начнут наступать на других участках фронта и здесь окажутся лишь через несколько месяцев.

Клер перевела его слова остальным. Не такой ответ хотелось бы им услышать...

— Ну а орудия, что мы недавно слышали, они далеко? — спросил Норберт.

— Километров двадцать — двадцать пять. Но это немецкие, а русские очень, очень дальше.

— Раз так, будем здесь жить-поживать, пока не явятся русские,— весело объявила Лини.— Вот и хорошо! Клер, давай-ка примемся за другую ногу.

К женщинам подошел Отто: в одной руке колбаса, в другой — нож.

— Теперь экономить незачем. Съешьте еще по кусочку, а?

Клер и Лини благодарно закивали, Отто улыбнулся и стал откровенно их разглядывать.

— А как вы, девушки, угодили в Освенцим? Надо ведь нам побольше узнать друг о друге. Что вы на это скажете?

— Вот давай с тебя и начнем! — предложила Лини.

— Женщин послушать интереснее.

— Зато вас, мужчин, больше.

— Ну что ж, в таком случае поехали.— И он уселся напротив них, поджав под себя ноги.— А ты, Норберт, заткни уши. Ведь он знает обо мне все, как и я о нем. Мы друг другу уже изрядно поднадоели.— Отто хмыкнул. Андрей подсел к нему и приставил к уху ладонь. Норберт лежал чуть поодаль, закинув руки за голову.— Родом я из Вены,— начал Отто.— Мой старик был социалистом, потому я здесь и сижу. Если б не это, кто знает, где бы я был...

— Был бы в гитлеровской армии,— перебил его Норберт.— И может, давно бы отправился на тот свет или стал калекой. Это, по-твоему, лучше?

— Кто говорит, что лучше? — огрызнулся Отто.— У нас с тобой об этом говорено-переговорено. Я просто излагаю факты, вот и все. И не перебивай меня... Так вот, помнит кто-нибудь из вас венское восстание тридцать четвертого года?

— Я — нет,— чуть слышно проговорила Клер.

— А я очень хорошо помню,— сказала Лини.— Правительство шло к фашизму, и социал-демократы решили этого не допустить, правильно я говорю?

— Более или менее. В общем, я угодил в самую заваруху. Моя семья жила как раз в том районе, где были сосредоточены главные силы шуцбунда — социал-демократической вооруженной организации. Правительственные войска окружили нас и давай лупить из пушек. А было мне в то время... Слушайте, девушки,— спросил он вдруг,— сколько мне сейчас можно дать?

Женщины замялись. Лини подумалось, что он выглядит лет на тридцать пять, Клер дала ему примерно столько же, но обе знали, что делает с человеком лагерная жизнь и как уродует обритая голова.

— Лет тридцать? — отважилась наконец Лини.

— Тридцать! — сдавленным голосом повторил Отто.— Да мне двадцать четыре! — И он с горечью выкрикнул: — Эти псы украли у

меня семь лет жизни! Ух, черт, попадись мне в руки хоть один наци, хоть один!

— Почему же только один? — сухо возразил Норберт.

— Ну давай дальше про Вену,— поспешила вмешаться Лини.

— Да-а... Так вот, во время восстания мне было тринадцать. Мой старик командовал шуцбундовским отрядом нашего квартала. Я бегал туда-сюда, передавал приказы, таскал патроны, а в последний день и стрелял. Ну после этого они нам устроили темную жизнь, ничего не скажешь. Моего старика и еще многих упекли в концентрационный лагерь. Через год его выпустили. А я тем временем стал ярым социалистом — вступил в молодежную организацию и вообще вообразил себя этаким деятелем, даже речи толкал. Еще по кусочку ростбифа, девушки?

— Одной Клер,— ответила Лини.

Клер заартачилась было, но Лини сказала:

— Ты бы сама отказалась в мою пользу, если бы я была слабей тебя, и то же самое мы обе сделали бы для мужчин, будь это им необходимо. Так что кончай эти глупости, слышишь?

— Так говорить правильно,— поддержал ее Андрей.

А Отто протянул Клер кусочек колбасы:

— Дают — хватай, вот мой девиз.

— Спасибо. Ну дальше, пожалуйста...

— Да, так вот. Перескакиваю сразу в тридцать восьмой год — в марте того года Германия нашего друга Норберта захватила мою Австрию...

Лежавший на полу Норберт рывком сел, резко бросил:

— Австрию захватила гитлеровская Германия, а не моя. Моя Германия в ту пору либо была истреблена, либо гнила по тюрьмам, либо не могла подать голос.

Отто расхохотался:

— Видали, девушки? Нажать нужную кнопку — и он тут же вспыхивает, как лампочка.

— Ты лучше рассказывай дальше,— встревоженно попросила Лини.

— Ну, пожаловало к нам гестапо, принялось чистить Австрию. Мне в ту пору было семнадцать, и я был влюблен впервые в жизни, ха-ха! Словом...— Он присвистнул, ударив ладонью о ладонь, будто смахивая с них что-то.— Словом, я ахнуть не успел, как вместе со своим стариком очутился в новехоньком санатории «Маутхаузен». Тут тебе и уколы — вшей и клопов хоть отбавляй, и холодный душ — по шесть часов на коленях под дождем во время поверок, и все прочие процедуры. Моего старика в первый же месяц забили насмерть. В общем, до сорок третьего Маутхаузен, потом Освенцим. И с того самого часа, как меня забрали, до нынешнего дня я ни разу не видел женского лица, разве только эсэсовок. Семь лет! Так что вы не рассердитесь, если завтра я целый день буду на вас пялиться, а? Сегодня я старался быть джентльменом.

— Семь лет! — шепотом выдохнула Клер.— И как вы только выдержали!

А Отто со своим торопливым нервным смешком:

— Наверно, я двужильный.

— Одного этого было бы мало,— вставил Норберт.— Тут еще и везение и много чего другого.

— Норберт — он ведь все на свете знает... — начал было Отто, но вдруг застыл, и остальные тоже замерли: со двора донеслось какое-то звяканье, потом скрип отворяемой наружной двери. И снова звяканье.

Норберт вскочил:

— Не иначе как Юрек! — И он рывком распахнул внутреннюю дверь.

Все с облегчением рассмеялись — это действительно был Юрек, навьюченный, как разносчик в начале дня: в правой руке три ведра, одно в другом, в левой — большая плетеная корзинка, за спиной — картонный чемодан. Норберт отвязал чемодан, и Юрек, отдышавшись, сказал со смехом:

— Я все выпросил, будто я есть их родственник. Тут два одеяла, одежда для Лини. Одежду дала сестра — Кароль симпатичный, и сестра тоже.— Из верхнего ведра он извлек ложки, вилки и стопку мисок — все деревянное. Затем вытащил из кармана долото: — Это — пробивать лед в колодце. Тут, у завода, колодец, потом пошукаю.

— А мыло? — нетерпеливо спросила Клер.

— Мыла нет, полотенец нет, соли нет, молока нет — после жатвы до деревни приходили немцы, забрали у Кароля последнюю корову. Зато... — тут от открыл корзинку,— хлебца вам принес и вон сколько горячей капусты с картошкой.

— Капуста! — ахнула Лини.— Бог ты мой!

— Кароль есть добрый человек, не-ет? — с гордостью спросил Юрек.

— Вот бы нам поблагодарить его лично,— горячо воскликнула Клер.

Андрей что-то быстро проговорил по-русски, и Клер перевела: когда придут его товарищи, Кароль будет вознагражден с лихвой за все, что он для них сделал.

— Эй, а водочки организовать не догадался? — спросил Отто.

— Он предлагал большую бутылку, да я не взял,— небрежно уронил Юрек.

— Не взял?!

— Я водки не люблю, только французский коньяк.

— Ты что... — зашипел Отто.— Видно, совсем...

Юрек так и покатился со смеху:

— Да я шучу. Нет водки, нет.

Тут в третий раз за день грохнул взрыв хохота. И не так уж это было смешно — просто беглецам необходима была разрядка.

— Ну что ж,— сказала Лини, когда веселье улеглось,— давайте поедим, пока все горячее.

— До завтрашнего вечера больше ничего не будет,— предупредил Юрек.— Так что хорошо бы нам немного оставить на завтра, не-е-ет?

— Ну-ка, Лини, похозяйничайте,— попросил Норберт.— Разделите все на три раза.

— Идет. Только поставьте корзинку туда, где посветлее, ладно? А то мне ничего не видать.

Луна тем временем успела переместиться и теперь освещала лишь дальний конец помещения. Все перешли туда. Вскоре каждый получил полную, с верхом, миску горячей капусты с картошкой и толстый ломоть серого хлеба домашней выпечки.

— Тут еще на два раза хватит! — радостно объявила Лини.

Ели в сосредоточенном молчании, время от времени покрякивая от удовольствия. Какое же это было наслаждение — есть обычную пищу, ведь они так давно ее не видели, и знать, что больше не нужно давиться тошнотворной крапивной баландой, из которой состоял их обед в Освенциме. Капуста, картошка, вкусный хлеб — да это же королевские яства! Одна только Клер усилием воли заставляла себя есть медленно. Остальные набивали рты без передышки, и голод этот был скорее психологический: ведь каких-нибудь несколько часов назад они довольно плотно поели. Каждый начисто вытер миску последним кусочком хлеба.

— Ах! — воскликнул Отто, отодвигая миску.— Святой Кароль! Не иначе как он попадет прямо в рай!

— Я бы этой капусты еще десять таких мисок съел, прямо сейчас,— сказал Юрек.

— А я — двадцать,— усмехнулся Андрей.

И тут они предались излюбленному развлечению заключенных.

— Если бы можно было заказать на завтрак любое блюдо, вы что бы взяли? — обратилась Лини к Норберту.

Ответ последовал незамедлительно:

— Четыре жареных утки и к ним четыре литра пива.

Взрыв хохота.

Отто: — А мне — тушеное мясо и яблоки в тесте.

Клер: — Большущий-пребольшущий омлет с сыром.

Юрек: — Мне — маленького свиненка, кило на шесть, чтоб было что пожевать, та-ак?

Снова хохот.

Андрей: — А для меня — большой жирный гусь.

Лини: — Никак не могу выбрать — то ли свежие голландские селедки, то ли клубнику со сливками.

Отто: — А ты начини селедки клубникой!

Клер отодвинула свою миску, съев меньше половины.

— Потом вы все будете мне завидовать,— весело объявила она.— Смотрите, сколько у меня осталось!

Лини: — Особенно буду завидовать я — ведь у тебя такая изящная фигура!

Все снова так и закатились, а Клер громче всех.

Потом Юрек со вздохом сказал:

— Ну я пошел. Пошукаю колодец, принесу воды.

— Слушай-ка,— оживился Отто.— Заскочил бы ты по дороге в лавочку, купил мне сигар, а?

Громовой хохот.

— Ох, боже мой,— простонала Лини.— Уморили меня совсем. Хватит! Чтобы никто больше ни слова!

До чего же хорошо! Какое блаженное чувство свободы!

6

Норберт и Отто подремывали, лежа вдвоем на одном одеяле. Женщины, казалось, тоже спали, но Андрей заметил, что Клер зашевелилась и села. Он двинулся к ней, осторожно пробираясь в темноте.

— Клер, вы проснулись? — зашептал он по-русски.

— А я не спала. Я опять ем.— И она рассыпалась коротким счастливым смешком.

— Как ноги?

— Все так же — болят.

— Но не хуже?

— Нет. Только ледяные — никак не согреются. Опустить бы их на часок-другой в горячую воду!

— Нельзя, это вредно. Хорошо, что здесь прохладно. Такая температура для ваших ног в самый раз.

— И откуда вы только все это знаете?

— Я до плена отмораживал себе ноги дважды.

— А в каких частях вы служили?

— Санитаром был. Ездил с госпитальной машиной.

Короткое молчание.

— Андрей, вы напели мелодию из Дебюсси так правильно, что я сразу ее узнала. Вы музыкант?

— Был. До войны. А теперь не знаю,— в голосе Андрея пробилась горечь.

— Из-за того, что вы все эти годы не упражнялись?

— Не в том дело. До плена у меня была такая возможность — в свободное от дежурства время. Но после контузии я почти оглох на правое ухо... В нашу машину угодила мина. Стать первоклассным музыкантом вообще не так-то просто. А уж при физическом недостат-

ке... Не знаю, смогу ли теперь воспринимать музыку нормально... Удастся ли приспособиться...

— Может, когда вернетесь домой... С помощью врачей?

— Может быть.

Молчание.

— Клер, вы любите классическую музыку?

— О да. Особенно камерную. У вас какой инструмент?

— Виолончель.

— Играли в оркестре?

— Нет. Учился в Киевской консерватории.— Потом с горечью: — Говорили, я подавал большие надежды. Когда началась война, я как раз готовился к первому своему концерту.

— Но он так и не состоялся?

— Нет.

Снова короткое молчание.

— Сколько вам лет, Андрей?

— Двадцать пять. Но выгляжу я, должно быть, гораздо старше?

— Немножко. Как и все мы. Это ведь неизбежно.

— А вам сколько?

— Двадцать шесть.

Мягко: — Какие у вас чудесные глаза, Клер. Синие, как у некоторых русских девушек.

Клер рассмеялась:

— Вы даже представить себе не можете, до какой степени я француженка.

— А я все-таки утверждаю: есть в вас и русская кровь, от деда,— шутливо настаивал Андрей.— Ох, до чего же все-таки здорово, что вы говорите по-русски. Ни в команде, ни в бараке у меня не было ни единого земляка. Народ из каких угодно стран, только не из моей. Я теперь знаю слов по двадцать из доброго десятка языков, даже греческого.— И он невесело засмеялся.

— А чувствуете у меня акцент?

— Самую малость. Вы и по-польски так же хорошо говорите?

— Нет. Объясниться кое-как могу, но и только. Я ведь главным образом изучала немецкий и русский. Собиралась стать переводчицей.

— Хотели книги переводить?

— Да. Мне казалось, это интересная работа, ею приятно зарабатывать на жизнь.

— А с русского вы что-нибудь перевели? — оживился Андрей.

— Нет. Работать мне так и не пришлось. Вышла замуж, а потом началась война.

После некоторой заминки:

— А что с вашим мужем?

Тихо, очень сдержанно:

— Он погиб. После того как нас привезли в Освенцим, я его больше не видела.

Внутренняя дверь со скрипом отворилась, и вошел Юрек, неся третье по счету ведро воды.

— Эй,— бросил Отто, приподнявшись,— купил мне сигары?

— Прошу у пана прощения — забыл.

— Ха-ха!

— А не пора ли выходить на поверку? — осведомилась Лини.

Снова грохнул взрыв смеха, горького, резкого, сухого, роднившего их. Самым страшным в лагерной жизни были именно поверки. Дважды в день, на рассвете и в сумерках, заключенных в любую погоду выстраивали перед бараками в ровные шеренги и по три, по четыре часа заставляли стоять по стойке «смирно» или же на коленях с поднятыми над головой руками, а упавших избивали хлыстом или дубинкой... Безрадостное это веселье быстро утихло, сменившись гне-

вом, угрюмым раздражением, болью; чистый воздух наполнялся знакомыми запахами — зловонием бараков, их собственных давно немытых тел; раздавленных ногтями вшей, успевших насосаться крови; черного дыма, день и ночь стлавшегося над крематорием. Лини расплакалась.

— Ой, и надо же мне было ляпнуть такое! Давайте больше никогда-никогда не будем говорить про лагерь.

— Ш-ш-ш! — сказала Клер, обнимая ее.— Друзья, милые мои, дорогие друзья, у меня предложение. Пусть в первую ночь свободы музыка отвлечет нас от мыслей о лагере. Андрей только что мне рассказал: он музыкант. Попросим его напеть какую-нибудь прекрасную мелодию. Чтобы нам уснуть под звуки музыки.

— Чудно,— подхватил Отто.— Под «Голубой Дунай», а?

— Ой, нет. Это каждый из нас может напеть. Лучше что-нибудь из Бетховена или Чайковского. Ладно, Андрей?

— С удовольствием,— ответил он по-русски. Но только не Бетховена, что-нибудь попроще.

— На ваш выбор... Друзья, он согласен.

И они стали устраиваться на ночь: в одно одеяло завернулись Лини и Клер, на другое вчетвером легли мужчины.

— Скажите им, Клер,— попросил Андрей по-русски,— что я напою «Песнь матери» чешского композитора Дворжака. В армии виолончель была со мной, и я часто играл раненым. Так вот, эту вещицу они, бывало, без конца просили повторить. Она коротенькая, но в ней много чувства.

Клер перевела.

— И пусть извинят — голос у меня неважнецкий.

— Ничего.

Они лежали на каменном полу заброшенного заводика, наслаждаясь первой ночью свободы, и Андрей напевал. Сам того не замечая, он нажимал пальцами левой руки на грудь, словно на гриф виолончели. И под пение это все, кроме Клер, незаметно уснули, так и не дослушав до конца.

— Большое, большое вам спасибо,— сказала Клер, когда он кончил.— Ну теперь пора спать. Доброй ночи, Андрей.

— А я так счастлив, что мне, пожалуй, не заснуть.— Потом с тихим смехом: — Как же это так — я вижу в темноте ваши глаза.

— Не можете вы их видеть. Они закрыты.

— Странно. А все-таки я их вижу.

— Просто вы хотите сделать мне комплимент.

— Не расслышал.

— Я говорю: — вы хотите сделать мне комплимент.

— Вовсе и не комплимент.

Она рассмеялась:

— Что-что, а такие вещи француженка распознает сразу. Но мне это приятно. Доброй ночи.

— Доброй ночи, Клер.

Глава третья

МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ

1

Отто проснулся на заре и по привычке ждал, когда сквернослов староста начнет дубасить палкой по стене барака и вопить в устрашение недостаточно расторопным:

— Подъем! На поверку, подлые свиньи! Никак задниц своих не поднимут, сволочи. А ну живей, погань этакая!

Но окрика все не было, и Отто удивленно открыл глаза — только тут он все вспомнил, и буйная радость накатила на него. Не в силах держать ее в себе, он рывком сел, обвел остальных загоревшимся, диким взглядом, осклабился и вдруг заорал во все горло:

— *Подъем, мразь помоечная! На поверку! Живо, живо!*

Будь в Отто хоть немного больше чуткости, ему сразу же стало бы совестно за свою выходку. Пятеро беглецов выломились из сна: протяжные стоны, сведенные судорожной гримасой лица, мучительно-напряженные движения — все это он ежедневно видел столько лет подряд. Прежде чем его ржание заставило их опомниться, они уже были на ногах. Дружного ответного хохота, которого он ожидал, не последовало. В эту минуту все люто его ненавидели — он понял это по их глазам, по застывшим лицам, и смех его замер.

— Я просто пошутить хотел,— пробормотал он.

Молчание все длилось и длилось, пока наконец его не прервала Лини.

— Давайте договоримся больше так не шутить,— сказала она мягко.— Я и сама вчера вечером отколола номер в этом роде. И горько пожалела. Мы же все так настрадались.

— Ну факт,— буркнул Отто.— Дернуло же меня. Не подумал...

Норберт примирительно похлопал его по руке.

— Семь раз отмерь, один раз отрежь.

— Ой, вы только взгляните! — воскликнула Клер, указывая на окно.— Ни бараков, ни колючей проволоки, ни вышек! Посмотрите, какая красота!

Все сгрудились у окна. Занялся бессолнечный день, графитно-серое небо нависало по-зимнему низко, давило — сколько раз повторялось в их жизни такое вот хмурое утро, но в эту минуту для них, шестерых, было в нем что-то необыкновенное. От дверей завода меж ровных заснеженных полей бежала дорожка, теряясь вдали. Насколько хватал глаз, нигде ни жилья, ни людей, на снежной целине — ни стежки, ни следа. Далеко-далеко темнел густой лес. Жадно глядели они на эту мирную картину, и каждый вдруг ощутил свободу гораздо острее, чем вчера, в ночной мгле. Клер и Лини повернулись друг к другу с сияющей улыбкой. И вдруг обнялись.

— О господи,— прошептала Лини.— Как далеко очутились мы от Тулузы.

— Видела ты что-нибудь прекрасней? — зачарованно выдохнула Клер.— Теперь и умереть не жаль — после того как поглядела на эту красоту.

Лини усмехнулась:

— За эти сутки ты уже второй раз говоришь, что готова умереть.

— Ах, друзья, друзья! — радостно воскликнула Клер, не отрывая глаз от окна.— Каких-нибудь четыре дня тому назад мы, просыпаясь, были всего лишь номерами. Невольниками. Прахом. А теперь каждый из нас вновь стал личностью, человеком, обрел чувство собственного достоинства. Великое дело — свобода! Я от счастья готова до неба подпрыгнуть.

Вдруг Лини подала Клер знак, чтобы та обернулась: Норберт стоял у окна, позабыв о других и не замечая, что по щекам у него катятся слезы. Мужчины молча отошли в сторонку, чтобы он мог побыть один, и Клер последовала их примеру, но Лини осталась. Она подошла к Норберту, молча постояла рядом, потом негромко сказала:

— Норберт? — и коснулась его руки.— Норберт? — Он обернулся и, ощутив у себя на щеках слезы, смахнул их рукой.— Вы долго пробыли в лагере?

Он кивнул, судорожно глотнув воздух.

— Сколько?

— Меня забрали в тридцать третьем.

— Двенадцать лет?! Господи боже мой!

— Я ведь не верил, что когда-нибудь окажусь на свободе, буду вот так стоять,— выговорил он едва слышно.— Друзья погибали один за другим у меня на глазах. Правда, я надеялся, но верить не верил.

Она положила руку ему на плечо.

— И все-таки дождались — мы на свободе...

— Да, да.— Он как-то обмяк, твердый, непроницаемый взгляд смягчился, стал печальным, усталым.— Я сейчас все равно как человек, который...— Он развел руками.— Ну, забрался на самую высокую в мире гору, что ли... А когда очутился на вершине... Только тут и понял, чего ему это стоило... Я... так устал... И не то чтоб телом. Нет, душа у меня словно выкачана до дна. И мозги тоже.

Лини все не снимала руку с его плеча.

— Еще бы,— ответила она так же тихо.— Двенадцать лет. Боже мой! Но ничего, вы отойдете. Видно, очень вы сильный человек, иначе нипочем бы не выдержали.— И, хорошо зная, каково это — чувствовать, что ты опустошен, выкачан до дна, она решила хоть как-то отвлечь его от горьких мыслей.— Слушайте все! — объявила она громко.— Выходить нам нельзя, значит, надо договориться, где у нас будет женский туалет. И давайте решать сразу, а то как бы мне не оскандалиться, я вот-вот лопну.

Общий смех и на лице Норберта слабая улыбка — этого-то ей и надо было!

— Тут же завод, значит, должны быть уборные! — сказал Отто.— Пошли поищем. Я семь лет настоящей уборной не видел.

Клер усмехнулась.

— Семь лет не видел ни женского лица, ни стульчака. Лини, что мы, бедные, станем делать, если он целый день будет любоваться не нами, а стульчаком?

— Ха-ха! Любоваться целый день я, положим, не стану, но, будь там тепло, просидеть действительно просидел бы на нем целый день — для разнообразия.

Распахнув дверь в дальнем конце помещения, они очутились в необычно пустом, оголенном заводском цехе: ни машин, ни приводных ремней, ни проводов. Лишь красная пыль на полу да дыры в бетонных плитах, к которым крепились станины, говорили о том, что было здесь прежде.

— А пыль-то, похоже, кирпичная,— заметил Норберт.

— Так,— подтвердил Юрек.— То и был кирпичный завод. Немцы все забрали. А вон за той дверью ход на второй этаж. Ага! — И он кивком показал в угол цеха, где к стене притулились две закрытые кабинки.— Верно, то и есть туалет.

Все направились к кабинкам.

— Мы просто экипаж Колумбовой каравеллы — открываем Америку,— со смехом сказала Клер.— А вон и надписи: «Для мужчин», «Для женщин».

— Ах да,— подхватил Юрек по-польски.— Я и забыл, что вы знаете мой язык.

— По правде сказать, довольно слабо. Так, научилась немножко от бабушки.

Отто распахнул дверь женской уборной и остановился как вкопанный.

— Нет, он и в самом деле прекрасней женщины. Вы только взгляните, какие линии. Ни одна женщина...

— Пропустите, пожалуйста! — прервала его Лини.

Но Отто не шевельнулся.

— Я поклонник прекрасного. Дай же мне полюбоваться хоть минутку.

Лини попыталась было оттереть его плечом, но он словно врос в землю.

— Отто, я вот-вот лопну.

— Во имя третьей империи, научись обуздывать свой мочевой пузырь.

— Фу! — Лини со смехом шмыгнула во вторую кабину.

А Отто предложил руку Клер.

— Разрешите, мадам, проводить вас к дверям Америки?

2

Они сидели кружком, накинув на плечи одеяла, и Лини накладывала в миски картошку и капусту — на завтрак. Андрей, примостившись рядом с Клер, тихонько спросил по-русски:

— Как ноги?

— Пожалуй, лучше. Уже могу двигать пальцами. А вчера не могла.

— Ну отлично. Разрешите проверить — появилась ли чувствительность?

— Конечно.

Он стал ощупывать ее ноги.

— Все еще не согрелись. Но уже не такие ледяные, как вчера.— Он улыбнулся, и темно-карие глаза его засветились.— Вчера я побаивался, как бы не началась гангрена. Но обошлось. А массаж все-таки надо продолжать. И почаще шевелить пальцами.

— Гангрена? Тогда бы мне конец!

— В таких условиях — разумеется.

— Вот был бы дурацкий финал! И это после того, как я вырвалась живая из Освенцима.

— Эй! — обратился к ним Отто, и в голосе его прозвучали едва заметные нотки досады.— Говорили бы вы по-немецки, чтоб всем было понятно, а?

— Да у нас нет никаких секретов,— улыбнулась Клер.— Разговор идет о моих ногах. Просто Андрею гораздо легче объясняться по-русски.

Тем временем Лини принялась раздавать завтрак. На этот раз овощи были холодные и порции втрое меньше вчерашних, а хлеба — каждому по небольшому кусочку. И все-таки при виде этой еды беглецы испытывали блаженство, у них текли слюнки. Ведь в Освенциме завтрак их состоял из кружки мерзкого пойла — эрзац-кофе или чая — да ломтика кислого, отвратительного на вкус хлеба — это еще если удавалось хоть что-то сберечь от выданной вечером пайки... Ели они уже не так торопливо, как вчера, время от времени перебрасывались словом.

— Эй, поглядите-ка, что у меня есть! — И Отто поднял вилку с половиной картофелины на ней.— Добрый кус жареной свинины.

Лини: — Это я специально для тебя зажарила.

Но Отто не донес картофелину до рта — она соскочила и шлепнулась на пол. Он поднял ее, очистил пыль и отправил в рот. И каждый из них на его месте поступил бы точно так же.

— Здорово, да-а? — воскликнул Юрек и погладил себя по животу.— Уже не такой пустой.

— Едим теперь как старосты бараков или капо,— усмехнулся Норберт.

Отто: — А что? И вправду! Эй, Клер! Вот вам на десерт.— И он протянул ей два кусочка сахара.

— Спасибо, Отто. Вы такой славный.— Потом горячо, порывисто: — Без вас, мужчин, мы бы пропали. А будь на вашем месте другие, может, нам бы плохо пришлось. Но вы обходитесь с нами так по-товарищески... Ну, в общем, знайте: мы очень это чувствуем и ценим, всем сердцем чувствуем.

— Да ну, о чем тут говорить. Просто мы четверо рыцарей из Освенцима,— усмехнулся Отто.— Нет, четыре мушкетера. В детстве «Мушкетеры» были моей любимой книжкой.— Он вскочил и принялся фехтовать воображаемой шпагой.— Оберегаем прекрасных дам от всех опасностей.— Он сделал несколько яростных выпадов.— Один убит, второй, третий.— Снова выпад, захлебывающийся вскрик.— А теперь я сам убит.— И он хлопнулся навзничь.

Хохот, рукоплескания. Довольный донельзя, Отто поднял свою миску, подцепил вилкой кусок капусты и отправил его в рот.

Андрей снова заговорил с Клер по-русски:

— Какая у вас очаровательная улыбка. До Освенцима вы, бесспорно, были красавицей.

Она помрачнела, хмуро ответила:

— Благодарю вас, Андрей. Когда вы говорите такое, это мне помогает — я опять начинаю хоть капельку чувствовать себя женщиной.

— А кем же еще можете вы себя чувствовать? — спросил он недоуменно.

— Каким-то бесполым существом.

— Но почему?

Она ответила с откровенностью, какая раньше была бы для нее немыслима в разговоре с посторонним мужчиной. Но в Освенциме, где вся жизнь заключенного была сведена к чему-то самому элементарному, человек был внутренне оголен, его лишали возможности хоть что-нибудь держать в себе, обривали ему душу, как и голову, наголо.

— Потому что я превратилась в скелет, потому что вот уже два года у меня не было месячных и не осталось сейчас в моей внешности ничего женского — ни волос, ни груди.

— Отчего же вы для меня сама женственность?

— Может быть оттого, что вы давно не видели женщин. А может быть,— тут она бросила на него лукавый взгляд,— может быть, это у вас привычная галантность и вы такое каждой женщине говорите.

— Ни то ни другое,— ответил он очень серьезно.— Прежде всего, в лагерях я пробыл только семь месяцев. И потом, моя команда каждый день проходила в Бжезинке через женский лагерь, так что женщин я видел. Нет, дело не в том — даже в этой одежке, даже такая истощенная вы очень женственны. И глаза ваши, и рот, и голос... И движения... И вся ваша душа...

Клер улыбнулась. Он даже не представлял себе, до чего она ему благодарна.

— Приятно слышать. Спасибо, Андрей.— И, резко повернувшись к Юреку, спросила его по-немецки: — Как вы думаете, нельзя ли раздобыть у Кароля зеркальце?

— Попрошу.

— Мужчины, а вам удалось за все это время хоть разок поглядеться в зеркало? Нам — нет. Разве что иногда увидишь свое отражение в оконном стекле, да и то если свет падает как надо. Но все равно толком ничего не разглядишь.

Выяснилось, что и мужчины за все годы лагерной жизни ни разу не видели себя в зеркале.

— Однажды в Бухенвальде,— стал рассказывать Норберт,— я раздобыл осколочек зеркала, но в него только и было видно, что кусочек носа или губы. А это хуже, чем ничего.

— Ты хорошенько подумала, тебе и в самом деле охота на себя поглядеть? — усмехнулась Лини.— Я так вовсе не жажду.

— При такой кормежке я толстею не по дням, а по часам,— ответила Клер.— К завтрашнему дню буду в форме.

— Да уж конечно,— сказала Лини, собирая миски.— Видели бы вы Клер до Освенцима — это вам не мужиковатая голландка вроде меня: сногсшибательная, элегантная красотка француженка. Ну вот что, рыцари, когда я перемою миски, вы уж будьте так любезны, погуляйте где-нибудь, чтобы дамы могли помыться. Тогда я смогу надеть обновки, которые Юрек приобрел для меня в универсальном магазине Кароля. Ох, боже ты мой! Ведь я на них еще и не взглянула!

Со стуком поставив миски на пол, Лини бросилась к чемодану, раскрыла его и, вскрикивая от восторга, извлекла оттуда сперва синюю шерстяную юбку, за ней фланелевую нижнюю, затем кофту с воротником стоечкой, какие носят крестьянки, и, наконец, фуфайку из грубой шерсти.

— Нет, вы только посмотрите! — возбужденно повторяла она.— Да я в этом буду просто королева!

Одежда была поношенная, в заплатах, но это нисколько не портило ей удовольствия.

— Ну а сейчас выйдите, а? — попросила она мужчин, прикладывая юбку к талии.

Однако Норберт заартачился:

— Лини, вымыться еще успеете — как-никак целый день впереди, да и вода холодней все равно не станет. А так хотелось бы, девушки, с вами поговорить — ведь мы о вас ровным счетом ничего не знаем.

— Поговорить тоже еще успеем, сами же сказали — весь день впереди. А я хочу сбросить с себя это полосатое тряпье и знать, что с Освенцимом покончено.

— Давайте проголосуем,— предложил Отто.— Итак, кто за то, чтобы Лини сперва рассказала нам о себе, а уж потом вымылась?

Четверо мужчин дружно заулыбались, разом подняли руки.

— Принято большинством голосов. Садись, Лини. У нас демократия.

— Клер, знаешь, юбка-то широковата в талии,— огорченно сказала Лини.— Что теперь делать?

— Может, Юрек достанет английских булавок?

— Ой, я и забыл. Сестра Кароля спрашивала, вы толстая или тонкая.— И Юрек улыбнулся своей ослепительной, мгновенно гаснущей улыбкой.— Сама она чуть потолще вас. Так что вот, она прислала.— И он вынул из кармана несколько английских булавок.

— Благослови господь сестру Кароля! Ну а теперь, мужчины, выйдите-ка, а?

— Но решение принято большинством голосов,— ухмыльнулся Отто.— Итак, где ты родилась, во сколько лет выучилась читать, как звали мальчика, с которым ты первый раз поцеловалась, и так далее...

— Лини, ну пожалуйста,— негромко попросил Норберт.— Надо же нам познакомиться поближе.

— Ох и упорный вы народ, мужчины! — Лини села.— Клер, давай-ка ногу, я помассирую, чтобы зря времени не терять. С чего же начнем? Значит, родилась я в Амстердаме. Была у меня мама — до того хорошая! Умерла перед самой войной, и я даже рада, что так случилось. А еще есть два старших брата — они в Канаде, не знаю, что сейчас с ними, может, в канадской армии воюют — и отец, человек очень ограниченный, страшно религиозный — такой дурак...—

Она помолчала.— Погиб, скорей всего. Ни за что не хотел уезжать из Амстердама. У него там была мясная лавочка. Окончила я только начальную школу, потом пошла работать на шоколадную фабрику. А вечерами училась делопроизводству и выучилась-таки. После этого работала машинисткой в конторе. В тридцать шестом вышла замуж. Два года спустя у меня родился сын, Йозеф. Так, это вместо вступления. А теперь о том дне, с которого начался мой путь в Освенцим. Почти пять лет назад это было. Десятого мая сорокового года.— До сих пор Лини говорила быстро, непринужденно. Но теперь вдруг заговорила медленнее, и в голосе ее прорывалось волнение, хоть она явно и старалась сдерживаться.

— А почему именно десятого мая? — спросил Норберт.

— Потому что в этот день немцы вторглись в Бельгию, Францию и Голландию.— Она опять помолчала, потом горько усмехнулась: — Дата не слишком радостная — не то что день рождения или годовщина свадьбы, верно? И едва все это началось, с самой первой минуты мы с мужем знали: надо бежать — у нас с ним все было обговорено заранее. Оба мы евреи и очень хорошо понимали, чего нам ждать от фашистов. Правда, у некоторых евреев, вроде моего умника папаши, были на этот счет заблуждения. А вот мой муж, Алекс, состоял в антифашистской организации. За ним, по правде сказать, следили, потому что он частенько выступал на митингах. Голландские фашисты даже избили его и пригрозили, что в следующий раз прикончат.

— Чем занимался ваш муж? — спросил Норберт.

— Преподавал в гимназии. Он был много старше меня — на пятнадцать лет.

— А сейчас вам сколько?

— Двадцать девять... В то время нашему мальчику было всего два годика. Конечно, у нас все было заранее подготовлено — мы оставили его у наших друзей-христиан.— Она помолчала, пытаясь незаметно сморгнуть набежавшие слезы.— Представить себе не можете, до чего он славный. Теперь ему почти семь лет, он меня не узнáет... Да и жив ли он...

— Почему же нет? — сказал Норберт сердечно.— Разумеется, жив.

— Кто знает, что могло произойти за эти годы...— Быстрым движением она вытерла глаза.— Ну так вот, мы с мужем выехали из Амстердама на велосипедах. Пробирались через Бельгию в Париж. Иной раз едем, где-нибудь совсем близко бой, так что приходилось петлять. Две недели мы ехали, до Парижа добрались еле живые.

— И как же вы перешли границу?

— Ночью. Проводника наняли. Муж хорошо знал французский — он учился во Франции,— так что мог обо всем договориться. В Париже мы прожили немного у его друзей, но тут французская армия стала разваливаться, и мы вместе со всеми бросились на юг. Остановились в Тулузе, там у Алекса тоже был друг. Он нам помог получить бумажку, что мы беженцы,— без этого не давали продовольственных карточек. Там мы и жили, покуда Франция не капитулировала. В Тулузе для нас на первых порах было безопасно — та часть Франции еще не была оккупирована фашистами, но Алекс понимал, что это дело времени. И потом, он считал — надо нам перебраться в Англию, хотел там в армию пойти.— Лини сделала паузу поудобнее устроила у себя на коленях ногу Клер.— Ну что, не слишком длинно получается?

— Нет, нет! — поспешил заверить ее Норберт.— Вы поймите, ведь мы с Отто почти не знаем, что происходило в годы войны. Поэтому нам интересно решительно все. Так, значит, вы хотели перебраться в Англию. И что же?

— Добрались мы до Перпиньяна, это на границе с Испанией, велосипеды продали. Алекс нашел проводника, тот обещал ночью провести нас в обход пограничных постов. Взял денежки, а потом привел нас прямехонько к испанскому патрулю. Неделю нас продержали в тюрьме, потом выслали обратно во Францию. На том дело с Англией и кончилось. В Тулузу вернулись без гроша. Впрочем, там скопилось много беженцев, все больше немецкие евреи, и Алекс кое-что зарабатывал, давая им уроки французского.

— А как обращались с вами французы? — поинтересовался Норберт.

— В большинстве своем очень хорошо. Ну, конечно, были и у них свои фашисты... Словом, прошел год с лишним, и вот в конце сорок второго немцы заняли неоккупированную часть Франции.— Лини перестала массировать ногу Клер. Она словно одеревенела, углы рта опустились, голос стал глуше: — И больше уже ничего сделать было нельзя — бежать некуда, спрятаться нам, евреям, тоже негде. Оставалось сидеть и ждать, пока тебя заберут, это было невыносимо. И через три недели нас забрали. Вот тогда я и встретилась с Клер. Благодарение богу, меня посадили в одну камеру с ней. Но Алекса...— она умолкла, кивком попросила Клер досказать за нее.

— Алекса расстреляли,— объяснила Клер.— Затребовали из Голландии его досье и расстреляли.

— Мои братья немцы! — с болью воскликнул Норберт.— Двенадцать лет я все спрашиваю себя: как могло случиться, что такой народ, как мой, охватило безумие расизма? Нет, причины-то мне известны досконально: и политические, и экономические, и исторические. Ведь в те первые годы попасть в Дахау — значило очутиться среди образованнейших людей, вы уж поверьте. Там были лучшие люди Германии: ученые, писатели — словом, люди, которые знали, что к чему. Они говорят, бывало, а я слушаю — наверное, тысяч десять лекций прослушал. Для меня, рабочего человека, это был все равно что университет. Но хоть я и знаю все причины досконально, а еще и сейчас спрашиваю себя: как могло такое случиться?

Все молчали — оказавшись в чудовищной мясорубке Освенцима, они и сами без конца раздумывали над этим... Молчание прервал Андрей, заговорив с Клер по-русски: он не все уловил из того, что сказал Норберт,— тот говорил так быстро. Клер повторила ему самую суть, и Андрей одобрительно закивал. Потом снова заговорила Лини — глухим, сдавленным голосом:

— Ну теперь вы знаете обо мне уже все. Из Тулузы нас отправили в Дранси — пересыльный лагерь для французских евреев, а оттуда в марте сорок третьего — в Освенцим.— Она ненадолго умолкла, ее широкий добрый рот искривился в горькой усмешке.— Вот и вся моя история.

Помолчали. Вдруг Лини сказала:

— Нет, не вся! Надо еще рассказать вот про нее,— и она кивком показала на Клер. Лицо ее сразу смягчилось, глаза заблестели.— В тулузской тюрьме можно было с голоду вспухнуть — не хуже, чем в Освенциме. А Клер получала посылки от родных. Я была ей совсем чужая, иностранка, но она с первой же минуты стала всем-всем со мной делиться.

— А сколько сделала для меня ты? — любовно проговорила Клер.

Но Лини оставила ее слова без внимания и продолжала:

— Когда расстреляли мужа и я хотела размозжить себе голову о стену, это она, Клер, удержала меня — заставляла думать о ребенке, обнимала меня, когда я плакала, просиживала возле меня ночи, когда я не могла спать,— боже мой, да вы представить себе не можете, что это за добрая душа. Только послушайте: она была в Освенциме

переводчицей, а меня отправили в Бжезинку[1]. Ну надолго ли меня там хватило бы — вкалывать на болоте, по колено в грязи? И вот Клер принялась упрашивать своего шефа, гестаповского офицера, чтобы взял меня к себе в отдел машинисткой. И до того она ему надоела, что в один прекрасный день он объявил: «Придется мне либо взять сюда твою подругу из Бжезинки, либо отправить тебя обратно к ней. А то ты так и будешь без конца морочить мне голову!» — «Так и буду, господин начальник, иначе я не могу». Этими вот словами. Сам мне потом рассказывал — даже он, этот гад, не мог ею не восхищаться. Ну а Клер была ему нужна позарез. Потому-то я и выкарабкалась из Бжезинки. А не то давным-давно ушла бы в трубу![2] Вот она какая, Клер...

— А знаете,— улыбнулась Клер,— зато Лини для меня никогда ничего не делала. Разве самую малость: не пропускала ни одного транспорта с французами, прибывшего в Бжезинку,— ждала меня. И в первую же неделю, как я туда попала, раздобыла для меня миску, фуфайку, рубашку — выменяла все это на черном рынке на свои пайки. А когда я лежала в тифу со страшной температурой и пропадала от жажды, не ты ли приносила мне каждый день свою похлебку, а сама чуть с голоду не умерла?

— Да,— твердо сказал Норберт,— обе вы только потому и выжили, что помогали друг другу. Я видел такое тысячу раз. Послушайте, что я вам скажу.— Он заметно оживился, голос его окреп: — В мужских лагерях в Дахау, Майданеке, Освенциме я видел, как люди превращались в зверей, обворовывали своих же товарищей, доносили один на другого, ни о ком и ни о чем не думали, только о себе. И среди женщин, наверное, попадались такие.

— Еще бы,— подхватила Лини.— А всех поганей старосты бараков и капо — били других заключенных палками, отнимали у них еду...

— Всяко бывало,— перебил ее Норберт.— Но я про другое хотел сказать. Живой думает, как бы выжить. В тех страшных условиях многие теряли себя — одни сдавались и гибли, другие превращались в скотов, шли на что угодно, лишь бы спасти свою шкуру. Но были ведь и такие, кто сумел выстоять! Это одно и держало меня двенадцать лет — настоящее мужество (а я его видел в людях), настоящее благородство и доброта. Да, они делали все, чтобы выжить, и все же какой-то черты не переступали, потому и оставались людьми. Был у меня в Майданеке хороший друг — сам он из Венгрии, очень образованный человек, издательским делом занимался. И он мне однажды сказал примерно так: «Бывает, что верность идее или другу у человека так сильна, что ему важней сохранить ее, чем выжить. Это и делает его настоящим человеком». Так он сказал. Потому-то Клер не бросила вас в беде, Лини, а вы не бросили ее. И именно потому вы обе выжили!

— Смотрите,— негромко сказала Клер.— Снег пошел. До чего красиво!

— О, то есть великая удача для нас,— сразу же сообразил Юрек.— В лесу заметет наши следы.

---

[1] Освенцим включал несколько концентрационных лагерей, подразделявшихся на три секции

Секция I — собственно Освенцим. Здесь находилась комендатура и мужской лагерь; имелось и несколько женских команд, выполнявших конторскую работу особого назначения, но они были изолированы от остальных заключенных.

Секция II — Бжезинка, находилась менее чем в трех милях от Освенцима. На ее территории были расположены мужской и женский лагеря. Здесь же были сосредоточены газовые камеры и крематории.

Секция III включала сеть лагерей и промышленных предприятий, занимавших в общей сложности площадь в несколько сотен квадратных миль. *(Прим. автора.)*

[2] Так называлось на лагерном жаргоне кремирование.

— Сидим тут как у Христа за пазухой! — воскликнул Отто.— Четыре мушкетера и их дамы! — Он вскочил и, напевая «Голубой Дунай», протянул Лини обе руки.— Пошли. Давненько я не танцевал с дамой — целую неделю, а то и две.

Лини улыбнулась, встала. Андрей подхватил мелодию, и вот уже все вторят ему, а Лини и Отто весело и неловко кружатся в вальсе.

3

Чтобы решить, как лучше всего помыться, Лини и Клер пришлось основательно пораскинуть мозгами. Задача и впрямь была страшно сложная: помещение холодное, всего одно ведро воды, да и та ледяная; ни мыла, ни мочалки, ни полотенца. Но снять с себя грязь, отмыться, насколько это возможно, стало для них острой потребностью — не только телесной, но и духовной. Жизнь в Освенциме была беспрерывной борьбой со вшами, переносчиками тифа, и это при том, что заключенных пускали в душ только раз в месяц, на две минуты. И как изо дня в день томил их голод, так изо дня в день томило острое желание вымыться. Договорились, что рубашка Клер послужит мочалкой, а рубашка Лини — полотенцем. И вот одежда сброшена, обе торопливо завернулись в одеяла.

— Давай сделаем друг другу обтирание,— предложила Лини.— Знаешь, как больных моют — по частям: вымою тебе одну руку, вытру, и ты ее сразу закутаешь, потом таким же манером другую и так далее.

На том и порешили. Лини принялась мыть подругу.

— Вот так купанье,— пробормотала Клер, лязгая зубами.— Увижу настоящую ванну — кинусь ее целовать.

— Смотри-ка, грязь здорово сходит. Голову обтереть?

— Ой, пожалуйста. Но если есть гниды, ты мне не говори.

— Снимай платок сама — за этот вид услуг мне не заплачено.

Клер то ли фыркнула, то ли всхлипнула, трясясь от холода.

— Ух ты, до чего быстро у тебя волосы отрастают!

Клер обрадованно:

— Ей-богу?

— Так мне, во всяком случае, кажется. Правда, без увеличительного стекла точно сказать не могу.

— Salope[1]! Я думала, ты серьезно.

— А что это такое?

— Словцо довольно гадкое.— Потом тоскливо: — Как хорошо было бы снова ходить с волосами. Снова стать женщиной.

— А для Андрея ты и сейчас женщина. Обрати внимание, как он на тебя смотрит. Глаз не сводит! Нравится он тебе?

— Очень.

— Глаза у него красивые. Должно быть, недурен собой, когда в норме. И наверно, у него этакая романтическая кудрявая шевелюра — он же музыкант. А что ты будешь делать, если он станет тебя добиваться?

— Ты шутишь...

— Нисколько.

— Нет, шутишь. Кому я нужна такая?

— Chérie[2], ты дурочка. Пусть от тебя остались кожа да кости — все равно ты женщина. А эти мужчины, они же истомились за столько лет. И если мы еще день-другой пробудем вместе, об этом, безусловно, пойдет разговор, неужели ты не понимаешь?

— Просто в голову не пришло. Но от меня было бы мало проку. Я совсем погасшая, словно неживая. А ты?

Лини рассмеялась:

[1] Здесь: негодяйка *(франц.)*.
[2] Дорогая *(франц.)*.

— Посмотрим сперва, заведет ли кто-нибудь со мной об этом разговор и кто именно.

— Ты хочешь сказать, что тебя к кому-то из них тянет?

— Еще как!

— А забеременеть не боишься?

— После всего, через что мы прошли? Конечно нет.

— Кто же он?

— Угадай.

— Самый красивый — Юрек. Такое лицо — прямо киноактер!

— Красив, ничего не скажешь. Но это не он и не твой Андрей. Дай-ка я тебе спину потру.

— Значит, Норберт. Он так тебе нравится?

— Очень. Меня всегда тянуло к таким вот спокойным, сильным. А как ты догадалась, что не Отто?

— Потому что он мне нравится меньше других. Сама не понимаю почему.

— А я понимаю. Хитренький он какой-то. Помнишь, вчера, когда Норберт спросил, что у него есть из еды... Заметила?

— Да. А все-таки сахар он нам отдал, это большая щедрость.

— Я тебе сейчас кое-что расскажу. Прошлой ночью я проснулась и, хоть было темно, могу сказать точно: он грыз сахар и допивал коньяк.

— Правда? Впрочем, ведь и сахар и коньяк его. И потом, он оттрубил семь лет. Знаешь, что могут сделать с человеком семь лет?

— С одним человеком семь дней могут многое сделать, с другим семь лет не сделают... Ну так, радость моя. Насколько это мыслимо, я тебя отмыла.

— Гнид нету?

— Нет. Может, оденешься, прежде чем взяться за меня?

— Да, пожалуй.

— Озябла?

— Наоборот. Странное дело, мне как-то теплей стало. Видно, от холодного обтирания кровь побежала резвее. Лини...

— А?

— Насчет тебя и Норберта... Меня тут кое-что тревожит.

— Что именно?

— Понимаешь, что получается? Четверо мужчин и одна женщина. Ну, может, трое мужчин — Андрей, судя по его виду, тоже вконец изможден. Что же произойдет, если вы с Норбертом станете любовниками?

— А чего, собственно, ты опасаешься?

— Ты как думаешь, каково будет остальным?

— Скверно, по всей вероятности.

— Сейчас у нас всех такие чудесные отношения, ужасно будет, если из-за этого все пойдет прахом.

— Но почему вдруг? Будь на их месте другие мужчины, дело иное. Когда мы легли спать, я так и ждала, что посреди ночи почувствую на себе чьи-то руки. Но все они оказались людьми порядочными. Не позволяют себе никаких сальностей, даже не выругались при нас ни разу.

— Верно, я тоже заметила.

— А вообще, если Норберт заведет со мной об этом разговор, на отказ он не нарвется.— Она помолчала, потом проговорила ломким, срывающимся голосом: — До того я истосковалась, до того мне нужно, чтобы меня обнял человек, который мне мил... Вот ты говоришь — тебе ни к чему. А я тебя не понимаю.

— Я же тебе объяснила.

— Да ведь не о физической потребности речь — о душевной. Я тоже не больно-то воспламенилась. Просто мне надо знать: есть

ли на свете мужчина, которому я нужна? Само собой, не первый попавшийся, а такой, который мне по душе. После всего, что мы пережили, сердце мое жаждет тепла. А твое — нет?

— Пока нет. Мужчина — это, пожалуй, для меня сейчас слишком. Не настолько я еще ожила. Есть, спать и радоваться, что мы на свободе,— вот и все, чего я пока хочу... Ну, ты готова? Можно соскребать с тебя грязь?

— Да,— ответила Лини. Потом, с нахлынувшей вдруг болью и яростью: — Выскреби Освенцим заодно и из моего сердца, если сможешь.— Она расплакалась.— Боже мой, нам с Алексом было так хорошо вместе. В нем было все, что я ищу в мужчине. И до чего нам чудесно жилось с нашим сыночком! Ну почему с нами должно было случиться такое?

4

Когда Лини, переодевшись, вышла, мужчины ошеломленно умолкли. В лагере им доводилось видеть надзирательниц в эсэсовской форме, но женщины в обычной одежде ни один из них не видел ни разу. Кофта со стоечкой, широкая юбка — во всем этом было столько женственности, да и платок как-то не портил картину, не то что обритая голова — знак позора. Молчание нарушил Отто.

— Браво! — крикнул он и захлопал в ладоши, а вслед за ним — Юрек и Андрей. Норберт молчал, только не сводил с Лини загоревшихся глаз. Обе женщины были глубоко растроганы.

Наблюдая за мужчинами, Клер вдруг с изумлением подумала: «Да ведь я ей завидую!» И тут же поняла почему. Одежда преобразила Лини: из товарища по заключению она вдруг превратилась в женщину — пусть исхудавшую, но все-таки женственную и потому неотразимо притягательную для четырех изголодавшихся мужчин. Вот это и вызвало зависть у Клер, изможденной, погасшей, одетой в мальчишеский костюм.

По глазам Лини, по ее улыбке видно было, как она обрадована и Клер подметила, что она то и дело посматривает на Норберта. Но вот Лини протянула Юреку связанную в узел лагерную одежду.

— Может, скажешь Каролю, чтобы сжег эту пакость?

— Зачем? — возразил Отто и, выхватив узел, подбросил его в воздух, подпрыгнул, ударил головой.— Будем играть им в футбол.

— Стой в воротах! — закричал Юрек и принялся поддавать узел то в одну сторону, то в другую, словно вел мяч, потом — удар.— Гол!

— Не было гола! Мяч вне игры.

Под смех остальных Юрек и Отто гоняли узел, покуда не развязались рукава и полосатое лагерное платье и куртка не расплатались по полу — отвратительно напоминая о том, что́ им всем пришлось пережить. Смех разом оборвался. Юрек молча подобрал вещи. Вытащил из кармана полосатую шапку.

— Пора нам это тоже спалить, не-е-ет?

Тогда и Андрей сорвал с головы лагерную шапку.

— Что мы делать? Мы с ума сойти — не выбрасывать это до сих пор.— И с гримасой отвращения он швырнул шапку Юреку.

— Надо все время быть начеку, а мы...— негромко сказал Норберт.

— Я-то, положим, не забывал, что она на мне,— возразил Отто.— Не снимал просто, чтобы голове было теплее. А пожалуй, и правда — лучше их выкинуть.

— Ну как, девушки, хорошо помылись? — спросил Норберт, глядя на Лини.

— Неплохо. Кстати, в нашей уборной замерзли трубы. Если можно, отнесите туда ведро с грязной водой — будет чем сливать. Оно тяжеленное, не поднимешь.

— Давайте отнесу. В нашей тоже трубы замерзли.

— Девушки,— сказал Отто,— осталось немного колбасы, ломтика четыре. Вы голодны?

— Пусть будет для Клер,— решила Лини.

Отто вынул нож.

— Ну чем у нас не семейная обстановка, а? Сперва моетесь вы, потом мы, три раза в день вкусная еда, от холода защищены, война где-то там, вдалеке, в общем, не жизнь, а малина.— Мадам, доводилось вам когда-нибудь пробовать польскую ветчину? До войны она даже у нас в Вене славилась.

— Спасибо, Отто,— сказала Клер.— У меня и впрямь чувство такое, что мы одна семья. И чудесная семья, ей-богу.

— Ш-ш! — насторожился Юрек.— Стреляют!

Все прислушались. Андрей приставил к уху согнутую ладонь.

— Автоматы? — спросил Норберт. Он так и замер с ведром в руке.

— Орудия.

Снова прислушались.

— О, верно, то есть моя ошибка,— пробормотал Юрек.

— Да откуда им быть, орудиям? — объявил Отто.— Ведь мы на необитаемом острове, кругом вода. Посмотрите, какие тут пальмы. К обеду у нас печеный кокосовый орех.

— Но я тоже слышал,— возразил Норберт.— Похоже на отдаленный гром.

Клер кивнула.

— И я.— Потом повернулась к Андрею: — Значит ли это, что подходят русские?

Тот пожал плечами:

— Пока трудно говорить, очень далеко. Может быть, просто ветер с той стороны.

— Ох, хоть бы они подошли! — горячо воскликнула Клер.— Так было бы радостно услышать их орудия.

Андрей негромко сказал по-русски:

— Мне довелось слышать войну на близком расстоянии. Нет среди ее звуков ни одного приятного.

— Я не то имела в виду.

— Понимаю. Просто я высказал вслух собственные мысли.

5

По-прежнему падал снег, но уже не так густо, и белый простор за окном был безмятежно прекрасен. Мужчины вымылись, Лини хорошенько помассировала Клер ноги, и теперь Клер спала. На широком подоконнике сушилось мужское и женское белье — ни дать ни взять в семейном доме после большой стирки. Гула орудий больше не было слышно, и беглецы о них позабыли. С жадной тягой к нормальной жизни, какая бывает у тех, кто долго жил в ненормальных условиях, четверо мужчин слушали Лини, рассказывавшую о своем малыше. Голос ее стал звучным, теплым, в уголках губ трепетала улыбка, и чувствовалось, что мальчик стоит у нее перед глазами как живой.

— Помню, уже перед самым нашим отъездом увидел он себя в большом зеркале на дверце шкафа. То придвинет лицо, то отодвинет, потом стал на колени и опять смотрится, а мордочка такая удивленная! Посмотрелся и давай дергать дверцу — хотел узнать, где прячется тот, другой, мальчик.— Она негромко рассмеялась, и муж-

чины заулыбались.— В тот же самый день сидит он у меня в спальне, в уголке, и играет с табуреткой — то потянет к себе, то отпихнет, а сам что-то лепечет. И вдруг — надо же! — рванул к себе табуретку, и она как стукнет его по голове. Он ее оттолкнул — сердито так, потом посмотрел на меня, показал на головку и давай табуретку шлепать.— Она коротко рассмеялась, потом вздохнула.— В этом возрасте малыши такие прелестные, забавные. Еще он такое любил: взберется на лестницу, сядет и вниз — бум, бум, попкой по ступенькам. А еще любил залезать под столы, например под письменный стол мужа, и под свою кроватку. Ой, я про него часами могу рассказывать.

— Рассказывайте, рассказывайте,— попросил Норберт. Он не сводил с нее глаз и улыбался с откровенной нежностью, глубоко ее трогавшей.

— А вам не скучно? — счастливым голосом спросила она и про себя отметила, что сейчас Норберт совсем не такой, каким был всего сутки назад, когда она его увидела впервые. Суровое, исхудавшее лицо его заметно смягчилось.

— Скучно? Ну что вы, нет конечно. Кто же не любит детей? Так приятно вас слушать.

— А ребятишки в таком возрасте уже говорят? — спросил Отто.— Я что-то позабыл.

— О да. Только не фразы, а отдельные слова. Но понимают уже ой как много, в общем-то все. Я, бывало, надивиться не могу — как это ребенок научается понимать, что ему говорят. Спросишь его: «Йози, сейчас купаться будем, хочешь?» А он: «У-у, пася» — это значит: «Хочу купаться». А потом, если я сразу не унесу его в ванну, дергает меня за руку и спрашивает: «Пася? Пася?» Все дети любят купаться.

— Пася-пася,— с улыбкой повторил Норберт.— А какие еще слова он знал? «Папа» и «мама», да?

— Да, но выговаривал он их на свой лад — до того забавно! Что-то вроде «мамба» и «паэп». Как все детишки в этом возрасте, он называл разные вещи одним и тем же словом. Ну вот, например, «етька» у него означало и «конфетка» и «печенье». По-маленькому и по-большому просился одинаково — «ди-ди», а всякая еда у него была «ням-ням».— Она опять засмеялась.— А вместо «киса» он говорил «кититити». И почему у него получалось такое длинное слово, ума не приложу. Ой, еще у него было одно ужасно милое словечко: «зими». «Зими Йози» — значит: «Возьми Йози на руки».

Где-то неподалеку громко залаяла собака, и смех Лини разом оборвался.

— Уходить от окна!— резко бросил Андрей, и все, пригибаясь, разбежались в разные стороны.

А лай не прекращался — сердитое гавканье большой собаки.

— Давайте спрячемся наверху! — испуганно крикнула Лини.

— Постойте, я слышу детский голос,— сказал Юрек и торопливо подполз к окну сбоку. Лай все не умолкал, но напряженно сгорбленная спина Юрека распрямилась.

— Ничего страшного. Два хлопца в снежки играют.

— А вдруг они заберутся сюда и обнаружат нас? — забеспокоилась Лини.

— Я посторожу. Но в том есть что-то странное.

— Что именно? — спросил Норберт.

— Вот уже пять лет в Польше собак нет. Тех, что получше, немцы забрали для охраны, остальных перебили. Польская семья не может иметь собаку — то есть против правил. Откуда же здесь, в деревне, собака?

— Ну, припрятать собаку не так уж трудно,— заметил Отто.

— Да, но то карается, могут арестовать.

— Послушайте-ка,— с жаром заговорила Лини.— Ведь это доказывает, что место здесь безопасное, разве нет? Если б сюда наведывались немцы, мальчишкам не разрешили бы выводить собаку со двора.

Отто усиленно закивал:

— Верно. Значит, тут безопасно.

— Да, безопасно, очень хорошо,— сказал Андрей.— Но лучше мы все-таки дежурим. Один здесь,— он показал на окно,— один наверху, смотреть в другая сторона. Сменяться каждый час.

— Но ведь после жатвы немцы здесь не появлялись — так ты говорил? — обратился Отто к Юреку.

— Так. Немцы не появлялись.

— Чего ж тогда беспокоиться?

Андрей пожал плечами.

— Но так больше безопасно. Так делать правильно.

Отто растянулся на полу, закинул руки за голову.

— Семь лет я постоянно озираюсь: нет ли поблизости эсэсовца? Глаза, сердце, печенка — все во мне устало от этого. А ты, если хочешь, стой попусту, карауль.

— Норберт, Юрек,— сказал Андрей.— Вы дежурите со мной по очередь?

— Ну, зевать, конечно, не приходится,— сказал Норберт.— Но зачем караулить круглые сутки — тоже не пойму. Просто не вижу причины.

— Тогда я дежурю один,— возмущенно бросил Андрей.— Это очень необходимо.— И он стал у оконного косяка.

Норберт пожал плечами, сел.

— Лини, расскажите нам еще что-нибудь про Йозефа. Наверняка вы были замечательной матерью.

И Лини принялась рассказывать, как малыш обожал прятаться, а когда его находили, закрывал глаза. Вскоре Андрей повернул к ней голову и, приложив к уху ладонь, стал внимательно слушать. А потом, как и все, расплылся в улыбке и окончательно позабыл, что стоит на посту. Ибо им, так же как и остальными, владело неосознанное желание, куда более властное, чем доводы разума: избавиться наконец от невыносимого напряжения. Вся их жизнь в Освенциме изо дня в день была сплошным напряженнейшим усилием: надо было преодолевать страх и скрывать ярость, держать себя в кулаке, скручивать ободранные нервы и сохранять самообладание перед лицом невообразимого ужаса. Просыпаясь поутру, они никогда не могли быть хоть сколько-нибудь уверены, что доживут до вечера. И теперь, в благословенном покое этого убежища, просто немыслимо было по-прежнему сохранять неусыпную бдительность.

Чистый, медленно падающий снег, деревенский пейзаж, где ничто не наводило на мысль об ужасах и опасностях, помогли им ощутить наконец безмятежную легкость, которой они так жаждали. Слушать о малыше было не просто радостно — они словно бы погружались в блаженное забытье. И воображение их жадно устремлялось вслед за Лини то в ее чистенькую уютную квартиру, то на берег сверкающего под солнцем канала, то в парк, где все цветет и благоухает. Сами того не ведая, они создавали для себя некую утешительную иллюзию — им казалось, что по счастливой случайности они вдруг очутились в безопасном уединенном приюте и что это всего-навсего короткая, но удивительно приятная остановка на пути в прекрасное завтра. Он обретался где-то между небом и землей, этот уединенный, милый их сердцу мирок, и единственными его обитателями были четверо мужчин и две женщины.

Глава четвертая

СПАСИБО, АНДРЕЙ

1

— Мне исполнилось в июле только двадцать,— начал Юрек со своей быстрой, покоряющей улыбкой.— Так что моя история будет короткая. Я есть с Кракова. Мой отец был доктор, профессор в университете.

— Из Кракова?— воскликнула Клер.— Мой начальник, тот самый гестаповец, ездил туда по выходным.

— Это есть близко от лагеря, сорок километров. От Франции вам было ехать до Освенцима далеко, да-а?— Он усмехнулся.— А мне — так, приятная прогулочка.— Он помолчал, лицо у него стало серьезное.— Немцы пришли до Кракова, и через неделю они расстреляли моего отца. Знаете за что? Не за сопротивление. За то, что он интеллигент. То есть политика фашистов — убивать всех образованных поляков.

— Ты это точно знаешь?— взволнованно спросил Норберт.

— Точно. Они расстреляли всех профессоров нашего университета, кого нашли,— то же самое в Варшаве, то же самое везде. Некоторых, правда, не убивали — в лагерь отправляли. Но то есть все едино.

— А остальных поляков заставляли на себя работать?

— Да.

— Такой план был для все славяне, для моя страна тоже,— вставил Андрей.

— Мои братья немцы!— с горечью бросил Норберт.

— Ну дальше,— попросила Лини.

— Скоро потом умерла моя матка. Она еще раньше была больная раком. Молодая, всего тридцать четыре года.— Он глубоко вздохнул.— Красавица была и такая добрая. Я сильно ее любил, сказать вам не могу, как сильно. То было трудное дело — скрывать от нее про отца.

— Она так и умерла, не зная, что с ним сталось?— спросила Лини.

— Да, она тогда уже была в больнице. Я ей говорил: отец прячется.

— А тебе сколько тогда было?— поинтересовался Норберт.

— Четырнадцать.

— И ни братьев, ни сестер?

— Нет.

— И родственников никаких?— спросила Клер.

— В Кракове никаких, а в деревне была дальняя родня, крестьяне. Похоронил матку, поехал до них. Три года работал на хуторе. Потом, когда вырос, пошел до леса, стал партизан.

— А у вас есть партизаны? Дерутся с фашистами?— оживился Норберт.

— А как же — Армия Людова. Во многих районах воюет.

— Я об этом слышала,— подхватила Клер.— Гестаповцы между собой говорили.

— Был в отряде десять месяцев, да-а? А в апреле прошлого года поехал до Кракова — задание имел от разведки. Попался эсэсовцам после комендантского часа, а документов нет. Ну они меня в Освенцим.— Он улыбнулся.— Теперь могу делать крестьянскую работу, стрелять, жить в лесу, только совсем неученый. А чтобы стать кем я хочу, надо образование. Хочу стать доктором, сделать такое открытие — чтобы конец раку был, чтобы больше никто не умирал, как

моя матка. То есть моя мечта. Но разве то можно, чтоб такой старый, как я — двадцать лет!— опять ходил в школу учиться вместе с хлопцами до четырнадцать?

— Что ж тут такого?— возразила Клер.— Недоучившихся среди молодежи, наверное, миллионы. После войны всем им дадут возможность закончить образование.

— Вы так думаете, да-а?— оживился Юрек.

— Уверена.

— О! Как я рад. То есть моя великая мечта.

— Прекрасная мечта,— поддержала его Лини. — Я уверена, ты своего добьешься.

Клер задумчиво проговорила:

— Я вот о чем размышляю: до какой степени все люди...

— Ну начинается философия,— перебила ее Лини.— Мне уже все признаки знакомы.

— Помалкивай,— беззлобно оборвала ее Клер.— Я размышляю о том, до какой степени люди непохожи друг на друга. Вот мы с Лини такие близкие подруги, а мечты о будущем у нас совсем разные. Знаете, чего хочет Лини? Чтобы сын ее понятия не имел, что она была в Освенциме. Чтобы слово «Освенцим» в доме не произносилось. Она даже собирается свести с руки лагерный номер.

— И сведу!— решительно объявила Лини.— Еще с татуировкой ходить.

— Твою руку, Лини! Я считаю — ты права,— подхватил Отто.— Я тоже намерен забыть эти годы начисто, как дурной сон.

— А я — как раз наоборот!— горячо сказала Клер.— Платья буду носить только с короткими рукавами, не ниже локтя,— пусть люди видят мой лагерный номер.

— Они будут думать, что это номер твоего телефона,— не без горечи бросила Лини.

— Нет, не будут: я стану им объяснять, что это такое. До конца своих дней буду рассказывать про Освенцим, про фашизм. Прямо на улице, если дадут. На каждом углу. Буду писать статьи в газеты. Разве для того мы страдали, чтобы люди позабыли о наших муках?

— Молодец!— с жаром воскликнул Норберт.— Я тоже так для себя решил! Надо очистить мою страну! Очистить ее сердца, ее мозг от грязи фашизма.

— Ничего себе работка!— фыркнул Отто.— Валяй, впрягайся!

— Вот я и собираюсь. А иначе для чего же я жил?

Наступило короткое молчание.

— А вы, Андрей?— спросила Клер.— О какой жизни вы мечтаете?

Он ответил не сразу — подыскивал нужные слова:

— Мой народ... знает, что такой фашизм... Знает... у нас столько погибло. Я хочу дарить музыку моему народу... Вам не понимать, какой он усталый — русский народ.

2

— А вот это вы знаете, я уверен,— сказал Андрей по-русски.— Бах, токката до мажор.

— Вероятно, знаю,— ответила Клер.— Но точно смогу сказать, только когда услышу.

Андрей стал негромко напевать. Голос у него не был поставлен, но мелодию он передавал верно, с большим чувством. Вот уже полчаса длился этот концерт: Андрей сидел, поджав под себя ноги, и очень сосредоточенно, без тени смущения, правой рукой водил воображаемым смычком, а пальцами левой пробегал вверх и вниз по груди, словно нажимая на струны. Но как ни был Андрей поглощен своим делом, после каждой вещи он посматривал на Клер, улыбка его предназначалась

ей одной, и она это понимала. Теперь, когда Лини предупредила ее, Клер остро чувствовала: воздух насыщается электричеством. Норберт, не отрываясь, смотрел на Лини, массировавшую ей ногу, а Лини глянет на него, потом вниз, на ноги Клер, и опять искоса поглядывает на Норберта, словно не в силах отвести от него взгляд. Юрек лежал на спине, закрыв глаза, и Клер это было странно. Ведь, казалось бы, от него, такого красавца, можно было в первую очередь ожидать, что он примется любезничать с Лини, но он молчал, и Клер была этому рада. Беспокоил ее Отто. Заострившееся лицо его стало угрюмым. взволнованный взгляд перебегал с Норберта на Лини, с Лини на Андрея, с Андрея на нее, Клер. Он явно чувствовал, что образуются две пары и, считая, что его обошли, весь кипел.

Поэтому, едва Андрей кончил, Клер сказала:

— Отто, нельзя ли мне кусочек сахара?

Он просиял и тут же протянул ей два куска.

— А знаете, почему я попросила? Хочу поскорей набраться сил — тогда вы станцуете со мной вальс, как с Лини.

Он ответил с нервным смешком:

— Что ж, буду ждать.— И угрюмость его как рукой сняло.

— Да!— вдруг воскликнул Андрей и быстро сказал Клер по-русски: — Хорошо бы Юрек раздобыл дощечку. Примерно такой высоты,— показал он,— и такой ширины. Вот тогда можно было бы упражняться по-настоящему.

— А, знаю,— сказала Клер.— Многие музыканты берут такую дощечку в поездки, чтобы упражняться дорогой, да?

— Откуда вы знаете?— оживился Андрей.

— Был у меня один приятель, учился в консерватории по классу скрипки. Он мне много чего рассказывал про музыкантов...

— Ах, Клер, сколько у нас с вами общего! — с наивной радостью воскликнул он.— Ведь в музыке вся моя жизнь. Даже во сне я иногда играю. Просто замечательно, что вы любите музыку и так прекрасно в ней разбираетесь!

— Может быть, хуже разбираюсь, чем вам кажется,— сдержанно возразила она.

— Эй, о чем это вы там по-русски? — вмешался Отто.

Клер передернуло, но она заставила себя улыбнуться ему.

— Андрей хочет, чтобы Юрек принес ему дощечку.

Она пояснила зачем и показала Юреку примерные размеры.

— Вечером спрошу Кароля.

Потрогав отросшую на лице щетину, Норберт спросил:

— А что, есть какая-нибудь надежда одолжить у Кароля бритву?

— Спрошу.

— Боюсь, как бы мы Каролю не надоели,— сказала Клер.— Но у меня тоже просьба. Мои сапожки из сена разваливаются. Есть какая-нибудь надежда...

Тут Юрек вставил по-польски:

— Я скажу сестре Кароля, что вы француженка, и попрошу, чтоб она одолжила вам свои балетные туфли!

Клер расхохоталась:

— Спасибо. У крестьянки их, наверное, пар двадцать, не меньше.

— Эй, вы над чем? — раздраженно спросил Отто.— Нам тоже охота посмеяться.

Клер объяснила, о чем речь. Потом, уже по-немецки, спросила Юрека, какой примерно размер обуви носит сестра Кароля.

Он пожал плечами, ухмыльнулся:

— Я ее всю разглядел хорошо — видел достаточно близко, а вот ногу не мерил, нет.

— Кстати, сколько ей лет, этой сестре? — заинтересовался Отто.

— Для меня слишком старая.— В глазах Юрека мелькнул озорной огонек.— Недурная собой, но ей уже под тридцать. Звать Зося.

— Замужем? — продолжал допытываться Отто.

— Да. Он есть военнопленный, ее муж, работает на ферме в Германии,— ответил Юрек и снова обратился к Клер: — Может, лучше я посмотрю, какая у вас нога, н-е-ет?

Тогда Клер спросила Андрея по-русски, можно ли ей снять один из сапожков.

— Позвольте, я сам,— попросил он.— Чтобы потом мне было легче приладить обратно.

Увидев ее маленькую узкую стопу, Юрек весело засмеялся.

— О, то не есть нога крестьянки. Придется искать для вас детские туфельки.

— По-моему, с пальцев сошел отек! — обрадовалась Клер.— И они порозовели. Лини, это все твой массаж!

— Действительно, чуть порозовели, но цвет еще не совсем нормальный,— возразил Андрей.— Скажите Юреку, туфли не обязательно должны быть точно по ноге. Если окажутся великоваты, это даже лучше, только пусть прихватит каких-нибудь тряпок — обернем вам ноги, чтобы теплее было.

Клер перевела, и Андрей снова стал прилаживать ей сапожок из сена.

Вдруг послышался голос Норберта, стоявшего у окна:

— А ведь тут неподалеку дорога — примерно за полкилометра.

Лини, Отто и Юрек тотчас же подошли к окну. На грязновато-сером небе уже показалась луна — белесый, окольцованный дымкой шар. Пара измученных лошадей тащила фургон, четко темневший на белом снегу; впереди на открытом сиденье горбился возница.

— Интересно, куда эта дорога ведет,— сказал Отто.— Вот ведь странно: ни одной немецкой машины не видать.

— Благодарение богу, значит, он к нам милостив,— проговорила Лини.— Отсюда к этой дороге проторена тропка, значит, она, скорей всего, ведет к какому-нибудь городку.

— Узнай вечером у Кароля,— попросил Норберт Юрека.

— Ладно, только имею сказать — беспокоиться не надо. Тут даже самолеты не летают. Заметили?

— А и верно! — воскликнула Лини.— Ей-богу, мы везучие!

3

— Так! — сказал Андрей.— Теперь другую.

Клер стояла, вытянув ногу, а он, опустившись на колени, сноровисто обертывал ей стопу сеном, навивая его слой за слоем длинными гибкими пальцами.

— Вы так ловко управляетесь с сеном — прямо как пекарь с тестом.

— Научился у одного крестьянина. Уж они утепляться умеют. Вы пальцами шевелить не забываете?

— Не забываю.— Потом в горячем порыве: — Вы так обо мне заботитесь! Я это очень ценю, Андрей.

Он вскинул на нее ясные темно-карие глаза, и в них было столько чувства, что ей стало не по себе.

— Но мне приятно о вас заботиться, Клер. За какие-нибудь сутки вы стали мне очень дороги.

— Спасибо,— пробормотала она, стараясь прикрыть неловкость улыбкой.— А вы откуда родом?

— С Украины. Из Кривого Рога.

— Это маленький городок?

— Ну нет. До войны в нем было двести тысяч жителей. И довольно развитая промышленность! А ваш дедушка откуда?

— Из Смоленска.

— Почему он уехал из России?

— Не хотел служить в царской армии.

— Знаете, а вот я ни за что не уехал бы из России, даже если б жил в царское время. Не представляю себе, чтобы я мог быть счастлив в какой-нибудь другой стране.

— Ну а мне кажется — я не могла бы уехать из Франции. Андрей, вы коммунист?

— Вы хотите сказать, состою ли я в партии? Нет. Я так хотел стать первоклассным музыкантом, а это дело достаточно трудное. Оно поглощало все мое время.

— Но вы одобряете ваш общественный строй?

— Социализм? Разумеется. Капитализм — это же анархия, бессмыслица!

Клер усмехнулась:

— О-о, тут мой муж сильно бы с вами поспорил.

Андрей удивленно взглянул на нее:

— Вы были замужем за капиталистом?

— Точнее сказать, за специалистом. Химиком.

— А сами вы из богатой семьи?

Она бросила на него лукавый взгляд:

— Ну а если так, вы перестанете со мной разговаривать?

Андрей рассмеялся:

— Почему же, весьма поучительно поговорить с капиталисткой.

— Право, жаль вас разочаровывать, но мой дед всю жизнь был пекарем, а отец у меня оптик.

Он опять рассмеялся, ласково погладил ее стопу.

— Теперь можете сесть,— сказал он и сам примостился рядом с ней в неудобной позе.— А ваши родные знают, что вы были в Освенциме?

— Уверена, что нет. Им известно, что меня арестовали, а потом выслали, вот, собственно, и все.— Она невесело усмехнулась.— В прошлом году я частенько играла в одну и ту же глупую игру. Мысленно пишу письмо отцу, или маме, или дедушке, а потом сама же сочиняю ответ: как они себя чувствуют, и как питаются, и какой сейчас Париж. Длинные такие получались послания. Бред, да?

— Нет, почему же.— Он ласково улыбнулся.— Наверное, многим из нас без таких вот выдумок не выжить бы. В воображении своем я дал столько концертов — мне на них целой жизни не хватило бы. И что ни концерт, то триумф. Бывало, в Освенциме, в самые страшные минуты... Идет, скажем, общелагерная поверка... А я мечтаю: весь мир у моих ног, и критики беснуются от восторга.

Клер улыбнулась:

— Андрей, а у вас есть родные?

— Есть. Родители и две сестренки.

— И как они?

— Не знаю. Немцы захватили Кривой Рог в начале войны, а отбили мы его только год назад. Я писал, но ответа не получил, потом попал в плен. Вот уже три с половиной года не имею от них вестей. Только на одно и надеюсь — что их эвакуировали.

— А ваш отец тоже музыкант?

— Отнюдь. Он и грамоте-то стал учиться, только когда я пошел в школу. Читать мы с ним начали вместе. Совсем простой человек и очень хороший. Литейщик он у меня.

— Почему же вас вдруг потянуло к музыке?

— Родители мне рассказывали: я еще и ходить не умел, а только услышу музыку, сразу в такт раскачиваться начинаю. В пять лет я уже учился играть на скрипке...

Тут они одновременно вскинули глаза. Рядом стоял Отто и сердито хмурился.

— Так-так,— начал он брюзгливо.— Выкладываете ему, значит, про себя все, а от остальных таитесь?

— Да я ничего...— возразила было Клер, но ее перебил Андрей.

— Что это ты? — спросил он напрямик.— Что тут плохое — говорить по-русски? Я же не требую, чтобы вы не говорить по-немецки!

Отто занервничал:

— Скажешь тоже... Вы-то оба по-немецки понимаете, а мы по-русски ни бум-бум.... Несправедливо это к нам, остальным, несправедливо, вот так.

Клер примирительно проговорила:

— Андрей рассказывал мне о своей семье и о работе. Хотите я вам переведу?

— Что за вопрос? Конечно.

Но он лгал, и Клер это понимала: ясно же, что Андрей нисколько его не интересует. «Нет, так не годится. Не надо больше говорить по-русски,— решила она про себя, но вдруг все ее существо восстало против этого.— Merde, достаточно мною помыкали! — подумала она возмущенно.— Кто он, Отто, эсэсовец, что ли? Почему я должна гнуть перед ним шею? Вот нравится мне разговаривать с Андреем и буду! К дьяволу этого Отто!»

4

Едва стемнело, Юрек отправился к Каролю. Чтобы как-то отвлечься, остальные стали гадать, что он принесет на ужин. Но вскоре им это наскучило, и они попросили Андрея «сыграть».

— Играю одну испанскую вещь,— объявил он, глядя на Клер.— Очень романтичная.

Луна поднялась уже довольно высоко, и дымка вокруг нее исчезла. Была она чуть поменьше, чем в прошлую ночь, но очень яркая, и свет ее начал проникать в помещение. Один за другим беглецы подходили к окну, отходили, снова возвращались. Андрей перестал «играть». Разговор тоже не клеился — всех донимал голод. С ухода Юрека прошел добрый час, и Отто раздраженно спросил, сколько нужно времени, чтобы сварить картошку.

— Во всяком случае, не столько,— откликнулась Лини.

— Где же тогда Юрек? Ведь он должен был вернуться до того, как луна поднимется?

Едва прозвучал этот вопрос, как милый их сердцу уединенный мирок вдруг стал разваливаться на куски. Ведь Юрек словно пуповина, связывающая их с жизнью. Без него они совершенно беспомощны, беззащитны в мире сторожевых собак и эсэсовцев. Где же он?

Норберт стоял у окна. Отто и Андрей мерили шагами комнату. Женщины лежали рядом, завернувшись в одно одеяло, и шепотом делились друг с другом своими страхами.

— Знаю я, где он,— вдруг буркнул Отто.— Драпанул! Нашел семью, где его приняли, и бросил нас тут пропадать.

Все дружно запротестовали.

— Но где ж он тогда? Немцев поблизости нет, выстрелов мы не слышали, куда же он запропастился?

— Когда Юрек вернется, мы это выясним,— негромко ответил Норберт, и в голосе его прозвучала ирония.— А до той поры, дружище, можешь думать что угодно, только держи это при себе.

— Андрей, сыграйте, пожалуйста, что-нибудь,— попросила Клер по-русски.

— А что бы вам хотелось послушать?

— Девятую Бетховена и чтобы с хором, все честь честью.

Андрей рассмеялся:

— Предлагаю игру: я исполняю тему для виолончели из произведения какого-нибудь французского композитора, а вы угадываете какого.

— Идет.

— Первый, особо ответственный, номер нашей программы посвящается прелестным синим глазам Клер, а еще — вкусному ужину.

— Посвящение принимается, но только потому, что глаза все-таки упомянуты первыми.

— Если бы мне сильнее хотелось есть, они бы на первом месте не были.

Клер усмехнулась, потом спросила:

— А вас не тревожит то, что Юрек задерживается?

— Пока нет.

И он стал «играть». Прошла минута, другая, наконец Клер воскликнула:

— О, эту вещь я знаю. Трио Дебюсси. Верно?

— Совершенно верно, трио. Но только Сезара Франка.

Клер весело расхохоталась.

— Ах, Клер, когда вы вот так смеетесь, сразу видно, какая вы будете, когда окрепнете,— необычайно живая, жизнерадостная. Такой вы и были, да?

— Пожалуй.

— Вы очень любили мужа?

— Да, очень.

— Мне так жаль, что он погиб. Но вы, наверно, давали ему столько радости, когда были с ним...

— Ради бога... Мне ведь больно...

— Ой, угораздило же меня. Простите, пожалуйста.

— Забудем об этом. Сыграйте еще разок Сезара Франка, ладно?— А потом про себя: «Да, он мне по душе. Ну почему во мне все заглохло? Нет, не так все должно быть. Когда выходишь из лагеря, надо, чтоб были силы приласкать человека, который тебе мил,— тут же, немедленно».

5

Уже почти все помещение было мягко освещено голубоватым светом луны. Андрей вдруг перестал напевать.

— Сколько время проходило? — спросил он.— Два часа?

Норберт, глядевший в окно, ответил:

— Да, что-то около того.

Попросив Клер переводить, Андрей перешел на русский. Его мнение такое: больше ждать Юрека нельзя, нужно идти его искать. Чтобы Юрек нарвался на немцев — сомнительно. Скорее всего, какая-нибудь другая беда: он мог свалиться в ров или поскользнуться на льду и сломать ногу. Кому-нибудь из мужчин — одному или двоим — надо отправиться на поиски.

— Лучше пускай один из мужчин и я,— предложила Клер.— Все-таки я единственная говорю по-польски. А нам, может, придется зайти к Каролю.

— Ладно. Тогда вы и я.

— Норберт крепче вас.

— Очень вас прошу: если пойдете вы, пусть вторым буду я.

— Узнаем сперва, что думают по этому поводу остальные.

Она начала было переводить, но тут Норберт крикнул:

— Он идет!

Все бросились к окну и, возбужденно переговариваясь, стали смотреть на приближающегося Юрека. В одной руке у него была продовольственная корзинка, в другой — дощечка. Он увидел их в лунном свете и махнул дощечкой. Норберт пошел к двери, все двинулись за ним.

— Черт подери, ну и светит лунища — каждый его шаг за километр виден,— нервничал Отто.

— Но он, слава богу, цел и невредим,— сказала Лини.— А это главное.

Норберт уже стоял в проходной, держась за ручку наружной двери.

— Пока обе двери не будут закрыты — никаких разговоров,— потребовал он и впустил Юрека — улыбающегося, в лихо заломленной шапке.

— Бритву имею,— сообщил он весело,— туфель для Клер не имею, а вот то есть виолончель...— И он протянул Андрею дощечку.

Но тут разом заговорили Отто и Норберт:

— Что случилось?

— Где ты пропадал?

Опустив корзинку, Юрек еще больше сдвинул шапку на затылок, негромко рассмеялся.

— А мне позволено будет соврать?

— Что за чушь ты городишь! — взорвался Отто.— Мы тут жутко за тебя переволновались. Там что, немцы?

— Нету немцев.

— Так где же ты все это время околачивался?

И снова негромкий счастливый смех Юрека.

— Прошу у дорогих друзей извинения. Кароля не было дома. А его сестра Зося — очень милая женщина. Она не есть слишком старая для меня.

На миг воцарилось молчание, потом грохнул взрыв хохота. Смеялись оттого, что на душе стало легче, и оттого, что признание Юрека прозвучало так забавно, но еще и от возбуждения. Оно вдруг стало явственно ощутимым, воздух так и затрепетал: больше они уже не были одной семьей — теперь это были четверо мужчин и две женщины.

«Ай да Лини! — подумала Клер.— Ведь она это предвидела!»

6

Передавая Клер миску с едой, Лини наклонилась к ней и зашептала по-французски:

— Если б мы с Норбертом сейчас остались одни, он завел бы об этом разговор, я чувствую.

— Вот и слава богу, что вы не одни.

— Хороша подруга, нечего сказать.

— Ну это ты зря. Сама подумай: Юрек нашел себе девушку, так что он не в счет; Андрей, видимо, тоже не в счет — у него ко мне возвышенные чувства, и я уверена, он поймет мое состояние. А Отто на стенку полезет, если вы с Норбертом будете вместе. Он натворит бед, ручаюсь.

— Завтра вечером нас вообще, может, не будет в живых. Так что говорить о каких-то там бедах просто смешно.

— А я верю, что мы будем живы, и потому ничего здесь смешного не вижу. Ты не могла бы немного повременить?

— Тебе легко рассуждать, ведь ты пока ничего не чувствуешь. А мне нужно знать, что я снова женщина. В жизни мне ничего так не было нужно.

— Лини, милая...

7

Ужин оказался роскошный: сваренная целиком свекла (они смаковали каждый ее кусочек и ахали, до чего она сладкая), картошка в мундире, каждому по ломтику черного хлеба, желудевый кофе — чуть теплый, неподслащенный и все-таки восхитительный после мерзкого лагерного пойла.

— Кароль — святой! Святой! — объявил Отто, проглотив последний кусок, и блаженно рыгнул.— Простите, Клер, что прерываю вас, но какой ужин, а?! Ну рассказывайте дальше.

— Да, так вот, сейчас вы увидите, как тщательно немцы готовились к войне. Чтобы получить ученую степень, муж должен был сделать оригинальную научную работу и опубликовать реферат. Реферат был, кажется, по бензину, что-то в этом духе. А потом он стал работать совсем в другой области — по агрохимии.— Клер сделала паузу, чтобы отправить в рот картофелину. Ела она, как обычно, медленнее других, и от ее порции оставалась еще добрая половина.— Когда началось вторжение, мы жили в деревне под Парижем, Пьер там работал. В армию его не взяли — сердце было неважное. Как и все, мы бежали на юг. Пьер хотел попасть в Тунис, но ему никак не удавалось договориться, чтобы нас туда переправили. Так что после перемирия[1] мы поехали в Гренобль — там университет, и Пьер устроился на преподавательскую работу.

— А это в какой части Франции? — спросил Андрей. Он напряженно слушал ее, приставив к уху согнутую ладонь.

— В вишистской[2]. Тогда она считалась свободной зоной, немцы оккупировали ее лишь два года спустя. Да, вот тут уже начинается интересное: так, через месяц после перемирия заявляется к нам представитель вишистских властей, разумеется коллаборационист, и сообщает Пьеру, что его ищут немцы — с того самого дня, как взяли Париж: какой-то научно-исследовательский институт в Берлине заинтересовался этим его рефератом по бензину, и, если он поедет туда работать, ему обещают хороший оклад. Пьер, конечно, отказывается. А дальше уже совсем интересно. Оклад сразу же увеличивается. Пьер снова отказывается. Коллаборационист пробует разжечь его честолюбие: он-де будет там работать с крупными учеными, приобретет широкую известность. Но Пьер ни в какую. Тогда этот тип пытается сыграть на его патриотизме. Франция и Германия теперь, мол, союзники, и долг каждого француза — сотрудничать с «новым режимом». Пьер отвечает, что между Германией и Францией такой же союз, как между волком и ягненком, которого тот задрал.— Клер усмехнулась.— Вот тут коллаборационист взбесился: вы, говорит, коммунист, английский прихвостень. А Пьер ему: ну а вы нацистский прихвостень, maquereau. По-французски это значит «сводник», словцо оскорбительное, ничего не скажешь. Только зря он это сказал — вишист был огромный, здоровенный, а Пьер весил меньше меня. Так что из схватки он вышел с разбитым носом.

— Молодец Пьер! — сказал Юрек и радостно засмеялся.— У нас, поляков, тех maquereaux сколько хочешь.

— А дальше они что? — спросил Андрей.

— Ничего. Мы ждали неприятностей от вишистской полиции, но она нас не трогала. Только через каждые четыре месяца являлся какой-нибудь представитель властей — все с тем же предложением. Ясно было, что они о Пьере не забывают. И вот...— Она вдруг остановилась, потом: — Юрек, вы зеркало раздобыли?

— Да.

— Ой, как же я раньше не вспомнила! А сейчас еще можно что-нибудь увидеть? Как там луна, света хватит? Вы не взглянете?

— Нет, сейчас уже не можно,— сказал Юрек, но все-таки поднялся и подошел к окну. Вынул из кармана зеркальце, повертел его так и этак, потом вернулся к остальным.

— Утром вы будете толще,— сказал он и коротко рассмеялся.

---

[1] Имеется в виду капитуляция Франции, подписанная 22 июня 1940 г.

[2] Виши — небольшой город в Южной Франции, где через несколько дней после капитуляции обосновалось марионеточное профашистское правительство Петена.

— Еще бы! Ручаюсь, с тех пор как мы вылезли из сена, я прибавила полкило, не меньше. И чувствую себя гораздо крепче.

— Давай я тебя помассирую, а? — предложила Лини.

— Ну это будет замечательно. Давай.

— А вы рассказывайте дальше,— попросил Норберт.— Представить себе не можете, до чего интересно узнать, что творилось в такой стране, как Франция. Мы же с Отто решительно ничего не знаем.

— Так на чем я остановилась? Ах да, в Гренобле мы пробыли до ноября сорок второго. А в ноябре американцы и англичане высадились в Северной Африке. Немцы использовали их высадку как предлог, чтобы оккупировать Южную Францию. Сидим мы за завтраком, вдруг сообщение по радио. Ни Пьер, ни я не сказали ни слова, только взглянули друг на друга, и в голове у меня пронеслось: «Пьеру надо бежать». И меня сразу стошнило. Такое со мною всегда бывает в тяжелую минуту,— призналась она и, подумав немного, добавила: — Впрочем, теперь уже нет: Освенцим меня от этого излечил.— Она надолго замолчала, а когда заговорила вновь, голос ее звучал так спокойно, словно все это больше уже не могло ее волновать.— Ну и вот, мы решили: полчаса у нас наверняка есть — обдумаем, как нам быть. Не удалось: немецкая военная разведка успела связаться с вишистской полицией в Гренобле, и они явились, когда Пьер укладывал чемодан. Едва раздался звонок, я поняла — это за ним, сказала ему, чтобы скорей уходил через черный ход. Как только он вышел, я их впустила. Плету что-то насчет того, куда он ушел, вдруг открывается задняя дверь и его вводят в наручниках. Оказывается, дом был окружен.

Норберт спросил:

— А ваш муж знал, почему их заинтересовала его работа?

— Ему так и не сказали. Сам он ничего особенного в ней не видел — так, очередная статья молодого химика. Мы могли только догадываться, что она каким-то образом связана с исследованиями, которые проводились в этом институте. Пьер не раз говорил — там, в институте, его, должно быть, очень переоценивают.

— Они вас тоже забирали? — спросил Андрей.

— Да,— Клер отодвинула миску, так и не доев ужина.— Они рассчитывали, что я уговорю Пьера. Нас отправили в Тулузу и там посадили в тюрьму. А знаете, как нас везли? В штабной машине, и сопровождали нас два офицера — до того обходительные, до того культурные и по-французски говорили так изысканно. Обращались с нами поначалу прекрасно. Дали знать моим родным, что они могут посылать нам продовольственные посылки. Раз в неделю эти два офицера беседовали либо с Пьером, либо со мной — по отдельности, а иногда с нами обоими. Так продолжалось полтора месяца. Потом, сразу же после того как Лини увезли, посылки вдруг прекращаются, и нас обоих сажают в одиночки, на хлеб и воду; в камерах даже света не было. А неделю спустя — заключительное собеседование, и Пьера спрашивают в лоб: «Да или нет? Если нет, вас отправят в концентрационный лагерь и вашу жену тоже. И не рассчитывайте, что когда-нибудь оттуда вернетесь. Не выйдет!»

И все-таки Пьер сказал: «Нет». Тогда один из офицеров говорит: «Но вы ответили, не спросив жену. Может, Берлин придется ей по душе». И тут Пьер сказал такое, от чего я почувствовала себя счастливой, даже в ту минуту. Он посмотрел на меня, улыбнулся и говорит этому офицеру: «Когда уважаешь жену, не задаешь ей дурацких вопросов».

Андрей вздохнул, явно растроганный, очень тихо сказал по-русски:

— Он внушает мне глубочайшее уважение, ваш Пьер, и вы, дорогая моя Клер, тоже.

— Значит, потом Освенцим, да? — спросил Отто.— А что стало с вашим мужем?

Ответ прозвучал спокойно, сдержанно:

— Погиб в Бжезинке полтора года тому назад.

Никто не сказал ни слова, не выразил сочувствия вслух. Ведь почти все, кто попадал в Бжезинку, погибали, и для них, уцелевших, любые слова тут были излишни.

Помолчали, потом заговорил Норберт:

— Я вот что хотел спросить — ведь вы, девушки, были в одной команде. Как же так получилось, что одна больше исхудала, другая меньше? Питались-то вы одинаково, верно?

— Клер два раза кряду болела тифом,— объяснила Лини.— Сперва брюшным, а как стала поправляться, на одну койку с ней положили больную сыпняком, и она заразилась. Вообще то, что она сейчас здесь сидит, просто чудо. Видно, бог над ней сжалился.

— А какие фурункулы у меня были летом — пожалуй, пострашней тифа.— Клер только усмехнулась.— А Лини, наверное, единственная во всем Освенциме ничем всерьез не болела, ни разу. Подхватила однажды чесотку, и все.

— Мы, голландцы, крепче других,— улыбнулась Лини.

— Пусть кому-нибудь другому рассказывает,— отрезала Клер.— Через мои руки проходили списки умерших, я-то знаю. Нет, скажите, друзья, как мы все это вынесли, как уцелели? Как выстояли душевно? Не сошли с ума? Норберт, каким образом удалось вам так долго продержаться?

В сгущающейся темноте прозвучал голос Норберта:

— Я знаю только один ответ: человек куда выносливей, чем мы думаем. Но лично мне просто все время везло. Ни разу я не попал в такую команду, где загибаются от работы за какой-нибудь месяц. Я, видите ли, плотник. Был в трех лагерях, и везде требовались бараки, дома для эсэсовцев и всякое такое. А чтоб выколачивать из нас работу, им все-таки приходилось нас кормить: ведь надо, чтоб человек мог взбираться на стремянку, вбивать гвозди. Вот так я уцелел физически — просто везло. Ну а как выстоял духом — это разговор другой. Тут дело такое: что бы ни случилось, знай одно — надо выжить во что бы то ни стало. Я не из образованных, у меня и слов таких нету, чтобы это как следует объяснить. Разные бывали полосы... Да вы, девушки, сами два года оттрубили, кое-что по себе знаете.

— А вам, Отто, как это удалось? — спросила Клер.

— Тоже везло. В Маутхаузене у меня работа была не пыльная — в больничной команде. И потом, нам, австрийцам, разрешали получать посылки из дому. В Освенциме работал на кухне, там можно было «организовать» кое-что из еды. Но я вам вот что скажу: весь фокус в том, чтобы продержаться на плаву первые месяцы — это самое трудное. Чаще всего именно в первые месяцы человек сдается — и погибает. Норберт, верно я говорю? Просто не может такого вынести.

— Ой, хватит этих разговоров! — возмутилась Лини.— И что мы все про лагерь да про лагерь? Неужели с нас еще недостаточно? Андрей, сыграли бы нам.

— Постой, Лини,— сказала Клер.— Я хочу задать один вопрос.

— Опять философия, чует мое сердце. Отложи на потом.

— Но это очень серьезный вопрос. Я хочу знать...

— До чего твои философские разговоры глубокомысленны. Неужели все французские красотки такие серьезные?

— Умолкни, а то не дам больше массировать.

— Ух ты, ух ты. А вот у меня и вправду важный вопрос: какой город красивее Парижа? Отвечаю: Амстердам. Друзья, давайте после войны встретимся в Амстердаме!

— Вопрос такой,— не отступалась Клер.— Смогли бы мы пройти через все это еще раз? Я хочу сказать: если бы мы знали заранее, что нас ждет, хватило бы у каждого из нас духу снова сделать то, за что его посадили?

Сразу стало очень тихо. Потом заговорила Лини, довольно сердито:

— И зачем такое спрашивать? Никогда нельзя знать наперед, к чему приведет тот или иной поступок. Так что нет в нем никакого смысла, в твоем вопросе.

— Есть, Лини,— негромко возразил Норберт.— Как раз это со смыслом вопрос. Но кто может ответить на него по-честному? Вопроса мучительней ни для кого из нас быть не может.

Отто вскочил:

— Черт подери, а я могу ответить по-честному! — выкрикнул он с яростью.— Ни шиша они не дали ни мне, ни миру, эти мои пышные речи социалиста.— Голос у него срывался.— Ох, если б можно было все начать сначала... Уж я держал бы язык за зубами, будь он трижды проклят.— И он стал выкрикивать: — Нет на свете ничего, за что стоило бы заплатить такими семью годами! Столько мук! Такой ад! Такой ад!

— Тихо! Тихо, ну? — Норберт встал, схватил Отто за плечи: — Возьми себя в руки.

Отто умолк, теперь слышались только его тихие, сдавленные рыдания.

— Ой, ну пожалуйста, пожалуйста,— со слезами в голосе взмолилась Лини.— давайте уговоримся: больше никаких разговоров о войне, никаких разговоров о лагере. Господи, мы же на воле, так давайте думать только о хорошем — о жизни, о доме...

Она уже не говорила, а горько всхлипывала. Клер обняла ее, зашептала:

— Лини, милая, не надо. Ладно, уговорились: больше не буду. Прости меня.

Вдруг Андрей возмущенно воскликнул:

— Да что это я! Теперь я имею виолончель, почему же не играю? Сейчас играю вам что-нибудь Мендельсон. Вот увидите — он приносит сюда солнце, ваш родной дом, веселые танцы. А вы слушайте.

И, поставив дощечку между колен, он «заиграл».

8

Они лежали, завернувшись в одно одеяло и тесно прижавшись друг к другу, чтобы согреться. Клер прошептала:

— Лини, я передумала. Каждая из нас вправе делать все, что ей вздумается, все-все. Когда мужчины уснут, почему бы тебе не разбудить Норберта? Он на том краю.

— Угу,— ответила Лини с приглушенным смешком.— Я знаю, где он. Только будить его не стану.

— Боишься, как бы другие не проведали?

— Плевать мне на это.

— Что ж тогда?

— Он сам должен сделать первый шаг. Я не могу.

— Ведь он наверняка знает, что нравится тебе, так почему он?..— Клер не договорила.

Лини усмехнулась.

— Думаю, после стольких лет он не очень-то представляет себе, как подойти к женщине.

— Франция дает совет Голландии: расспроси Норберта о его жизни, пусть видит, что ты проявляешь к нему интерес.

— Не сомневаюсь, искушенная француженка вроде тебя может дать немало ценных советов, как завлечь мужчину. Но уж такие простые вещи я и сама знаю. Приступила к делу еще утром.

— Когда? Я ничего не слышала.

— Ты спала.

— И что же ты о нем узнала?

— Он из Ростока. Это на севере Германии, порт такой. Работал на строительстве.

— Женат?
— Да.
— Почему его посадили?
— До этого мы не дошли. Спокойной ночи, Клер. Мне надо выспаться, хочу быть красивой.
— Спокойной ночи.
— Знаешь, что у меня сейчас перед глазами?
— Вы с Норбертом, разумеется.
— А вот и нет. Нечто чистое и возвышенное.
— Что же?
— Восхитительный швейцарский сыр.

9

Ночью вдруг стал слышен отдаленный перекатывающийся гул орудий. Клер не спала, она сразу же села и прислушалась. Вскоре от гула проснулся Андрей — хоть слышал он плохо, но звуки далекой канонады улавливал с повышенной нервной чуткостью. Остальные спали по-прежнему крепко.

Выскользнув из-под одеяла, Клер подошла к окну. Все выглядело так мирно — сверкающий под луною белый снег, безмятежное звездное небо. Сзади скрипнули башмаки, она обернулась. Даже в темноте она сразу узнала Андрея — по нескладному мешковатому пальто. Он встал рядом с ней у окна, радостно зашептал:

— Слышали, а? — И поглядел в окно.— Фронт приближается. Должно быть, прорыв.

Клер обошла его и, встав с левой стороны, зашептала в здоровое ухо:

— Орудия далеко?

— Километрах в пятнадцати, может чуть дальше.— Он затаил дыхание, вслушался.— Ага, «катюши»! Слышите — высокий такой звук.

Клер прислушалась: ничего похожего, лишь отдаленный гул да уханье, словно погромыхивает гром.

Настороженно подняв палец, Андрей ждал.

— Ага, вот! Слышите?

И тогда за громом залпов она различила острые, словно бритва, воющие звуки — очень высокие, частые.

— Да. Что это?

— «Катюши», наши реактивные установки. От их снарядов по небу такие огненные хвосты — может, увидим из окна с той стороны дома. Хотите взглянуть?

— Да, пойдемте.

Он взял ее за руку, и они медленно двинулись к задней двери, ведущей в пустой цех. Там было не так темно. Сквозь окна в дальней стене проникал лунный свет.

— А почему у них такой воющий звук?

— Так ведь у реактивных снарядов скорость в восемь раз больше, чем у артиллерийских. «Катюша»— орудие колоссальной мощи. Я знаю от пленных немцев — враг перед ним трепещет.— Они подошли к окну.— Следите, в небе будут вспышки,— сказал он, взволнованно вглядываясь в ночь.— На комету похоже.

За полем прямо против окна был лес, через который они пробирались накануне вечером. Деревья стояли высокой черной стеной. В освещенном луною небе было спокойно, над лесом белело лохматое облачко.

После короткого молчания Клер спросила:

— Видите что-нибудь? Я — ничего.

— Я тоже. Обзор незначительный.

— Может, русские дальше, чем вам кажется?

— Нет! — ответил он убежденно.— Раз слышны «катюши», значит, не дальше. Что за чудо эти «катюши»! Кстати, у нас и песня есть такая — «Катюша».

— Постоим еще немножко, ладно? Может быть, все-таки увидим что-нибудь?

— А вы не очень устали?

— Устала, но спать не могу. Слишком возбуждена.

Он повернулся, пристально посмотрел на нее.

— Догадываюсь почему: из-за разговора о вашей прошлой жизни, о муже.

— Может, и так.

Он помедлил:

— Клер, мне хотелось бы задать вам один очень личный вопрос. Отвечать на него необязательно. Можно?

— Можно.

— Днем я заговорил о вашей жизни с Пьером, и вы сказали: «Не надо, мне ведь больно». А вечером сами рассказывали о нем с таким каменным спокойствием... Простите, но мне это показалось странным.

Клер промолчала.

— Я не хотел вас обидеть.

— А я не обиделась.

— Моя мама говаривала: «Коль выплаканы все слезинки, не будет больше и смешинки». Такая выдержка, как у вас, выедает душу.

— И да и нет,— медленно проговорила она.— За эти два года я пролила море слез — наедине с собой или с Лини. Но на такой работе, в такой команде... Да не научись я держать себя в руках, я бы уже десять раз погибла...— Она помолчала.— Или сошла бы с ума. Но мне хотелось жить, ведь у меня есть цель. Вот я и вымуштровала себя. Так что сегодня я сдержалась без труда. Не хотелось портить людям настроение, вот и все. Сами видели, до чего неприятно это выглядело, когда Отто вышел из берегов.

— А в какой команде вы работали?

— В политическом отделе. В Освенциме.

— Переводчицей?

— Да. И делопроизводителем. Мой шеф был заместителем начальника лагерного гестапо.

— Но как же вас держали в Освенциме? Все говорили, что там мужской лагерь?

— Нет, был там и барак для женщин, только отгороженный от мужских. Гестаповцам требовались машинистки, делопроизводители, конторщицы — ну как всякой администрации. Мы никогда не видели заключенных из мужского лагеря, а они нас.

После некоторой заминки Андрей решился задать ей еще один мучивший его вопрос:

— Клер, ведь вы находились в такой изоляции — откуда же вы можете знать точно, что Пьер погиб?

Она промолчала.

— Может, не хотите об этом говорить?

— Нет, я вам отвечу,— сказала она и с горьким вызовом добавила: — Сохранять мне при этом выдержку или нет?

Он снова заговорил:

— Мне важно, чтобы вы знали: со мной вы всегда можете быть такой, как вам хочется.

— Я просто пошутила.

— А я — нет.

Мягко:

— Знаю, Андрей.

— Так расскажите.

Она отвернулась и, глядя в окно, сдержанно заговорила:

— Шульц, мой начальник, каждую неделю отправлял в Берлин всевозможные сводки. В частности, о числе заключенных: столько-то прибыло, столько-то переведено в другие лагеря, столько-то умерло.

— И вы составляли списки?

— Нет, но иной раз мне приходилось с ними сверяться. И вот однажды утром Шульца срочно запросили из Берлина насчет какого-то заключенного. Стала я искать его в списках — ни в одном лагере не числится. А между тем было известно, что всего три недели назад его доставили в Бжезинку. Тогда Шульц подходит к тому шкафу, где хранились документы по «селекции»[1], вынимает одну из папок и говорит: «Должно быть, он быстро скис. Ну-ка глянь, может, уже ушел в трубу?»

— Как? — ахнул Андрей.— В разговоре с вами он употребил слово «труба»?

Клер повернулась, взглянула на него.

— Почему это вас удивляет?

— Потому что в Бжезинке заключенный никогда не произносил слова «газ», «крематорий», «труба», если знал, что его может услышать охранник,— это каралось смертью.

— Да. Теперь припоминаю. Но в нашей команде обо всем говорилось в открытую. Гестаповцев не тревожило, что мы слишком много знаем: ведь считалось, что все мы, работающие на них, неминуемо «уйдем в трубу». И то, что нас не успели ликвидировать,— чистейшая случайность.

— Боже мой,— едва слышно выдохнул Андрей.— Что вам пришлось пережить!

— Меньше, чем другим, куда меньше,— спокойно возразила она.

— Ну, рассказывайте дальше.

Клер снова отвернулась, стала смотреть в окно.

— В папке были списки тех, кого за последние две недели после селекции отправили в газовые камеры. И на каждом списке — дата. Фамилия мужа была на втором листке.— Она помолчала секунду, потом снова заговорила: — И когда я ее увидела, что-то со мной случилось, я и по сей день не понимаю что. Сознания я не теряла: когда пришла в себя, по-прежнему сидела за своим рабочим столом. Но я вдруг ослепла. Не видела больше его фамилии на листке, свет в комнате померк. Сколько это длилось — не знаю, должно быть, минут пять — десять, не меньше. Зрение вернулось, когда Шульц окликнул меня: «Что это с тобой нынче? Парочку списков проглядеть, а ты так копаешься!» Тогда я ему сказала: «Мой муж газирован четыре дня тому назад». Он посмотрел на меня как на слабоумную. «Ну и что такого? — говорит.— Ты тоже этим кончишь, не знала, что ли? А теперь поторапливайся!»

Они помолчали. Потом Клер повернулась к нему, негромко сказала:

— Так я научилась выдержке.

— Клер...— с глубоким чувством проговорил Андрей.— Родная моя...— Он смотрел на нее, и губы его беззвучно шевелились, рука потянулась было к ее лицу, чтобы погладить, приласкать, но так и застыла в воздухе. И вдруг его прорвало — он заговорил негромко, но горячо, порывисто:

— Для чего мне скрывать свои чувства? Ни одну женщину мне никогда так не хотелось обнять, как вас. Представить себе не можете, Клер, какая у меня к вам нежность. Мне так хочется вас утешить, помочь вам забыть пережитое.— Он с жаром взял ее руки в свои, наклонился, чтобы увидеть ее глаза в слабом свете луны.— Но

[1] Периодические осмотры заключенных, во время которых эсэсовцы отбирали ослабевших и больных для умерщвления в газовых камерах.

быть вам только другом — этого мне мало. С той минуты, как мы встретились, я ни о чем другом думать не могу. Вы притягиваете меня как магнит. Вы запали мне в душу, никогда еще со мной не бывало такого.— Он поднес ее пальцы к губам и стал страстно целовать их.— Клер, родная, будьте моей женой. Обещаю вам всю любовь, на какую только способен. Я знаю, нам будет хорошо вместе. Ничто так не утоляет боли сердца, как музыка. А вашему сердцу так нужно...— Он не докончил: Клер молча плакала, слезы застилали глаза и скатывались по щекам, слабо поблескивая в лунном свете. Он сжал ее лицо в ладонях.— Неужели это я заставил вас плакать? У меня от ваших слез сердце переворачивается. Неужели я так ошибся? Неужели я вам совсем безразличен? А мне казалось, что нет.

— Конечно нет! — горячо возразила она.— Вы мне очень нравитесь, Андрей. Но вы не знаете одного — ведь внутри я мертва. Я сейчас и помыслить не могу о том, чтобы выйти замуж — за вас или за кого-то другого.

— Мертвы? Это вы-то? Такие яркие глаза, такая живая речь, и вся вы... Ну зачем вы так говорите? Что за чепуха?

— Нет, Андрей, вовсе не чепуха. Я разговариваю, смеюсь, но я совершенно выжата. Не только физически, но и душевно. Мне одного хочется, как бывало, в школе, когда заболеешь,— поскорее очутиться дома и чтобы мама уложила меня в постель и поухаживала за мной.

Андрей бережно обнял ее.

— Клер, родная, положите голову мне на плечо. И прошу вас, выслушайте меня.— С коротким вздохом она припала к рукаву его жесткого грубошерстного пальто, и он стал гладить ее щеку.— Я понимаю, как вы устали. Но вы за тридевять земель от дома. Мама далеко, а Андрей рядом.— Он тихонько рассмеялся.— И Андрею так хочется о вас позаботиться, поухаживать за вами. Я думаю, мои товарищи скоро будут здесь. За какую-нибудь неделю-две вы станете совсем другой.

— Но и вы тоже станете другим,— сказала она напрямик.

— В каком смысле?

— Переменитесь ко мне.

— Нет, Клер, ни в коем случае. Нет, нет!

Она подняла голову, вскинула на него глаза.

— Андрей, я не хочу вас обидеть, но встретить такую мусульманку, как я, и на другой день захотеть на ней жениться — нет, это несерьезно. Просто вас лихорадит после Освенцима, вы изголодались по жизни. Вам нужна любовь, это так естественно, но влюблены-то вы не в меня, а в женщину вообще.

— Нет, в вас,— возразил он спокойно.— И скажу прямо: мне больно от вас такое слышать. Но еще больше я обрадован тем, что вы говорите со мной откровенно.

— Андрей, если бы я была привлекательней и вас бы ко мне тянуло физически — это было бы нормально. Будь я покрепче, меня бы тоже к вам тянуло. Но любовь должна расти постепенно. Она не возникает вот так вдруг, во всяком случае любовь, которая чего-то стоит.

— Ах так, значит, у французов любовь подчинена определенным правилам, да? — сказал он шутливо.— А мы, русские, просто слушаемся своего сердца.

Она промолчала.

— Клер, скажите мне только одно: я вам нравлюсь?

— Да, Андрей. Очень.

— Хорошо! Тогда подумайте вот над чем: вы утверждаете, что чувство мое несерьезно — просто лихорадка, нетерпение изголодавшегося мужчины. Но почему же с первого взгляда я потянулся к вам? Ну-ка ответьте, мусульманочка вы моя! Именно к вам, а

не к Лини? Ведь во внешнем ее облике женского больше, чем у вас. Почему же мне нужны как воздух именно вы, а не она?

Клер недоуменно на него посмотрела.

— Неужели такая, как я сейчас... Ну допустим, я нравлюсь вам, не о том речь... Неужели я вам действительно нужна, такая?

Поцелуй его, хоть и бережный, ее ошеломил. Когда он отнял губы, она тихонько заплакала.

— Ну теперь вы убедились, да? — прошептал он.— И убедитесь, что чувство мое не просто лихорадка. Но я понимаю, на это потребуется время. Что ж, я согласен ждать.

— О, Андрей,— с силой произнесла она.— Я так хотела бы стать вашей, совсем вашей прямо сейчас. Но не могу.

— Я тоже этого хочу,— прошептал он.— До боли.

— Но я бы осталась безучастной. Прошу вас, поймите.

— Понимаю, родная.

— Мне так хочется вновь испытать желание, страсть, но пока этого нет, стать вашей я не могу. Это было бы чудовищное насилие над собой.

— Понимаю, Клер.

— Андрей, вы мне нравитесь! Я благодарна «катюшам», что они вас разбудили.

— Вы устали?

— Да, очень.

— А теперь вы сможете уснуть?

— Да.

— Тогда пойдем.

У двери она остановилась, нашла в темноте его лицо и торопливо поцеловала.

— Спасибо, Андрей.

Глава пятая
«КАТЮША»

1

Едва забрезжило серое утро, Отто и Норберт проснулись и увидели, что снег валит вовсю. Белая завеса за окном была такой плотной, что дальше заводского двора ничего нельзя было различить. Обстрел прекратился, и слышен был лишь посвист ветра.

— Эй, что я тебе скажу, а? — зашептал Отто.— Мы на свободе!

Норберт кивнул, заулыбался.

Один за другим проснулись и остальные, спала только Клер. Беглецы размахивали руками, чтобы согреться, терли озябшие ладони и бурно радовались, что им выпала такая удача — очутиться здесь, в этом благословенном убежище!

Лини, проснувшись, села и отыскала глазами Норберта — взгляд его, мягкий, ласкающий, был уже устремлен на нее. Сердце ее запело, она мысленно обратилась к нему с нетерпеливой нежностью: «Увалень ты этакий! Еще одну ночь пропустишь, придется мне сделать первый шаг самой, ничего не попишешь. Но лучше бы ты не толкал меня на это. Ведь моя женская гордость будет страдать».

Юрек потрогал щеки, взглянул на Отто:

— Сегодня можно будет побриться. То для меня необходимо.— Он улыбнулся.— Зося сердится: борода колючая.

— Везет тебе, черту,— с откровенной завистью буркнул Отто. Потом очень тихо, с каким-то лихорадочным возбуждением: — Ну и как она?

— Ничего, спасибо, здорова,— последовал вежливый ответ.

— Я не о том.

Юрек усмехнулся.

— Красивая?

— Она не есть красивая, она симпатичная.

— Тут много?

— Средне.

— Худая, толстая?

— Средняя.

— Ну а как это было? Расскажи человеку, а?

— То будет не по-джентльменски. Так делать неправильно, как сказал бы Андрей.

— Вот еще мура!

Юрек рассмеялся.

За завтраком, рассказывая о ночном обстреле, Андрей и словом не обмолвился о том, что Клер была с ним. Он знал, что творится с Отто, и ему не хотелось косых взглядов и назойливых расспросов.

— Говоришь, орудия всего в пятнадцати километрах? — встрепенулся Норберт.— Значит, немцы еще ближе к нам, а?

— Не обязательно,— возразил Андрей.— Может, враг здесь, наши танки прорывались вот сюда...— Он усиленно жестикулировал, желая показать, как быстро меняется линия фронта.— Может, сейчас мои товарищи к нам ближе, чем немцы, а завтра все наоборот.

Юрек шутливо перекрестился:

— Прошу отца небесного: не надо наоборот. Пусть отец небесный поскорей приведет сюда русских.

С улыбкой, словно бы невзначай, Отто высказал наконец то, что вертелось у него на языке еще со вчерашнего вечера:

— Юрек, а знаешь, что я подумал, когда ты задержался у Каролля?.. Я подумал, что ты дал деру.

Юрек ухмыльнулся, выставил перед собой ладони:

— Виноват, виноват.

— А в конце-то концов, какие к тебе могут быть претензии? — беззаботно и словно бы незлобиво продолжал Отто. На Норберта он не глядел, но чувствовал, что тот с него глаз не сводит.— Ведь ты поляк. Тебе всего-то и нужно — найти семью, которая захотела б тебя приютить. Тогда уж тебе ничего не грозило бы. Так для тебя было бы куда безопаснее, чем с нами.— Он улыбнулся.

Секунду Юрек смотрел на него молча.

— Сколько я разумею, ты задаешь мне серьезный вопрос, н-е-ет?

Отто пожал плечами.

— Да я это просто так, к слову.

— Нет, не просто так! — В голосе Юрека смешались гнев, насмешка, обида.— Ты хочешь выведать — не собираюсь ли я удрать, дезертировать, не-ет?

— Я этого не говорил, старина.

— Но думал. Так я тебе вот что скажу. Мне было только девять лет, а тот человек,— и Юрек показал на Норберта,— уже был в концентрационном лагере. А когда мне было четырнадцать, туда попал ты. Как же ты думаешь, я дезертирую, брошу двух товарищей, если они боролись против нацистов? Боролись, когда я еще даже не знал, кто это есть — нацисты? Или брошу вот этих двух женщин и русского солдата? Нет! Я есть польский патриот! Я не есть трус, не есть дезертир.

Отто немного смутился:

— Прости. Я не хотел тебя обидеть. И все-таки как-то спокойней знать наверняка, что мы можем на тебя положиться.

Наступило короткое молчание. Вдруг Юрек расхохотался:

— Значит, ты это просто так, к слову, да-а-а?

2

Сон был всегда один и тот же. Снился он ей не каждую ночь, но уж если снился, образы его оставались неизменными: маленький

мальчик катит по земле красный мяч и бежит за ним вприпрыжку, безликий робот в серо-зеленой форме подстерегает мальчика, а она, Клер, где-то сбоку — закованная в цепи, во рту кляп. Сон неизменно обрывался на том, что робот, вытянув металлические руки, устремлялся к мальчику. Просыпалась она с криком боли — вот как сейчас, истерзанная, вся в поту, и стонала, не в силах подняться.

Андрей тут же бросился к ней, опередив Лини.

— Клер, что с вами? — встревоженно крикнул он по-русски и опустился рядом с ней на колени.— Вам больно? Где? — Она не ответила, но стоны стихли. Глаза ее были закрыты, она тяжело дышала.— Клер, чем я могу вам помочь? — умоляюще проговорил он и стал гладить ей руку.

Подошла Лини, прошептала:

— Не пугайтесь, она не заболела, это у нее сон такой. После него она всякий раз совершенно обессилена, иногда по утрам мне еле удавалось поднять ее на работу.

Не открывая глаз, Клер чуть слышно проговорила:

— Я не сплю. Пожалуйста, не надо об этом.

— Я и не собиралась. Хочешь еще немножко полежать?

Клер тяжело вздохнула в ответ.

Лини поманила Андрея.

— Она скоро придет в себя.

— Вы знать, про что этот сон?

— О том, что ей пришлось увидеть несколько месяцев назад.

— А про что, пожалуйста?

Лини пожала плечами:

— Сами можете себе представить.

— Нет, вы, пожалуйста, говорите мне, про что он. Так делать правильно.

Она бросила на него лукавый взгляд:

— Это почему же?

После некоторой заминки он сказал с откровенной улыбкой:

— Клер для меня теперь очень главный человек.

— Тогда я вам вот что скажу. Я Клер знаю. Когда вы тоже станете для нее главным человеком, она вам сама все расскажет. Ей не хочется, чтобы об этом болтала я.— Потом Лини показала на дощечку.— Сыграли бы вы ей что-нибудь на этой своей виолончели, а?

— Да, хорошо! — ответил он с готовностью, но лицо у него было хмурое: Лини явно его не убедила.

Лини поглядела на него, усмехнулась:

— Вот вам мой совет на все случаи жизни: действуйте не спеша.

Вошел Отто и с порога объявил:

— Эй, Лини, мы прогулялись по всему заводу и знаешь, что обнаружили? Ты не поверишь. Он совершенно пустой. Ха-ха.— И Отто протянул ей руки.— Давай потанцуем!

— Мне надо миски перемыть.

— Успеется.— Он схватил ее за руку.— Ну пойдем, прошу тебя.

— Ей-богу, что-то не хочется.

Серо-зеленые глазки Отто вспыхнули.

— А если б тебя Норберт пригласил, небось захотелось бы!

— Да, вероятно,— с нажимом сказала Лини.— Вот так, Отто.

Он вспыхнул, на лице у него было такое отчаяние, что Лини почувствовала угрызения совести.

— Не сердись,— сказала она поспешно.— Ну давай потанцуем.

Но он отвернулся и, ссутулившись, отошел.

3

Едва Клер приподнялась, Отто очутился с нею рядом: бойко пожелал ей доброго утра, спросил, как она себя чувствует, сунул ей в руку кусочек сахара.

— Спасибо, Отто,— пробормотала она, вставая, и весь вид ее выражал недоумение.

— Эй, лентяйка,— крикнула ей Лини,— завтракать будешь?

— Пока нет.— Она поздоровалась с Юреком и Норбертом, затем повернулась к Андрею. Взгляд ее был нежен, он говорил ему, что ощущение душевной близости, возникшей между ними этой ночью, не покидает ее.— Спасибо за музыку, она мне помогла. Теперь я уже пришла в себя.

Он кивнул, улыбнулся, но брови его были угрюмо сведены, пальцы уже не бегали по дощечке. Было ясно, что фокусы Отто его раздражают.

— Лини, которое из ведер — дамская умывальня? — спросила Клер.

Лини показала. Клер направилась к ведру, опустилась возле него на колени. Отто не отходил от нее ни на шаг. Для начала сообщил ей, что сегодня сильный снегопад, затем рассказал, что в детстве обожал снег, осведомился, много ли снега выпадает в Париже, ходит ли она на лыжах, бывала ли в Вене. Она отвечала коротко, но за каждым ответом следовал новый вопрос. Клер умылась, утерлась рубашкой; теперь лицо у нее было еще более удивленное. Лишь когда она извинилась, сказав, что ей нужно кое-куда выйти, град вопросов прекратился. Но Отто стал в дверях и не спускал с нее глаз.

Все переглядывались, потешаясь над этим неуклюжим ухаживанием. Норберт спокойно сказал:

— Эй, Отто, закрой-ка дверь. Сквозит.

Отто вздрогнул, резко обернулся, метнул на Норберта недовольный взгляд, но тот глядел на него с таким добродушием, что Отто успокоился. Он закрыл дверь и как ни в чем не бывало подошел к остальным.

— Ну, Лини, доскажите про вашего сынка,— попросил Норберт.— Что же было дальше?

Лини рассмеялась:

— В этом возрасте ребятишки не очень-то обращают внимание на сверстников. Но Йози и какой-то мальчуган глаз друг от друга отвести не могли. И все кружили по песку один вокруг другого — совсем как двое щенят, обнюхивающих друг дружку...— Тут она смолкла, затаила дыхание: снова ударили тяжелые орудия — где-то далеко в небе загромыхало, мощные залпы следовали один за другим.

— Ого! — воскликнул Андрей, прислушавшись.— Сейчас орудия подходили близко, ближе, чем ночью.

— За сколько они километров отсюда? — У Юрека радостно засверкали глаза.

— Может, за двенадцать, может, немного больше.

— Немецкие или русские? — нетерпеливо спросил Норберт.

— Пока трудно говорить. Может, тот и другой.

— А как же ты ночью отличил, что орудия русские?

— Потому что ночью я слышал «катюша». А сейчас нет.

— А ну тише...

Когда Клер вошла в комнату, Лини предостерегающе прижала палец к губам, потом знаками предложила ей поесть. Клер кивнула.

— Ты говоришь — звуки пронзительные, частые? — спросил Норберт.

Андрей кивнул:

— Очень быстрый. Вот так.— И он несколько раз отрывисто свистнул.

Лини принесла миску с едой, села рядом с Клер и шепнула ей:

— Они слушают, не стреляют ли «катюши». Это такие...

— Знаю. Слушала ночью вместе с Андреем,— так же шепотом ответила Клер и, встретив ошарашенный взгляд Лини, широко улыбнулась.

— Ты вставала ночью, вы были вместе?

Клер кивнула.

— Что-нибудь произошло?

— Не то, что ты имеешь в виду.

— Ну как, я права или нет?

— Ты о чем?

— Его к тебе тянет?

Клер кивнула.

— Ха, ну что я тебе говорила! И как же он себя повел, когда ты сказала «нет»?

— А так, что стал мне очень дорог и близок. Впрочем, тут все гораздо глубже, дело не только в этом.

— А в чем же?

— Потом скажу. Как мне быть с Отто? Он сегодня какой-то шальной — прямо как кот, хвативший валерьянки.

— Ну у тебя, француженка, опыт немалый — знаешь, как себя держать.

— Только не с изголодавшимися мужчинами на кирпичных заводах.

Лини ухмыльнулась:

— Он потому так сердито сопит, что я напрямик ему сказала: Норберт мне больше по душе.

— Ах вон оно что, очень мило! Вот спасибо. Я тебе тоже как-нибудь подложу свинью.

— Он до того меня разозлил, что я не удержалась, с языка сорвалось. Рано или поздно ему все равно пришлось бы узнать.

— По мне, лучше бы поздно.

Лини опять ухмыльнулась.

— А по мне, наоборот. Ты-то сумеешь его осадить. Ну как, помассировать тебя?

— Потом.

— Кто-нибудь слышал «катюша»?— спросил Андрей.

Все покачали головами.

— В конце концов, что за разница, чьи эти орудия? — рассудил Норберт вслух.— Ясно одно: сейчас русские ближе, чем были позавчера. Остальное неважно.

— Юрек! — вдруг воскликнула Клер.— Зеркало!

В комнате сразу же воцарилась напряженная тишина. Медленно, театральным жестом Юрек извлек из кармана прямоугольное зеркальце и, чуть улыбаясь, оглядел остальных.

— С кого начнем?

Лини показала на Клер:

— Она вспомнила первая.

Когда Юрек направился к Клер, на нее вдруг напал нервный смешок. Неожиданная эта реакция удивила ее еще больше, чем остальных, потому что была совершенно непроизвольна. Она даже не протянула руки за зеркальцем, сидела, уставясь в одну точку, и хихикала.

— Эй, что это на тебя нашло? — удивилась Лини. Ее тоже стал разбирать смех.

— Сама не знаю...

Клер затряслась всем телом. Выглядело это до того нелепо, что остальные так и покатились со смеху. Чем судорожней смеялась Клер, тем громче заливались остальные, комната сотрясалась от утробного смеха — и вдруг он стих: хихиканье прекратилось так же внезапно, как началось. Клер сидела неподвижная, безмолвная, по впалым щекам катились слезы.

— Ой, ну что за дурочка! — Лини порывисто обняла ее одной рукой.— Чего ты так боишься посмотреться в зеркало?

— Я увижу там мусульманку,— еле слышно выговорила Клер.— Не хочу!

— Скажите какое тщеславие!

Андрей заговорил по-русски — горячо, нежно:

— Вы увидите там женщину, которая в моих глазах — красавица.

Губы Клер чуть дрогнули в благодарной улыбке, но она покачала головой.

— О господи, что за чувствительность! — воскликнула Лини.— Юрек, давай его сюда.— Улыбаясь, она поднесла зеркальце к глазам, и у нее перехватило дыхание, на лбу пролегли глубокие складки. После короткого молчания она пробормотала:— Да-а, красавицей я никогда не была, но все-таки...— И, возвращая зеркальце Юреку, с грустью добавила:— Может, Клер и права. Лучше сначала поправиться хоть немного.

Юрек, успевший тем временем разглядеть себя, сообщил куда более веселым тоном:

— А я не особенно переменился. Я был в лагере не так долго, и мне кое-что удавалось «организовывать».— Он вертел зеркальце, стараясь получше рассмотреть чуть отросшие волосы.— Седины нет, значит, еще могу быть школьником, та-а-к? — Он рассмеялся, протянул зеркальце Андрею: — Поглядишь на себя или тоже боишься?

— Я не боишься,— ответил Андрей, но, когда он увидел свое отражение, улыбка его превратилась в гримасу боли. Он затряс головой, что-то пробормотал по-русски, потом, ни на кого не глядя, сердито протянул руку с зеркалом.

Отто занервничал:

— Ну что, родная мать не узнала бы, а? Эй, Норберт, ты или я?

— Давай сперва ты,— ответил Норберт с коротким принужденным смешком.— Меня что-то не очень тянет.

Отто, явно сделав над собой усилие, взял зеркало.

— Представить себе не можете, ха-ха, какой я был прелестный малыш.— И, рассмеявшись вместе с другими, добавил:— Хорошо еще, что я сейчас как следует подзаправился. После семи лет для такого зрелища надо набраться сил.— И он быстрым движением поднес зеркальце к глазам. Лицо его выразило крайнее недоумение. Он все смотрел и смотрел на себя, затем повернулся к Норберту, словно бы ожидая, что тот объяснит ему необъяснимое, и снова уставился в зеркало. У него вырвался полузадушенный крик:— Но ведь мне только двадцать четыре! — И он завыл, запричитал, будто у открытой могилы.— Нет, не могу поверить. Не узнаю себя. В последний раз я видел в зеркале мальчика, а это тридцатипятилетний мужчина. Неужели я выгляжу на тридцать пять? — И, повернувшись к остальным, крикнул совсем по-детски:— Ужас какой! Вот ужас, а?

В его словах каждый почувствовал отзвук своего собственного заветного желания — бесплодной надежды обратить время вспять, чтобы погибшие были живы, чтобы страшные злодеяния, свидетелями и жертвами которых они стали, не были совершены.

— Ах, Отто! — воскликнула Клер с острой жалостью.— Все мы выглядим старше своего возраста. Но дайте срок — отдохнете, поправитесь, волосы отрастут, и вы будете выглядеть ненамного старше своих двадцати четырех.

— Нет, я и выглядеть буду старше, и в самом деле буду старше! — в отчаянии выкрикнул он.— У меня украли юность, лучшие годы жизни, их уже не вернуть, они пропали!

И Отто молча сунул зеркало Норберту и сел, закрыв лицо руками,— жалкая, скрюченная фигурка.

Норберт постоял, молча глядя на него. Потом повернулся к Лини:

— Ответьте мне совершенно прямо: на сколько я выгляжу, а?

Голос ее прозвучал очень мягко, даже как-то виновато:

— Примерно на сорок пять, Норберт.

Он кивнул.

— Что ж, ничего удивительного. А вообще не так уж это страшно.

— А сколько вам на самом деле?

— Тридцать семь.— Он поднял зеркало. Прошла долгая секунда.— Нет, не так уж страшно,— повторил он.— Передо мной человек, которому удалось выжить там, где гибли многие. Да притом еще люди получше его. Он мог давно превратиться в пепел — а вот ведь жив. Его могли кастрировать, он мог стать калекой от побоев, но ему везло, поверить трудно, как ему фантастически везло. Теперь он снова может попасть домой, вольно дышать, радоваться жизни, работать, иметь семью...

Отто вскинул на него глаза.

— Спасибо за нравоучение,— сказал он сердито и горько.— Все сразу же стало на свои места, просто замечательно...

— А тебя и надо поучать, болван несчастный,— обрушился на него Норберт.— Все мы потеряли лучшие годы и еще много чего. Но оплакивать их? Нет уж, к черту! — Он перевел взгляд на Лини, и в голосе его зазвенела радость:— Во тьме ночи мы повторяли: «История похоронит фашистов». И вот оно, свершается у нас на глазах, мы дожили до этой минуты. Так о чем же плакать? Не о чем, черт побери. В этом зеркале я вижу счастливого человека — вот так!

— Ш-ш! — сказал Андрей.— «Катюша»!

Сквозь гул тяжелых орудий все услышали далеко в небе отрывистый зловещий вой — это один за другим на огромной скорости неслись реактивные снаряды.

— Вот! — радостно воскликнул Андрей.— Так поют «катюша».

С едва заметной дрожью в голосе Клер сказала:

— А я бы их назвала по-другому: «банши».

— Как-как? — удивилась Лини.— Это что такое?

— А это из ирландского фольклора, женские дýхи, они воют по ночам, предрекают человеку смерть.

— Ей-богу,— воскликнула Лини,— каким только вздором у тебя голова набита! Ну как, француженочка, сделаем массаж, а?

— Только, пожалуйста, шведский, а не голландский.

Норберт подошел к окну, спросил Андрея:

— А у немцев разве нет реактивных орудий?

— Есть, но они пускают только один снаряд, звук другой. А «катюша» быстро так: фт-фт-фт... Одна «катюша» пускает шестнадцать снаряды подряд.

— Снег перестает,— объявил Норберт и вдруг ахнул:— Боже мой!

Встревоженный возглас Лини:

— Что такое?

Норберт не ответил. Молча, словно в забытьи, глядел он перед собой. Остальные бросились к окну.

Падали редкие белые хлопья. Ровное неисхоженное поле за заводским двором выглядело совершенно так же, как накануне, разве что снегу нападало еще больше. Но в полукилометре от них, по дороге, рассекавшей поле надвое, потоком шли заснеженные танки и грузовики, шагали солдаты. Медленно двигалась эта белая река, машины приноравливались к шагу идущих. Пехота шла тесными рядами, неуклюжие маскхалаты покрылись от мороза ледяной коркой. «Немцы или русские?» —мелькнул у каждого в голове один и тот же вопрос. И почти тотчас же Андрей выкрикнул:

— Фрицы!

— Немцы,— объяснила Клер.

Остальные заговорили разом:

— А почем ты знаешь? Ты уверен?

Андрей стал взволнованно перечислять:

— Немецкий танк — «тигр»... Немецкий гаубица... Немецкий зенитка.

— Я не вижу опознавательных знаков! — воскликнул Отто.— А ты? Где они?

Андрей быстро заговорил по-русски:

— Клер, объясните им, я отличаю немецкие орудия и танки по виду, ошибки быть не может!

Как только Клер перевела его слова, все смолкли. В немом изумлении, словно зачарованные, смотрели беглецы на дорогу, и обжигающая радость билась в них. Зрелище было воистину потрясающее. Пусть в Освенциме такой человек, как Норберт, по ночам утешал себя мыслью, что история похоронит фашизм. Но ведь каждое утро, просыпаясь, они по-прежнему оказывались в безумном мире, где правила звериная жестокость. Ни один из них, в сущности, не надеялся выйти из того страшного мира живым. А сейчас они на воле, в укрытии, и у них на глазах полчища их мучителей панически бегут. Зрелище это тешило глаз, заставляло бешено колотиться сердце. Они все смотрели и смотрели, желая удостовериться, что это не мираж. И странно, до чего странно — с дороги не доносилось ни единого звука, все заглушал немолчный гул далекой канонады. Белая река, несшая свои воды медленно и бесшумно, выглядела нереальной — казалось, что смотришь немой фильм.

Клер первая нарушила затянувшееся молчание.

— Ах,— сказала она сдавленным, глухим от волнения голосом, — теперь и умереть не жаль. На наших глазах свершается возмездие.

У Юрека в горле зазвенел смех. Он рвался из него родниковой струйкой — веселой, сверкающей на солнце. Юрек не говорил ни слова, только смеялся, смеялся, пока наконец не утих.

И снова наступило молчание. Потом все вдруг заговорили разом, словно взбудораженные дети, давая выход переполняющим их чувствам:

Отто:— Эти сверхчеловеки еле тащатся — устали, видно. Я за них так...

Лини:— Устали!

Отто: — ...переживаю!

Лини:— Да где им знать, собакам, что такое усталость! Вот мы действительно знаем!

Андрей (неистово):— Самолеты! Где наши самолеты? Почему они ждать?

Норберт (горько, печально):— Неужели это единственный способ заставить немцев понять хоть что-нибудь? Сколько же войн должны они проиграть, чтобы отказаться наконец от попыток завоевать мир?

Клер (посмеиваясь):— Отто, у вас сахара не осталось? Ах, как бы он им сейчас пригодился!

Взрыв хохота — резкого, злого, торжествующего!

Юрек:— Виват «катюше»! Я на ней женюсь. Она мне есть милее Зоси.

Блаженный, бессмысленный смех! Язвительное фырканье! Забавные выдумки и фантазии, одна причудливей другой! Но вот поток машин и людей иссяк, и все понемногу стали успокаиваться. Вдруг Андрей нахмурился, отошел от окна, взволнованно зашагал взад-вперед. Остальные не отрывали глаз от последней колонны немцев и даже не заметили, что он отошел.

— Снегопад опять усиливается,— заметил Отто.

— Вот и хорошо, пусть они замерзнут насмерть, эти чудовища!

— Нет, Лини! — поспешно возразил Норберт.— Эти солдаты — ведь они не эсэсовцы. Разгромить вермахт необходимо, это верно, но не надо валить солдат в одну кучу с эсэсовцами.

Лини резко ответила:

— Конвоиры, которые гнали наш этап, тоже не были эсэсовцами. А пожалели они хоть одну из тех женщин, что падали в снег?

— И что же, по-вашему, из этого можно заключить? — настойчиво допытывался Норберт.— Что весь народ состоит из чудовищ,— и на этом успокоиться?

— Сами знаете, я не о таких немцах, как вы.

— А о каких же, Лини? О двадцатилетних парнях, которым было восемь, когда Гитлер пришел к власти? Что же нам с ними делать: перевешать или перевоспитать? А рабочие, строившие эти танки и грузовики,— с ними как прикажете быть?

— Не знаю,— пробормотала Лини.— Вы это все давно обдумали, а я нет. Но в сердце моем...

Подошел Андрей — так же внезапно, как раньше отошел.

— Товарищи,— сурово начал он.— Я думаю — мы сойти с ума! Целый час смотрим, смеемся, но почему мы ни разу не думаем, что будет, если фрицы сюда приходят?— Он сердито показал на дорогу.— Враги от нас только полкилометра. Они приходят сюда, всех стреляют.

— А для чего им сюда приходить? — весело бросил Отто.— Высшая раса драпает. У них теперь одно на уме — поскорей смыться от вас, русских.

Андрей выслушал его, приставив к правому уху ладонь, потом возразил сердито, даже яростно:

— Много для чего. Может, ставить зенитка на крыша, может, приносить раненых, откуда я знаю?

— Так чего они до сих пор не пришли?— не унимался Отто.— Ведь они уже, наверное, столько часов драпают — задолго до того, как мы их увидели.

— Юрек,— спохватился Норберт,— выяснил ты, куда ведет дорога?

— Да, да, в Богумин.— То есть городок на польско-германской границе. Двадцать километров отсюда.

— Ага, вот видите? — торжествующе объявил Отто.— Туда они и топают — обратно в добрый старый фатерланд.

Андрей даже закричал от возмущения. Сильно волнуясь, обратился к Клер:

— Переведите им! Мы ведем себя неразумно. Мне начинает казаться, что в Освенциме мы стали просто ненормальные. Мы так измучены, так жаждем покоя и безопасности, что вообразили, будто этот завод — заколдованное царство. Враг чуть ли не у самых дверей, а мы стоим себе посмеиваемся, словно застрахованы от всех бед. Форменное безумие!

Клер помолчала. Слова Андрея потрясли ее. Ей вдруг стало жутко. Может, они и впрямь ненормальные? О господи! Но ведь она и сама наблюдала за отступлением немцев и ни разу не подумала об опасности. Не на шутку встревожившись, она стала медленно переводить. Едва она кончила, Андрей гневно направил палец на Норберта.

— Вот ты,— заговорил он резко,— двенадцать лет ты был в концентрационный лагерь, и когда ты видел немец с автомат, ты боялся, да? Почему же ты не боялся немец там, на дороге?

Норберт, наморщив лоб, сосредоточенно думал. Потом развел руками.

— Сам не знаю,— пробормотал он и смущенно поглядел на остальных.— Нам надо быть начеку, это факт.

— Андрей прав! — решительно подхватила Лини.— Конечно, они могут сюда нагрянуть! Что это мы, в самом деле?

— А ничего! — закричал Отто. Белый от злости, подскочил он к Андрею.— Может быть, ты и спятил, тебе виднее. Только нас в компанию не бери. Мы увидели, что вермахт драпает, и обалдели от радости. Что ж тут такого? Ведь это вполне естественно! Что ты тут, черт побери, увидел ненормального? Да мы этого дня ждали годы и годы, скажешь — нет?

— Значит, ты считаешь, здесь для нас очень безопасно, да? — насмешливо спросил Андрей.— Гитлер присылал к тебе письмо, обещал?...

— Мы нигде не можем быть в безопасности, пока не придут русские,— желчно перебил его Отто.— Но ты можешь нам предложить более надежное убежище? В деревне немцев не было с осени. А ты сам сейчас видел — мимо шли целые полки, верно? Черт подери, это у тебя мозги воспалились, а не у нас!

К ним подошел Норберт, сказал спокойно и твердо:

— Давайте-ка присядем и потолкуем! — То была не просьба, а приказ, в нем была сила — та самая, что помогла Норберту выдержать двенадцать лет лагеря,— и оба спорщика тотчас же подчинились. Бросив взгляд в окно, на опустевшую дорогу, Норберт сказал:— Юрек, покарауль, а?— Потом сел, привалился спиной к стене, поскреб подбородок и мгновенье пристально смотрел на Андрея и Отто. Вспомнив, каким Норберт был утром, когда они только проснулись, Лини поразилась: теперь это был совсем другой человек. Взгляд голубых глаз стал холодный, жесткий; сильное лицо отвердело, казалось железным — оно подбадривало, но вместе с тем как-то отпугивало. Такое вот железное лицо может поддержать в тебе дух, решила она, но целовать его не захочешь.— Все за одного, один за всех — так, да? — негромко проговорил Норберт.— Может, будем помнить об этом, а не кидаться друг на друга, как петухи? — И опять слова его прозвучали как приказ, а не как просьба.— Отто, по-моему, все, что ты говорил, толково. Но ты одного не учел — как раз того, что беспокоит Андрея. Не знаю, как ты, но я, безусловно, дал маху. Вот мы тут все время глядим на дорогу, а мне ни разу даже в голову не пришло, что один из танков может вдруг свернуть сюда, к заводу. Нету ведь такой международной конвенции, которая бы это запрещала, а, Отто?

Отто развел руками: нету, мол.

— Кто-нибудь из вас предвидел такую опасность? — спросил Норберт. Он подождал ответа, но все молчали, и он снова заговорил:— Конечно, это вовсе не значит, что все мы рехнулись; тут ты, положим, хватил, Андрей. Отто верно говорил: мы все обалдели от радости. А ведь в самом деле здорово, а? Но в одном ты прав. Что-то больно мы размагнитились. После Освенцима мы здесь словно на перине нежимся. А спать-то нам как раз и нельзя. Значит, надо решить: что будем делать, если на дороге снова появятся войска? — Он обежал всех взглядом.— Есть у кого-нибудь соображения на этот счет?

— Да-да! — поспешно сказал Андрей.— Есть.

Отняв ладонь от уха, он повернулся к Клер, решительно, горячо заговорил по-русски. У него три предложения, и он на них настаивает, потому что твердо уверен: сейчас им грозит чрезвычайная опасность. Завод почти у самой дороги и сразу бросается в глаза. До сих пор это было отличное убежище, но в любую минуту оно может превратиться в ловушку, и тогда им отсюда живыми не выйти. Поэтому первое его предложение такое: пусть Кароль постарается найти в деревне несколько семей, которые согласились бы их спрятать. Юрек должен идти к Каролю сейчас же, не дожидаясь темноты. Лучше всего, если таких семей будет шесть — на каждую семью по человеку, но если найдется хотя бы один дом, где согласятся принять, скажем, Клер и Лини, это все-таки лучше, чем ничего. Как бы там ни было, едва стемнеет, завод должны покинуть все.

— Ну так,— сказал он напористо,— переведите пока вот это.

С тем, что Каролю надо подыскать семьи, где их примут, все сразу же согласились. Но когда стали решать, нужно ли Юреку идти к нему немедленно, не дожидаясь темноты, разгорелся ожесточенный спор. Лини и, к общему удивлению, Отто поддержали Андрея. Но Юрек был решительно против: ведь надо думать не только о своей безопасности, но и о безопасности человека, который им так помогает. Какой-то чужак средь бела дня идет от завода к деревне, а это метров полтораста, и входит в дом Кароля — его же вполне могут заметить, притом многие. И кто знает, к чему это приведет! Мало того,

если Кароль увидит, что они не держат слово, что на них нельзя положиться, он, может, испугается и вообще перестанет им помогать. Норберт энергично поддержал Юрека: все верно, да и немцев сейчас на дороге не видно, так что нечего устраивать панику. А часов через пять-шесть уже стемнеет.

Проголосовали: Лини воздержалась, Отто перешел на сторону Юрека и Норберта, и только Андрей упорно стоял на своем. Лицо у него было такое, что Клер мысленно улыбнулась. «Да ты, оказывается, упрямец!» — подумала она.

Другие предложения Андрея повергли Клер в уныние. Если на дороге снова появятся немцы, все должны выпрыгнуть из окна на заводской двор, бежать в лес и отсиживаться там, покуда дорога не очистится. И вообще, пока для них не подыщут убежища в деревне, надо каждую ночь уходить в лес. Потому что здесь их могут застигнуть врасплох во время сна.

Когда Клер кончила переводить, наступило продолжительное молчание. Всех охватил ужас — в том, что предлагал Андрей, была своя логика, достаточно убедительная. Наконец Лини рассмеялась коротким невеселым смехом:

— Ох, Андрей, лекарство-то страшнее самой болезни. По мне, уж лучше получить пулю здесь, в тепле, чем насмерть замерзнуть в лесу.

Но у Андрея и на это был готов ответ: снег шел двое суток, и сейчас он гораздо глубже, чем позавчера. Он научит их закапываться в снег, и тогда ветер им не страшен. Холодно, безусловно, будет, но замерзнуть они не замерзнут.

— Ты нам это гарантируешь? — с явным недоверием спросил Норберт.— У тебя что, большая практика?

— Советский солдаты делают вот так засада,— ответил Андрей.

— А одеты они при этом так же, как мы?

— Нет, более тепло,— признал Андрей.— Но и для нас так делать правильно.

— Вот и попробуй нынче ночью,— рассмеялся Отто.— Посмотрим, на что ты будешь похож к утру, если только вообще вернешься.

— А ноги Клер? — спросила Лини.— С ними что станет после ночевки в лесу?

Андрей вздрогнул, бросил на Клер виноватый взгляд.

— Ох,— сказал он убитым голосом,— про ноги я как-то забывал.— Потом по-русски:— Ну как они сегодня?

— Чуть согрелись, но боль все такая же.

— Да, какое-то время они еще поболят.— Он смотрел на нее, наморщив лоб.— Дорогая моя, это такая проблема, не знаю, что и придумать. Нам вовсе не хочется, чтобы вы опять обморозились...— И, взволнованно махнув рукою, он смолк.

Клер сказала очень спокойным голосом:

— Несколько часов в лесу я еще выдержу, а вот целую ночь — едва ли. Стало быть, выход у меня один — рисковать. Я остаюсь здесь, но это вовсе не значит, что вы все тоже должны....

— Нет! — прервал ее Андрей.— Я останусь с вами.

— Что за нелепость! Почему вы должны...

— Нет,— повторил он.— Я вас не оставлю, Клер.

На глаза ей набежали слезы, и она отвернулась, чтобы их скрыть.

— Но это же неразумно, Андрей.

— Я вас не оставлю,— сказал он тихо.— Не оставлю, и кончено.

— Эй, слушайте меня все,— заговорил Юрек.— А почему вам не сделать, как предложил вчера Андрей? То есть хорошая мысль — караулить круглые сутки! Сколько до той дороги? Верно, метров пятьсот? А до леса только семьдесят. Допустим, с дороги немцы свернут сюда, та-а-к? Даже если они на машине или на танке — все равно, пока доедут, пока все тут осмотрят, мы успеем утекать до леса и хорошенько спрятаться.

Норберт хлопнул себя по коленке.

— Толково. Значит, мерзнуть будем только в случае необходимости.

— Ой, правда здорово! — обрадовалась Лини.— Ну а вы, Андрей, как, не возражаете?

— Нет,— ответил он с явным облегчением.— Может, Юрек предлагал самый лучший план.

— Вы и правда так думаете? — спросила Клер по-русски.— Или согласились только ради меня?

Андрей улыбнулся.

— Одному богу известно. Но решение неплохое.

Отто вдруг развеселился:

— Друзья, с той минуты, как мы очутились в сарае, нам все время везло, верно? Так вот, предлагаю пари. Ставлю три против одного, что в лес нам ни разу удирать не придется — русские придут раньше. Три против одного! Ну кто принимает пари?

— А вы на какие деньги спорите? — усмехнулась Клер.— Марка после войны обесценится.

— Кто же на марки спорит, спятил я, что ли? На венский шницель, вот на что. Расплачиваться в Вене. Есть там один ресторан, я хорошо его знаю. Значит, три против одного. Ну как, Клер, идете со мной на пари?

Она покачала головой:

— Никогда не любила шницель.

— Что? — с наигранным удивлением воскликнул Отто.— Эх, француженочка, вынь я сейчас из кармана холодный шницель трехдневной давности — ха-ха,— да еще облепленный тараканами, вы что, не стали бы его есть?

— Съела бы вместе с вашей рукой,— ответила Клер.

А в следующий миг, изумленно глядя на остальных, она спрашивала себя, чем вызван такой громовой хохот. Ведь шутка была до того незатейливая. Но все надрывались со смеху, словно на представлении в мюзик-холле, и она смеялась вместе со всеми. «Просто мы остались живы,— подумалось ей,— и в этом все дело. Мы живы, мы на свободе, мы на пути к дому».

Глава шестая

ОБНАЖЕННОЕ СЕРДЦЕ

1

Канонада прекратилась, немцы на дороге больше не появлялись, и даже ветер улегся. Казалось, после утреннего неистовства и природа и люди выдохлись и теперь нуждаются в передышке. Вскоре после полудня, когда беглецы ели холодный обед, графитно-серые облака вдруг раздвинулись, словно театральный занавес, и показалось яркое солнце в озерце чистой глубокой синевы. Прикрывающий землю плотный наст засверкал, словно усыпанный мельчайшими осколками стекла. Юрек, следивший из окна за дорогой, подозвал остальных. Все стояли рядом и смотрели не отрываясь, как зачарованные. Зима... Не та закопченная, грязная, что причиняла им столько страданий в Освенциме, а прекрасная, чистая, какой она им помнилась с детства. С острой тоской вспоминали они вслух зимние радости — снежные крепости и снежных баб, катанье на санках и рождественское веселье. В эту минуту никому не приходили на память тяжелые дни, без которых не обходится ни одна зима,— огорчения, слезы, трудные открытия ранних лет. Немножко солнца над замерзшей равниной — и в памяти каждого возникла волшебная страна детства.

Не прошло и десяти минут, как серый занавес вновь задернулся — так же внезапно, как открылся. Огорченно вздыхая, но все еще улыбаясь, они вернулись на свои места. Отто решил извлечь из этого маленького события выгоду: шепнул Клер, что глаза у нее синие, словно небо. Она сдержанно поблагодарила, удивляясь про себя его робости: ни дать ни взять шестнадцатилетний юнец, что, запинаясь от смущения, впервые в жизни делает комплимент девушке. Впрочем, так ведь оно и есть: ему двадцать четыре, но в то же время ему и шестнадцать, а выглядит он на тридцать пять — нет, такое может доконать кого угодно.

Ее размышления прервал Андрей.

— А знаете,— с глубокой нежностью сказал он по-русски,— глаза у вас точно такого же цвета, как ясное небо,— синие-синие.

Клер едва удержалась от смеха. Сказал он это вполне серьезно, и она была так к нему расположена, что ей вовсе не хотелось причинять ему боль, но два столь похожих комплимента! Словно намеренно одинаковые реплики в пьесе, рассчитанные на комический эффект. И она была благодарна Лини, которая принялась описывать зимнюю ночь в Амстердаме,— теперь можно было и отвернуться.

— Представить себе не можете, что это за красота,— с гордостью рассказывала Лини.— Каналы покрыты снегом, и он сверкает под фонарями — прямо сказка, дух захватывает. Больше всего я мечтаю о том, как в сумерках поведу моего Йози кататься на салазках на набережную Стадхаудерскаде. Там так весело, так красиво.

Клер наконец смогла дать волю рвущемуся из нее смеху:

— Какую, какую набережную?

— Стадхаудерскаде.

— Ну что за варварский язык! Неудивительно, что Голландия постоянно под угрозой затопления. Просто природа не может вынести вашего языка.

— Oui vraiment![1] — бойко парировала Лини.— А когда высокоцивилизованный француз получает отпуск, куда он направляется?

— На юг Франции, куда же еще?

— Вот именно — куда же еще? Но почему это, когда в Голландии распускаются тюльпаны, со всех сторон слышишь французскую речь?

— Но, может, это англичане?

— Ах вот оно что!— Повернувшись к остальным, Лини с надменным видом проговорила:— Клер считает, что нет на свете ничего прекрасней собора Парижской богоматери. А мне бы хотелось, чтобы вы когда-нибудь увидели, как цветут поля тюльпанов. Только представьте себе — тысячи распустившихся белых-белых тюльпанов, целое поле... И тут же рядом поле пурпурных тюльпанов... А дальше — розовых или черных-пречерных. Поверьте мне, дух захватывает, просто одно из чудес света.

— Черные тюльпаны, в самом деле черные? — удивился Норберт.— В жизни не видел.

— А у нас есть. Бывают даже тюльпаны, похожие на орхидеи.

— И даже похожие на фиалки?— с самым невинным видом спросила Клер.

— Ну смейся, смейся. А вот приедешь ко мне как-нибудь весной, тогда запоешь по-другому.

— Лини, милая,— глаза Клер улыбались,— хочешь знать, в чем подлинное различие между Голландией и Францией? Не в тюльпанах суть, не в каналах и не в соборе Парижской богоматери...

— Ой, знаю, знаю,— перебила ее Лини.— Самое главное — необыкновенное, необыкновенное сияние неба над Парижем. Ни в одном другом городе такого не увидишь. Сияние очей божьих падает прямо на французов.

---

[1] Да неужели! *(франц.)*

— Нет, и не в этом суть. А вот в чем. Как-то раз, еще до войны, ехала я в переполненном автобусе. Водитель вдруг резко затормозил, и я всей тяжестью рухнула на какого-то пожилого человека. Вот и скажи мне: случись такое с тобой в Амстердаме, что бы за этим последовало?

— Как что? Тот человек помог бы мне подняться, я бы сказала: «Ах, извините», а он ответил бы: «Ну что вы, пустяки».

— Совершенно верно. Но так как мой старичок был француз, он коснулся рукою шляпы и сказал: «Мадемуазель, на такой подарок судьбы я не мог надеяться».

Все рассмеялись, и Лини тоже.

— Ну что ж, очко в твою пользу,— ухмыльнулась Лини.— Может, я все-таки возьму и приеду к тебе в Париж. Как ты думаешь, удастся тебе подыскать для меня какого-нибудь красавчика в цилиндре, чтоб целовал мне ручку? — Она тяжело вздохнула.— Всю жизнь об этом мечтаю.

— В Люксембургском саду всегда полно дутышей.

— Дутышей? Это у вас такая кличка для красавчиков-жиголо?

— Ой, нет. Дутыши — порода голубей.

— Знаю, но какое отношение имеет голубь к галантному кавалеру, который будет целовать мне ручку?

— Если я не найду тебе кавалера, ты всегда можешь покормить голубка в Люксембургском саду, и он оставит у тебя на руке чуточку merde.

— Ах ты! — Лини так и покатилась со смеху.— Видно, надо мне снова тебя помыть, ишь сколько грязи — и внутри и снаружи.

Мужчины двинулись к двери; по дороге Андрей остановился возле Клер, тихо сказал по-русски:

— Знаете, чего бы мне хотелось? Иметь право быть рядом, когда вы моетесь. Не поймите меня превратно, просто мне так хочется о вас заботиться, быть вам опорой.

И снова, во второй раз за этот день, у нее выступили на глазах слезы — оттого, что чувство его так сильно, а ей на него ответить нечем. И, глядя в сторону, Клер глухо проговорила:

— Спасибо, я поняла вас правильно.

— Мама далеко, а Андрей рядом,— весело повторил он свои же слова.

Тогда, повинуясь внезапному порыву, она сказала напрямик:

— Только вы сами себя обманываете, Андрей. Не доставит вам радости видеть мое иссохшее тело, да и для меня это было б ужасно. Вы мне не сестра, не мать. Вы мужчина, вам нужна нормальная женщина, любовница, а не я.

— Нет, Клер, вы не понимаете,— сказал он сдержанно и тихо.— Словно я вам играю и вы как будто бы слушаете меня, но улавливаете лишь отдельные ноты. Ведь что я вам пытаюсь втолковать: для меня было бы великим счастьем видеть, как день ото дня тело ваше вновь расцветает. Почему? А вот почему. Что бы нас ни ждало впереди, я смотрю на вас как на будущую жену. А разве для мужчины не радость заботиться о жене?

— Ах, Андрей! — вырвалось у нее.— Вы так обогнали меня, и чувство ваше так серьезно — нет, это не к добру.

— Но почему же? — спросил он просто.— По-моему, наоборот, к добру.

И он вышел, прикрыв за собой дверь.

Она стояла удрученная, встревоженная сумбуром, который он вызвал в ее душе. Андрей и раздражал ее и трогал. Его заботливость, ласкающий взгляд оказывали свое коварное действие. Она ощущала, как где-то глубоко разгорается в ней простая радость — оттого, что она вновь дорога и желанна мужчине... Пусть даже мужчине, до

того ослепленному желанием, что он не видит, во что она превратилась.

2

Оставшись вдвоем, женщины сняли платочки, чего никогда не сделали бы в присутствии мужчин. Еще и двух недель не прошло с тех пор, как их обрили в последний раз; волосы только начали отрастать, и, казалось, головы их покрыты пушистой облегающей шапочкой — рыжевато-каштановой у Лини и золотистой, цвета спелой пшеницы, у Клер. Шутливо, но с затаенной надеждой задали они друг другу один и тот же вопрос — отросли ли волосы хоть немножко со вчерашнего дня.

— Да они у тебя так и прут,— объявила Клер.— Еще неделю, и мне придется искать у тебя в голове, это уж точно. Ну а как там мой пушок — пробивается?

— Ничего, я бы сказала — что-то вроде трехдневного цыпленка. Как это так получается, что мужчина, даже если он лысый, все-таки может нравиться, а обритая женщина теряет почти всю свою женскую привлекательность?

— Ну тебе беспокоиться нечего. В платочке и в этой одежде ты очень женственна. А вообще-то Норберту хочется не по волосам тебя погладить.

— А ты почем знаешь? Мужу мои волосы нравились, он их так часто гладил. Уж если это говорю я, можешь поверить: красивые были волосы, длинные, я заплетала их в косы.

— Знаю. Ты, видно, забыла, что в Тулузе еще была с косами. Но честное слово, так ты мне нравишься больше, у тебя голова чудесной формы.

Лини фыркнула:

— Эх, подружка! А ну-ка, подружка, разденься, мне охота взглянуть на твои пышные телеса. Да, между прочим, мне один врач говорил: когда такие вот заморыши вроде тебя начинают поправляться, частенько случается, что одна ягодица у них полнеет, а другая так и остается усохшей.

— Значит, мне повезло! Искушенным мужчинам это нравится — пикантно! Стану носить юбку в обтяжку и сведу Париж с ума.

Лини ухмыльнулась, мокрой рубашкой вытянула подругу пониже спины.

— Ну, теперь расскажи, что у тебя было ночью с Андреем. Он сейчас так на тебя смотрел — в глазах вся его душа видна, до самого донышка.

— Знаю, это меня и мучает...

Лини слушала внимательно, ласковая улыбка не сходила с ее губ. Только раз она тихонько вставила:

— Да, он и вправду славный.

К тому времени, когда Клер кончила свой рассказ, обе успели вымыться.

— Скажи-ка,— вдруг спросила Лини.— Когда он тебя целовал, тебя это волновало?

— Как женщину? Нисколько.

— Но тебе не было неприятно?

— Нет, я расплакалась, такая у меня была к нему нежность...

— В таком случае я тебя не понимаю. Он тебе мил, когда он тебя целовал, тебе это было очень приятно, хоть и не волновало. Почему же ты не пошла бедняге навстречу?

— Потому что, когда снова буду с кем-нибудь вместе, хочу и сама испытывать страсть. Нужно ведь и со мной считаться.

Лини перестала натягивать рубашку, испытующе посмотрела на Клер.

— А если бы здесь очутился Пьер?

— Лини! Сказать мне такую ужасную вещь! Какая жестокость! Как ты могла?

— А так: я вижу, что ты себя обманываешь, и мне это не нравится. Я-то знаю — для человека, который тебе по-настоящему дорог, ты готова на все.

— Но не в интимной жизни. И потом, Андрей мне не муж, знакома я с ним всего третий день, любви у меня к нему нет, почему ж ты считаешь, что я должна ему все позволить?

— Никому ты ничего не должна. Если б мы были нормальные люди, жили обычной размеренной жизнью — дело другое. Разве тогда меня бы тянуло к Норберту с такой силой? А так — какое имеет значение, давно ли ты знаешь Андрея? Нет, совсем не в том дело.

— А в чем же?

— Вчера ты спросила меня, не боюсь ли я забеременеть. А нынче утром — этот твой сон. Вот где собака зарыта. Ты вела бы себя с Андреем совсем по-другому, если бы не боялась последствий.

Секунду-другую Клер молчала, сосредоточенно морща лоб, потом рассмеялась коротким, горьким смешком:

— Что ж, может, ты и права.

— Но беспокоиться-то не о чем. Не можем мы забеременеть.

— Думаю, в моем нынешнем состоянии это маловероятно, но все-таки не исключено.

— Что ж, носись со своими страхами, если не можешь от них отделаться, только вот тебе мой бесплатный совет — расскажи все Андрею. Кстати, он очень допытывался, что это у тебя за сон такой.

— Ничего я ему не скажу.

— Почему?

— Потому что сама стыжусь своей фобии.

— А что такое фобия?

— Навязчивый страх. У меня — боязнь забеременеть.

— Господи, что за дурочка! Во-первых, не всегда же он будет, этот страх; во-вторых, ты ведь не виновата, что так у тебя получилось. Все мы вышли из этого ада израненные — каждый на свой лад. И все-таки если теперь, после вашего ночного разговора, ты ничего ему не скажешь — жди осложнений. Как бы деликатно он ни держался, ведь он хочет тебя мучительно. Просто вывих какой-то — говорить человеку, что он тебе нравится, но что подпустить его к себе ты не можешь. И это в наших-то обстоятельствах.

Клер вдруг почувствовала глубокую усталость.

— Я об этом поразмыслю. А теперь идем отсюда, надо же и мужчинам дать помыться.

В дверях Лини остановилась и, думая о своем, грустно сказала:

— А знаешь что? Может, Голландия уже освобождена? Может, я увижу Йози совсем скоро — через каких-нибудь несколько недель. Боже, что это будет за день! У меня сердце разорвется от радости.— Потом вдруг: — Если сегодня ночью Норберт не свистнет мне, придется взять его силой.

— Интересно, а как голландкам такое удается? Мы этого не проходили.

Лини рассмеялась:

— Вот я как раз и обдумываю, как приступить к делу.

Юрека, Андрея и Отто они нашли в огромном пустом цеху — те сидели на ступеньках лестницы.

— Эй, девушки! — окликнул их Отто.— Мыла нам оставили?

— А как же, большущий кусок.— И Клер показала руками:— Вот такой. Ничего, что оно душистое? Вы не возражаете?

— Еще как возражаю. Тогда уж лучше никакого не надо.

Юрек рассмеялся:

— Да если б кто-нибудь дал тебе кусок мыла, ты бы то мыло исцеловал, будто это есть красивая паненка. Не-е-ет?

— Ха-ха! Правильно,— подхватил Отто. Потом показал на противоположную стену.— Видите, девушки, вон те два окна, что поближе? Если придется прыгать, то в эти.

— Почему именно в эти? — спросила Клер.

— Рамы тут везде двойные, и наружные примерзли к косяку. Так что пришлось пустить в ход мой нож и долото, которое принес Юрек; мы основательно попотели, пока удалось открыть те два окна. Теперь будем каждый час проверять — как бы опять не примерзли.

— Да здравствуют мужчины! — с жаром воскликнула Лини.— Нам, женщинам, в жизни до этого не додуматься бы.

— Виват Андрею! — сказал Юрек.— То была его мысль.

Андрей только отмахнулся:

— На моя родина мы больше привыкали к таким окнам.

— Ладно,— сказал Отто.— А теперь пошли отмокать в горячей ванне.— И, приставив ко рту согнутые ладони, он крикнул: — Эй, Норберт, можешь спускаться!

— А что он там делал? — спросила Лини.

— Следил за дорогой, пока вы мылись.

— Так, может, теперь нам подежурить наверху?

— Сами справимся, будем по очереди следить из нижнего окна.

Мужчины двинулись во внутреннее помещение, и, проходя мимо Клер, Андрей сказал ей по-русски:

— Вы немного порозовели после мытья. До чего же приятно это видеть.— Потом по-немецки Лини: — Ну сейчас вы повторяете массаж, да? Так делать правильно!

— Так точно, доктор, помассируем,— улыбнулась Лини. А когда он вышел, добавила: — Из него получится преданный муж, можешь не сомневаться.

Клер только нос сморщила:

— Гадалка из тебя не выйдет, этим ты себе на хлеб не заработаешь.

— Смотри-ка, а ведь нам обеим снова придется думать, чем зарабатывать себе на хлеб. Что ж, секретаршам и переводчицам...— она не докончила: на верхней площадке лестницы появился Норберт.— Ну, какая там, наверху, погода? На дороге, должно быть, ни души — иначе вы бы нам крикнули?

— Видел парочку ворон, больше ничего.

— А чем кормятся вороны в такую снежную зиму?

— Не знаю.— Он стал спускаться и, когда очутился у Клер над головой, вдруг добавил: — И знать не хочу.

Было в его голосе что-то такое, что заставило Лини весело расхохотаться. Норберт, улыбаясь, смотрел на нее сверху. Но вот улыбка его погасла, теперь весь вид его выражал тоскливое, страстное желание.

У Лини сразу стало серьезное лицо. Мгновение спустя Клер могла бы поклясться, что они начисто позабыли о ней. Их взгляды сомкнулись накрепко, их глаза говорили. Но вот Норберт протянул руку, и Лини встала. Щеки ее раскраснелись, глаза горели. Не сказав Клер ни слова, даже не взглянув на нее, она стала подниматься по лестнице.

Клер слушала их удаляющиеся шаги, у нее ком подкатил к горлу. А когда шаги стихли, растроганно заплакала и всей душой пожелала Лини, чтобы ей было радостно и хорошо. Потом откуда-то из глубины ее существа нахлынуло и волною обрушилось воспоминание: насквозь просвеченный солнцем день, когда она стала возлюбленной Пьера. Где все это теперь — его страсть и нежность, его ласковые глаза и теплые губы? Силой отняты у нее навеки, сожжены, обратились в прах, что развеян польскими ветрами.

— О, мой Пьер!

3

Дрожащие, безмолвные, поднялись они по лестнице. На втором этаже кирпичной пыли не было; часть помещения была разделена перегородками на клетушки. Норберт толкнул одну из дверей, и они очутились в закутке, служившем, по-видимому, конторой. Дверь, щелкнув, захлопнулась, они повернулись друг к другу и так стояли, порознь, даже их руки не соприкасались. Но слишком долго пришлось им быть оголенными — и перед другими и перед собой,— чтобы теперь скрывать свои желания и страхи, истинное свое «я». И хотя у Лини дрожали губы, она чуть улыбнулась, зашептала:

— Что ж ты не решался так долго? Не понимал разве, что я жду?

Ответ прозвучал не сразу:

— Боялся.

Она бросила на него испытующий взгляд.

— Чего же?

— Что я больше не мужчина.

— Но почему?

— Сколько лет без женщины...

С сияющими глазами, широко улыбаясь, она шагнула к нему, крепко обняла.

— Нет, ты настоящий мужчина — другого такого не сыщешь.

И тогда он прижал ее к себе, из горла у него вырвался удивленный возглас:

— Я с женщиной!

Лини не обиделась. Она поняла его правильно. И в ответ стала осыпать быстрыми, нежными поцелуями. Потом в непроизвольном порыве нежности, просто чтоб показать, что ее тянет к нему так же сильно, как его к ней, положила руку ему на колено. Все в нем заполыхало, и, когда первый жадный его поцелуй оглушил ее, в душе у нее расцвела радость — пронзительней, глубже той, какую она познала в день свадьбы, в объятиях мужа, и даже в тот миг, когда ротик ребенка впервые нашел ее грудь.

4

Из внутреннего помещения вышел Отто и стал рыскать вокруг глазами, пока не увидел сидящую на ступеньках Клер. Воровато оглядевшись по сторонам, он быстро подошел к ней и странно напряженным голосом, никак не вязавшимся с обыденностью его слов, сказал:

— Мне повезло, дорвался до бритвы первый.— Потом, что-то переборов в себе, полез в карман и извлек оттуда кусочек сахара.— Всего три осталось; вот — берите один.

Подавив тягостное чувство, Клер взяла сахар, поблагодарила.

После некоторой заминки он спросил:

— А где Лини?

Клер ничего не ответила.

И тут он взорвался:

— С Норбертом, да?

Она кивнула, и ей стало до боли жаль его. Она надеялась, что разговор на этом закончится; впрочем, то, что последовало дальше, не было для нее такой уж неожиданностью.

— Меня забрали в семнадцать лет, понимаете? — пробормотал он, запнувшись на слове «забрали».— У меня нет опыта.— Он помолчал, покусывая нижнюю губу. Лоб его покрылся испариной.— Я в том смысле... Черт подери... Ну, я в том смысле... У меня никогда не было женщины, я не знаю, как это бывает...— Он глубоко, прерывисто вздохнул, в его горящих глазах стоял немой вопрос.— Ведь это же ужас! Вы только подумайте, что за жизнь у меня была! — Резко

повернув голову, он метнул взгляд на закрытую дверь.— Клер, будьте со мной поласковей, ну пожалуйста.— Он схватил ее за руки. Слова беспорядочно сыпались, наскакивая друг на друга.— Помните, там, в сарае, я дал вам колбасы, и вы заплакали. Вы сказали тогда: «Вы так к нам добры, это в первый раз за два года мужчины обошлись с нами по-человечески». Клер, ну пожалуйста, будьте и вы добры ко мне. Я столько перенес, ведь меня взяли мальчонкой, и семь лет...

— Но я не могу.— Жгучее сострадание охватило ее.— Посмотрите на меня, я сущая мусульманка, да и внутри у меня еще все мертво. Не могу я сейчас быть с мужчиной — ни с каким. Поймите, Отто.

— Нет, нет, не говорите так! За что мне такая несправедливость! — Он стал лихорадочно целовать ей руки. Потом крепко сжал ее плечи.— Позвольте мне только целовать вас, и тогда, быть может...

— Но это же правда, клянусь вам! — выкрикнула она. И с горькой мукой торопливо добавила, примешав к правде ложь: — Будь здесь сейчас даже мой муж, я не могла бы... Это было бы для меня ужасно, я еще слишком изнурена!

Он медленно выпустил ее руки и встал, его била дрожь. Смущенная, с болью в сердце, смотрела она на его потерянное лицо и думала: «Ах ты несчастный, состарившийся мальчишка».

— Ну а после, когда вы придете в себя? — вдруг бросил он с вызовом.— Тогда как? Может, теперь недолго ждать?

— Там посмотрим...

Глаза его снова вспыхнули.

— Но это буду я, а не Андрей, слышите?

— Отто, ведь мы не можем знать, что случится с нами в следующую секунду.

— Так вот, слушайте! — заорал он.— Сперва Юрек организовал себе бабу, теперь Норберт. Вы что думаете, я смолчу, если вы и Андрей?..— Лицо у него задергалось.— Да я его убью, прежде чем...

Клер вскочила со ступеньки, с усилием выдохнула:

— Что?

— Не вздумайте со мной такое проделать, предупреждаю вас. Я столько лет провел...

— И они превратили вас в фашиста? — в бешенстве выкрикнула она.— Мало вы насмотрелись на убийства? А может, вас тоже на кровь потянуло?

Он пожирал ее глазами, возбужденный, красный.

— Не вздумайте со мной такое проделать. Если у вас кто-нибудь будет, так только я.

Она посмотрела на него презрительно, с отвращением, но тут же снова подумала: «Ах ты несчастный, состарившийся мальчишка». И, опустившись на ступеньку, заговорила медленно, горько, не сводя глаз с его пылающего лица:

— Мы шестеро стали такими добрыми товарищами. Хоть мы из разных стран, все равно мы словно братья и сестры — никаких предрассудков, никаких глупостей. Все, что проделывали фашисты, должно нам быть отвратительно, а теперь вы, будто фашист, грозите убийством.

Это как будто задело его. Он вяло отмахнулся, запротестовал:

— Я просто так.

— Да и выражаетесь словно капо какой-нибудь: «организовал бабу»! Вот что я вам скажу. В Освенциме нам приходилось «организовывать» то гребенку, то ложку, то кусок мыла. Но мы, Лини и я, не куски мыла, и выберем себе — если это нам будет нужно — кого захотим. Нас «организовать» нельзя.

— Клер, но это же просто так, выражение такое,— умоляюще проговорил он.

— Нет, не просто так.

Дверь отворилась, и из внутреннего помещения вышел Юрек. Не видя его, Отто униженно забормотал:

— Ну вот, теперь вы меня возненавидите. Ой, не надо, Клер, прошу вас. Я же просто так ляпнул, что убью его. Я совершенно не в себе. Оттого что я на воле, что-то во мне разладилось. Голова пошла кругом. Захотелось вдруг всего сразу...— Внезапно он смолк— к ним приближался Юрек.

— Где же Норберт? Видно, он не хочет сегодня мыться, тот человек? — И тут в глазах Юрека мелькнула догадка. Он перевел взгляд с Клер на Отто.— Я, пожалуй... Пожалуй, схожу до тех окон, взгляну, не примерзли ли часом.— И он отошел.

— Клер, не надо меня ненавидеть,— зашептал Отто,— не надо, очень вас прошу.

— А вы меня не вынуждайте.

— Может, Юреку нужна моя помощь,— буркнул он вдруг. Потом, не глядя на нее, полез в карман и, прежде чем она успела раскрыть рот, положил ей на колени два куска сахара и бросился к окнам.

Все это вышло так по-детски, что в пору было рассмеяться, но Клер было не до смеха. Ее всю трясло — от гнева и от тягостного предчувствия. Эти безумные глаза, дергающийся рот... Всем его извинениям, мольбам грош цена. У него нож... Семь лет изо дня в день он видел, как убивают людей... И оттого что он на свободе, у него голова пошла кругом. Что ж, его можно понять. Еще как! Вот это и есть самое страшное.

5

— Что с тобой? — вновь и вновь встревоженно спрашивал Норберт.— Я тебе сделал больно? Отчего ты все время плачешь?

Лини качнула головой, словно только сейчас его услышала. Веки ее дрогнули, открылись. Улыбка тронула губы, исчезла, потом появилась вновь. Не утирая слез, она прерывисто вздохнула, исступленно обняла его. Губы ее подергивались от невыговоренных слов, но слова не шли.

Потом она выдохнула шепотом:

— Господи боже мой! — А мгновение спустя: — Нет, мне не было больно.— И наконец: — Нет, Норберт, ты не тело мое ласкал — обнаженное сердце. Я словно заново родилась.— Она опять стала всхлипывать: — Господи боже мой — вот, значит, как оно может быть, когда мужчина и женщина вместе!

6

— Видел бы ты сейчас свое лицо,— прошептала Лини.

Они уже оделись — в комнатушке было холодно,— но по-прежнему лежали, крепко обнявшись, и говорили, лаская друг друга,— глаза и руки их все не могли насытиться радостью. Вдалеке прогрохотал одиночный залп, но они его не услышали.

— А что?

— До того оно доброе. Всегда бы так... А то утром оно меня испугало.

— Ты шутишь...

— Нет. Когда Андрей и Отто сцепились и надо было решать, как нам быть дальше, ну и лицо у тебя стало — прямо железное.

— Правда? Сам этого не замечаешь.

— Да, но теперь-то я поняла. То было не твое лицо, а лицо тех двенадцати лагерных лет.— Она вздохнула, погладила его по щеке.—

Боже мой, сколько ты всего натерпелся! Пусть я знаю про тебя мало, но одно знаю твердо — ты замечательный человек.

Он уткнулся в ее теплую шею.

— Ты меня перехваливаешь.

— Ничего подобного. Да будь ты другой, знаешь, чем бы ты стал за эти годы? Думаешь, я не видела, во что превращались иногда старые лагерники? Вроде бы политические, а в лагере становились скотами.

— Ну ладно,— он коротко рассмеялся.— Я замечательный, пускай. А я вот что тебе скажу, Лини, милая, ты мне сразу пришлась по душе, и чем дальше, тем нравилась сильней. Но я не знал, как ты ко мне относишься.

— А что, не видно было разве?

— Все-таки я не был уверен. Я думал: «Похоже, я ей по душе, но, как дойдет до дела, может, у нее волосы дыбом встанут при одной мысли, что к ней прикоснется немец».

— Ах вон что! — воскликнула она.— Значит, ты не за свою мужскую силу опасался?

— Ну, малость и за это, в общем, и за то и за другое вместе.

Она посмотрела на него.

— Чем больше я тебя узнаю, тем больше ты мне нравишься. Но что это тебе вздумалось — взваливать на себя грехи фашистов?

— Вовсе нет, что ты. Просто мне кажется: после всего, что было, еврейка, глядя на немца, должна себя спрашивать: а не антисемит ли он? Вот ты разве так не подумала?

Она быстро поцеловала его.

— Нет.

— Почему?

— А потому, что мне с первого взгляда все стало ясно. Я была с желтой звездой и внимательно наблюдала за вами всеми. А потом, не такая уж я серая. Я прекрасно знаю: первыми жертвами фашизма были именно немцы — такие, как ты. Поэтому, когда я увидела, что ты политический, сразу подумала: вот это человек!

— Будет ли мир помнить о них?..— со вздохом сказал Норберт.— Я все думаю о десятках тысяч немцев, погибших в Дахау и Бухенвальде, такие замечательные были люди... Но сам-то я вовсе не тот, за кого ты меня принимаешь. Кто работал в подполье — вот те действительно герои. Может, я бы дорос до этого, а может, и нет. Выбирать-то мне так и не пришлось.

— Как же это? Ведь тебя взяли за политику?

— Да, но вышло все совершенно случайно.

— Расскажи.

— Зачем? Сейчас ты мной восхищаешься. А узнаешь всю правду — уйдешь от меня к Отто или к Андрею.

Лини ласково шлепнула его по щеке.

— Скверные у тебя шутки... Ну... Я слушаю.

— Так вот, через несколько дней после того, как в рейхстаге был пожар, попал в беду один знакомый парень. Знать я его толком не знал, просто разок-другой мы с ним были напарниками по работе. И вот стою я возле своего дома, вижу — он мчится по другой стороне, на голове рана, кровь так и льет. Я, конечное дело, его окликаю. Он бросается ко мне, умоляет где-нибудь спрятать — за ним гонятся штурмовики. А женщины мои как раз ушли куда-то. Будь они дома, я бы еще хорошенько подумал. Но тут сразу хватаю его за руку и тащу к нам. То ли кто-то видел нас и накапал коричневым рубашкам, то ли они гнались за ним по пятам и сами смекнули, что он забежал куда-то в дом — в общем, оцепили они несколько улиц и стали прочесывать квартиру за квартирой. Оказалось, что Карл — видный человек в коммунистической организации Ростока; они и решили, что я тоже коммунист. Вот как оно вышло.

— И вовсе это не случайно, Норберт. Ведь ты мог от него отвернуться — на твоем месте так бы многие поступили.

— Знаю. Но то, что человек делает сгоряча, не успев подумать...

— ...говорит о многом,— перебила его Лини.— И показывает, какой он на самом деле.

Норберт припал губами к ее лбу.

— Будь по-твоему. И все-таки я не хочу, чтобы ты меня зря возвеличивала. Ну кто я был? Плотник-подмастерье, простой неученый парень, и в общем-то больше всего думал о том, как бы подработать. На профсоюзные собрания и то ходил редко. Понимаешь, в ту пору рабочему человеку очень трудно было перебиться. Мне надо было кормить мать, сестру, жену, а работать удавалось дай бог если дней семь за весь месяц. Надену, бывало, на плечи сумку с инструментами и пошел: от двери к двери — ищу, где бы стол починить или стул. Так что голова у меня не политикой была забита. Правда, гитлеровская банда мне была не по нутру, но я не особенно в этих делах разбирался. Только в Дахау стал понимать, что к чему.

Она прижалась к нему, крепко поцеловала. Минуту-другую им было не до разговоров. Потом Лини вздохнула.

— А что стало с твоей семьей?

— Жена со мной развелась.

— Вот так жена!

— А я ее не очень виню. Мы с ней не особенно ладили. И потом, когда человека сажали, фашисты здорово прижимали его семью.

— А что с матерью и сестрой?

— С самого начала войны у меня от них никаких вестей. Слышал, что Росток бомбили.

Короткое молчание.

— На дворе темнеет.

— Да ну? Эх, если бы время остановить — лежал бы тут с тобой и лежал лет сто. Какого цвета у тебя волосы, моя хорошая?

— Каштановые, с рыжеватым отливом.

— Отросли уже немножко?

— Меньше, чем у тебя.

— Дай поглядеть.

— Ой, ни за что! Только когда отрастут — хоть настолько, чтоб я опять стала похожа на женщину.

— А если зажмурюсь, дашь дотронуться?

— А ты обещаешь не смотреть?

— Обещаю.

— Пока будешь их трогать, целуй меня без передышки. Тогда я буду точно знать, что ты не подглядываешь.

Он рассмеялся:

— Не очень-то ты доверяешь мужчинам, а?

— Не в том дело, просто я...

Он приник губами к ее губам. Она сдвинула платок на затылок, и пальцы его коснулись облегающей шапочки коротких шелковистых волос, ласково пробежали по ним. Потом он сам водворил платок на место.

— Ох, сдается мне, этот поцелуй такой же жадный, как первый. Отчего бы это?

— Волосы у тебя мягкие-мягкие.— Он стал расстегивать ее кофту.— Я мог оказаться с другой женщиной. Но как хорошо, что это ты. Лини, ты мне нравишься, очень нравишься.

— А уж ты мне до чего нравишься, Норберт! Вот если б тело у меня было такое, как раньше... Хорошенькой я никогда не была, но грудь у меня была красивая. Эх, была бы она как раньше — мне этого ради тебя хочется.

— Забудь обо всем,— сказал он ласково.— Ты для меня мечта — такая, как ты есть.

— Боже, какое счастье! — шепотом выдохнула она.— Поцелуй меня так еще раз. Нет, подожди! Дай я сперва... Повернись чуть-чуть... Ага, а теперь... Ну, Норберт, ну, мой желанный!

И снова в этой пустой конуре им на какой-то миг стали подвластны солнце и звезды, небо и земля — все, кроме их будущего. И единственное, о чем они между собой не говорили,— это о будущем.

7

Клер встревоженно, торопливо предупредила Андрея:

— Берегитесь Отто. Ни в коем случае не говорите со мной по-русски. Постарайтесь дежурить сегодня ночью, я тоже встану.

Андрей кивнул и с этой минуты был начеку. Несколько часов он упражнялся на «виолончели» и, казалось, был совершенно поглощен своим занятием, но на самом деле зорко следил, чтобы Отто не очутился у него за спиной. Клер завернулась в одеяло и притворилась спящей.

После их тягостного объяснения Отто с ней больше не заговаривал; Андрея он будто и не замечал, да и с Юреком за все время едва ли перебросился двумя словами. Взвинченный до предела, он все ходил взад-вперед мимо окна, и Клер видела, что губы у него беззвучно шевелятся и временами он начинает нервно жестикулировать.

В сумерки, когда Юрек ушел к Каролю, тревога захлестнула ее. Но потом ее чуть-чуть отпустило. Отто все шагал взад-вперед вдоль подоконника, по-прежнему не обращая на Андрея никакого внимания. Может, он думает о Лини и Норберте? Она и сама то и дело возвращалась к ним мыслью.

Оказывается, не такая это приятная штука — остро почувствовать свою неполноценность. Она всем сердцем радовалась за Лини и в то же время терзалась. Разве могло ей когда-нибудь прийти в голову, что это будет такое унижение — чувствовать себя погасшей? Что на нее внезапно навалится такая тоска? Несмотря на угрозы Отто, в мечтах она то и дело представляла себе, как они с Андреем останутся вдвоем, и она ничего не будет бояться, и оба они вновь познают высокую радость страстного полного слияния, которой так долго были лишены. Собственное тело стало ей ненавистно, мысль о том, что усилием воли нельзя оживить угасшую плоть, приводила ее в отчаяние.

Не прошло и часа, как Юрек вернулся, к большому ее удивлению. Она села, протяжно зевнула — специально для Отто — и осведомилась у Юрека, нет ли новостей.

— Достал для вас детские резиновые сапожки. Думаю, подойдут. Хлеба сегодня нет, зато вот — картофельная похлебка с луком, репа, а еще — ну-ка угадайте, что? — малюсенький кусочек мыла. Это есть подарок Зоси.

Раздался нервный смешок Отто.

— Видать, она от тебя без ума. Чего ж ты так скоро прибежал обратно?

Юрек уныло скривился:

— Везет как утопленнику. Зося больна. Простудилась, кашляет.

— Ах вы, бедняга,— тихо сказала Клер.

А Отто загоготал:

— Стоит женщине разок побыть с тобой, и она заболевает, а?

Андрей отложил дощечку, нетерпеливо сказал:

— Так как же — есть дома, где нас спрячут? Что Кароль тебе говорил?

Юрек беспомощно развел руками.

— Вечером он пойдет до соседей, будет спрашивать. Но он думает, они откажутся.

Андрей негромко выругался по-русски.

— Почему?

— У нас же нет документов. А когда немцы приходят до деревни, они у всех спрашивают паспорта. И кто нас прячет, у того расстреливают всю семью.

Андрей снова выругался.

— Плохой дело!

— Ну что же, теперь и поесть можно,— сказал Юрек. И деловито осведомился у Клер: — Лини и Норберта будем звать, не-ет?

Клер поразмыслила секунду.

— Нет. Спустятся сами, когда сочтут нужным.

Черпая ложкой суп, Юрек спросил:

— Андрей, почему ты считаешь, что все будет плохо? Мы же можем утекать до леса.

— Вы переводите, хорошо? — подчеркнуто официально обратился Андрей к Клер. И стал объяснять: он надеялся, что советские войска произведут решающий прорыв где-нибудь поблизости. Но со второй половины дня в их секторе наступило затишье — орудия бьют далеко отсюда, километрах в двадцати. Если это означает, что фронт здесь временно стабилизировался, их могут схватить в любой миг.

Когда Клер перевела слова Андрея, Отто угрюмо буркнул:

— Ну тут мы ничего поделать не можем, верно?

— Я все это хочу обдумать,— сказал Андрей.

Первый раз за все время они поели в молчании.

Глава седьмая

ТРИ КАПУЦИНА

1

Едва они поужинали, спустились Лини и Норберт. Лини заговорила, и в голосе ее было такое безудержное веселье, что даже Отто улыбнулся, и атмосфера немного разрядилась.

— Если вам кажется, что я ступаю по земле, обратитесь к глазнику.— Из Лини так и рвался смех.— Я парю в воздухе и сим удостоверяю: Адам и Ева были не дураки, не зря слопали яблоко.

Радуясь ее оживлению, Клер подхватила:

— А я-то всю жизнь раздумываю — зря или не зря? Ну как, теперь мой черед кормить тебя с ложечки?

— Вот еще. Но я помираю с голоду. Что у нас на ужин?

— Жареный Норберт,— сказал Отто.

Раздался взрыв смеха, посыпались такие же неуклюжие добродушные шуточки. И к тому времени, когда стали укладываться спать, мир как будто был восстановлен — хотя бы внешне.

Но у Клер на душе покоя не было. После всего, что произошло днем, в мыслях был полный сумбур. Теперь ей мучительно хотелось поговорить с Андреем наедине, отвести душу, дать волю своим чувствам — любым, какие на нее нахлынут. Она прекрасно знала: будь на месте Андрея другой мужчина, пусть даже самый привлекательный, ее вовсе не тянуло бы остаться с ним вдвоем. Но Андрей так ясно дал понять, что не станет ничего от нее требовать... Сознает он, как мудро поступил? Или это природная чуткость музыканта?

Прошло уже около часа с тех пор, как все улеглись. Сперва Отто беспокойно ворочался с боку на бок, но потом затих, лежал ничком, положив руки под голову. Клер еще раньше успела шепнуть Андрею, что, когда все уснут, она выйдет в цех — как будто ей нужно в уборную. Если Отто не проснется, пусть Андрей идет за нею следом.

И вот она выскользнула из-под одеяла, приподнялась, досчитала до тридцати. Потом встала, подождала еще немного. Отто не шевельнулся. Он лежал между Норбертом и Юреком и как будто похрапывал — впрочем, может, храпел и не он. Клер пошла, стараясь ступать как можно осторожнее, пошире расставлять ноги, чтобы резиновые сапожки не терлись друг о друга, не скрипели. Сапожки были старые, и она шла бесшумно — Андрей услыхал ее, лишь когда она очутилась рядом. Он обернулся, и на фоне окна она увидела его профиль — половину лица, половину улыбки. Он кивнул, и она двинулась дальше. Сердце колотилось, и хоть ее трясло от волнения, дверь она открывала медленно-медленно. Петли давно уже не смазывались, и после каждого звука Клер замирала, вглядываясь в неподвижную фигуру Отто. Прошло несколько минут, пока ей удалось наконец проскользнуть в приоткрытую дверь. Чуть погодя вышел и Андрей. Ощупью отыскал ее руку, поцеловал. Молча, в потемках, они пробрались к лестнице. На первой площадке Андрей прошептал:

— Надо держаться поближе к ступенькам: вдруг покажутся фрицы.— На втором этаже он отворил дверь первой же клетушки и, заглянув в нее, прошептал: — Здесь есть окно.

Она вошла, и он закрыл дверь. В комнатке было темно, лишь в окне брезжил лунный свет. Они стали вглядываться в ночь. Почти полная луна близилась к зениту, по небу проносились тучи. Отсюда, сверху, дорога была видна явственно — тонкой полосой прорезала она белые поля.

— Так что же случилось? — тихо спросил Андрей.

Клер передала ему свой разговор с Отто.

— Вы видели, какой он был весь вечер,— добавила она.— Взвинченный, сам с собой разговаривал. Его угроза не шутка. Я хочу, чтобы вы это поняли.

Андрей кивнул.

— Клер, станьте, пожалуйста, вот сюда. Так я смогу и на вас смотреть, и на дорогу.

Клер шагнула к окну.

— Такой неуравновешенный — никогда нельзя знать, из-за чего он взорвется. Еще до того, как Лини ушла с Норбертом, он все злился на нас с вами, почему мы говорим по-русски, ревновал. А теперь будет еще хуже. Так что, пожалуй, придется нам русский отставить.

Хотя света у окна было маловато, Клер увидела, что Андрей недовольно поморщился. Она взяла его за руку.

— Андрей, ведь мне это тоже очень неприятно. И все-таки я считаю — так надо.

— Разве что для вашего спокойствия.— Он поднес ее руку к губам, потом прижал к щеке. — Ну ладно, при нем никаких больше разговоров по-русски. Потом вот еще что: у Отто нож. Надо его отобрать.

— Да, но как?

— Так ли, этак ли, а придется. Поговорю с Норбертом, он его знает лучше. Ну теперь мы с этим дрянным делом покончили?

— Как будто. Вы его остерегайтесь. Обещаете?

— Обещаю.

— Черт бы побрал этого Отто! Все шло так хорошо...

— Через год, а то и через неделю все это покажется такой малостью.— Свободной рукой он погладил ее по щеке.— Скверный сегодня день. Нам так мало удалось побыть вместе. А завтра, наверное, и вовсе не удастся.

— Ну почему же, вы будете играть, а я слушать. Вот мы и будем вместе.

— А вам хочется, чтобы мы были вместе? — мягко спросил Андрей.

Она помолчала. Потом подалась к нему, уронила голову ему на грудь. Он обнял ее плечи, и она услышала его учащенное дыхание.

— Андрей, я хочу вас кое о чем спросить.

— Да?

— А если бы Отто нам не мешал? Еще немного, и вы бы, пожалуй, стали роптать — почему я не иду вам навстречу?

— Но вы ведь сказали мне: в вас все потухло, вы еще не пришли в себя. Как же я могу роптать?

— И все-таки...

— Это было бы просто глупо с моей стороны.

— Если б не одно обстоятельство, которое мы обошли молчанием: мужчине, чтобы быть с женщиной, нужно испытывать желание, а для женщины это не обязательно.

— Вас именно это мучает?

— Да.

Он поцеловал ее в лоб.

— Я уже вам говорил сегодня: все-таки вы меня не понимаете. Если вы спросите, хочу ли я, чтобы вы стали совсем моей,— да, конечно, всей душой хочу. Но этого должны хотеть и вы, не только я. Иначе это будет не любовь. Так, механическое что-то. А тогда уже роптать станете вы. И кому это будет в радость?

— Но у мужчины свои потребности. И удовлетворить их для него иной раз всего важнее.

— Вы правы, и скажу по совести: с другой женщиной я, может, повел бы себя иначе. Но сейчас нет для меня ничего важнее вашей любви. И не надо мне ничего, что хоть как-то мешало бы вам меня полюбить. Между нами и без того столько преград.

«Да,— подумалось ей.— И нам никогда не одолеть их. Тем несправедливей все это по отношению к тебе». Ее захлестнула волна нежности, сострадания к нему, до боли захотелось снова ожить, стать женщиной. Она подставила лицо.

— Вы меня еще не поцеловали.

Как и в прошлую ночь, поцелуй его был бережный, осторожный. Ей самой захотелось, чтобы все у них пошло по-другому, она прижалась губами к его губам и ждала, ждала — а вдруг между ними пробежит искра! Но все кончилось горьким ее всхлипом.

— Ненавижу себя! — с мукой выкрикнула Клер.— Нет, никогда я не оживу. Будь проклят Освенцим, будь проклята война!

— Успокойтесь, не надо.— Андрей погладил ее по щеке.— Не мучайте себя зря. Ну чего вы хотите от своего истерзанного тела? Ему требуется время.

— Я так надеялась...— Она не договорила. Снова приникла к нему.— Вы за дорогой следите? Нам нельзя...

— Слежу. Но сейчас луну заволокло тучей, ничего не видно. Клер, я тоже хочу вас кое о чем спросить — только боюсь, вам будет тяжело. Я не имею на это права, и все же так хочется спросить...

— О чем?

— В лагере вас насиловали?

Она подняла голову:

— Так вы думаете, женщин там ждала именно эта участь?

— Некоторых безусловно.

— Нет. Это, кажется, единственная беда, которая нам не грозила. А с чего вы вдруг решили?

— Не я один, многие так думают. Почему бы эсэсовцам не воспользоваться вашей беззащитностью?

Клер засмеялась:

— Дома, наверное, тоже все так считают. Только нет, неверно это. К услугам эсэсовцев было сколько угодно женщин: одни шли к ним сами, других они покупали. А мы... Как только попадали в Бжезинку, нам обривали головы; одна ночь в карантине — и мы набира-

лись вшей, через неделю от нас уже начинало вонять и добрая половина заболевала. Кто же мог на нас польститься?

— Тогда что за сон вас преследует?

— Ах вот вы о чем!

— Клер, родная, вас терзает какой-то кошмар, все время один и тот же. Но почему? Что с вами там стряслось?

Ее будто током ударило. И тут же встало видение — тягостное, странное: она в Париже, почему-то в той комнате, где жила студенткой. Насквозь просвеченный солнцем день, а она лежит обнаженная в объятиях мужчины — лица его не разглядеть: то ли это Пьер, то ли Андрей, то ли кто-то еще — и в отчаянии рыдает. Потом ее пронзила мысль: «Израненное сердце любить не может». Она содрогнулась. Но тут снова увидела Андрея, услышала его голос и с болью спросила себя — неужели раны в ее душе так никогда и не затянутся? Из глаз хлынули слезы, она припала к Андрею, ухватилась за него, как ребенок в смятении хватается за отца, за брата. И мысленно взмолилась, совсем по-детски: «Выслушай меня, утешь, нет, ты только послушай, что за ужас мне пришлось пережить». И вдруг заговорила — отрывисто, трудно, как в сильном жару, и голос у нее был то резкий, то еле слышный, трепещущий, рассказ прерывался рыданиями:

— В сентябре в нашу секцию прибыл транспорт с заключенными. В первый раз за все время. Почему он вдруг пришел в нашу секцию? Не знаю. Еврейские дети от пяти до двенадцати лет. Семьдесят два ребенка. Я видела сопроводительную бумажку — их прятали польские семьи. А теперь гестапо этих детей выловило, чтобы отправить в печи Бжезинки. Я смотрела на них из окна. Сердце колотилось бешено. Они были такие милые и ни о чем не догадывались. А тут у моего начальника как раз собрались на совещание гестаповцы, и мне велели выйти во двор. Заговорить с детьми я не могла — вокруг эсэсовцы с собаками. Один мальчуган лет шести держал большое красное яблоко. Такой хорошенький, славный, одет так красиво. И все играл с яблоком: покатит его по земле — и бегом за ним. Наконец гестаповцы вышли. Попрощались друг с другом и разошлись, остался только один из нашей канцелярии, некто Кресс. Стоит, смотрит на мальчика. Потом подошел поближе. Окликнул его по-польски. Малыш обернулся. Тогда Кресс наклоняется... Хватает его за ножки и с размаху как ударит о стену... Размозжил ему головку...— Клер запрокинулась, стала судорожно хватать воздух ртом.— Но не думайте, это еще не все! Яблоко гестаповец сунул себе в карман. В тот же день к нему приехала в гости жена с сынишкой. Он сажает ребенка на колени... Целует... И говорит: «А что у меня для тебя есть!..» Достает из письменного стола яблоко и протягивает своему сыну...

У нее вырвался полузадушенный всхлип, ноги подкосились.

2

Он уложил ее на пол, опустился рядом, горячо шепча слова утешения, гладил руки, целовал мокрое от слез лицо. Рыдания сотрясали ее. Не сразу она затихла, не сразу смогла унять слезы. Наконец, проговорила с болью:

— И тогда что-то во мне сломалось. Теперь в каждом ребенке мне будет видеться тот малыш. Наверное, у меня никогда не будет детей. Тот эсэсовец убил их во мне.

Андрей молчал. Только гладил ее, целовал в лоб.

— Теперь понимаете, да? — проговорила она едва слышно, убитым голосом.

— Клер, родная,— сказал Андрей с нежностью,— я прошел через города, где не осталось ни домов, ни деревьев, ни парков, только развалины, воронки от снарядов, обгорелые пни — и мертвецы, мерт-

вецы. Но даже и там между треснувшими камнями пробивалась трава. Клер, пройдет время, тело ваше и душа исцелятся. Два года вы провели в таком аду, какой и Данте не мог бы привидеться. Родная моя, для вас еще ничего не кончено, все наладится, дайте только срок.

Она молчала, припав к нему вконец обессиленная.

— Милая, хорошая моя Клер,— нежно продолжал он,— будь у меня ковер-самолет, знаете, куда бы я вас перенес? Есть на берегу одной речки дорогой мне уголок. Несколько березок — под ними можно посидеть,— а кругом полевые цветы. Вода до того прозрачная — рыб видно, а в солнечный день она так и сверкает. Река все течет, течет, как сама жизнь, ничто на свете не остановит ее. И если б я мог сыграть вам там, если бы вы услышали музыку, что звучит у меня в душе, самую мою сокровенную...

Вдруг он умолк, весь напрягся.

— Что такое? — встрепенулась Клер.

— *Танки!* — Андрей вскочил, она и сесть не успела, как он уже был у окна.— *Пока не видны, но я их слышу!*

— *А дорога видна?*

— *Только кусок. Скажите им! Скорей! Пусть все бегут к тем двум окнам. Я остаюсь здесь.*

Клер повиновалась и, подхлестываемая страхом, опрометью выбежала из комнаты. Только на лестнице она спохватилась, что может упасть в темноте. Резко замедлила шаг, взялась за перила и стала спускаться — осторожно, нащупывая ногой каждую ступеньку. Двигалась она совсем не так медленно, как ей казалось со страху, но, еще не добравшись до площадки, закричала, вне себя от тревоги:

— *Вставайте! Лини, Норберт! Танки! Вставайте! Скорее к окнам! Слышите? Вставайте, вставайте!*

Наконец Клер спустилась, но, даже увидев, что остальные вскочили и бросились в цех, все никак не могла замолчать.

— Танки! — снова и снова выкрикивала она.— Танки! Танки!

Поднялся переполох. Все четверо поначалу расслышали только одно: «Вставайте» — и на бегу спрашивали друг друга, что стряслось. В темноте, в спешке мужчины не разобрали даже, кто кричит — Лини или Клер.

Наконец они поняли. Раздался голос Норберта:

— По дороге идут или сюда?

— Не знаю. Андрей услыхал. Скорее к окнам.

Не раздумывая, все кинулись к окнам, и опять голос Норберта:

— Но он видел их или нет? Где он сам?

— Я их слышу! — заорал Отто.

— Идут сюда! — в ужасе крикнула Лини.

— Тихо! — яростно бросил Норберт.

Еще не добежав до окон, они услышали рев множества мощных моторов, он быстро нарастал.

— Юрек! Отто! Раскройте окна! — скомандовал Норберт.— Клер, где Андрей?

— Наверху! Ему было видно...

Норберт закричал во все горло:

— Андрей! Танки идут сюда?

— Нет, по дорога. Немецкий «тигры»,— глуховато, но все же довольно явственно прозвучал ответ.

— Тебе хорошо видно во все стороны?

— Только кусок дорога. Дальше темно.

— Нам бежать в лес?

— Нет, пока танки не сюда.

— Всем оставаться здесь,— распорядился Норберт.— Я сбегаю взгляну.— И он кинулся во внутреннее помещение.

Юрек с силой распахнул окно, и их обдало холодом. Из тьмы донесся глухой удар, громко охнул Норберт — он упал, но тотчас же поднялся и с проклятьем ринулся вперед. Юрек и Отто бились над вторым окном, Отто неистово ругался сквозь зубы. Наконец окно распахнулось.

— Танки мимо! — закричал Андрей.— Уже проходили мимо наша дорожка.

Они прислушивались к оглушительному грохоту — он явно удалялся.

— А их много,— сказал Юрек. И радостно добавил: — То есть верный знак — немцы бегут.

— Господи боже мой! — воскликнула Лини.— Может, завтра уже придут русские! Нет, вы только подумайте, завтра, а?

Донесся ликующий вопль Норберта:

— Уже почти скрылись из виду! Штук двадцать, огромные, страшенные, драпают вовсю.

— Может, закроем окна,— попросила Клер.— Я закоченела.

Она без сил привалилась к Лини. Ноги ее не держали.

— Это можно,— весело отозвался Отто.— Нам тут ничто не грозит — разве только ложная тревога время от времени. Живем себе, беды не знаем. Ну и холодина, а? Хороши бы мы были, если б послушались Андрея...— Вдруг он хрипло застонал, обернулся. Уставился на Клер. Он стоял шагах в трех от нее, и в темноте она не видела выражения его лица, но сразу почувствовала: что-то неладно. Тут послышались шаги — это спускался по лестнице Андрей,— и Клер все поняла. У нее перехватило дыхание, но она храбро шагнула к Отто.

— Послушайте...

— Вы были с ним наверху!

— Мы разговаривали, только и всего.

— Врете! Для разговоров нечего было удирать наверх.

— Я не могла уснуть. Мы просто не хотели...

— Врете вы, врете! — выкрикнул Отто яростно, оскорбленно. Он скорчился в три погибели, схватился за живот.— Убирайтесь, вранье все это! Вранье!

— Отто, прошу вас, поверьте. Даю вам честное слово!

— Врете вы все! Убирайтесь.

Лини схватила Клер за руку:

— Пойдем.

Беззвучно всхлипывая, Клер пошла за нею.

3

Все сгрудились вокруг Клер, и она шепотом стала объяснять, что происходит с Отто. Норберт прервал ее, подняв руку:

— О чем тут говорить, дело ясное — нож надо отобрать. Когда он войдет, потребую, чтобы отдал. Юрек, стань к двери. Если не отдаст, я схвачу его за руки, а ты кидайся сзади. Ну а ты, Андрей, выудишь нож. Договорились?

— Так,— ответил Юрек.— А если он сразу на нас бросится с тем ножом?

— Возьми долото. Дашь ему по пальцам или по локтю. Только по голове не бей. Девушки, уходите вон в тот угол. Андрей, ты что это?

Андрей, сняв грубошерстное пальто, обертывал им левую руку.

— Так нож режет пальто, не меня,— быстро ответил он.

— Верно. Ну надо кончать. Пойду кликну его.

— О господи! — шепотом выдохнула Лини.

Норберт открыл дверь цеха, самым беззаботным голосом прокричал:

— Эй, Отто, все прячешься от танков? Они же не по твою душу, приятель.

Из темноты донесся суховатый, сдержанный ответ:

— Норберт, поди сюда.

На мгновение Норберт замешкался, потом крикнул:

— Иду.

Он вышел. Лини охнула, повернулась к Юреку:

— Ступай за ним.

— Зачем? Они ведь старые товарищи, Отто и Норберт.

— Может, больше уже не товарищи — из-за меня. Иди, очень тебя прошу.

Юрек выскользнул в цех. Андрей подошел поближе к двери. Женщины испуганно ухватились друг за друга, в тишине было отчетливо слышно их прерывистое дыхание.

— Андрей, вам видно что-нибудь?

— Нет.

Все ждали. Лини тихонько заплакала. Наконец появился Юрек, следом вошел Норберт и закрыл за собою дверь.

— Отто — он не особо выдержанный,— спокойно проговорил Норберт,— но в общем-то обуздать себя может. Вот нож. Я его даже не просил. Сам отдал, для того меня и позвал.

— А не сказал почему? — удивилась Клер.

— Сказал, что он не в себе и лучше пусть нож пока будет у меня.

— Молодец! Я начинаю его уважать. Только что же дальше? Он теперь так и будет сидеть там один? Неудобно как-то.

— Насколько я его знаю, явится немного погодя и постарается шуточкой все сгладить.

— А теперь спать? Или хотите немного музыка? — спросил Андрей, надевая пальто.

— Ой, ради бога, немножко музыки,— взмолилась Лини.— А то я в себя никак не приду. Надо же — сперва танки, потом Отто... Нет, в этой гостинице становится неспокойно.

— Что верно, то верно,— подхватила Клер довольно сердито.— Придется завтра пожаловаться управляющему. И обслуживание никуда. Утром горничная забыла повесить свежие полотенца.

— А сегодня с ним потолковать нельзя, уже поздно?

— С кем?

— Да с управляющим!

— С каким управляющим?

— Клер, ну что ты, ей-богу! С управляющим нашей гостиницы.

— Дурочка ты моя, да не гостиница это, а кирпичный завод.

Лини расхохоталась:

— Ну вот мне и полегчало.

Андрей взял дощечку, уселся напротив остальных.

— Я сейчас играю, а кто же следит за дорога?

— Чья очередь после Андрея? — спросил Норберт Юрека.— Твоя или Отто?

— Моя.— Юрек пошел к окну.— Эй! Я вижу Зосю!

Норберт кинулся к окну.

— Где?

— В моем сердце.

Норберт усмехнулся, хлопнул Юрека по плечу.

— То не есть хорошая мысль — караулить из окна,— сказал Юрек.— Темно совсем, стал бы Зосю целовать и то не разглядел бы.

— Луна временами выглядывает. Нет-нет да и увидишь дорогу, так что караулить надо.— Норберт не спеша подошел к женщинам — они полулежали, закутавшись одним одеялом,— подсел к Лини, взял ее за руку. Лини с улыбкой вскинула на него глаза, привалилась к его

плечу.— Музыку, музыку! — потребовал Норберт. Никогда еще не был он таким оживленным, беспечным.

— Дамы и господа,— сказал Андрей,— первый номер — старинный армянский народный песня «Сон». Мать поет для малыша «баю-бай», чтобы скорее спал.

— Ну и прекрасно,— сказала Лини.— Вон та малышка тоже будет рада, если вы споете ей «баю-бай».

Андрей поднял дощечку, поставил пальцы на самый ее верх, словно на гриф виолончели, сказал по-русски:

— Этот номер я посвящаю тому дню, дорогая Клер, когда мы с вами будем сидеть у реки, под моими березами. Согласны?

— Еще бы.— И вдруг порывисто: — Мы будем там вдвоем, и я обниму вас и стану вашей.

— Ох, Клер,— у него перехватило дыхание.— Только б дожить до этого!

— Музыку! Музыку! — Норберт захлопал в ладоши.

Андрей стал напевать, и Клер сразу поняла, отчего он выбрал эту песню. Чудесная мелодия с первых же тактов обжигала душу тоской: была в ней и задумчивая печаль, и все это так перекликалось с тем, что они переживали... Клер закрыла глаза. Вернулась мыслью к тому, что сказала сейчас Андрею. Нет, не сидеть им вдвоем на берегу реки. Но все равно, так хочется обнять его, шепнуть, что ее чувство к нему становится все сильнее.

Она стала тихонько подпевать. Мелодия была простая и, как обычно в народных песнях, повторялась. Вдруг скрипнула дверь, и Клер сперва подумала, что пришел из цеха Отто. Но Лини как-то странно, сдавленно ахнула, и Клер сразу открыла глаза. Вцепившись ей в бедро, Лини напряженно всматривалась в темноту. Еще ничего не видя, Клер поняла, в чем дело, ей подсказал это въевшийся в душу страх. Кто-то открывал наружную дверь — медленно, осторожно.

И тут, во второй раз в жизни, Клер ослепла. Когда зрение вернулось, она увидела в дверях солдата, одеянием своим напоминавшего монаха-капуцина. Он был в длинной, чуть не до пят, белой накидке, остроконечный капюшон скрывал каску, руки в белых перчатках сжимали автомат. Раскаленные иглы вонзились ей в мозг, в сердце, в живот. Из нее так и рвался безмолвный вопль: «Немец ты или русский? Немец или русский?» Солдат перешагнул через порог. Он был метрах в пяти от них и в темноте пока никого не видел. За ним осторожно, с опаской вошли еще двое. Вспыхнул огненный глаз фонарика, его луч хлестнул по стенам справа налево. Один из солдат увидел сидящих на полу людей, удивленно хмыкнул. И сразу же грубый голос скомандовал по-немецки:

— Руки вверх!

Беглецы повиновались: в этот миг каждый до конца понял, что́ такое отчаяние — безысходное, безмерное.

— Кто такие? Что делаете здесь?

Стоявший у окна Юрек, которого немцы еще не заметили, тотчас смиренно ответил:

— Здешние мы, господин начальник. Хотели с девчонками поразвлечься.

Луч фонарика метнулся, выхватил из тьмы подобострастную улыбку Юрека, его поднятые руки.

— Стань вместе со всеми.

— Слушаюсь.

— Есть еще кто в этом здании?

— Я так думаю — никого, господин начальник.

— Русские патрули возле деревни не появлялись?

— Нет, господин начальник.

Короткое молчание.

— Вальтер, доложи Дитриху.

— Есть! — один из солдат вышел.

— А вы, девки, марш по домам!

Лини вскочила. Но Клер не в силах была двинуться, даже когда Лини рванула ее за руку: ни тело, ни душа не повиновались. Она глаз не могла отвести от мертвенно-бледного лица Андрея, а он, не отрываясь, глядел на нее — печально, безнадежно.

— Ну? — пролаял солдат.— Марш отсюда!

— Идите, Клер...— сказал Андрей.

Она поднялась, и Лини изо всех сил потащила ее к двери. Уже в проходной с губ ее сорвался стон, она повернула было обратно. Но Лини выволокла ее за дверь.

4

Оттого что они вдруг очутились в поле, на морозе, Клер сразу вышла из оцепенения.

— Вон туда! — Лини показала налево и бросилась бежать, Клер за нею.

— Куда мы? — крикнула Клер на бегу.

— К Каролю!

Уже совсем стемнело. Недавно выпавший снег был мягкий и глубокий, почти по колено. Сперва они бежали рядом. Боль, ужас, которые рассудок уже не в силах был вместить, выхлестывались из них бессвязным, отрывочным бормотанием. Через каких-нибудь шагов тридцать обе запыхались, но никак не могли замолчать.

— Господи, не допусти...— твердила Лини.— Господи, не допусти! Господи, не допусти... Сжалься, сжалься...

А Клер словно пьяная:

— Нет, нет... Немыслимо... До чего жестоко... Нет, нет...

Вскоре Клер остановилась, хватая воздух ртом. Лини круто обернулась.

— Скорей! Если узнают, кто мы, бросятся за нами в погоню. Давай за мной.

Она рванулась вперед, и Клер тотчас же затрусила следом. Теперь они бежали молча — два года Освенцима вымуштровали обеих. Там, когда погибает кто-нибудь близкий, ты сперва слепнешь, или, не помня себя, исходишь воплем, или что-то бессвязно бормочешь и призываешь на себя смерть. А меж тем в тайниках души идет подспудная работа, и вдруг наступает перелом: перестаешь бормотать, снова берешь себя в руки, начинаешь бороться за жизнь. Так и сейчас, все существо Клер напряглось в одном усилии — бежать. Теперь, когда Лини прокладывала дорогу, это было намного легче, и все же ноги едва держали ее.

Сквозь тучи пробился тонкий луч луны, и справа, метрах в пятидесяти, они увидели крышу дома.

— Туда! — крикнула Лини и кинулась к дому. Вдруг тучи поредели, и слева они увидели еще один дом, поближе. Лини свернула к нему. Пока они добежали, луна снова успела скрыться. Лини, опередившая Клер метров на десять, сразу забарабанила в дверь. В ночной тиши стук показался Клер чудовищно громким. Но, очутившись на крыльце и увидев, что дверь все еще не открылась, она тоже замолотила по ней кулаками, задыхаясь, стала звать:

— Пане Кароль, пане Кароль!

Незаметно для них в окне чуть отодвинулась сбоку темная штора. И вот дверь приотворилась, мужской голос грубо спросил по-польски:

— Чего надо?

В узкой щели виден был только глаз и кусок щеки.

— Вы пан Кароль?

— А вы кто будете?

С решимостью отчаяния Клер выпалила:

— Заключенные, прятались на заводе. Юрек вам разве не говорил про двух женщин?

— Откуда ты родом?

— Из Франции.

— А ты?

— Она по-польски не понимает... Она из Голландии...

Дверь распахнулась, они увидели тощего пожилого крестьянина.

— Ну я Кароль. За чем пожаловали?

— Там немцы... Патруль... Велели нам уйти.

Кароль метнул испуганный взгляд в сторону завода.

— А мужчин задержали?

— Да. Где можно спрятаться?

— Только не здесь! — Он снова глянул в сторону завода, быстро заговорил: — Давайте-ка прямиком вон туда, за те елки. Увидите сарай. А дом заперт. Я там вчера был, хозяева в Катовице. Поесть принесу завтра вечером.

Клер повернулась рывком — посмотреть. Снова проглянула луна, и в сотне метров стали видны тесно стоявшие деревья.

— Спасибо, дай вам бог здоровья,— горячо сказала Клер, оборачиваясь.

Но дверь уже захлопнулась.

— Спрячемся в сарае... Вон там, за рощей.

Лини тут же кинулась бежать. Луна медленно вышла из-за туч, теперь все пространство от дома до рощи было залито ее светом. И опять Клер пришлось бороться за каждый шаг: ноги подкашивались, вязли в снегу, грудь ломило, шею сводило судорогой. Она обливалась потом, повязанная тонким платком голова заледенела, в сапожках таял набившийся дорогой снег. Но в мозгу билась лишь одна мучительно неотступная мысль: «Беги... Беги...».

Ели уже маячили метрах в тридцати — высокие, толстоствольные; ветви их поникли под грузом снега. Верхушки были высвечены луной, но внизу под деревьями залегла тьма, лишь кое-где прорезанная узенькими полосками света. Тьма сулила безопасность, и близость ее подстегнула беглянок. Лини, широкая в кости, приземистая, бежала ровной рысцой, высоко поднимая голые ноги. И через каждые метров десять оглядывалась на бегу — не отстала ли Клер. Да она и сама уже выбилась из сил.

Со стороны завода донесся шум моторов, но ни одна не повернула головы. Вот Лини добралась до рощи, и ее сразу же поглотила тьма. Клер уже не бежала — шатаясь, еле передвигая ноги, она одолела последние несколько шагов, отделявших ее от спасительной темноты, и повалилась на бок. Миг — и Лини оказалась рядом. Опустилась в снег подле Клер, приподняла ее голову, прижала к груди. Говорить она не могла. По лбу все еще катился пот, сердце колотилось, обе судорожно глотали морозный воздух.

Шум моторов нарастал. Он совсем не походил на скрежещущий грохот танков, который они слышали раньше, да и был куда ближе. Клер испуганно села, показала в сторону завода. Лини поднялась, подошла к самой опушке. Клер, все еще тяжело дыша, двинулась за ней. Освещенный луною, завод был явственно виден. По ведущей к нему дороге шли орудия, грузовики, транспортеры.

— Где же наши? — отчаянным, севшим голосом выкрикнула Лини.— Что с ними? Сколько это времени прошло? Может, их отпустили. А может, угнали, и после войны мы их отыщем. Норберт...

Вдруг их словно полоснуло проволокой по голому телу — обе пронзительно вскрикнули. Сквозь шум моторов с завода донесся отрывистый треск автоматов.

Онемев от горя и отчаяния, в слезах брели они меж деревьев, цепляясь друг за друга. Перед глазами Клер неотступно стоял Андрей, каким она его видела в последний раз. Руки подняты, во взгляде безнадежность, он тихо говорит: «Идите, Клер...», а меж колен зажата сосновая дощечка, не раз помогавшая ему уноситься мечтою в будущее. «Нет, я не вынесу!— кричало в ней все.— Не вынесу!» А Лини, так недавно обнимавшая Норберта, брела спотыкаясь, и, словно в навязчивом кошмаре, ей мерещилось все одно и то же: в него стреляют, и он падает наземь, в него стреляют, он падает.

Они ничего не видели вокруг, ничего не чувствовали — лишь нестерпимую боль в сердце. Не замечали даже, что отдаленный гул боя приближается — это все новые и новые батареи открывали огонь. По небу словно ходила гигантская коса, скрежет горячего металла раздавался уже рядом. Очнулись они и закричали от страха, лишь когда из-за деревьев появились солдаты в белых маскхалатах.

Один из них отрывисто спросил по-русски:

— Вы кто?

— Заключенные,— с трудом выдохнула Клер.— Бежали из Освенцима.

— Что делаете в лесу?

— Прячемся от немцев.

— Где они?

— Вон там, на заводе. У них пушки, мы видели.

— Знаем. Станьте вот за то дерево. Позади нас «катюши», сейчас они запоют.

На миг Клер словно окаменела, потом потащила Лини за дерево.

— Будут бить по заводу, у них «катюши».

— Как, по заводу?!

— Да, Лини, да.

Лини закричала, но голос ее заглушили залпы «катюш»: один за другим с оглушительным свистом откуда-то сзади вылетали снаряды и, дико, пронзительно завывая, огненными метеорами уносились вдаль.

— Круши его, круши! — яростно вопила Лини.

И вдруг, неожиданно быстро, огненные вспышки прекратились, «катюши» умолкли, и вопль Лини оборвался всхлипом:

— Наши погибли! Погибли!

Теперь они стояли молча и каждая знала: без них, погибших, им бы не выжить, они спасли их, помогли им вновь почувствовать себя женщинами. «Идите, Клер...»— сказал Андрей, но смысл его слов был куда глубже: «Идите и постарайтесь уцелеть в этом полном опасностей мире. От всего сердца желаю вам: пусть будут в вашей жизни любовь и музыка, которые так хотел подарить вам я. Идите, родная».

— Пошли, девушки,— сказал им русский солдат.— Отведу вас в безопасное место.

Поддерживая друг друга, они побрели за ним.

■

МИТИНА СУЛАМИФЬ ОСКАРОВНА

Советский переводчик с английского. В ее переводе выходили книги Трумэна Капоте «Голоса травы», Теннесси Уильямса «Римская весна миссис Стоун», роман Памелы Хэнсфорд Джонсон «Особый дар» («ИЛ», 1979, № 1—2), сборник рассказов Шона О' Кейси «Под цветной шапкой», рассказы Грэма Грина, Дж. Д. Сэлинджера и работы многих других англоязычных авторов.

ЛАЙЛА и ТУР ТУРСЕН

Через границу с Россией

ФРАГМЕНТЫ РОМАНА

Перевод с норвежского Т. ДОБРОНИЦКОЙ

В 4 часа 30 минут утра 9 апреля 1940 года германский посланник в Норвегии К. Брауэр вручил норвежскому правительству меморандум и одновременно ультиматум, состоящий из тринадцати пунктов. Важнейший из них—вооруженным силам страны не сопротивляться, а тотчас начать сотрудничать с вермахтом.

Ответ должен был последовать немедленно. Впрочем, как и принято у агрессора, нападение предшествовало ультиматуму: десантные суда, замаскированные под торговые, оказались вблизи норвежских портов уже за несколько дней, а в 4 часа 15 минут 9 апреля к этим портам с ходу устремились фашистские боевые корабли.

Силы были неравны. Но норвежцы всюду дали бой. У Кристиансанна, Тронхейма, Бергена. На подступах к Нарвику корабли береговой обороны «Эйдсволл» и «Норге» ценой огромных потерь противостояли девяти фашистским эсминцам. Особенно яростный бой норвежцы дали в самом узком месте Осло-фьорда на подступах к своей столице — артиллеристы крепости Оскарсборг, что на крохотном острове Кахолмен, потопили тяжелый немецкий крейсер «Блюхер», а затем — их флагман «Гнейзенау».

Король, правительство и парламент Норвегии призывали лишь сдерживать агрессора и не ввязываться в крупные сражения. В итоге уже 9 апреля на столичных аэродромах Осло приземлились фашистские самолеты с десантниками, которые на реквизированных там автобусах и грузовиках въехали со всех сторон в столицу и заняли ее. Руководство государства укрылось в глубине страны, парламент к вечеру передал полномочия правительству и больше до конца войны на пленарные заседания не собирался.

Все же норвежской армии удалось в разных частях страны 62 дня оказывать сопротивление фашистам, частично с помощью англо-французских десантов, и лишь после отъезда короля и правительства в Англию 10 июня армия сложила оружие. В конце августа была оккупирована последняя часть Норвегии — провинция Финмарк.

Но уже до этого в южной Норвегии произошли отдельные акты саботажа. Запрет оккупантами 25 сентября 1940 года всех партий, кроме профашистской, и провозглашение ими майора в отставке, министра обороны Норвегии начала 1930-х годов Видкуна Квислинга «вождем норвежского народа» рассеяли иллюзии даже у тех политиков, кто прежде надеялся ужиться с администрацией оккупантов и сохранить минимум демократии.

В послевоенной Норвегии вышли многие десятки книг об антифашистском Сопротивлении. Эти книги пролили яркий свет на общую политику эмиграционного правительства, на формы сопротивления оккупантам и на то, как сам народ отнесся к фашистским порядкам. Если правительство преимущественно нацеливало на пассивное сопротивление, на накопление сил для решительного выступления после высадки в Норвегии союзников, то коммунисты организовывали активное сопротивление. Они осуществили множество дерзких акций, особенно в Осло и Тронхейме. Норвежские патриоты взорвали крупную электростанцию, обслуживающую алюминиевый завод, затем завод по производству тяжелой воды, а потом и паром, увозивший в Германию этот исходный материал при разработке ядерного оружия, навели бомбардировщики на линкор «Тирпиц», укрывавшийся в Алта-фьорде после его повреждения советской подлодкой.

Особый характер приобрела борьба норвежских патриотов на севере Норвегии, в Финмарке. Группы рыбацких семей, в числе которых были коммунисты, с самого начала фашистской оккупации пересекли на лодках русскую границу, а после 22 июня 1941 года просили дать им возможность участвовать в общем деле. Обученные методам партизанской борьбы с фашистами, они тайно возвращались в родные места (на советских подводных лодках или на самолетах), добывали и доставляли лично или по радио важные сведения о враге. Немало их пало смертью героев, многие норвежцы награждены советскими орденами и медалями.

© Tiden Norsk Forlag, 1982.

Тема этой борьбы в Финмарке и нашла свое отражение в художественно-документальной книге супругов Турсен «Через границу с Россией», служащей продолжением их романа «Люди из Юттерберга» (1979). Среди героев книги есть русская связная Нина и капитан Павел. Прообразами их послужили покойная Нина Ильинична Крымова, советская переводчица и журналистка, и Павел Григорьевич Сутягин, ныне капитан первого ранга в отставке, профессор Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена.

Знаменитый норвежский ученый Тур Хейердал, бывший лейтенант норвежского соединения «Литл Норвей», выступая 8 февраля 1945 года по радио из Лондона, куда он на время вернулся из фронтового Финмарка, говорил о боевом содружестве советских воинов и норвежских патриотов: «Для норвежских солдат, которые в настоящее время находятся на передовых линиях военных операций в своей собственной стране, хорошим и обнадеживающим чувством является то, что мы сражаемся в одних рядах с друзьями против общего врага...»

ГЕНРИХ АНОХИН

Глубокой ночью два норвежских рыболовных судна ушли в Советский Союз. В рыбацком поселке под названием Юттерберг украдкой попрощались друг с другом родные, друзья, влюбленные. Никто не мог сказать, надолго ли они расстаются. Одно из судов, моторный бот «Аврора», принадлежало Ларсу Вангену и Густаву Олсену. На втором, боте «Морская анемона», капитаном был Бернофф. Все члены экипажей взяли с собой свои семьи.

■ ■ ■

На нарах в машинном отделении лежал шестнадцатилетний Руар. Он позволил себе вздремнуть лишь под утро, предварительно проверив и смазав двигатель.

Руар не представлял себе, сколько времени он проспал, но «Аврора» теперь шла по относительно спокойному морю. Неужели стих восточный ветер?

Поднявшись на палубу, он увидел, что на фок-мачте развевается огромный белый флаг. Собственно, это был даже не флаг, а обрывок материи. Руар перевел взгляд влево по курсу судна. Перед ним открылся береговой пейзаж. Пейзаж, удивительно напоминавший Эста-фьорд! Руар заглянул в ходовую рубку, где, высунув голову в окошко, стоял за рулем Густав.

— Зачем у нас на мачте белый флаг? — спросил Руар.

— Чтобы русские знали, что мы идем с мирными намерениями,— отвечал Густав, давая задний ход. Из-за мыса к ним направлялась моторная лодка.

Стоило судну изменить ход, как в рубке появился Ларс.

— Мы что, уже прибыли? — осведомился он у Густава.

— Почти. Я вижу, к нам идет моторка.

Вслед за Ларсом высыпали из кубрика и остальные. Последней показалась Нанси. Посеревшая от морской болезни, она держалась в стороне от других, поближе к ведущему вниз трапу. Она была слишком встревожена и испугана, чтобы присоединиться к своим односельчанам, которые, стоя у борта, махали руками и кричали: «Та-ва-рищ! Та-ва-рищ!»

Когда моторка с четырьмя русскими в военной форме подошла вплотную к «Авроре», Нанси поспешила обратно в кубрик, к сыну. Малыш по-прежнему спал, не обращая внимания на доносившийся с палубы шум.

— Главный! Кто у вас главный? — спросил один из русских, судя по форме, офицер.

Густав указал на Ларса.

— Да-да, главный.— Он еще не совсем забыл русский язык, которому выучился у поморов.

Ларс удивленно посмотрел на Густава.

— У нас на «Авроре», кажется, двое главных!

— Хотя раньше обходились одним,— засмеялся Густав.

Офицер поначалу смотрел непонимающе, затем лицо его расплылось в улыбке, и он указал сначала на Густава, потом на Ларса:

— Двое главных. Хорошо.— Приветственно помахав рукой, он сделал знак, чтобы судно следовало за моторкой.

— По-моему, он понял, о чем у вас был спор,— заметила Хильда.

— Так ему, Густаву, и надо! — рассмеялся Ларс.

Руар провожал взглядом Ларса, Густава и Берноффа, пока те вместе с офицером не скрылись в высоком сером здании на берегу. Тогда он прыгнул с причала на палубу «Авроры». На крышке трюмного люка сидела Нанси, зябко кутаясь в пальто. Стоявшая неподалеку Хильда следила за Юном, полуторагодовалым сынишкой Нанси и Густава. Мальчику непременно хотелось перелезть на борт второго судна.

— Пойдем-ка лучше посидим с мамой,— сказала Хильда и пристроилась возле Нанси, посадив мальчика себе на колени.— Ну чего ты, скажи на милость, так боишься? — обратилась она к Нанси. Хильда знала, что Нанси с опаской относится к русским, но разговора об этом у них никогда не было. Теперь, пожалуй, не мешает и поговорить, решила Хильда.

— Да я сама не знаю, чего боюсь. Только попали мы в чужую страну, и язык у них тут совсем непонятный.

— Ну ладно, Нанси, не будем ходить вокруг да около,— не отступала Хильда.— Я же помню, что ты всегда боялась русских. Почему?

— Про них рассказывают такие жуткие истории.

— Господи боже мой! Я уверена, Нанси, что в Советском Союзе люди ничуть не хуже нас, норвежцев.

Начался отлив, и теперь с палубы не было видно, что происходит на берегу, поэтому для обеих женщин появление улыбающегося Ларса, а следом за ним Берноффа и Густава оказалось полной неожиданностью.

Руар с Хансом Нильсеном разговаривали в кубрике, но, как только заслышали голоса Ларса и остальных, тотчас поднялись на палубу. Все говорили наперебой, не давая капитанам даже рта раскрыть.

— Что с нами теперь будет? — зычным голосом спросила Хильда, обращаясь к Ларсу.

— Перестаньте на минутку галдеть, тогда узнаете. Сейчас все сходят на берег и идут обедать. Русские приготовили для нас мясной суп. После обеда мы отправляемся дальше, в Мурманск, куда нас будет сопровождать военный корабль. Русские решили, что женщинам и детям лучше пересесть на него.

Нанси не поверила собственным ушам, когда Ларс сказал, что им придется расстаться с «Авророй».

— Почему же нам не хотят позволить остаться вместе? — испуганно пролепетала она.

Густав с плохо скрываемой досадой объяснил ей, что русские считают негуманным отправлять женщин и детей в такой далекий путь на рыбацких суденышках. Конечно, на большом корабле им будет гораздо удобнее.

Смеясь и обмениваясь шутками, рыбаки помогли женщинам и детям сойти на берег. Подумать только, их собираются угощать мясным супом, и это в будний-то день! Руар почувствовал, что, оказывается, здорово проголодался, и заметил, что другие тоже явно повеселели, когда услышали про кормежку. Густав посадил маленького Юна себе на плечи, и они пошли.

Руар приотстал от других и окинул взглядом залив. Смеркалось. Темнота здесь подступала быстрее, чем в Юттерберге. Стряхнув с себя

внезапно нахлынувшую печаль, Руар догнал своих и вошел в дом, где их должны были кормить.

От сытной еды и жара, исходящего от огромной круглой печки, Руара совсем разморило. Он сидел за столом и клевал носом. Ларс подошел и потряс его за плечо.

— Ну что ты мучаешься? Иди на «Аврору» и ложись спать.

Руар потянулся и зевнул.

— Мне бы на четверть часика прилечь, я буду в полном порядке.

— Нет, ложись как следует. Ты почти трое суток не спал по-человечески.— Это был приказ капитана.

— Хорошо. А кто будет стоять на руле до Мурманска?

— Я и Ханс,— ответил отец и отошел к столику, за которым сидел Густав.

Спускаясь к пристани, Руар услышал в темноте шаги. Он обернулся и посмотрел назад. Звук шагов приближался. Хрустела щебенка под тяжелыми сапогами. Наконец из темноты проступили две фигуры, в которых Руар при тусклом свете фонарей с набережной разглядел солдат. Они молча проследовали к причалу, где стояли норвежские суда. У швартовной тумбы Руар ухватился за носовой трос и попытался подтянуть «Аврору» к пристани, однако береговой ветер сильно затруднял дело. Подошли солдаты, помогли ему. Наконец судно уперлось носом в причал. Солдаты крепко держали швартов, пока Руар, привстав на цыпочки, не перевалился через борт судна. Уже с палубы он помахал им рукой, благодаря за помощь. Солдаты отдали честь и скрылись в темноте. В кубрике Руар залез на свою верхнюю койку и накрылся с головой одеялом в надежде поскорее заснуть. «Аврора» мерно покачивалась на легкой зыби, словно убаюкивая его. Но для Руара многое оставалось неясным. Зачем все-таки нужно было бежать? Этого ему никто толком не объяснил. Что собираются делать с ними русские? Сколько времени продлится война? Он пытался найти ответы на эти вопросы, но не мог ничего придумать. В голове носились лишь бессвязные, обрывочные мысли. Затем он заснул.

■ ■ ■

Первое, что он увидел, поднявшись на палубу, был город, становившийся все больше и больше по мере того, как они неспешно приближались к нему. Мурманск! Порт располагался на берегу залива, который был окружен лесистыми сопками. Руара привело в восхищение все, что он видел вокруг, в том числе стоявшие в порту на якоре огромные грузовые суда.

— Руар! — воскликнул вдруг Густав.— Посмотри — за портовыми кранами мчится поезд!

Руар перевел взгляд в том направлении, куда показывал Густав. Он никогда в жизни не видел поезда, и ему почудилось, будто вдоль серых бетонных строений извивается длинный угорь.

Ларс подвел «Аврору» как можно ближе к судну Бернoффа. Тот, стоя в дверях рулевой рубки, спросил:

— Что скажете, ребята?

— А что говорить? — отвечал Густав.— Нам остается только ждать.

Все, не отрываясь, смотрели на военный корабль, от которого отделилась моторная лодка и взяла курс к ним. В лодке находилось несколько солдат, на самом носу стоял офицер.

— Сюда, сюда,— по-русски произнес он, указывая в сторону порта и знаками давая понять, чтобы они следовали за моторкой.

— Что он сказал? — спросил Руар, с любопытством глядя, как русская лодка направляется к пристани.

— Велел нам идти следом,— объяснил Густав.

Ларс задним ходом подал «Аврору» к указанному месту. За ними на малой скорости двигался военный корабль. Под оглушительный рев двигателей вперемежку со свистками, громкими командами и пронзительным скрипом лебедок корабль стал пришвартовываться.

Первыми спустились по трапу офицер и двое солдат.

Офицер застыл, обратившись лицом к кораблю. Солдаты заняли места по обеим сторонам трапа. Тут же появился еще один офицер, сопровождавший Хильду и других женщин. Последними спускались дети; самого маленького, Юна, нес на руках какой-то солдат. При виде сына лицо Нанси озарилось улыбкой, она поспешила навстречу. Передавая Юна матери, солдат погладил его по головке и что-то сказал на своем языке, которого Нанси не понимала. Подбежал Густав. Он поднял сына высоко в воздух и громко крикнул солдату: «Спасиба! Спасиба!» — а потом объяснил Нанси, что это он по-русски поблагодарил его.

Никто еще не успел обменяться впечатлениями, как подошел мужчина в штатской одежде. Сняв шляпу и улыбаясь, он окинул взглядом собравшуюся у автобуса толпу норвежцев.

— Здравствуйте! И добро пожаловать в Советский Союз. Меня зовут Артур, я буду вашим переводчиком. Но прежде чем мы с вами познакомимся поближе, давайте сядем в автобус и подъедем к гостинице «Арктика», она находится неподалеку отсюда.

Слушая этого доброжелательного и спокойного человека, Нанси внезапно почувствовала облегчение. Кто-то рядом прошептал:

— Он говорит по-норвежски, точно сам из Финмарка.

Автобус остановился в переулке перед высоким зданием.

— Ну вот мы и приехали,— сказал переводчик, поднимаясь со своего места. Он вежливо подождал, пока все не вышли из автобуса.

Для них был накрыт длинный стол. Всех пригласили рассаживаться. Стоять остался один переводчик.

— Прежде всего я должен выяснить у вас, откуда вы прибыли,— сказал он.

— Мы все из Юттерберга,— ответил Ларс.

Переводчик на минуту задумался, потом улыбнулся:

— Из Юттерберга? Знаем, знаем. Это же юттербергцы придумали здешние густые туманы.

Ларс тоже улыбнулся.

— Э, товарищ, не будем. Если говорить по правде, туман всегда наползает как раз с русского берега.

Переводчик от души рассмеялся. Все приступили к еде.

■ ■ ■

Проводив до места свои семьи, эвакуированные в колхоз под Апатитами, Густав и другие норвежские рыбаки вернулись в Мурманск. Шел седьмой день немецкого наступления. В Мурманске война почти не была заметна, если не считать того, что однажды прилетели два фашистских самолета и сбросили листовки с требованием без сопротивления сдать город. В противном случае он подвергнется бомбардировкам и будет обращен в руины.

Улица Ленина, главная магистраль города, привела Густава с Руаром к гряде холмов, на окраину, откуда начиналось шоссе на Колу. Возвышенность, на которой они стояли, постепенно понижаясь, переходила в косу, выдававшуюся в залив. Отсюда весь город был как на ладони. За портовыми сооружениями и высокими кирпичными зданиями виднелись и другие постройки. На холмах и в низинах были разбросаны старенькие деревянные домишки. На железной дороге пыхтели паровозы, таща длиннющие составы с солдатами и боевой техникой. Снизу в гору взбирался на велосипеде какой-то человек, в котором, когда он подъехал ближе, Руар и Густав узнали Бернoффа.

Он с такой силой отшвырнул от себя велосипед, что сразу можно было догадаться о его расположении духа. Бернофф опустился на поросший вереском пригорок, со злостью вырвал несколько травинок.

— Ну что, ребята, слышали последние новости? — спросил он, обращая взгляд к Густаву и не переставая теребить в руках сухую былинку.

— Новости? Нет. А какие?

— Гитлеровские фашисты начали войну против Советского Союза с норвежской стороны. Уничтожают все, что попадается им на пути.— Бернофф замолчал и выбросил травинку.

— Нельзя сказать, чтобы это было совсем неожиданно,— спокойно заметил Густав.

— Да, конечно! Но кто думал, что здесь русским нечего противопоставить этому? — с горечью произнес Бернофф.

Сзади них играли на склоне две девчушки лет пяти-шести. Одна из них подскочила теперь к Руару и преподнесла ему букет лютиков. Руар взял цветы и, благодаря ее, с трудом выдавил из себя улыбку. Его не на шутку встревожило принесенное Берноффом известие.

Девчонки тем временем уже бежали к дороге и махали отряду солдат, двигавшемуся по шоссе на Колу. Чуть выше на холме расположилась зенитная батарея из трех двадцатимиллиметровых орудий. Каждое орудие обслуживали четверо солдат.

В наступившей тишине особенно отчетливо прозвучал голос Берноффа, который с надрывом выкрикнул:

— Что я вам говорил! Это же музейные экспонаты. Разве их сравнить с оружием, которое есть у немцев?

Со стороны города послышались резкие звуки, разнесшиеся по всей долине. Били в рельсу, это был сигнал воздушной тревоги. Солдаты, только что маршировавшие на шоссе, рассыпались среди поросших вереском холмов. Толпы людей на улицах и в порту мгновенно схлынули. Лишь удары кузнечного молота да синие отблески сварки говорили о том, что на верфи, где строились и ремонтировались суда, не прекращаясь, кипит работа.

Откуда-то из-за гребня гор донеслось чуть слышное гудение самолетных моторов. Присевшие было норвежцы поднялись с земли и стали вглядываться в горы.

— Вижу самолет, нет, два, три самолета. Шесть самолетов! — закричал Руар, не отрывая глаз от неба.

Зенитная батарея, расположившаяся над ними, дала оглушительный залп, и из стволов орудий вырвались снаряды, которые, взмыв в ясное небо, образовали темные облачка дыма вокруг самолетов.

Руару показалось, что самолеты были значительно выше дымовых облачков.

— Ложись, Руар! — услышал он голос Берноффа.— И открой рот, чтобы не оглушило!

С самолетов полетели бомбы. Раздался пронзительный свист, за которым последовал грохот взрывов.

— Они бомбят порт!— крикнул Густав и повалил на землю Руара, который продолжал стоять, наблюдая за происходящим.

От бомб, попавших в залив, поднимались ввысь гигантские столбы воды, на холмах бомбы разрывались, вспыхивая синим пламенем.

Клубился дым над одним из городских районов, где загорелось несколько небольших строений. Теперь черные облачка дыма от зенитных снарядов, казалось, образуются слишком высоко, но вот передний из самолетов вдруг точно переломился пополам и начал падать. Вслед за ним взорвался еще один самолет, распространяя по небу море огня.

Бомбардировщики описали над заливом пологую дугу, вернулись

и обрушили на видневшиеся внизу цели новый поток огня, взметая фонтаны земли и каменных осколков.

— Они стреляют из пулеметов! Ложись! — закричал Густав и сам притаился за камнем, едва скрывшим его прижатое к земле тело.

Подбили еще один бомбардировщик. Он вспыхнул и, оставляя за собой полосу черного дыма, стал пикировать в направлении залива. От самолета отделились четыре точки, в которых по мере их приближения к земле все более явственно можно было разглядеть людей.

— Смотрите, смотрите! — воскликнул Руар, когда раскрылись парашюты.

Они услышали душераздирающий детский крик со стороны шоссе. Вскочив с земли, Бернофф побежал туда, за ним со всех ног помчались Густав с Руаром. У придорожной канавы Бернофф наклонился и поднял уже бездыханное тело.

Дети! Боже мой, они же совершенно забыли про детей, игравших в двух шагах от них.

— Эта та, что подарила мне цветы,— вне себя от отчаяния пробормотал Руар.

— Она уже умерла,— шепотом сказал Бернофф, бережно кладя девочку на пригорок. Пулеметной очередью прошило ей живот, а в нескольких метрах от нее лежала вторая девочка, тоже мертвая.

Бернофф вытер окровавленные руки о траву.

По щекам Густава и Берноффа, этих суровых, невозмутимых рыбаков, текли слезы.

Руар отвернулся. Во время налета он не испытал ни малейшего страха, скорее даже любопытство. Но при виде двух безжизненных крохотных тел его охватила дрожь. Он осознал весь ужас, все безумие войны.

Возле них остановился грузовик, в открытом кузове которого лежали трое мертвых солдат. Когда он двинулся дальше, к городу, между солдатами кто-то положил и тела двух девочек.

Густав, молчаливый и сосредоточенный, направился в город. За ним, посадив на багажник Руара, ехал на велосипеде Бернофф. Горло раздирал густой дым, валивший от горящих деревянных построек.

■ ■ ■

Речь Сталина по радио взволновала всех, кто слышал ее в Клубе моряков. Норвежцы аплодировали ей вместе с русскими.

Все для фронта! Это понимал каждый.

В наступившей вслед за аплодисментами тишине Руар заметил, что у Берноффа дрожат руки, в которых он вертит чашку. Густав торопливо поднялся из-за стола.

— Я решился, Бернофф! Иду записываться в Северный отряд.

Отставив в сторону чашку, Бернофф перевел взгляд на Густава и, глубоко вздохнув, сказал:

— Я с тобой. Откладывать больше нельзя. Сколько можно сидеть без дела?

— Я пойду с вами,— сказал Ларс.— Мне нужно получить разрешение съездить на пару дней в колхоз, помочь Хильде.

— Помочь маме? — удивленно посмотрел на него Руар.

— Да, она еще с одной норвежкой из Киркенеса переезжает в Апатиты. Будет учиться на санитарку,— ответил Ларс и вместе с товарищами направился к дверям.

Руар сидел на ступеньках штаба. Он закрыл глаза и увидел перед собой Анну. Увидел, как она стоит в дверях своего дома и машет ему на прощанье. И улыбается. Он услышал ее голос: «Обязательно возвращайся, Руар!» Потом ему представились картины вчерашнего дня, которые он тщетно, уже не в первый раз, пытался

отогнать от себя. Девочка с цветами в руках, в одно мгновение превратившаяся в окровавленный труп. Грузовик с тремя мертвыми солдатами. Совсем молоденькими, может быть, чуть старше его самого. И рядом с солдатами — дети.

Руар поднялся со ступенек, отряхнул запылившиеся штаны, вошел в здание штаба и сел на скамью возле Ларса.

После того как офицер военно-морского флота выдал Бернoффу с Густавом направление на медкомиссию, Руар поспешил к его столу.

— Дайте мне тоже направление. Я тоже хочу вступить добровольцем в отряд,— сказал он.

Когда Руар сел, Ларс подвинулся поближе к нему. Нервным жестом пригладил себе волосы.

— Руар, тебе еще так мало лет,— вполголоса произнес он и тяжело вздохнул.

■ ■ ■

По мере того как 1942 год близился к исходу, потерь становилось все больше. Многие из тех, кого перебросили на территорию противника в Финмарк, погибли в бою, другие пали жертвой предательства. Кое-кому пришлось выдержать единоборство со стихией, когда они в непогоду на утлых лодчонках выходили под прикрытием тьмы в открытое море, надеясь добраться до русского берега. О погибших на поле боя норвежцы старались не говорить вслух. Лишь наедине с собой они позволяли мыслям обращаться к родным и любимым. Зато если нежданно-негаданно объявлялся кто-нибудь из тех, кого считали пропавшим, то-то было радости.

Из экипажей «Авроры» и «Морской анемоны», в которых по прибытии в Советский Союз числилось десять человек, в живых остались лишь Густав, Руар и Бернофф. Никто не знал, жив ли еще Ларс.

Гостиница «Арктика» и Клуб моряков в Мурманске пострадали от бомбежек, но понадобился лишь незначительный ремонт, чтобы восстановить их.

Партизаны регулярно собирались в самой большой землянке в Лавне послушать новости, с которыми их знакомила русская по имени Нина. Она служила своего рода связной между партизанами и командованием Северного флота, и партизаны очень быстро перекрестили ее в Мамашу Норвегию.

Вместе с товарищами слушал Нину и Руар. Она читала газетные сообщения, где говорилось о кровопролитных боях на подступах к Ленинграду. О разгроме немецкой армии под Сталинградом.

Руар думал о Ларсе, которому давно уже пора было вернуться. Он отказывался верить в его гибель. Это было немыслимо, невероятно! Бедная Хильда, с утра до вечера пропадавшая в госпитале, тоже вся извелась от тревоги за мужа.

А у Густава не шли из головы Нанси и Юн. Увидится ли он с ними после следующего задания в Норвегии? Проклятая война, сколько же она будет длиться? Неужели гитлеровцы продержатся еще одну зиму? Молодые люди в окопах тысячами гибли сейчас в районе Мурманска. Нескончаемые колонны автомобилей подвозили туда все новых и новых солдат. Совсем юношей, не успевших пожить. Американцы. Ну почему они не помогут по-настоящему, чтобы поскорее прекратить безумие? Густаву не давала покоя мысль о том, что вот-вот настанет его очередь. Он не хотел умирать!

■ ■ ■

Ларсу недолго удалось поговорить с сыном наедине. Подошел Густав.

— Что у вас стряслось? — спросил Бернофф, тоже подсевший рядом.— Ты ведь бог знает когда должен был вернуться.

— Это долгая история,— отозвался Ларс.

— Ну ладно, пропусти стопочку и давай рассказывай,— попросил Густав, придвигая Ларсу стакан. И, заметив на лице Ларса сомнение, добавил: — Ты не бойся, нам можно все без утайки.

— Я и не боюсь. А про случившееся вам непременно нужно знать,— отвечал Ларс и начал с того, что английская аппаратура оказалась неудобной для работы в полевых условиях. Один аккумулятор чего стоит, пятнадцать с лишним килограммов, а радиопередатчик и приемник, хоть и легкие, зато очень часто отказывали.

Ларс взял табаку, которым кто-то угостил его в Норвегии, и сунул в рот пожевать.

— А дело было так,— приступил он наконец к рассказу.— Поначалу все у нас ладилось. Мы, значит, окопались на высотке над Сегелодденом, прямо напротив поселка в Реквике. Провианта запасли достаточно, все шло гладко. Стоило немецкому каравану отбыть в восточном направлении, как сообщение об этом немедленно передавалось в Мурманск. Почти сразу же нам удалось наладить контакты и с земляками-норвежцами, так что мы всегда были в курсе того, что затевает немец. А потом везенье наше кончилось.

Отойдя к дровяной корзине, Ларс сплюнул в нее коричневую табачную жвачку, утерся тыльной стороной руки и продолжал:

— За неделю до того, как нас должна была забрать подлодка, восточный ветер пригнал непогоду. Ураган не унимался добрых три недели, и все это время с востока и северо-востока дул ледяной ветер. Само собой, запасы продовольствия стали подходить к концу. Правда, их мы всегда могли пополнить за счет рыбы и дичи. Хуже было то, что сел аккумулятор, да и прочая аппаратура, можно сказать, на ладан дышала. К счастью, нашелся рыбак, который помог нам подзарядить аккумулятор. Прекрасно понимая, как важно иметь в этом месте постоянную группу, мы решили, что не станем отказываться, если нам предложат задержаться там еще на пару месяцев. Когда наконец удалось выйти на связь с Мурманском, мы доложили обстановку.

— И договорились, что русские заберут вас? — спросил Руар.

— Да нет же. Попросили сбросить с самолета провизию и запчасти к передатчику.

— Ясно. А дальше что?

— Сейчас расскажу. Мы получили сообщение о том, что к нам выслан самолет, и с нетерпением ждали его прибытия. И вот видим — он летит, направляется от моря в сторону Сегелоддена. Только груз, сброшенный на парашюте, приземлился у кромки моря, на отмели; сразу спускаться за ним было опасно, мы решили выждать.

— Сколько вас было в группе? — спросил Густав.

— Кроме меня, Осмунн со Стейнаром и еще русский радист. На чем я остановился?

— Что вам нужно было забрать груз,— напомнил Руар, не упускавший ни слова из рассказа.

— Этого нам, к сожалению, сделать не удалось. Не прошло и часа, как появилась тьма-тьмущая немцев. Они прибыли морем и стали рыскать вдоль берега, пока не обнаружили сброшенный с самолета груз. Мы видели, как они растянулись цепью и поднимались из Рисдалена в сторону Сегелставена. Нам оставалось приготовиться к самому худшему. Что с того, что мы занимали выгодное положение на высоте? Наши боеприпасы не были рассчитаны на долгую оборону. Мы затаились. Три дня немцы обшаривали все вокруг. Мы были готовы сражаться до конца, оставив последний патрон для себя. Лучше так, считали мы, чем отдаться живым в руки врага. На третий день поиски явно стали сворачиваться, но немцы по-прежнему про-

слушивали эфир, надеялись запеленговать нас во время радиосвязи. И тут мы допустили грубый просчет. Не вняв моим протестам, Осмунн со Стейнаром отправились на одну из наших явок, в саамскую землянку. Не будем их за это упрекать: разобраться в ситуации было нелегко, в другой раз и я могу совершить оплошность. Через два дня Стейнар погиб в перестрелке, а Осмунна фашисты раненого захватили в плен и тут же прикончили. Были выявлены и многие из наших связей.— Ларс умолк, точно сомневаясь, стоит ли продолжать.

— Что же было дальше? — не выдержал Бернофф.

— Начались массовые аресты. Все это происходило у нас на глазах. Из укрытия нам с радистом было видно, как жителей Реквика вытаскивают из домов, не разбирая правого от виноватого. У нас кровь стыла в жилах, когда мы видели, как над ними издеваются, когда мы слышали отчаянные крики женщин и детей. На глазах у одного мальчонки застрелили его отца.

Ларс умолк, заново переживая трагедию. Очнулся он, лишь когда Густав, уже второй раз, спрашивал, как ему удалось спастись.

— Нам с русским пришлось выжидать, пока опустится туман: в осеннюю ночь далеко не уйдешь. Я неплохо ориентируюсь в тамошних местах и убедил радиста полностью довериться мне, мы, хотя с немалыми трудностями, добрались до Саннесбюгда. Там мы и скрывались до тех пор, пока нас не переправили морем в Мурманск.

Все это время Руару не давал покоя один вопрос, который он теперь и задал Ларсу: откуда немцы так быстро разнюхали про самолет?

— Это вам тоже не мешает знать, пригодится, когда подойдет ваш черед идти через границу. Как ни крути, без предательства тут не обошлось. Впоследствии выяснилось, что предали люди, прекрасно вам известные: Агнета и ее муж. Не думаю, чтобы они хорошо чувствовали себя после того, что случилось с их соседями в Реквике.

— Ну и подлый же народ! — возмутился Бернофф.

— Больше я ничего рассказать не могу. У нас там еще остались кое-какие связи, и их нужно оберегать. Сами понимаете, если вам приведется попасть туда, на всякий пожарный случай лучше знать как можно меньше,— объяснил Ларс и снова отошел к корзине с дровами сплюнуть жвачку.

Подступила ночь, партизаны один за другим угомонились и заснули. Только Ларс долго не мог сомкнуть глаз. Его тревожили мысли о павших товарищах, о погибших жителях Реквика.

Подробности предательства он узнал от Рагнара Нильсена. Когда Агнета увидела в окно спускающийся парашют, ее муж немедленно позвонил по телефону ленсману Валю. А ленсман приказал Рагнару переправить его с немецкими солдатами и офицерами в Реквик.

По пути туда ленсман показывал по карте офицерам, как располагаются на местности отдельные дома и землянки. Бедняга Рагнар, думал Ларс, каково ему было слушать немцев, рассыпавшихся в благодарности Агнете с мужем, и видеть вручение награды за предательство: шесть бутылок водки и дополнительные продовольственные пайки. Но страшнее всего было, наверное, смотреть, как на палубу его судна швыряют тела убитого реквикца и двоих партизан, его же бывших товарищей-рыбаков.

Когда Ларс тоже наконец заснул, его уже в который раз посетил кошмар. Разметавшись по кровати, Ларс проснулся от крика. Кто это так страшно кричал, он сам? Нет, его разбудил предсмертный крик погибших в Реквике, крик, днем и ночью преследовавший его. Хоть бы поскорее снова забыться. Его трясло как в лихорадке. Хоть бы скорее заснуть...

■ ■ ■

Весна 1943 года не заставила себя долго ждать. Лица партизан уже подзагорели на апрельском солнышке. Но самыми загорелыми были Густав с Берноффом, которые после выполнения очередного задания на норвежской стороне воспользовались передышкой, чтобы навестить своих, теперь эвакуированных за Урал, в Шадринск.

Они только что возвратились оттуда в Лавну и с удовольствием слушали, как Хильда рассказывает про рыбалку, с которой Ларс привез пикшу, и про то, как она готовит самую что ни на есть норвежскую еду — рыбные тефтели под коричневым соусом.

Пока мужчины рассаживались за обеденным столом, обсуждая то да се, Хильда спросила, как живут Эстер, Нанси и другие женщины.

— Спасибо, хорошо,— отвечал Бернофф.— Они просили всем передать огромный привет. Нужды они не знают, поскольку, сами понимаете, живут в сельскохозяйственном районе, так что еда и работа у них есть. А дети ходят в школу наравне с русскими ребятами.

— Что ты говоришь! — отозвалась Хильда с интересом, не отрываясь от приготовления первой порции тефтелей.

— А еще они принимают участие в пионерской работе. Разучивают народные танцы, игры и всякое такое,— пояснил Бернофф.

— Господи, как я рада, что у них все хорошо,— сказала Хильда и принесла на пробу свои тефтели.

— Пожалуй, они какие-то даже слишком натуральные,— проговорил Руар и взял еще одну тефтелину.

— Но я вам вот что скажу,— продолжал Бернофф.— Уезжать от них было очень тяжко.— Он глубоко вздохнул, и Хильда увидела в его взгляде невыразимую тоску.

— А как там наша Малышка? — спросила Хильда. Она была ее классной руководительницей, когда девочка училась в первом классе.

— Она-то и нейдет у меня из головы,— сказал Бернофф.— Понимаете, когда я туда приехал и она меня увидела, мне уже не было ни минуты покоя. Она даже в школу ходить отказалась, пока я там гостил... Куда бы я ни пошел, она бежала за мной следом. Удивительно ласковая девочка! Не успею где-нибудь присесть, как она забирается ко мне на колени. Сидит и гладит мои волосы, и прижимается ко мне, словно догадывалась, чем я тут занимаюсь и куда я от них поеду. Эстер мне пришлось сказать, что до окончания войны я к ним больше не приеду. Потому что снова расставаться с ними нет никаких сил.

Густав перевел разговор на другую тему.

Где-то в отдалении послышался неясный шум, и все прислушались. Ларс, встав из-за стола, подошел к окну, открыл его.

— Опять воздушная тревога, черт бы их побрал,— сказал он и закрыл окно. Никто не покинул землянки, все как ни в чем не бывало продолжали беседу.

Бернофф, подсев ближе к Хильде, спросил, правда ли, что она тренируется прыгать с парашютом.

— Да,— ответила Хильда и пояснила, что их готовят к переброске в Финмарк, на территорию, занятую фашистами.

— Тебе-то зачем, мама! — воскликнул Руар.— Разве недостаточно умирает нас, мужчин?

Хильда улыбнулась.

■ ■ ■

Уже целый месяц Бернофф, Ларс и двое русских, Федя и Антон, прятались в горах.

О том, что им грозит опасность, их предупредил Рагнар Нильсен. Из расселины они видели, как его судно вошло в фьорд и, сме-

нив галс прямо напротив них, повернуло обратно. Рагнар повторил маневр три раза, и Ларс воспринял это как сигнал. Прихватив лишь самое необходимое, они поспешно снялись с места и ушли в горы. Однако бегство тоже было сопряжено с опасностью. Ночи стояли светлые, как день. Больше двух недель, пока над головой летали самолеты, а окрестности прочесывали фашистские отряды, они скрывались в сырой горной пещере.

Сменившись с дежурства, Ларс метался в своем непромокаемом спальном мешке, обдумывая создавшееся положение.

— Ларс! — позвал Бернофф.— Ларс! Посмотри, какой туман, хоть ножом режь.

Ларс объяснил Феде и Антону план дальнейшего отступления в глубь горного массива. Закончив объяснения, он добавил:

— Имейте в виду, ребята, в тумане все раз в десять слышнее. В такую погоду каждый звук разносится очень далеко. Так что давайте воздержимся от лишних разговоров.

На новом месте стало полегче с провиантом. Теперь можно было ловить рыбу в горных озерах, стрелять дичь. Но необходимо было вновь наладить связь с Мурманском, получить оттуда недостающее оборудование и припасы. Прошло еще несколько недель, прежде чем следившие за воздухом Ларс и Федя заметили, что со стороны моря приближается самолет. Ларс разглядел, что сброшенный груз приземлился километрах в двух от них. Смотревший в бинокль Бернофф вдруг громко выругался.

— Там кто-то собирает ягоды! — приглушенным голосом пояснил Бернофф.— Теперь этот неизвестный направляется к грузу.

— Давайте-ка познакомимся с ним,— решил наконец Ларс и жестом показал Берноффу, чтобы они с Антоном двигались впереди. Сам он с Федей поспешил следом.

— Это управляющий с фабрики Бергена,— доложил Бернофф. Обоим вспомнился рассказ Хелмера о том, как управляющий выручил жителей Юттерберга, когда из-за пропажи у офицера кожаной куртки немцы взяли оттуда заложников и ходили по домам с обыском.

Ларс пристально смотрел на управляющего, который переминался с ноги на ногу.

— Можно рассчитывать, что, вернувшись домой, ты не выдашь нас? — спросил Ларс.

— Вы с ума сошли, ни одной живой душе не проговорюсь,— заверил управляющий.— Можете на меня положиться.

— Но имей в виду, если ты нас предашь, пощады не жди,— пригрозил Ларс.

Управляющий чуть ли не бегом припустил через лужайку. Ларс тем не менее отдал приказ груз пока не трогать: вдруг управляющий не сдержит своего слова.

— С наступлением темноты мы перейдем к Финнскарету, а немцы, если управляющий окажется предателем, сосредоточатся в этом районе,— пояснил Ларс.

Партизаны почти добрались до пещеры в Финнскарете, когда послышался гул самолетов. С них были сброшены сотни парашютистов, которые, судя по расчетам Берноффа, приземлились на противоположном склоне горной гряды. Затем в небе появилась еще партия самолетов, выбросившая новый десант. На рассвете партизаны увидели, что десантники окружают то место, где они скрывались вчера.

Целый день немцы прочесывали окрестности, а потом выслали огромный отряд в направлении Финнскарета.

Первым это заметил Ларс. В тылу у его группы были лишь море и отвесные скалы.

— Ну что ж, остается достойно встретить смерть,— с дрожью в голосе произнес Бернофф.

Ничего не ответив, Ларс приказал готовиться к бою. Их отделяло от врага километра три. Ларс выбрал позицию метров на тридцать впереди остальных. Слева от него, почти у самого обрыва, залег Бернофф. Справа, в десяти метрах друг от друга, окопались русские.

Немцы приблизились на расстояние двух километров. Затем — пятисот метров. Первым открыть огонь должен был Ларс. Сто метров.

Впереди послышалась очередь. Упал немецкий офицер, за его спиной душераздирающе закричал солдат.

Завязалась интенсивная перестрелка.

Отползая к самому краю обрыва, Бернофф видел, как погиб Федя. Затем в том месте, где залег Антон, разорвалась граната. Только Ларсов автомат еще продолжал строчить. Но вот двое немцев зашли к Ларсу с тыла. Бернофф уже навел на них автомат, однако в эту секунду кусок скалы, на котором он стоял, сорвался в пропасть. Последнее, что видел Бернофф, скатываясь следом, были двое немцев, повалivших Ларса на землю.

■ ■ ■

А в Юттерберге Хелмер не находил себе места. «Не иначе как что-то случилось»,— думал он.

Еще до прихода на работу он заметил среди немцев необычное оживление. Целый день Хелмера не покидало беспокойство. Неужели схватили Ларса и его группу? Если так, что с ними сделали? Снова и снова Хелмер поднимался на чердак портового склада, чтобы понаблюдать за ближайшим ущельем и подъездами к поселку. Отсюда были хорошо видны и сам поселок, и дорога на Йектвик. Внезапно его внимание привлекло множество немцев, спускавшихся по горному склону.

Затем к поселку подъехал грузовик.

Хелмер поспешил спуститься с чердака. Вскоре он услышал отданный по-немецки громкий приказ, и грузовик въехал на пристань.

Хелмер замер в дверях.

Из кузова на причал сбросили, привалив к стене склада, тела двух человек в русской военной форме. И тут же появился пленный со связанными за спиной руками, в сопровождении вооруженных солдат.

«Ларс? Конечно же Ларс!» — мелькнуло в голове у Хелмера.

— Raus! Raus! Verdammte Menschen! [1] — заорали немцы, когда кто-то из рабочих по неосторожности приблизился к пленному.

Хелмер выкатил из дверей склада тележку, вроде бы за тем, чтобы привезти бочку. На обратном пути он попытался рассмотреть лицо Ларса, но увидел одни только зубы. Остальное скрывалось под густой бородой. Стоявший рядом с Ларсом офицер окликнул Хелмера. Тот побледнел. Он узнал в офицере Дусе! Того самого Дусе, против которого его предостерегал Рагнар! Теперь он обратился к Хелмеру на чистейшем финмаркском диалекте:

— Узнаешь этого человека?

— Куда там, он так зарос, одна борода,— покачал головой Хелмер, бросив встревоженный взгляд на офицера.

— Ничего, если этот изменник не заговорит, мы у него бороду повыдергаем,— сказал Дусе.

К пристани подходил катер. По-видимому, на нем должны были отправить в город захваченного в плен Ларса.

И тут Ларс внезапно сорвался с места. Никто не успел опомниться, как он подскочил к Дусе, нанес ему сильнейший удар голо-

[1] Прочь! Чертово отродье! *(нем.)*

вой в лицо и со всех ног помчался к краю причала. Там он, оттолкнув часового, на глазах Хелмера и немцев прыгнул в воду.

Поднимаясь на чердак, Хелмер ничего не видел из-за застилавших глаза слез. Нет больше на свете Ларса, этого невозмутимого, добродушного человека, о котором у Хелмера остались самые теплые воспоминания. Не в силах сдерживаться, старик, не проронивший с начала войны и слезинки, разрыдался, как ребенок.

Когда Бернофф пришел в себя, было темно. Сначала он никак не мог сообразить, где находится. Потом ему припомнилось падение с обрыва. Он попробовал осторожно подняться. Левую руку и плечо пронзила жгучая боль. Чуть слышно застонав, он вновь потерял сознание.

Когда он очнулся в следующий раз, сверху, прямо над ним, слышалась немецкая речь. Правой рукой Бернофф проверил, на месте ли пистолет. Слава богу, пистолет оказался при нем. Автомат он потерял во время падения. Бернофф попытался встать на ноги. Все тело ныло, но переломов как будто не было. А что с рукой? Пониже локтя зияла глубокая рана. Оглядевшись по сторонам, он увидел, что застрял на уступе. Над головой нависал обломок скалы, скрывавший его. Его мучили голод и жажда. Сколько он сумеет продержаться? Хватит ли у него сил вскарабкаться наверх? Или придется умирать здесь? Он подумал об Эстер и детях.

Бернофф в отчаянии переводил взгляд с гранитной глыбы над головой на хмурое небо и обратно. Теперь немецкие голоса доносились особенно отчетливо, и он подполз ближе к скалистой стене. Глаза его подернулись пеленой, он снова погрузился в забытье.

Придя в сознание, он не знал, сколько пролежал: несколько часов или несколько дней. Дрожа всем телом, он поднялся, хотя ноги у него подкашивались, отказываясь повиноваться.

— Малышка,— прошептал он, крепко сжимая зубы. Малышка, которая из-за него перестала ходить в школу. Его ласковая девочка, которая хотела все время быть с ним. Нет, он обязан выжить. Сунув в рот пучок влажного горного мха, он пожевал его, проглотил, взял еще. Уступ, на котором он застрял, кончался крутым обрывом. Но до верха было совсем недалеко, каких-нибудь три метра. Солдатским ножом Бернофф вырубил упор для ноги. В метре от себя он обнаружил ведущую наверх узкую терраску. Ну что ж, можно попробовать.

■ ■ ■

Хильда и Бьёрн, которых готовили к выполнению спецзадания в Финмарке, прибыли в прифронтовой город, откуда ночью их должны были перебросить на самолете в Норвегию.

Хильду неотступно преследовали мысли о Руаре и Ларсе. Где они? Ларс, кажется, был на задании в тылу врага. А Руар? В часы одиночества ее одолевали тоска и беспокойство за них.

В женскую казарму вошел адъютант.

— Хильда Ванген! — выкрикнул он, окидывая взглядом комнату, переполненную людьми и военным снаряжением.

— Здесь! — откликнулась Хильда и встала.

— Следуйте за мной, нас ожидает машина. С вами хотят говорить в штабе.

Когда Хильда вошла в кабинет начальника норвежской разведки, тот предложил ей сесть. Находившийся в комнате русский офицер, кивнув ей в знак приветствия, несколько раз прошелся от стола к двери, затем тоже сел.

— Ванген!

— Да?

— Как вам известно, вы должны возглавлять предстоящую операцию.— Офицер умолк, пристально глядя Хильде в глаза.

Хильда непонимающе смотрела на него.

— У меня плохие вести о вашем муже,— сказал он.

Хильда крепко сжала подлокотник кресла.

— Ларс! Не может быть...— Она не сумела договорить фразу.

— Мы получили печальное известие два часа назад.

Склонившись в кресле, Хильда закрыла лицо руками. Тело ее затряслось от рыданий. Офицеры молчали, давая ей выплакаться.

После долгой паузы норвежский офицер, откашлявшись, произнес:

— Мы прекрасно понимаем ваше горе и не настаиваем на выполнении задания, к которому вы готовились. Можете поехать в Шадринск, к вашим землякам, и там отдохнуть.

Хильда поднялась с кресла. По щекам ее текли слезы, но голос был тверд.

— Ради освобождения норвежского народа я готова пожертвовать жизнью, как это сделал мой муж. Как руководитель группы ожидаю дальнейших приказаний.

Офицеры переглянулись.

— Хорошо, Ванген. Вылет через три часа,— сказал русский, провожая норвежскую женщину грустным взглядом.

■ ■ ■

Уже несколько недель советские войска освобождали пограничные районы под Киркенесом.

Густав и Руар находились на наблюдательном пункте, расположившемся на горной вершине севернее Нейдена. После отступления из-под Киркенеса немцы сосредоточили живую силу и технику на обширных болотистых землях. Со складов боеприпасов они все погрузили на машины и вывезли. За собой немцы оставляли разбитые дороги и взорванные мосты, а нередко и полыхавшие огнем поселки, которые они предварительно нещадно грабили.

Советское командование готовило массированное наступление на Нейден.

Руар следил за передвижением немецких войск, когда его вызвал к себе капитан Павел. Его место было приказано занять молоденькому русскому.

— Иди сюда! — крикнул капитан по-русски, жестом приглашая Руара следовать за ним.

Неподалеку, в низинке между холмами, стояли двое солдат, а с ними — мужчина в штатском.

— Спроси, что он тут делает,— велел капитан Павел.

Мужчина испуганно смотрел на Руара, который, подойдя поближе, остановился напротив него.

— Добрый день! Не бойся. Русский просто интересуется, что у тебя за дела в горах.

— Как хорошо, что ты говоришь по-норвежски! — воскликнул мужчина.— Мы скрываемся в пещерах. Нас тут много — тех, кто сбежал в горы, когда немцы стали при отступлении угонять народ в Германию. У меня был собственный дом на киркенесской стороне, но нашей семье пришлось бежать, потому что заявились немцы и спалили его. Объясни русским, что на людей, которые им здесь встретятся, можно положиться. И еще передай, что мы очень рады им, нашим освободителям.

Руар долго и внимательно слушал рассказ норвежца, прежде чем начал переводить. А переводя, постарался не забыть подробности и упомянуть про злодеяния, которые совершали немецкие офи-

церы, про изнасилования женщин, про тот случай, когда убили мужа, пытавшегося заступиться за жену...

■

Рано утром следующего дня, 26 октября, начался артиллерийский обстрел. На северном берегу реки, у шоссе, заняли оборону немецкие батареи, в то время как советские войска, растянувшись фронтом на десять километров, продвигались вперед и через лес вдоль финской границы спустились к шоссе, проходившему по южному берегу.

Под оглушительный гул «катюш» передовые линии противника были смяты. Обстрел продолжался целый день, и целый день над Бугёйфьордом и Нейденом полыхало зловещее зарево пожаров: прикрывая отступление своих войск, немецкие арьергарды жгли дома. Канонада прекратилась лишь к вечеру.

А на рассвете следующего дня Руар с группой разведчиков вышел к реке. Не прошло и часа, как все пространство между шоссе и рекой было занято. Немцев все сильнее теснили передовые советские части, пехота и пулеметчики. Советские батареи не умолкали ни на минуту. Во многих местах удалось наладить переправу через реку, и замешкавшимся немецким отрядам пришлось принять ближний бой. Слыша жуткие предсмертные крики людей и животных, чудовищный грохот разрывов, видя фонтаны земли и камней там, куда попадали снаряды, Руар подумал о том, какая это ужасная вещь война.

■

ЯННИС РИЦОС

Хозяйка виноградников

(ГЛАВЫ ИЗ ПОЭМЫ)

Перевод с новогреческого ВИКТОРА ЛУНИНА

Творчество замечательного греческого поэта Янниса Рицоса, лауреата международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», многих других международных и национальных премий, давнего друга нашей страны, хорошо известно советскому читателю. На русском языке изданы пять поэтических книг Рицоса, неоднократно его произведения и статьи о его жизни и творчестве печатались в нашем журнале [1].

Поэма «Хозяйка виноградников» (1945—1947), главы из которой предлагается читателям «Иностранной литературы»,— одно из самых значительных антифашистских его произведений, написанных по горячим следам героической борьбы греческого народа в рядах Национально-освободительного фронта ЭАМ и многотысячной партизанской армии ЭЛАС. На русский язык она переводится впервые.

В этой поэме Рицос обобщает опыт и уроки Сопротивления, увековечивает память о павших товарищах. Привлекая богатый мифологический и исторический материал, поэт осмысливает судьбу своей многострадальной родины.

Образ матери-родины, перекликающийся с древним фольклорным образом матери-мученицы и овеянный нежной любовью поэта к рано ушедшей из жизни собственной матери, в творчестве Рицоса является одним из центральных. Хозяйка виноградников — это одновременно и мифологическая Ниоба, скорбящая по своим убитым детям, и Богоматерь в обличии крестьянки, и легендарная Бубулина — героиня национально-освободительной революции 1821—1829 гг., и гречанка нашего века, оплакивающая родных и близких, не вернувшихся с полей сражений, замученных в тюрьмах и концлагерях. Из всех испытаний и превратностей судьбы Хозяйка виноградников сумела вынести высшую мудрость и человечность, умение радоваться жизни, восхищаться чудом природы.

Первые главы поэмы подкупают задушевностью народно-песенных интонаций. Они проникнуты искренней привязанностью поэта к родной земле. «О, Хозяйка! Ты — сама красота, само благородство. Ты — Эллада!» — восклицает поэт. Все величественно и прекрасно на этой мирной земле, прекрасны горы, во все времена бывшие родным домом для гонимых, обездоленных, непокорных. Но вот в страну вероломно вторгается враг — «гадюка с раздвоенным жалом». И тогда Хозяйка виноградников уходит в горы к партизанам, чтобы вместе с ними сражаться «священным мечом борьбы», «чтобы покончить навсегда с врагами и со смертью».

Призыв к борьбе, к освобождению сопряжен в поэме с пророческой верой в неминуемое возрождение родины из пепла национальных катастроф. Композиционным стержнем поэмы становится тема желанного мира, покоя, тишины, созидательного труда (отсюда лейтмотивом проходит метафорический ряд со словом «тишина»: «Библия тишины», «сердце тишины»). И хотя в дни, когда писалась «Хозяйка виноградников», пламя гражданской войны разгоралось в Греции все сильнее, хотя было уже очевидно, что свободолюбивой Греции уготованы «концлагерные» испытания, Яннис Рицос несокрушимо верит, что меч в руках Хозяйки виноградников превратится «в скрижали с десятью заповедями Мира». В этом жизнеутверждающем пафосе явственно слышатся отзвуки «самоотверженной борьбы Советского Союза», имеющей, по словам Рицоса, «не только патриотическое, но и общечеловеческое значение».

Метафорическая насыщенность и торжественная тональность повествования в поэме, резкие переходы от конкретного, схваченного в неожиданных ракурсах, к обобщенному образу, к символу, щедрое использование фольклорной и традиционной ви-

[1] См. «ИЛ», 1959, № 11; 1965, № 3; 1968, № 7; 1969, № 5; 1973, № 3; 1979, № 5.

зантийской образности, нарочитая сюжетная фрагментарность — все это в совокупности способствует созданию эпически сложной, но тем не менее законченной в своей симфонической целостности, панорамной картины антифашистской борьбы греческого народа.

Сопротивление в поэме Рицоса ассоциативно соотносится с историей Византии и античной Греции, с греческой мифологией — многовекового конденсатором народного сознания. Рядом с партизанами у Рицоса сражаются мифологический Ахиллес, византийский богатырь Дигенис, герои революции 1821—1829 гг. Это вызывало у современников ощущение сопричастности, спаянности со всей греческой историей. Рицос подводит читателя к выводу о непобедимости народа, осознавшего свою силу и ответственность перед историей, о неистребимости национального жизненного опыта.

«Хозяйка виноградников» — одно из наиболее известных произведений Рицоса. Поэма в авторском исполнении записана на пластинку, которая разошлась огромными тиражами. Большой популярностью пользуются в Греции и музыкальные произведения по ее мотивам, созданные М. Теодоракисом, С. Ксархакосом, Г. Коцонисом, А. Лимурисом.

В настоящее время издательство «Радуга» готовит наиболее полное издание стихов и поэм Янниса Рицоса на русском языке, куда войдет и поэма «Хозяйка виноградников».

ВИКТОР СОКОЛЮК

XV

Что же ты уходишь в горы, Хозяйка? Почему не разгонишь злые тучи?
Погляди! Наши овцы входят в загон ночи, и шерсть их становится
черной, а орлиные когти окрасились красным...
Антихристы топчут нашу землю, разоряют виноградники, срезают
смоквы со смоковниц.
Враг отнимает младенца от материнской груди,
отрубает у Богоматери руку и продает ее на базаре.
Он, как туча саранчи, уничтожает посевы,
он всаживает нож в спину нашей земли,
он — гадюка с раздвоенным жалом, наряженная как невеста.

Кто теперь, Хозяйка, будет играть на свирели облачным стадам овец?
Кто защитит ели в просторах Галактики?

Бьется в огромных пустых глиняных сосудах вековая ярость наших
дедов и прадедов,
томится и стонет в винных бочках будущее лето тысячелетий,
но уже идет мимо нашего дома новая Бубулина [1],
и уже видны в подзорную трубу наши брандеры, Канарисы [2]
и пыльное марево сирокко.

О, Хозяйка! Дай снова увидеть тебя над горной вершиной в удалой
одежде клефтов [3],
опоясайся, как пулеметными лентами, тройными рядами звезд
и положи в сумку рядом с порохом и дробью икону Богоматери.
Слышишь? Уже звонят в колокола Святой Софии пастушьи Апостолы,
и поднимаются по горным склонам македонские горянки-оливы,
и мертвецы перед церквами смазывают лампадным маслом
старые ружья.

---

[1] Бубулина — героиня революции 1821—1829 гг. *(Здесь и далее прим. В. Соколюка).*

[2] Константинос Канарис — греческий государственный деятель, флотоводец, герой революции 1821—1829 гг.

[3] Клефты — крестьяне-партизаны, которые во времена турецкого владычества и революции 1821—1829 гг. уходили в горы и вели борьбу против поработителей.

XVI

Тихо-то как. Ни звука не доносится из наших виноградников,
запертых на тройные засовы.
Горько сжаты губы Хозяйки. Молча закрывает она окна звезд,
а потом достает из передника двенадцать ключей и замыкает ими
двери ночи.

Ограда из колючей проволоки отгородила хлеба от нашего дома,
безмолвно сидит наша мама, прижимая к груди Библию тишины.
Тусклый, серебристый диск луны, похожий на дохлую медузу,
печально глядит к нам в окно,
старинная нелуженая медная посуда на полках вдоль стен стала
кроваво-черной, как душа человека, познавшего одиночество.
Тянется, тянется ограда из колючей проволоки, отгораживая от нас
корыта и кувшины.
Тихо-то как. Застыли, окаменели разрисованные кованые сундуки,
лежат, не шелохнутся в них матросские тельняшки и фермели[1],
обмотки и серые, домашней вязки, носки,
лежат старинные домашние реликвии, мешочки с цветочными
семенами и рамки в форме сердца. В рамках — лики морских
святых в окружении моллюсков и устриц.
А на одной из стенок сундука висит маленький кораблик.
Воздух дома неподвижен и сгущается вокруг двух венков
с восковыми цветами лимона.
Что-то, однако, шуршит в тишине... Уж не тараканы ли это?
Да нет! Это шуршит старая и слепая домашняя змея.

Тянется, окружает нас ограда из колючей проволоки.
Черные сапоги, оставляя черные следы, волокут черные котлы
в наши сады и дома, чтобы окрасить черным деревья, воду и хлеб.
Месяц лежит в небесах, как разбитое колесо арбы на дороге.
Талисман полей — плуг перевернут лемехом вверх,
мотыга у двери читает про себя молитву, а висящий над ней серп
мечтает о поле.

Дед туго спеленывает сердце свое, так же как мама после обеда
заворачивает в салфетку хлеб,
и как охотник дома перед охотой заворачивает в тряпицу порох и
дробь...
А по побережью расползается тень корабля,
словно капля масла на воде.

XVII

С подветренной стороны к нашей обители летит чайка. Какие она
несет нам вести — добрые или злые?
И сможет ли она, как и прежде, очищать своими коготками
испачканные звезды?
И будет ли она, как и в былые времена, помогать нашей маме
выбирать из стручков горошек?

Воробьиха отложила в солому яички. Не грозит ей больше
одиночество.
Аромат майорана висит над склонами Аи-Теристи,
вечерняя заря золотит заборы и калитки,
итальянские вербы глядятся в зеркальную воду соседа-колодца,

[1] Расшитый золотом мужской жилет, часть национальной греческой одежды.

покрытые каплями влаги кувшины на подоконниках сна
беззвучно поливают невидимые наши корни,
и в руках у нас рождается нечто такое, что не увидеть глазом.

О, Хозяйка моря и виноградников с волосами, украшенными
моллюсками и морскими звездами,
хотя корабли приходят и уходят даже при ураганном ветре,
хотя три красавчика моряка и привезли тебе из далей неведомых
две оплетенные бутыли света,
но падает, падает на крышу нашего дома горький миндаль,
и уже лежат на морском дне у дальнего мола затонувшие корабли,
и видны в дальнем квартале оплавленные куски металла и дома
с закопченными окнами — следы недавнего пожарища.
Сорваны южным ветром и разбиты о мостовые фонари,
сторожевые вышки пусты, а кони зарезаны.

А однажды в воскресенье тишину города разрушил грохот
сторожевых пушек,
и ворон накрыл крыльями просоленных морем беженцев,
и ветер сорвал со столов скатерти. И случилось это тогда, когда
вспышка молнии высветила скорбную оливу и колыбель младенца.

XVIII

Закрой окна, Хозяйка. Ветер воет в ночи, вползает в щели
ледяной холод. Даже зеркало запотело.
Колотит по черепичной крыше буря,
от страха мигает на стене светильник.

Все замерло, все смолкло. Ни одна половица не скрипнет.
Мышь спряталась в кладовку и грызет подметку тишины.
Все молчит... Но чьи же это шаги? Эй, кто там?
И раскрылись сами собой двери, и вошла в них побитая морем
Богоматерь.
В руках у нее вещи утопленника:
матросский бушлат, полосатая тельняшка, и звездная карта,
и деревянный листок винограда, оторвавшийся от подола Горгоны
на носу корабля повстанцев.

Прикуси губу, Хозяйка, чтоб не вырвался из твоей груди вопль.
Раздуй посильнее пламя — это не первая и не последняя потеря.

Вспышка молнии осветила медную посуду на полке и бронзовые
украшения на спинках кровати,
и кровать сразу стала похожа на домашнее надгробие, пропахшее
цветами апельсиновых деревьев и порохом.

А вдали неясно проступила сквозь тьму горная вершина,
и с такой силой прогремел над кипарисовыми ятаганами гром,
что показалось, будто это свирепый бог
ворочает котлы на страшном суде.

XIX

Евангелию древних гор олива сердцем вторит,
вскипает в винограде кровь — то злость к врагу вскипает,—
и голос твой, как трубный глас, гремит у врат у царских:
«Сорокадневный кончен пост несчастий и печали,
Кутья вся съедена. К борьбе готова Богоматерь».

Твои молитвы помогли нам бить врагов, Хозяйка,
взгляни — на голых склонах гор горят мечи как пламя,
горят костры, дозор несут посты сторожевые,
и вот уже гигант орел с креста горы Гиона
несет в когтях своих скрижаль с господним повеленьем:
«Пусть небо чистое опять откроет солнцу окна,
пусть зазвонят колокола и затрубит архангел,
в горах, в лесах и на полях — великий нынче праздник:
священной Ели пир и день священного Тимьяна».

XX

С врагом ли это смертный бой и ненависть ли это?
Нет, это праздник Веры и всеобщего Крещенья,
священной Ели пир и день священного Тимьяна!

Здесь и деревья, и кусты дают врагам сраженье,
воюют здесь и цепи гор, и осыпи, и ветер,
здесь мечут звезды из пращи каменья огневые,
здесь месяц ядрами из тьмы стреляет в супостатов,
здесь дни и ночи напролет в котле огромном солнца
кипит и варится смола, чтоб на врагов пролиться.

Какие скрипки здесь слышны, какие барабаны!
Какие дудки, лютни и сосновые сандури!

Сверкает золотом парча, блестят епитрахили,
волшебный колокольный звон висит над горным краем,
кресты знамен белым-белы и освещают небо,
а в небе ангелы летят и дивным божьим светом
тропинки горные, леса и пашни озаряют.

Ты же, Хозяйка, меж знамен волнующихся стоя,
ты начиняешь виноград кровавым динамитом,
чтобы покончить навсегда с врагами и со смертью.

XXI

Бежит, бежит хромая смерть, о трупы спотыкаясь,
и рушатся ограды зла из проволоки колючей,
и меркнут месяцы потерь, насилья и убийства.
Леса ветвями гонят смерть, крылами гонят птицы,
и пламени кровавый след за ней бежит вдогонку,
и убиенные войной пред ней костьми ложатся,
а позади — пожарищ дым и вопли стен разбитых...
Но над поруганной землей, над чернотой кромешной,
над миром ружей и мечей, над дымными крестами
уже встает заря любви и дарит людям счастье,
и небо блещет, и слышна уже труба свободы.

А наша бабушка, взлетев на дерево, как птица,
натягивает гнева лук и вслед врагам пускает
все горести свои, и боль, и ярость, словно стрелы.

А над Олимпом, там, вдали, стоит в белейшей бурке
гигант Пастух, и смотрит вниз, и, простерев ручищу
над стадом ледяных ягнят, благословляет павших,
и звезды клефтов, и мечи, и реющее знамя.

XXII

Снова, Хозяйка виноградников, ты возводишь радугу над нашими
обгорелыми крышами,
и приносишь пастухам ячменный хлеб да красное вино на ужин,
и держишь на своих плечах балки нашего многострадального дома.

Снова наполняешь этот дом тишиной и свежестью,
чтобы перестал он быть похожим на трюм корабля после бури,
чтобы ловец губок в рыбьем царстве наконец проснулся
и устрицы перестали бы таиться в его волосах.
А капитан уже глядит в бинокль на Полярную звезду
и вешает на стену под лампадой свое ружье арматол[1].
Тихо-то как! Даже оливы и те застыли,
и только пена морская ласкает месяц,
плывущий над стенами затонувшего города.

Но разве забудем мы знамя, тысячу раз продырявленное, которое
ты, Хозяйка, вознесла в небеса?
Но разве забудем мы разъяренное море, и колокольный звон волн,
и гудящий ветер?
И разве забудем виноградники, утопавшие в своей же собственной
крови?

Где отыскать нам такие раковины и трубы, которые могли бы
передать горе и гнев, скопившиеся в сердце тишины
и в глазах зари?

Рассвет глубок и прозрачен. Яркая утренняя звезда заглядывает
к нам в окно.
Но еще дымятся и глядят в небеса жерла пушек на укреплениях
острова,
и падает на землю гранатовый град граната, до боли сжатого в руке,
и посреди обеденного стола стоит не кувшин с вином, а ручная
граната.

XXIII

Тихий и темный дом наш похож на плащаницу в страстную субботу.
Все в нем замерло. Но нет на плащанице Его тела.
Тает на рассвете звездный воск.
На улице видны затоптанные в грязь цветы апельсиновых деревьев.
А в доме, на стене, висят крест-накрест видавшие виды свирель
и старое ружье.

---

[1] Арматолы — в период османского господства стражники на службе у турецкого правительства. В годы революции 1821—1829 гг. вместе с клефтами составляли ядро вооруженных повстанческих сил греков.

И ты, Хозяйка виноградников, все еще пахнешь тимьяном и горелой сосной.

Карта Макриянниса[1] лежит в сундуке, словно бабочка в коконе,
с дальнего поля доносится щебет ласточки,
с виноградников — шелест листвы,
а с моря — шуршание морского ежа, взбирающегося на колено весны.

Дорога впереди еще темна. Не выпускай из рук меч, Хозяйка,
когда обходишь ночью нашу землю.
Не переставай окуривать иконы пороховым дымом. Час еще
не пробил.
Безмолвие змеей обвивает ветви деревьев.
Если хочешь ты, Хозяйка, чтобы рев минувшей бури остался только
в раковинах на этажерках,
чтобы бабушкино веретено жужжало так же весело, как золотой
жучок на оконном стекле,
а мы снимали со стены только свирель,
обвяжи-ка поскорее дом наш гибкой лозой, натертой воском мира.

XXIV

Хозяйка виноградников, лицо твое почернело от дыма,
тихо ступаешь ты по дороге в тени кипарисов,
и так же тихо поет тебе песню славы опаленная земля.
Поет она о том, как вскормила ты молоком мужества и свободы
своих ягнят,
как проливала кровь свою на виноградники, чтобы до краев
наполнились багряным вином церковные чаши.

Как священник проходит сквозь царские врата, осеняя стоящих
вокруг святым крестом,
так и ты проходишь сквозь врата крестов, осеняя своих подданных
священным мечом Борьбы.
И меч в твоих руках превращается в скрижали с десятью заповедями
Мира
или в солнце, только что крещенное в небесной купели.
Все еще спит в этот час, когда ночь и утро сплетаются меж собой,
как сплетаются вокруг колена десять пальцев,
и только ты, Хозяйка виноградников, идешь на этой грани рассвета
по полям, разрезая их своей тенью, как корабль морскую гладь,
и руки твои, летящие над оливами,
похожи на святого голубя, который держит в клюве пучок солнечных
лучей и уравновешивает им весы Мира.

Афины, 1945—1947

---

[1] Макрияннис — вышедший из народа военачальник революции 1821—1829 гг. Специально выучил грамоту, чтобы написать свои знаменитые «Воспоминания».

ЛУНИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1945 г.)

Советский поэт и переводчик. Автор нескольких стихотворных книг для детей. В его переводе вышли две книги английского поэта Уолтера де ла Мэра: «Сыграем в прятки» (1978) и «Песня сна» (1983); переводил стихи американских, английских и греческих поэтов.

После прочтения

Если в поэзии форма более чем существенна, а это действительно так,— что побудило Янниса Рицоса писать без рифм? За кем идет он — за своими европейскими предшественниками XX века или за своими древнегреческими предками, которым рифма была не нужна, потому что, как сказано в гениальном стихотворении Баратынского, «на стогнах греческих недавних городов» в поэте «вера полная в сочувствие жила»? Все это важно и имеет прямое отношение к поэме Янниса Рицоса в переводе В. Лунина.

Старый переводчик «по подстрочникам» и «с оригинала», я не слишком доверяю поэтическим переводам (в самом деле, вечный вопрос: переводима ли поэзия? С одинаковой справедливостью можно утверждать противоположное). И, вопреки всему этому, сквозь двойной покров подстрочника и перевода, током высокого напряжения пронзительно бьет поэзия. Яннис Рицос вещает со страшного амвона войны, и в нем «вера полная в сочувствие» живет. Его пламенный риторизм отличается оригинальностью и остротой, глубиной и серьезностью миросозерцания, энергичной волей, живой фантазией, сильным чувством сострадания, соответствием между внутренним и внешним. Если и возникает подчас легкий налет манерности, подлинность причастности неоспорима.

Поэма построена архитектонически. В ней заложено движущее, динамичное начало, и сама она представляет собой источник энергии. Поэзия для Рицоса — это мысль о сущности мира. Настоящее в его глазах нисколько не реальнее, чем прошлое. Все современно. Стремление отмести случайность и определить основу порождает твердость и устойчивость образов. А его вера в людей, нравственное гостеприимство увеличивает моральную ценность бытия.

«Хозяйка виноградников» — поэма самоуглубления и самообогащения. Она стремится как бы заговорить чужую (и свою) боль. Муза Рицоса не просит пощады, зная, что мир не таков, чтобы устроиться в нем благополучно.

В краткой заметке невозможно выделить основные мотивы, повторы и противоречия поэмы, сопоставив ее с другими произведениями Рицоса, чтобы открылись неизбежные закономерности.

Добавлю, что этой поэмой еще раз подтверждена мысль Вячеслава Иванова о том, что миф как поэтическое миросозерцание не исчерпал себя.

АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ

■

Критика

ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ

ЛИТЕРАТУРА ИСТОРИЧЕСКОГО ОПТИМИЗМА

В декабре 1984 года состоялся V съезд писателей Болгарии. Председатель Союза болгарских писателей, известный поэт Любомир Левчев, выступил на нем с докладом, в котором обрисовал путь, пройденный литературой страны за четыре десятилетия народной власти, а также определил некоторые актуальные проблемы, стоящие перед болгарской словесностью, вообще перед прогрессивной литературой в наши дни. В основу предлагаемой вниманию читателей статьи положен этот доклад. Статья получена журналом на русском языке.

В нынешнем году наш народ вместе со всем прогрессивным человечеством отмечает сорокалетие победы над фашизмом; исполняется и сорок первая годовщина нашей революции. 9 сентября 1944 года стало для нашего народа исторической вершиной, днем, когда болгары с решающей помощью героической Советской Армии освободили страну от фашистского ига и совершили переворот, ознаменовавший вступление Болгарии в новую фазу исторического развития. 9 сентября, День болгарской свободы, стал для нас днем рождения нового времени. Он открыл дорогу тому, что можно назвать чудом воскрешения. Из забытья, из смерти возродилась к жизни наша попранная национальная культура. Зазвучали запрещенные ранее песни, перепечатывались изъятые книги, лились новые стихи. Наконец-то свободно и открыто заняли подобающее им место произведения Христо Смирненского и Гео Милева. Как знамя бессмертия народного духа воспринимались книги Николы Вапцарова.

Из концлагерей и тюремных застенков на свободу вышли заживо похороненные там революционные болгарские писатели. С гор спустились поэты-партизаны, живые и мертвые, возникло новое литературное понятие — «партизанские песни».

Естественно, что в дни острой классовой схватки с фашизмом, монархией и реакцией на первый план выдвинулись, как говорил Маяковский, марш и лозунг. Но уже тогда, в самый ранний период после освобождения Болгарии, начинают формироваться некоторые из основных идейно-тематических направлений, которые и по сей день продолжают определять развитие литературного процесса.

ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ (род. в 1935 г.)

Болгарский поэт, лауреат Димитровской премии, Народный деятель культуры. Автор многих книг стихов, среди них: «Звезды мои» («Звездите са мои», 1957), «Стрельбище» («Стрелбище», 1971), «Дневник для сожжения» («Дневник за изгаряне», 1973), «Свобода» (1974), «Исход» («Изход», 1976), «Приветствие, обращенное к огню» («Поздравкъм огъня», 1978), «Отрывок» («Откъс», 1980).

На русском языке изданы книги: «Громоотводы», «Пристрастия», «Заклинание», в «Иностранной литературе» напечатаны подборки стихотворений из сборников «Стрельбище» (1973, № 5) и «Стихи последних лет» (1981, № 3).

У истоков нашей новой свободной социалистической литературы стояли молодые тогда писатели — Павел Вежинов, Богомил Райнов, Андрей Гуляшки, Иван Пейчев, Камен Калчев, Веселин Ханчев, Александр Геров, Валерий Петров, Божидар Божилов, Невена Стефанова, Радой Ралин...

Это исключительно талантливое писательское поколение сделало первые шаги в литературе еще в конце 30-х — начале 40-х годов. Но по-настоящему раскрыть свои возможности смогло лишь благодаря победе 9 сентября 1944 года. К счастью, большинство из этих писателей и по сей день продолжают трудиться с полной отдачей сил.

Первые же свободные годы сообщили литературе новый идейно-тематический импульс.

Важнейшей стала тема антифашистского Сопротивления. Она отмечена ныне уже хрестоматийными произведениями, такими как поэмы Ламара, «Вторая рота» Павла Вежинова, «Стихи в обоймах» Веселина Ханчева, «Солдатские тетради» Радоя Ралина, и многими другими.

Проблемы, связанные с политическим утверждением нового строя, экономическими реформами, коллективизацией сельского хозяйства, началом социалистической индустриализации, также нашли отражение в литературном процессе. Творческое освоение этих проблем характеризуется первыми опытами написания крупномасштабных произведений во всех жанрах. Овладевая методом социалистического реализма, болгарские писатели стремились создать образ нового человека — строителя социалистической Болгарии.

Возможно, термин «бригадирская тема», возникший в те годы, вызовет снисходительные улыбки у нынешних и будущих молодых литературных поколений. Но дело вовсе не в термине — он отражает стиль своего времени,— а в том, что так называемая «бригадирская тема» была истоком одного из самых плодотворных направлений во всей нашей литературе — она отвечала задаче воссоздания трудового подвига болгарского народа, героизма рабочего класса. Пеньо Пенев — «поэт в ватнике» — положил талантливое начало этой теме, приведшей его к крупным поэтическим обобщениям. Разрабатывая ее, утверждались и молодые тогда Стоян Даскалов, Андрей Гуляшки, Камен Калчев, Иван Мартинов и другие.

Период конца 40-х — первой половины 50-х годов останется в нашей памяти в связи с публикацией произведений, в первую очередь романов, составляющих ныне вершины нашей социалистической классики. Это повесть «Похититель персиков» Емилиана Станева, роман «Табак» Димитра Димова, повесть «Танго» и первый том так называемого «романа-реки» «Простые люди» Георгия Караславова, «Железный светильник» и «Преспанские колокола» из тетралогии Димитра Талева.

То был поистине невиданный взлет болгарской литературы.

В атмосфере такого подъема делает первые шаги в творчестве самое молодое в те годы поколение, которое и сегодня еще несет основную ответственность за развитие болгарской литературы. (Должен оговориться, что употребляю слово «поколение» в том условном смысле, который оно имеет в литературной терминологии.) Это поколение включает и группу талантливых писателей, получивших образование в Советском Союзе, в первую очередь в Литературном институте имени А. М. Горького. В целом писатели, начинавшие свой творческий путь в те годы, составили могучую приливную волну в новой болгарской словесности. Назову хотя бы таких, как Георгий Джагаров, Димитр Методиев, Блага Димитрова, Лиляна Стефанова, Иван Цветков, Добри Жотев, Давид Овадия, Павел Матев, Иван Давидков, Иван Радоев, Ивайло Петров, Серафим Северняк, Стефан Дичев, Атанас Наковски, Климент Цачев, Орлин Орлинов. Став талантливыми преемниками и продолжателями лучших революционных традиций нашей литературы, они подняли ее партийный пафос на новый уровень. На их долю выпала исключительно сложная, но и почетная задача показать суть нового социалистического гуманизма в трудном столкновении с пережитками прошлого, а также с теми догматическими отклонениями от ленинских норм, которые принципиально и беспощадно осудила наша коммунистическая партия в исторических решениях Апрельского (1956 года) пленума ЦК БКП.

То, что мы называем «апрельским духом», это научно обоснованная, героическая вера в силу коммунистического идеала, в мощь народа, претворяющего его в жизнь.

С этой верой, с огромным зарядом оптимизма, сочетающегося с острой критикой недостатков, и вышло на сцену поколение, выросшее и проявившее себя после победы 9 сентября — первое поколение свободы. Пафос поиска, новаторских открытий объединил в нем широкий спектр ярких талантов. Время прибавило к этому поколению вторую, третью, четвертую волну активных творцов.

Ныне болгарская литература развивается на самом высоком современном художественном уровне, обладает жанровым и внутрижанровым многообразием, шагает в ногу со всем прогрессивным в мировом литературном процессе и сама оказывает влияние на него.

В последние годы наша проза снова переживает творческий подъем. Многие болгарские писатели создали свои лучшие книги: Павел Вежинов — сказавшийся, к сожалению, последним роман «Весы», Богомил Райнов — «Магический фонарь», «Трое одиноких людей» и «Тайну» — книги солидные, зрелые, подытоживающие этап в накоплении творческого опыта писателя; Андрей Гуляшки написал роман «Скиталец бродит по миру», Камен Калчев — значительную книгу «Песня Марии».

Нельзя не назвать и такие интересные произведения последних лет, как первая часть «Облавы на волков» Ивайло Петрова, «Холодное удаление» Дико Фучеджиева, «Я грешил до конца» Герчо Атанасова, «Катастрофа» Атанаса Наковского, а

также и ряд книг наших самых молодых беллетристов, среди которых назовем хотя бы трилогию Владимира Зарева.

Убедительно защищает свое право быть на переднем крае литературного процесса и современная болгарская поэзия. Три сборника под названием «Апрельские сердца» получили высокое общественное признание. Ярко выделяются стихотворения старейшей болгарской поэтессы Доры Габе (в том числе вышедший посмертно сборник «Мир — это тайна»), «На берегу времени» Елисаветы Багряны, стихи Младена Исаева, Венко Марковского, Павла Матева, Димитра Пантелеева, Димитра Методиева, Владимира Голева, Лиляны Стефановой, Ивана Давидкова, Станки Пенчевой и многих, многих других.

Говоря о нашей сегодняшней литературе, следует признать, что большой вклад в нее сделан художественной публицистикой и литературой для детей и юношества.

Наконец, на критическом фронте в последние годы наблюдается необыкновенное и радостное оживление, которому, безусловно, очень способствовали такие мероприятия, как встреча болгарских и советских критиков, конференция на тему о социалистическом реализме, и другие.

Наша критика несравненно повысила свое значение для повседневной литературной жизни. Наряду с известными критиками среднего поколения, такими как Наташа Манолова, Иван Попиванов, Здравко Петров, Иван Цветков, Тончо Жечев, Любен Георгиев, Атанас Свиленов, активно работают молодые литераторы, создавая умные и талантливые статьи и книги.

Все это — наше бесценное культурное богатство, мощный потенциал болгарской социалистической словесности.

Ныне за рубежом переводится вдвое больше произведений болгарской литературы, чем семь-восемь лет тому назад. Выдающиеся болгарские писатели, такие как Георгий Джагаров, Димитр Методиев, Йордан Радичков, и многие другие получили авторитетные международные награды.

О том, сколь сильно возрос в мире престиж болгарской литературы, свидетельствуют и Международные Софийские писательские встречи под девизом «Мир — надежда планеты».

Многообразна общественная деятельность писателей: встречи с читателями и героями будущих книг, поездки по стране с целью более глубокого проникновения в проблемы ее сегодняшней жизни.

В День слова Болгарии Союз писателей провел в каждой из древних столиц трибуну родной речи. Удовлетворение и гордость испытываем мы от создания нового учебника болгарской литературы (наша совместная работа с народными учителями), от литературных форумов, проводимых в Софии, во Дворце культуры. Плодотворна и полезна деятельность построенного и руководимого нами клуба — книжного магазина «Болгарский писатель». Широкую популярность приобрел Театр всемирной поэзии в Варне. Не перечислить всех литературных событий, которыми богат календарь культурной жизни Болгарии. Расширяется деятельность Союза болгарских писателей. Она обеспечивает всем литераторам возможность активной и полноценной творческой и общественной жизни.

Кое-кто считает, что работа писателя — только писать, а все остальное — пустая трата времени. Это, разумеется, не так. Художник должен быть в самой гуще событий, участвовать в них, выстрадать их, усвоить их суть, пропустить через разум и душу свою и вернуть людям постигнутое в виде художественного открытия. Вспомним некрасовское:

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.

Высокое творческое напряжение нашей жизни полностью соответствует высокому творческому напряжению, преображающему всю нашу родину. Ныне писатель по цели и смыслу своего труда, по ответственности, которую он несет перед обществом, ближе всего стоит к борцу идеологического фронта.

Мы смело можем заявить, что наша новая, социалистическая литература развивается успешно. Она становится все более глубоко народной, ее отличает все более широкий масштаб проблем, принципиальный партийный подход к их разрешению — это основное наше творческое оружие. Для нас большое счастье и великая привилегия черпать силы в могучем дыхании живого, развивающегося марксизма-ленинизма.

На последнем, Ноябрьском пленуме Центрального Комитета Болгарской коммунистической партии товарищ Тодор Живков изложил внушительную Программу социально-экономического и политического развития страны до 1990 года с учетом современной международной обстановки и ее перспектив. Для болгарских писателей это неоценимый пример классово-партийного проникновения в суть современной истории, урок политического реализма и революционного оптимизма, веры в будущее, освещенное лучом коммунистического идеала.

Несмотря на сказанное выше, у нас, разумеется, нет оснований для самодовольства и успокоенности. Со всей самокритичностью нам следует признаться в том, что, развивая социалистический демократизм, мы порой ослабляем силу сопротивления в поединке с бездарностью. И так же как сорняк растет скорее и напористее пшеничного колоса, бездарность пробивается иногда со страшной энергией. Следует всегда помнить, что компромисс с воинствующей бездарностью — это не только эстетический, но и нравственный и политический компромисс. Вне всякого сомнения, у нашей литературы есть силы, чтобы не допустить засилья посредственности.

Если при трудностях и неудачах, которые мы хорошо знаем, болгарская литература развивается успешно, то есть ли у нас основания с такой серьезностью и остротой, как мы хотим это сделать, ставить проблему необходимости исторического оптимизма в литературе? Ведь мы поднимаем вопрос, разумеется, не для того, чтобы просто провести проверку и закончить ее приятными констатациями.

Ход исторических событий привел сегодня к конфронтации мира капитала и мира социализма, между которыми существует военно-стратегический паритет. Именно поэтому столь важное значение приобрела сейчас оптимистическая вера в будущее. Между оптимизмом и пессимизмом не может быть никакого паритета.

Ускоренное и все ускоряющееся развитие в разных областях жизни («акселерация», как говорят ученые) само по себе было бы основанием для оптимистического взгляда на будущее, для веры в добрый смысл научного и духовного прогресса, если бы не опасное противоречие между разными типами общественного сознания.

Наука овладела атомной энергией — империализм превратил ее в атомную бомбу. Говорят, что когда эти чудовищные бомбы были сброшены на японские города Хиросиму и Нагасаки американскими «летающими крепостями», великий Альберт Эйнштейн с чувством личной вины воскликнул, что человечество еще не готово для этого открытия, что ныне оно походит на малого ребенка, у которого в руках острая бритва. Метафора Эйнштейна ужасна, потому что она верна!

Огромные потенциалы ядерной смерти, вмонтированные в самые точные современные ракеты, создают реальную угрозу полного уничтожения человеческой цивилизации, а может быть, и вообще жизни на планете Земля. И когда человек видит, что на Западе это оружие защищает эксплуатацию, несправедливость, что с его помощью империалисты хотят остановить прогресс, это может превратиться для него в источник пессимизма и безнадежности, неверия в смысл человеческой истории, в самого человека. Даже если такой пессимизм существует в пассивной форме аполитизма и безыдейности, результат его все тот же — утрата человеком веры в смысл жизни, в будущее, в собственные силы и силы народа.

Проблема исторического оптимизма не нова для нашей литературы. Как и всякому народу, нашему многострадальному народу всегда была свойственна высшая вера в конечную победу добра и справедливости, в торжество равенства, в счастье. Этой верой питаются народные сказки и песни, этой верой всегда было отмечено творчество наших выдающихся писателей. Книги Ивана Вазова насквозь проникнуты оптимистическим мировосприятием. И в гневе, и в скорби, и в порыве восторга, и в тихой печали и в нежной радости Вазов утверждает силу человеческой доброты и благородства, красоту души народной.

Даже в периоды, когда история подвергала нашу страну зловещим испытаниям, когда горе и отчаяние охватывало народ, порабощенный османским игом или потрясенный предательством идеалов национальной революции болгарской буржуазией, даже тогда неискоренимым оставался исторический оптимизм народа.

Надлом духа, печальный жребий целого поколения раскрывается перед нами в творческой и житейской судьбе поэта Пейо Яворова. Страшен путь его от стихотворения «Пессимисту» до непроглядной «Ночи». И все-таки чистота и лиризм гайдуцких грез спасают, возвышают и Яворова, и его литературную эпоху от падения в бездну пессимизма.

Не тихострунное рыдание, а заряд светлой веры несла в себе поэзия Димчо Дебелянова, нашедшего силы в раскисшем, кровавом окопе написать:

Но сердцу не дано грустить,—
Кто знал сиротство в жизни этой,
Тот будет счастлив, может быть,
В час смерти встретившись с победой.

(Перевод Д. Самойлова)

С наступлением ужаса первой мировой бойни, казалось бы, начали сбываться все самые мрачные предсказания пессимистов. Но вспыхнул другой пожар — пожар всемирной надежды, пожар, названный Великой Октябрьской социалистической революцией. Путь революции болгарский народ принял как откровение. На этом пути он искал свою судьбу. Революционная вера дала силы Христо Смирненскому, уже смертельно больному, воспеть светлое утро новой эры.

Болгарские писатели, погибшие в пламени Сентябрьского антифашистского восстания 1923 года, оставались до конца верными своему народу. Для них ботевское самопожертвование стало традицией. Они создали для нас модель нового революционного оптимизма.

Все, что писали философы и поэты,
сбудется! —

предсказал поэт-пророк Гео Милев.—

Знаем!
Без хозяина! Без бога!
Нам сентябрь будет маем!
Пусть воспрянут
для свободы
человеческие всходы,—
верь,
з е м л я н а м р а е м —
будет!

(Перевод Музы Павловой)

Зверские расправы фашистов над патриотами-революционерами, казалось бы, должны были сломить дух народа, но именно тогда идеалы Болгарской коммунистической партии вывели на литературный фронт шеренгу новых, дерзких, восторженных творцов, которые вновь подняли светлое знамя исторического оптимизма.

Людмил Стоянов и Николай Хрелков, Георгий Караславов и Младен Исаев, Христо Радевски и Ангел Тодоров, Орлин Василев и Гьончо Белев, Тодор Генов, Крум Пенев, Крум Велков, Стоян Даскалов, Иван Мартинов и другие — это были писатели, посвятившие себя партии, ее борьбе и ее вере.

В глазах буржуазных эстетов того времени многие из этих писателей были лишь рабочими, взявшимися не за свое дело, «грубыми агитаторами». Но среди них-то и родился художник (который действительно был рабочим), чье творчество стало эталоном поэзии того времени — и навсегда. Этот поэт — Никола Вапцаров. В его стихах торжествует сплав героического, трагического и оптимистического, который мы определяем понятием «вапцаровская вера». На нее держали равнение последую-

щие поколения. Те прекрасные в своей безумной отваге молодые поэты и прозаики, которые ушли партизанскими тропами. Те, кто погибли, прежде чем успели реализовать себя в творчестве, оставив нам лишь первые свидетельства своего таланта. А также и те немногие, что вернулись с победой, чтобы доказать: свидетельства эти были подлинными.

Мы особенно чтим писателей революционного поколения, являющихся живым воплощением преемственности идей в нашей литературе. Прекрасно, что сегодня в едином строю работают, создавая современную литературу Болгарии, вечная и святая оптимистка Елисавета Багряна, и участник Сентябрьского антифашистского восстания 1923 года Младен Исаев, и писатели тридцатых годов — все поколения творцов болгарской словесности, вплоть до самых молодых.

Мне хотелось бы с любовью заверить наших старших коллег и учителей по литературе: мы никогда не уроним знамя нашей веры и оптимизма, ибо сознательное, конструктивное мировоззрение, каким является марксизм-ленинизм, не может не быть оптимистическим. Однако в нынешний исторический момент понятие оптимизма приобретает новое значение. Старая вапцаровская «вера в человека и в добро» не перестает быть для нас святой. Но она уже недостаточна, чтобы выстоять против отчаяния и страха перед гибелью. Проблема исторического оптимизма выдвигается сегодня на передний край в литературе как одна из основополагающих проблем социалистического реализма.

Она всегда волновала первопроходцев и основоположников социалистического реализма. Они воспринимали оптимизм как политическую основу, классовую тенденциозность, отличающую социалистический реализм от классического критического.

К этой истине нас возвращают и документы исторического Первого съезда Союза советских писателей, чье пятидесятилетие отмечалось в 1984 году на волнующем торжественном пленуме СП СССР. Полвека назад условия фашистской диктатуры в Болгарии не позволили ни одному болгарскому писателю присутствовать на этом съезде. Но мы гордимся тем, что в почетный президиум его единодушно был избран Георгий Димитров. Теперь же нам была предоставлена счастливая возможность выразить свое восхищение и преклонение перед делом великой горьковской когорты пролетарских писателей, перед всей советской литературой.

Революционная родословная нашего идеала ведет нас к тем, кто заложил основы научного коммунизма,— к Марксу, Энгельсу, Ленину. Нам необходимо вернуться к истокам, потому что это даст возможность более полно и ясно определить смысл понятия «исторический оптимизм» и предостережет от неточных, ошибочных толкований, а также опровергнет аргументы тех, кто сознательно фальсифицирует наши идейно-творческие позиции.

Оптимизм — это способ мышления, мироощущение, вера в прогресс. Оптимизм — это мировоззрение, генерально и вечно противостоящее пессимизму. Широко распространено буржуазное понимание оптимизма как удовлетворения по поводу существующего положения. Но даже Лейбниц, выразивший идею абсолютного оптимизма словами о том, что мы живем в «наилучшем из возможных миров», предвидел возможность бесконечного совершенствования этого «наилучшего из миров». Нашей же философии и идеологии глубоко чуждо понимание оптимизма как самодовольного восторга перед всем окружающим.

Однако кроме убежденных и сознательных, «идейных» пессимистов существует немало людей, в том числе и мыслителей-философов, и художников, считающих и оптимизм и пессимизм одинаково неполноценными мироощущениями. Например, на определенном этапе своего творческого поиска Александр Блок заявлял, что оптимизм, если он свойствен человеку, делает его мировоззрение довольнотаки бедным, что обычно исключает возможность полного восприятия мира. Блок подчеркивал ту мысль, что оптимизм никогда не совпадает с трагическим взглядом на мир, а лишь он один в состоянии дать ключ для проникновения в сложность бытия.

До конца своей недолгой жизни Блок пережил и изжил это свое заблуждение. Но оно распространено и поныне. Разумеется, не существует «трагического мировоззрения» как такового. Категория трагического исключительно важна для эстетики, для искусства, для литературы. Но она не тождественна понятию «пессимизм». В жизни, а следовательно и в искусстве, у оптимистического представления о мире более серьезные основания для настоящего трагизма, в особенности для героической трагедии. Пессимистический же взгляд на жизнь, не обещая ничего хорошего, по сути исключает возможность разочарования, и все пессимисты, которых я когда-либо встречал, жили значительно спокойнее оптимистов, хотя непрерывно на все жаловались. Пессимист меньше рискует, он не склонен к альтруизму, в героическом поступке не видит никакого смысла, он не лучится тем теплом, которое исходит от людей, вдохновенно работающих на благо общества.

Но людей нельзя разделить на «чистых» пессимистов и оптимистов. И пессимизм и оптимизм живут и борются внутри каждого из нас. Оптимист — это не автоматически хороший, праведный, безгрешный, прогрессивный человек. И пессимист тоже не означает противоположного. Вообще, когда речь идет о живых людях, абстрактные понятия нельзя применять как клеймо осуждения или же знак превосходства. То же следует сказать и о литературных героях. Мы чужды такого упрощенчества. Однако в сфере идей, исповедуемых писателем через героев своих книг и в личных рассуждениях, а также когда речь идет о звучании какого-то его произведения в целом или даже всего творчества, ориентацию мироощущения (оптимистическое или пессимистическое) определить можно. Более того — необходимо, ибо оптимизм как эстетическая категория искусства есть величина, производная от важнейшего понятия марксистско-ленинской

философии — понятия исторического оптимизма.

Мы исповедуем научный коммунизм, а не утопический. Для нас оптимизм, не имеющий научного обоснования, не стóит ломаного гроша. Такой несостоятельный оптимизм не только не принесет пользы, он причинит определенный вред.

Утверждают, что философский, гносеологический водораздел между пессимизмом и оптимизмом начинается с отношения к бесконечности вселенной, к смерти и бессмертию.

Пессимизм — выражение безысходного ужаса перед бесконечностью. Смерть для пессимиста — доказательство полной бессмысленности всего. Вспомним высказывание Блеза Паскаля о том, как ужасает его «это вечное молчание безграничных пространств». Для него метафора существования — мы мчимся к пропасти, закрыв глаза, чтобы не видеть ее.

А Дюбуа-Реймон, говоря о границах познания, заявлял, что мы «не знаем и никогда не узнаем», какова природа всего нас окружающего.

Вот что такое гносеологический пессимизм и как он звучит в своем самом блестящем выражении.

Более современные пессимисты — такие как Ясперс, Фрейд или Оруэлл — вряд ли добавят что-либо существенное к этой бездне отчаяния.

А вот что считают сторонники гносеологического оптимизма. Барух Спиноза как бы в шутку говорит, что свободный человек ни о чем не думает меньше, чем о смерти, и мудрость его состоит именно в том, что он думает о жизни, а не о смерти. Фейербах находит поэтическую формулу выражения, говоря, что ежеминутно человек до дна выпивает чашу бессмертия, которая вновь наполняется подобно чаше Оберона.

И если уж философы выражаются как поэты, позволим себе и мы высказать нечто близкое к философии: смерть — основной аргумент пессимизма, жизнь — оптимизма. В некотором смысле конец — знак пессимизма, бесконечность — знак оптимизма. Утверждая, что вселенная вечна и безгранична, диалектический материализм проявляет великий оптимизм.

Результатом глубокого непонимания является предрассудок, будто оптимизм некритичен, а пессимизм связан с критическим началом. Еще раз вспомним писателей-революционеров — гордость нашей национальной литературы. Вряд ли кто-нибудь упрекнет Христо Ботева в том, что он смотрел на мир сквозь розовые очки. Беспощадно раскрыл он нищету, страдание, унижение болгарского народа до революции. Но сделал это дабы разбудить его национальное самосознание. Никто не оставил нам более выстраданного и более яркого во всей болгарской литературе луча надежды, никто не высказал яснее и поэтичнее мысль о том, что в борьбе за свободу не только смысл жизни и оправдание смерти, но и победа над смертью, в ней — бессмертие.

Каким же духовным величием должны были обладать писатели-революционеры, окруженные не литературным, а самым настоящим отчаянием, чтобы над кровью и ужасом высоко поднять знамя надежды!

На торжественном пленуме Союза советских писателей в сентябре прошлого года Константин Устинович Черненко сказал:

«Сейчас литература, кино, театр нередко обращаются к сложным, противоречивым явлениям. И в этом нет ничего удивительного. Противоречия естественны и неизбежны в процессе развития социалистического общества. И, конечно же, они всегда так или иначе влияют на судьбы людей, становятся источником нравственных коллизий. Тем более, что преодоление этих противоречий, хотя они и не носят у нас антагонистического характера, требует немалых усилий, большой гражданской смелости, принципиальности. Это — богатейшая пища для размышлений писателя, для того, чтобы выполнять извечную миссию литературы: побуждать общество, каждого человека пристальнее, строже взглянуть на самого себя. Для того, чтобы помогать ему всегда и во всем занимать активную позицию стойкого борца за наше общее дело».

И если для строителей нового метода, реализм и революционный романтизм были источниками созидания то столь же ясно они сознавали и значение оптимизма как философского пафоса литературы. Вот как говорил об этом Луначарский:

«Есть некоторое сходство между Горьким и великим французским писателем Флобером, но есть и большое различие. И тот и другой своеобразно соединяли в себе романтизм и реализм. Но Флобер, умирая, был полон пессимизма, считал, что весь мир — дурацкая бессмысленность, проклинал все и больше всего науку. Горький живет, возвышаясь, в какой-то все более и более ясной уверенности в победе человечества».

Своей смелой, дальновидной политикой, своей проникновенной, неспокойной, вечно ищущей и открывающей новые просторы мыслью Болгарская коммунистическая партия учит нас мечтать и осуществлять свои мечты. 24 апреля 1984 года на встрече Политбюро и Секретариата Центрального Комитета Болгарской коммунистической партии с активом научно-технической интеллигенции Болгарии товарищ Тодор Живков призвал к решительному повороту в мышлении и в подходе к задачам нашего развития.

Это призыв не только к научному и техническому прогрессу. Он носит всеобщий характер, касаясь любой из сфер нашей жизни, в том числе, разумеется, и литературы.

Революционное мышление издавна было присуще лучшим представителям болгарской литературы. Оно есть корень и кровь, знамя нашей словесности и ныне. Но его нельзя механически переносить из одной эпохи в другую, из одних условий в другие, ставить на службу то одной, то другой цели. В литературе это может привести к псевдореволюционной фразеологии, ничего не означающей позе, к пародии на революционное мышление. К сожалению, такие примеры действительно можно найти. Они лишь компрометируют подлинно

современное революционное мышление.

Ныне оно — мышление созидания, революционного творчества. Заложены ли в нас реальные предпосылки для него? Да! Потому что мы обладаем классовыми, партийными критериями, выработанными нашей марксистско-ленинской, благоево-димитровской партией, и еще потому, что исторический оптимизм — не абстракция, а живой дух нашего народа.

За что сегодня борется наш рабочий класс, весь наш трудовой народ, его сознательный авангард — партия коммунистов? За претворение в жизнь смелой, научно выверенной программы совершенствования общества, за гармоническое развитие личности, за то, чтобы приблизить время, когда люди будут жить по законам красоты.

Революционное мышление нам необходимо, чтобы освобождаться от всего устаревшего, отжившего, чуждого нашей действительности. Чтобы преодолевать потребительство, эгоизм, бескрылое самодовольство. Литература должна научить нас в любой ситуации отличать прогрессивную позицию, находить верный путь.

Именно о таком революционном оптимизме мы и говорим. Об оптимизме, без которого человек не дерзнул бы заглянуть в будущее, об оптимизме — способе идти вперед, об оптимизме — революционной сути истории и искусства.

Проблема исторического оптимизма имеет много разных аспектов. На протяжении короткой человеческой жизни у нас на глазах происходит такое загрязнение, точнее, такое варварское осквернение окружающей среды, что, кажется, уже скоро дождь не в состоянии будет обеспечить нас питьевой водой и утолить жажду человечества. Леса и океаны не поспевают восстанавливать кислород, сгорающий в горниле нашей современной техники. Похоже, что медленно умирает природа, родившая человека, взрастившая его, внушившая ему представление о прекрасном и уродливом, о добре и зле. И сегодня человек уже не борется с природой, как делал это тысячелетия кряду, а впервые задумывается, как бы помочь ей, как спасти ее. Потому что, если эта живая природная среда погибнет и будет заменена умной техникой, неизвестно, продолжится ли существование рода человеческого, останется ли человек таким, каким мы его знаем.

И вот появляются новомальтузианские витии, предсказывающие, что демографический взрыв значительно страшнее ядерного. Надвигается, как космическое пугало, предсказание апокалипсиса. И мы не можем не отдавать себе отчета в том, что все это — новые, чудовищные и вполне реальные источники всемирного пессимизма — вечной идеологии отмирающего класса. Этот пессимизм, этот духовный разрушитель подползает к сердцу нашего «верую» и хочет погасить надежду.

Вот почему мы так остро ставим именно сейчас проблему исторического оптимизма. Долг писателя дать альтернативу мрачным предсказаниям, поддержать своим творчеством источник, освещающий дорогу в будущее. Силой искусства, силой мечты показать нам образ этого будущего как образ свободы, красоты и творчества. Я назову это будущее его настоящим именем — коммунизм.

Этот писательский долг велик и непреложен. Некому за нас исполнить его. Это наше дело.

Ошеломительная научно-техническая революция XX века, особенно его второй половины, привела к фантастически быстрому осуществлению многих утопий, которые человечество рождало и лелеяло на протяжении веков и тысячелетий. И кажется, наука уже опережает мечту. Впервые люди, похоже, остаются без прекрасных грез. Остров Утопия — это просто курортный центр, и на карте нет больше неоткрытых островов. Прометей работает на атомной электростанции, а Икар летает среди отдаленных звезд...

Научная фантастика, которая становится все более популярным жанром (где, кстати, у нас тоже есть свои успехи), процветает преимущественно на базе научного прогноза, описывая в первую очередь технику будущего. А будущее, как состояние духа, как образ жизни и взаимоотношений между людьми, это будущее еще не нашло в литературе убедительного воплощения.

На недавно состоявшейся острейшей дискуссии между учеными-физиками, информатиками и писателями в бельгийском городе Льеже я спросил одного из выдающихся кибернетиков: чего не смогут, по его мнению, делать в будущем всесильные мыслящие машины, если уже сейчас они умеют писать стихи? Ученый ответил: они никогда не будут уметь верить и любить.

Я с ним согласен. Ничто никогда не сможет заменить человека в его великой миссии: любить и верить. А ведь в ней — основной смысл искусства и литературы.

Мы счастливы и горды тем, что наша партия, наше социалистическое общество смело, уверенно и с оптимизмом смотрят в завтрашний день. Наше представление о нем не основывается только на развитии мыслящей техники, в первую очередь оно предполагает всестороннее развитие личности и веру в ее неисчерпаемые возможности.

В своем слове «Великий день Болгарии» товарищ Тодор Живков вдохновенно заявил:

«Заглядывая в будущее, мы видим Болгарию зрелого социализма, видим ее дальнейший расцвет в условиях прочного мира во всем мире, в братском единении с другими социалистическими странами. Пусть торжествует в веках историческое дело 9 сентября 1944 года — день первый нашей социалистической революции!»

С этой нашей верой в будущее, с любовью к человеку давайте сообща выполнять свой писательский долг перед народом.

◆

Критика

ИРИНА МЛЕЧИНА

ОТ ДЖЕЙМСА БОНДА ДО ДЖОРДЖА СМАЙЛИ

70—80-е годы стали временем чрезвычайного распространения на Западе политического детектива, особенно той его разновидности, которую условно принято обозначать как «шпионский роман». Литература этого рода обладает вполне устойчивыми признаками: детективный сюжет строится на актуальном международно-политическом материале, а традиционного сыщика вытесняет фигура агента спецслужб. Причины обострившегося интереса к подобным произведениям следует искать в самых разных сферах общественной и духовной жизни современного западного общества. Будучи элементом массовой культуры, этот жанр подчиняется законам ее функционирования. А поскольку нынешний этап отличается небывалым засильем коммерческого искусства во всех капиталистических странах, то, естественно, возрастает и потребление такой литературы. Сказываются здесь и законы конкурентной борьбы, и резкое сокращение субсидий на культурные нужды, заставляющие книгоиздателей ориентироваться на боевики, часто со «шпионской» тематикой, хорошо раскупаемые и потому гарантирующие кассовый успех.

Но и внутри массовой литературы подобные произведения едва ли не теснят другие традиционные разновидности романа, все более завладевая читательским вниманием. Они сулят не просто занимательность, напряженный сюжет, острые ощущения, но и как бы обещают дать интерпретацию ключевых политических событий, раскрыть некую «тайну» современной сложной политической ситуации, прояснить механизм международных взаимозависимостей.

Вот здесь-то и обнаруживается силовое поле этой литературы, активно используемое на Западе для манипуляции массовым сознанием: «шпионский детектив» нередко служит закреплению самых реакционных политических и идеологических концепций. Среди них ключевое место отводится идее «мировой коммунистической опасности», «красной угрозы». Сама по себе идея не нова, однако в последнее время все чаще пускается в ход для подогревания антисоветских настроений. Литература, о которой идет речь, оказывается важным средством западной пропаганды, создавая образ «врага», угрожающего «свободному миру». С ее помощью осуществляется поточное внедрение разнообразнейших антисоветских мифов. В частности, «шпионский детектив» становится существенным пропагандистским подспорьем стратегии «сдерживания» и политики наращивания вооружений: антисоветизм выдается за ответную реакцию на «вызов» со стороны СССР, на происки и козни «советских агентов», угрожающих безопасности Запада.

Как осуществляется эта функция, каковы средства формирования подобных идеологических установок?

Во-первых, посредством самого сюжета, который строится на сходных, повторяющихся элементах: высадка «советского десанта», внезапное «вторжение русских» в мирную жизнь западной страны, разоблачение опаснейшего «агента красных», затаившегося где-то в высших эшелонах власти и грозящего нанести непоправимый ущерб, разрушить привычный миропорядок. Во многих романах описываются — порой с привлечением псевдодокументальных средств — детальные «планы русских», осуществление которых якобы чревато гибелью всей западной цивилизации. Настойчивым рефреном звучит в них апокалипсический мотив «советской военной экспансии», живописуются сцены молниеносного захвата то отдельных европейских городов, то целых государств, а то и всей Западной Европы или даже всего мира.

Закреплению реакционных идеологем служит и фигура героя. Хотя в последние

полтора десятилетия создано немало новаций, свидетельствующих о стремлении многих авторов уйти от старых штампов хотя бы в изображении «протагониста», идеологический эффект остается неизменным.

Каким же предстает сегодня герой «шпионского детектива»? Какие «ценности» утверждает, за какие «идеалы» сражается? Какую трансформацию проделал со времен флеминговского Джеймса Бонда, успевшего стать эталоном, точнее говоря, стереотипом «секретного агента»?

В 70-е годы не раз высказывалась точка зрения, согласно которой традиция «бондианы» безнадежно себя исчерпала, стала анахронизмом. Однако уже первая половина 80-х доказала живучесть неутомимого супермена. Правда, авторы современных романов о шпионах заметно стремятся к более высокому художественному уровню, к отказу от «бондовских» клише, но многие их сочинения все же отчетливо следуют этой традиции.

Дело здесь, по-видимому, в точно найденном типе: «человек действия», стоящий на страже «твердынь» западного мира и всегда готовый ради них применить насилие и выйти победителем. Ему позволено убивать, вершить самосуд, имея неизменное алиби «борца за свободу», которую иным путем невозможно защитить от сил «абсолютного зла». Ведь именно как фигуру, противостоящую опасным «заговорщикам из-за железного занавеса», задумывал своего супермена Я. Флеминг. «Сегодня,— пишет «Шпигель»,— почти забыто, какую роль играли подобные доводы в коллективном антисознании Запада времен «холодной войны».

Да, серьезная западная критика говорит о Бонде с усмешкой. Его зрительская аудитория очень помолодела — преимущественную ее часть составляют дети и подростки. И тем не менее каждый очередной боевик бесконечной «киноэпопеи» привлекает и зрителя вполне зрелого, респектабельного. Четырнадцать до сих пор вышедших фильмов о Бонде посмотрело более миллиарда человек — статистика «самого успешного сериала в истории кино». И хотя зритель знает, что увидит лишь новые варианты стереотипных ситуаций, он устремляется в кинозалы.

Популярность этого «киноэпоса» заставила некоторых западных специалистов заговорить о том, что тайный агент 007 «давно стал мифом», к которому нельзя подходить с обычными киномерками, одним из «архетипов сказки XX века». Сочинения Флеминга об агенте 007 строятся чаще всего по одной схеме: герою противостоит суперзлодей, нередко с политическими амбициями глобального характера. Устранив приспешников злодея, Бонд добирается до его штаб-квартиры, где в фантастическом, требующем невероятной изобретательности, ловкости и силы поединке, включающем использование новейшей техники, одерживает верх, чтобы в финале оказаться на борту роскошной яхты, в салоне подводной лодки или на горном курорте, непременно в объятиях очередной роскошной блондинки.

Итальянский ученый и писатель У. Эко проводит параллель между «сагой» о Джеймсе Бонде и традиционной сказкой. Шеф тайной полиции в этой мифологии — король, Бонд — рыцарь (или принц), его главный противник — дракон, спасаемая Бондом красотка — спящая принцесса и т. д. И политический конфликт в этих фильмах предстает как часть все той же мифологии. «Между «свободным миром» и Советским Союзом, между Англией и неанглийскими странами,— комментирует У. Эко,— возникает примитивная эпическая связь, как между избранным и варварским народом, между белым и черным, добром и злом...»

Здесь выделен важный аспект, который во многом определяет причины популярности сериала. Бонд, по сей день импонирующий и подросткам, и вполне солидным отцам семейств, Бонд — мечта «узкогрудых клерков», ведущих кабинетно-сидячий образ жизни, притягателен не только потому, что динамичен и ловок, что он спортсмен, гонщик, стрелок и, главное, всегдашний победитель, утоляющий их «неистребимую тоску по сильной личности», способной гарантировать «закон и порядок». Не только потому, что символизирует «потребление и престижность», что к его услугам новейшие марки автомобилей, ракетные мотоциклы и лучшие отели западных столиц. Суперагент 007 выступает в роли борца за идеалы «свободного мира», и потому, по признанию западной критики, он имеет феноменальный успех, особенно в моменты кульминации «холодной войны». Все это оказалось в духе 80-х годов, когда на Западе поднялась неоконсервативная волна и обнажилось стремление значительных слоев западного общества к «традиционным идеалам», усилились охранительные, конформистские тенденции. Бонд, как справедливо замечает критик, «борется за сохранение существующего порядка» он «реакционен до мозга костей».

Не случайно президент США Рейган столь высоко оценивает этого киногероя, считая его «ценным символом свободного мира», «современным вариантом великого героя истории», посвятившего себя «торжеству справедливого дела». Президент признается, что во времена своей актерской деятельности был бы «в восторге», если бы ему «дали сыграть Бонда».

Такое соответствие «духу времени» объясняет, в частности, почему, несмотря на отказ от самых примитивных схем, рецидивы «бондизма» и сегодня возникают во многих детективах. Герой-агент некоторых романов 70—80-х годов, тема которых все та же «красная угроза», кажется родным братом энергичного супермена, если не его двойником.

Большинство подобных произведений обычно лишено эстетических амбиций — их художественный уровень следует искать где-то в области минусовых величин.

В романе английского автора К. Томаса «Морской леопард» (1981) борьба со злокозненными русскими ведется сразу на два

фронта: на суше бравый сотрудник британской спецслужбы Хайд успешно преследует злобного Петрунина, задумавшего выкрасть и переправить в Москву выдающегося английского инженера-электронщика, создателя уникальной компьютерной установки для подводных лодок; на море доблестный натовский офицер Кларк в отчаянной схватке с советским десантником Арденьевым, нагло похитившим английскую субмарину, одерживает верх, спасая подлодку, компьютер и честь «правящей морями» Британии.

Это сочинение, выдержанное в «жестком стиле», опирается на героя, которому не стыдно было бы появиться на экране рядом со своим прародителем. Правда, блеск экстерьера теперь не всегда сопутствует западному тайному агенту: иногда он даже выходит слегка потрепанным из очередной схватки с настырным противником. И все же его доблести неоспоримы: он может, как в романе Томаса, совершить баснословный по продолжительности заплыв в ледяной воде северного моря, тайно пробраться в чужестранный военный порт, в одиночку захватить коварно похищенную подлодку, в одиночку же исправить уникальный компьютер, между делом уничтожить надоедливых врагов и с триумфом вывести подводный корабль на морские просторы....

В романе «Президентский самолет приземлился» (1980), написанном американским автором Дж. Деннисом по мотивам произведений его коллеги А. Маклина, действует авантюрист и преступник международного класса по имени Смит. Он задумывает захватить личный самолет президента США, в котором летят министры ряда арабских стран — экспортеров нефти, и заполучить баснословный выкуп. Однако зловещий мистер Смит только думает, что держит нити плана в своих руках. На самом деле за ниточки дергают, конечно, русские, намеренные резко обострить отношения между США и арабскими государствами. Заправляет всем в романе некий Мышкин (заметим в этой связи, что авторы «шпионских детективов» редко затрудняют себя хотя бы подбором имен и фамилий — благо, они что-то слышали о русской классике, в результате чего появляются на страницах их сочинений устрашающие типы вроде Мышкина или Хлестакова из романа Л. Дейтона «Берлинская игра»). Вышеозначенный кровожадный Мышкин поручает своему подручному просто-напросто убить похищенных министров, дабы нанести престижу Соединенных Штатов максимальный ущерб.

Так читателю в очередной раз внушают мысль о беспредельном коварстве русских, которые не останавливаются ни перед чем для достижения своих «глобальных планов». Оказывается, Москва в своих действиях опирается на «ультралевые террористические группы» в разных странах, и бесчисленные участники этих отрядов взрывают бомбы и убивают прохожих «по указке Кремля». Противостоит же страшному заговору, в котором Советский Союз якобы объединился с преступным миром Запада и террористами всех мастей, герой «бондовского класса», руководитель службы безопасности президентского самолета. Он целым и невредимым проходит через ужасные испытания: его похищают, пытают, заточают в темницу под охраной цепных псов и фанатичных убийц, но он выбирается из плена и спасает заложников, опираясь на поддержку всего лишь пожилого профессора-психолога, возглавляющего некую международную организацию по борьбе с преступностью, да молодой красотки, которая во имя благородной миссии временно отказывается от своего хобби — кражи бриллиантов. Верный и мужественный американец преодолевает все препятствия и восстанавливает «закон и порядок».

Правда, сегодня многие авторы, стремясь к большей социально-бытовой и психологической достоверности, считают неловким использовать трюковые стереотипы «бондианы». Желание уйти от штампов проявляется и в попытках модифицировать фигуру героя, и в определенном критицизме по отношению к западному образу жизни. Но при этом сохраняется неизменным культ «сильного героя», проглядывающий порой и там, где его пытаются замаскировать.

Это особенно заметно в романах последнего десятилетия, актуальная политическая проблематика которых предстает в модной экзотической упаковке. Действие переносится из США и Западной Европы на Восток: в Гонконг или Сингапур, Японию или Таиланд. В романах «Ниндзя» и «Черное сердце» Э. ван Ластбейдера, «Сибуми» Тревеньяна, «Доктор из города джонок» Конзалика и многих других показан «сильный человек», безупречно владеющий разнообразными секретами победы, в частности древними восточными боевыми искусствами. С их помощью он противостоит все той же «красной опасности». Мистифицирование восточных боевых искусств, придание им иррационального смысла, как и культ жестокого насилия, убийства — характерная черта произведений, действие которых перенесено на Восток.

Авторы умело эксплуатируют интерес современной западной публики к различным неорелигиозным ритуалам, избирая страны Востока как живописную арену политического противоборства. Герой такого романа — человек, нередко наделенный сверхъестественным даром и, главное, владеющий техникой боя: он убивает чаще всего без оружия, движением рук или ног, или просто усилием воли, актом необычайной волевой концентрации. Ритуал поединка изображается, как правило, во всех подробностях натуралистического свойства.

Герой романа «Черное сердце» (1983) Эрика ван Ластбейдера — молодой американец Трэйси Рихтер, который обучался боевым искусствам у японского мастера и владеет ими в совершенстве. В свое время в составе специального американского отряда он был заброшен в кампучийские джунгли. Его возлюбленная, желая понять, чем он занимался в те годы, вполне серьезно спрашивает: «Ты спасал мир от коммунизма?» Немногословный Трэйси, который не любит распространяться ни об

этой «миссии», ни вообще о своей службе в «спецотряде», прямого ответа не дает, но читателю становится совершенно очевидно, что функция этой и других американских спецслужб в Юго-Восточной Азии именно в этом и состояла. Впрочем, Трэйси признается, что еще в молодости считал главной задачей «выгнать коммунистов из Вьетнама и Камбоджи».

Активный борец против коммунизма предстает в романе как воплощение мужества, чести, доблести и верности идеалам «свободного мира»

Если Трэйси — олицетворение добра и справедливости, то противостоящий ему молодой кхмер Кхиеу — синоним зла, холодный дух смерти. Оказавшись на службе у американского миллионера-авантюриста, в прошлом также секретного агента в Камбодже, а ныне захваченного маниакальной идеей подчинить себе весь мир, Кхиеу становится человеком с «черным сердцем», убийцей с «пустыми бездонными глазами». Он наделяется сверхъестественными способностями: это «не просто человеческое существо, это нечто гораздо большее»,— говорит Трэйси Рихтер, единственный, кто в состоянии помериться с ним силой. Только Трэйси может спасти Америку и остальной «свободный мир» от этого страшного зла (чем не старая схема с доблестным «рыцарем» и страшным «драконом»?).

И добро и зло, к тому же приправленные изрядной дозой мистики в неожиданном сочетании с вольно трактуемыми фрейдистскими мотивами, предстают в романе в «сверхнатуральную величину». Суперсовременная техника «бондианы» заменена древними восточными приемами ведения поединка, место головоломных трюков занимает неспешное и бережное изображение ритуала убийства, перемежаемое отрывочным изложением принципов дзен-буддизма и описанием медитаций, которым предается герой. Итог, однако, сходный: горы трупов и торжествующий супермен. Впрочем, триумф омрачен вновь сгущающимися в самом финале тучами: враги не дремлют.

Секс и насилие, давний рецепт массовой культуры, становятся основой и романа Э. ван Ластбейдера «Ниндзя» (1980), также обыгрывающего экзотические восточные мотивы. Другой элемент его «поэтики» — прямое столкновение добра и зла, воплощенных в двух равных по силе и военному мастерству соперниках, спор которых решается в финальном поединке, разумеется, в пользу «добра», то есть Запада. В романе «Ниндзя» тоже изображается соперничество двух высших мастеров японского военного искусства. Один из них, американец японского происхождения, воплощающий верность принципам и ценностям западного мира, противостоит другому — злодею, владеющему особо древним, уже утраченным в наши дни искусством убивать. В ходе их столкновения выясняется, что соперники — двоюродные братья, получившие одинаковое воспитание, но пошедшие в жизни диаметрально противоположными путями. Герой колоссальным усилием воли одерживает верх, спасая Америку от зловещего убийцы, являющего собой еще один вариант «черного сердца».

И в романах Э. ван Ластбейдера, и в умело построенном романе Тревеньяна «Сибуми» (1979) действует преступный международный концерн, жаждущий захватить власть над миром (в фильмах о Бонде сходную функцию выполняет обычно некий гангстер-миллионер, которому нередко оказывают покровительство «из-за железного занавеса»). Он — не столько порождение «свободного мира», сколько метафизическая угроза его принципам, и спасти эти принципы, как всегда, может лишь сильный герой вроде Трэйси Рихтера или Николая Хеля, родившегося в Шанхае сына русской аристократки и немецкого барона («Сибуми»). Эти произведения расчетливо снабжены элементами социальной критики и политического разоблачения. В «Черном сердце» показан, например, механизм обработки общественного мнения в США, коррупция среди правящей верхушки, разжигание военного психоза. В «Сибуми» в малопривлекательном свете предстают американские спецслужбы и оккупационная политика США в Японии. Однако и здесь и там фальсифицируется характер основного политического противоборства в мире, реальный смысл ключевых событий современной истории.

Изобретательнее, тоньше, чем во многих произведениях этого жанра, представлен в последнем романе герой — Николай Хель, по-своему яркая фигура, человек драматической судьбы, поплатившийся в юности за веру в идеалы чести, на которых его воспитал приемный отец, генерал разгромленной японской армии. И действие в романе, и характеры построены так, чтобы вызвать сочувствие и симпатию к этому старому офицеру, в сущности воплощающему идею японского милитаризма. Он изображен как честный солдат, выполнявший свой долг, носитель великой восточной мудрости. Он страдает не оттого, что служил недостойному делу, не оттого, что его будут судить и, возможно, приговорят к смерти как военного преступника, а лишь оттого, что не может умереть подобающим японскому офицеру образом — покончить с собой и избежать позора. Юный Николай Хель, выполняя сыновний долг и совершая акт милосердия, убивает его во время свидания в тюрьме обыкновенной авторучкой, после чего на долгие годы попадает в заключение.

Как и Трэйси Рихтер, пройдя в детстве школу японского воспитания, он постиг премудрости, недоступные большинству людей на Западе. К тому же — и это главное — в нем рано проявилась мистическая способность ощущать приближение врага и убивать самыми неожиданными и фантастическими способами, притом без всякого оружия — уже знакомым умелым движением руки или сложенным в трубочку листком бумаги.

Словом, герой романа «Сибуми» ничем, казалось бы, не напоминает примитивного Джеймса Бонда. Кроме главного: перед нами все тот же «сильный человек», творящий суд над врагами, карающий зло и восстанавливающий справедливость, пони-

маемую, разумеется, как всегда, с позиций «свободного мира». Правда, Николай Хель не состоит ни у кого на службе, он наказывает врагов по внутреннему убеждению, в соответствии с личными принципами. Но в том-то и дело, что принципы эти ничем не отличаются от тех, которым верно служит Джеймс Бонд.

Старую схему — «сильная личность», в трудной борьбе защищающая «вечные ценности»,— нетрудно разглядеть и во многих других произведениях 70—80-х годов. Английский автор Ф. Форсит в романе «Псы войны» (1974) поручает функцию защиты принципов «свободы и справедливости» наемнику, заменяющему здесь традиционного секретного агента. Читателя вводят в мир тайной торговли оружием, политических заговоров, большой финансовой игры, где ставкой оказываются судьбы народов и государств. Автор пытается не просто реабилитировать, но даже опоэтизировать скомпрометированную фигуру современного ландскнехта — «солдата удачи» на службе международного терроризма, воюющего против национально-освободительных движений в странах, где рушатся имперские планы США и других государств НАТО.

Роман начинается с того, что в маленькой африканской стране Зангаро, управляемой деспотичным и невежественным властителем, служащий крупнейшей британской горнодобывающей фирмы обнаруживает залежи платины. Не желая «преподносить ее на тарелочке русским», глава корпорации задумывает совершить переворот в Зангаро: сместить президента, который к тому же угнетает и обирает народ, и посадить на его место собственного человека, чтобы спокойно эксплуатировать несметные платиновые залежи.

Казалось бы, действия могущественного финансового воротилы, задумавшего кровавый переворот в африканском государстве во имя гигантских прибылей, осуждаются в романе. Однако все не так просто. В Зангаро царят террор, беззаконие, коррупция, нищета. Советники президента — выпускники университета им. П. Лумумбы, «натренированные в Москве». Сам президент, «Папа Док Западной Африки», водружен в свое кресло пресловутыми «коварными русскими» и уже потому не может быть хорошим правителем. Такое состояние дел в стране призвано оправдать задуманную операцию и, главное,— деятельность наемников.

Ядро отряда — пятеро солдат-европейцев во главе с неким ирландцем Шенноном, человеком отчаянной смелости и колоссального опыта; он и прежде не раз участвовал в военных операциях в Африке. Подробнейшим образом описывается «производственная» сторона дела — где, как, в каких странах, при каких опасных обстоятельствах закупает Шеннон оружие и снаряжение, как вербует наемников, «псов войны». Подплыв на корабле к Зангаро, Шеннон осуществляет переворот, убивает жестокого президента и его ближайших помощников. Но при этом умудряется перехитрить и своего английского работодателя: он ставит во главе страны не послушного вассала корпорации, а группу зангарских эмигрантов, которых знал по прежним африканским походам.

Таким образом, читатель должен поверить, что наемник Шеннон осуществляет благородную миссию в интересах угнетенного народа маленькой африканской страны. Стремясь оспорить представление о наемниках, которое он считает «обывательским», автор все ставит с ног на голову: ландскнехтов, заливающих кровью африканскую землю во имя интересов крупного капитала и имперских амбиций Запада, изображает как людей, достойных уважения и сочувствия, верных и честных солдат, которые гибнут, ничего, по сути, не обретая — ни славы, ни благодарной памяти потомков.

Наемник Шеннон и его коллеги в моральном отношении превосходят всех остальных. И именно они в конечном итоге оказываются подлинным оплотом «вечных ценностей свободного мира». Шеннон к тому же представлен и как борец за процветание черного населения Африки, его освободитель и от «красной угрозы», и от эксплуатации со стороны могущественных концернов. Как видим, Шеннон мог бы быть родным братом Трэйси Рихтера и Николая Хеля — последний, кстати, тоже не раз выступал в роли наемника, с той лишь разницей, что делал это в одиночку и без оружия, а Шеннон — с целым отрядом, вооруженным базуками и пулеметами.

Дальнейший шаг в сторону от внешних реалий и стереотипов «бондианы» Форсит делает в следующих романах. Герой «Дьявольской альтернативы» (1979), сотрудник британской секретной службы Адам Манро, мужеством, находчивостью и волей спасает мир, оказавшийся перед угрозой военного конфликта. Перед нами молчаливый, сдержанный профессионал, специалист высшего класса, пришедший на смену экспансивному, начищенному до блеска супермену. Посланный Лондоном в качестве разведчика в Москву, он узнает о существовании страшного «плана «Борис», согласно которому русские готовы начать оккупацию Западной Европы, если США не выполнят их требования. Манро оказывается единственным, кто находит способ предотвратить опасное развитие событий.

В романе Форсита «Четвертый протокол» (1984) «подручные Москвы» — английские «марксисты-ленинисты» (формула автора), намеренные, как выясняется, превратить собственную страну в «простой придаток» Советского Союза. «План «Аврора», не столь глобальный, но не менее злокозненный, чем «план «Борис», предусматривает взрыв ядерной бомбы возле американской военной базы на территории Англии незадолго до выборов в парламент. Идея очень коварная: взрыв должен кардинально изменить ситуацию, заставив значительную часть населения переметнуться на сторону «левых» и обеспечить им победу. А уж оказавшись у власти, «марксисты-ленинисты» полностью приспособят политический курс страны к пожеланиям Москвы: британская армия будет разоружена, амери-

канцы выдворены, с НАТО покончено... Нетрудно высчитать, к каким «опасным последствиям» это приведет добрую старую Англию. И снова предотвратить угрозу должен герой — на сей раз его зовут Джон Престон, он, как и Манро, немногословен, изнурен карьерными амбициями своих шефов, но надежно служит делу — охране незыблемых принципов, которым столь же ревностно, хотя и скромно, служил герой «Дьявольской альтернативы».

Еще более энергично порывает с привычными клише «суперагента» Л. Дейтон. Сюжет романа «Подлежит ликвидации» (1981) строится вокруг мифических «дневников Гитлера». Именитый «поэт шпионажа», как охарактеризовала Дейтона западная критика, тоже решил зачерпнуть из гнилого источника, к которому на протяжении многих лет жадно припадают любители политических и литературных сенсаций. Читатель узнает, что «дневники» нацистского фюрера, якобы найденные в конце войны и потом бесследно исчезнувшие, вновь всплыли на поверхность спустя три с лишним десятилетия после войны. Содержащиеся в них сведения способны нанести ущерб репутации Черчилля и тем подорвать политическую и финансовую кредитоспособность Англии, более того, дестабилизировать положение в мире. Британские спецслужбы направляют свои усилия на то, чтобы захватить «дневники», за которыми, как уже догадался читатель, вовсю гонятся «вездесущие русские».

Дейтон начисто лишает своих героев, сотрудников британской разведки, внешних признаков героизма. О генеральном директоре этого учреждения, сэре Сиднее Райдене, любителе кактусов, похожем на «графа Дракулу», читатель узнает мало лестного. Правда, манеры его безупречны; подобно коллеге из «Дьявольской альтернативы», убежденному, что джентльмену негоже прислушиваться к разговорам других джентльменов, сэр Сидней шокирован, когда невоспитанный родственник вслух восхищается его старинным дубовым столиком: «Джентльмен не высказывается о собственности другого джентльмена». Однако в своих действиях заслуженный сэр Сидней редко руководствуется благородными принципами, которые столь любит обобщать в афоризмах. Человек он опасный и жестокий.

В романе Л. Дейтона, как и во многих произведениях последнего времени, осуществляется намеренное снижение, заземление образа героя. Это ни в коем случае не меняет смысла того «послания», которое хочет донести до читателя автор. Напротив, «послание», оставаясь прежним по существу, лучше «бьет в цель», поскольку не носит уже опереточного характера «бондианы». Отделяясь от общей массы «шпионской» литературы в ее серийном апологетическом варианте, произведения подобного рода сохраняют отчетливо антикоммунистическую тенденцию. Далек от «бондовской схемы» и другой главный персонаж этого романа — разведчик Бодо Стюарт, отправленный на поиски документов. Он и не очень умел, и не очень ловок, да и задание не вызывает у него энтузиазма. Но «красные агенты» наводнили Запад, его необходимо спасать — и нехотя, сжав зубы, не любящий участвовать в процессе «ликвидации» Бодо Стюарт все же убивает. Во имя «свободы и демократии».

Для пущей достоверности Дейтон награждает своих героев чувством неприязни не только к противнику, но и к собственному истеблишменту. Его излюбленный тип — человек, которого в англоязычном обиходе называют «self-made man», то есть человек, выбившийся из низов, сам прокладывающий себе дорогу. Он лоялен и надежен, хотя может быть жестким и циничным. Таков и герой романа Дейтона «Берлинская игра» (1983) Бернард Сэмсон. Он говорит о себе: «Я ненавижу коммунистов...» Если эта ненависть и есть проявление «жесткости», заявляет он, то ему очень бы хотелось, чтобы таких «жестких было как можно больше».

Действие этого нового политического боевика разыгрывается преимущественно в в Лондоне и Западном Берлине, куда герой командирован, чтобы укрепить распадающуюся британскую агентурную сеть. Но не тут-то было: главный агент по кличке «Брамс-четыре», действующий в ГДР, перепуган и наотрез отказывается продолжать работу, он требует переправить его в Лондон. Дело в том, утверждает он, что в высших кабинетах британской секретной службы действует «красный крот». Получив от Брамса «вещественные доказательства» — образцы почерка «крота», Сэмсон узнает, что шпионом является не кто иной, как его собственная жена Файона. Поняв, что разоблачена, эта кокетливая дама из почтенной аристократической семьи быстренько исчезает из Лондона, чтобы предстать перед потрясенным супругом уже в Берлине, и притом в форме полковника Советской Армии.

Нет, поистине «коварство русских» беспредельно. Ведь до очаровательной Файоны разоблачен еще один «агент Москвы», и тоже обладатель весьма ответственной должности в том же солидном учреждении, и тоже, заметим, не какой-нибудь «плебей», а очень почтенный джентльмен из семьи, традиции которой уходят в глубь веков. Недаром в романе «не любят русских» и непрерывно в этом клянутся. Читателю ничего не остается, как присоединиться к гневным филиппикам героя, рассуждающего о ненависти к «красным» и их «английским подручным». Страшая читателя «коммунистической опасностью», Дейтон движется, по существу, в идеологическом русле той же низкопробной литературы, от которой пытается уйти, порывая с приевшимися штампами.

В сходном направлении идет на протяжении минувшего десятилетия и эволюция Дж. Ле Карре, начинавшего свою творческую деятельность с произведений отчетливо антифашистского характера. Но в 70-е годы этот английский писатель, наложивший самый заметный отпечаток на развитие жанра, тоже отдал дань идеям ан-

тикоммунизма. Его имя стало своеобразным товарным знаком; нередко ссылками на него украшается реклама других сочинений. «Наконец-то немецкий Ле Карре» — такой надписью на суперобложке снабжен роман западногерманского автора Ф. Й. Вагнера «Сенсация». «Американским Ле Карре» окрестил рецензент журнала «Тайм» автора антисоветского боевика «Парк Горького» М. Круза Смита.

С творчеством Ле Карре связан новый тип политического детектива. Характерная черта его — углубленная психологическая мотивация, детальная разработка характеров. Произведения эти отличаются от общей массы «шпионской» литературы и образом центрального персонажа, и своеобразным подходом к изображению секретной службы.

Герой романа «Люди Смайли» (1979) — по всем параметрам антипод Джеймса Бонда. Рядом с мускулистым красавцем пожилой джентльмен в очках выглядит просто замухрышкой. Но если Бонд — робот, отличающийся лишь слабыми зачатками эмоциональности, то Смайли — человек из плоти и крови, покинутый женой меланхолик, симпатичный читателю простотой и своими печалями.

Ле Карре создает социально-психологический роман с политико-детективным сюжетом. Наиболее приметная черта его — внешняя депоэтизация, деромантизация образа «тайного агента» и его ремесла. Смайли ни разу не выхватывает пистолет, не нажимает таинственных кнопок, приводящих в движение разрушительные механизмы, не пользуется техникой, кроме разве что старого автомобиля или такси, и вообще никого не убивает — во всяком случае, физически. Зато он изучает бесконечные досье, копается в материалах, берет, как старая гончая, любой след, мастерски расставляет ловушки. Он охотно обращается к опыту таких же пенсионеров, как и он сам,— бывших сотрудников британской спецслужбы, именуемой «Цирком». «Люди Смайли» — преимущественно старые кадровые контрразведчики, списанные за ненадобностью.

Политический конфликт в романах Ле Карре обретает человеческий аспект. Речь в них идет о людях, их судьбах. Здесь действуют уже не супермены не «принцы», не «драконы» и «спящие красавицы», а люди со своими слабостями, страхами, трагедиями. Углубленный психологизм и весьма резкая критика британского истеблишмента, особенно сферы спецслужб, в сочетании с мастерской детективной интригой обеспечили романам этого писателя особый успех. То, что мы назвали «человеческим аспектом», придает его произведениям правдоподобность и способствует завоеванию читательского доверия. Если приключениям Бонда не верят даже дети, то приключениям Смайли охотно верят взрослые.

Во многих романах Ле Карре основу конфликта составляет столкновение двух разведслужб — английской и советской или, во всяком случае, «коммунистической». При этом эффект «уравнивания», нарочитого сближения противоположных политических феноменов рассчитан у Ле Карре с особой точностью. Уж если автор так язвителен, так непримирим по отношению к «своим», в столь неприглядном свете представляет «Цирк», штаб-квартиру британской секретной службы, то как же не верить ему, когда он разоблачает коммунистическую систему и ее порядки,— такова общая стратегия целенаправленного воздействия на читателя.

Роман «Люди Смайли» начинается с серии внешне несвязанных друг с другом убийств в Париже и Лондоне. Расследование «Цирк» поручает Смайли. В ходе длительной и кропотливой работы, разгадывания головоломных загадок Смайли устанавливает, что его заклятый враг Карла (так именуется в романах Ле Карре шеф одного из ключевых департаментов «Московского центра») подбирал «легенду» для внедрения за границу «агента женского пола», а на самом деле для своей полупомешанной, полудиссидентствующей дочери, которую он хочет вывезти из Советского Союза и укрыть «в безопасности» на Западе. Смайли с помощью все тех же «бывших людей» выслеживает дочь Карлы, живущую в швейцарском пансионате, и извещает противника, что его тайна разгадана. Грозя разоблачением, он предлагает Карле сотрудничать. Всесильный Карла сдается. В финале он переходит в Западный Берлин, где его поджидает Смайли со «своими людьми». Вот как кончается карьера могущественного, опасного врага, которому не раз удавалось перехитрить Смайли и других заслуженных деятелей «Цирка».

Абсолютно недостоверная сюжетная основа организована так, чтобы создать ощущение полной правдивости. Ле Карре делает ставку на психологию, на человеческие мотивы поступков героев. Политический смысл изображаемых событий не выпячивается: автору как бы все равно, какую систему представляют его герои, он старается сохранить позу беспристрастности и объективности, уверить читателя, что главное для него — судьбы людей в сегодняшнем сложном, запутанном мире. Однако на самом деле акцент на человеческих переживаниях нужен автору именно для того, чтобы надежнее донести политический смысл изображаемого. Притом смысл вполне определенный: речь идет прежде всего о моральной компрометации советского образа жизни, социалистической системы, как якобы унижающей человека, лишающей его «достойного существования». И хотя обе системы предстают как враждебные личности и «уравнивание» осуществляется преимущественно в сфере негативных величин, западному миру предоставляется «фора» на шкале моральных ценностей ему отводится место куда более высокое.

Да, британский «Цирк» — малопочтенное учреждение, там не ценят собственных верных людей, там управляют равнодушные, холодные бюрократы. Но Джордж Смайли, как и старая его сотрудница Конни, как и другие ветераны любят его, хранят ему верность, готовы по первому зову вновь впрячься в работу. Так проясняется еще один весьма тонкий расчет автора: реаби-

литировать британскую секретную службу. Ведь если в «Цирке» работают такие люди, как Смайли,— преданные, умные, высокопрофессиональные, стало быть, не так уж он и плох. И хотя «бывшие» имеют все основания считать себя обиженными, они думают о «Цирке», особенно о его прошлом, с особой нежностью — это «слабое, больное дитя... ужасающе хрупкое в руках новых людей...».

«Славное прошлое» «Цирка» неразрывно связано для Джорджа Смайли, старой Конни и других любимых персонажей Ле Карре с периодом «холодной войны». Они безутешно скорбят о временах острейшей политической конфронтации, когда британские власти в них особенно нуждались, когда им было где развернуться...

Критикуя не слишком деликатные методы «Цирка», автор не забывает настойчиво внушать читателю, что именно происки «врага» заставляют его людей быть жестокими. Ле Карре не стесняется пускать в ход и устрашающе клишированные представления о советской жизни, живописуя, например, «преследования инакомыслящих».

Однако и самые банальные «откровения», и самый недостойный вымысел у Ле Карре прочно упакованы в эмоционально-психологическую оболочку. То, что у иных его коллег лишь обнаженный элемент политической схемы или атрибут детективного действия, здесь замаскировано человеческими переживаниями. Воздействие политического тезиса, упрятанного в индивидуальную судьбу, в человеческую трагедию, значительно сильнее.

Особый эффект достоверности извлекается из фигуры самого Смайли. Это размышляющий, рефлектирующий герой, хотя и обладает, по сути, мертвой хваткой. Всячески акцентируется его внутренняя независимость, бескорыстие, неподкупность. Он, подчеркивается в романе, действует не потому, что обязан «Цирку», а по внутреннему долгу совести.

Другое дело, что единственным «обиталищем» всех моральных ценностей предстает Запад, противопоставленный «бесчеловечному» миру «за железным занавесом». И что, защищая «незыблемые твердыни», высоконравственный Смайли сам готов безжалостно разрушить чужую жизнь, в циничной игре подставить коллегу, как это происходит, например, в романе «Шпион, который пришел с холода». Смайли, по определению А. Кривицкого, «шпион со слезой». Он жесток, как и мир, им представляемый, однако стараниями автора ему приданы черты, призванные демонстрировать человечность, честность, порядочность. В одном по крайней мере он несомненно близок Бонду и прочим персонажам тривиально-апологетической литературы: стремится сохранить и охранить сущее, то есть буржуазное мироустройство, единственно, с его точки зрения, гарантирующее человеку свободу и достоинство.

Дегероизация Смайли парадоксальным образом призвана как раз героизировать его: начисто лишенный суперменской эффектности, он воплощает все тот же тип «сильного человека», надежного профессионала, стоящего на страже «свободного мира». В финале романа «Люди Смайли» этот характерный элемент структуры западного политического детектива получает наиболее яркое воплощение: прямое противоборство Смайли и Карлы завершается полным поражением последнего.

Правда, Ле Карре и из этого в сущности банального финала извлекает дополнительный капитал, снова нажимая на педаль «человечности» и пуская в ход прием «уравнивания», призванный в очередной раз подтвердить полнейшую объективность и беспристрастность автора. В Карле, одиноко идущем ему навстречу, Смайли видит самого себя. Оба они — нелюди в этом «обесчеловеченном мире». Смайли присутствует при крушении Карлы. Но он не рад ни этому крушению, ни своей победе. Он сочувствует противнику и не наслаждается триумфом — это должно сделать фигуру героя еще более достоверной и симпатичной читателю. Однако предается ли Смайли ностальгическим воспоминаниям о «славном прошлом» «Цирка», или скорбит о поверженном враге, это мало что меняет в его сущности — верного хранителя «западных ценностей», неизменно готового действовать во имя самых реакционных антикоммунистических доктрин.

«Шпионские детективы» Ф. Форсита, Л. Дейтона, Дж. Ле Карре подтверждают: если в эстетическом плане развитие жанра пошло в сторону отказа от примитивных клише, к большему психологизму и детальной разработке характеров, то в плане политическом оно характеризуется еще более жесткой антикоммунистической заданностью. Авторы недвусмысленно стремятся представить западный мир как единственно достойный. Наиболее надежное средство достижения этой стратегической цели — оправдания и поддержания устоев «свободного мира» — они видят в компрометации советского образа жизни и социалистических идей.

◆

НАШ ДРУГ ФАИЗ АХМАД ФАИЗ

Художник существует в трех концентрических кругах бытия: первый — это круг его субъективного «я», второй — это его окружение и третий — это круг его искусства или современного ему человечества.

Фаиз Ахмад Фаиз

Я всегда любил Фаиза. Ровно, без спадов и всплесков развивались наши отношения. В моей памяти он всегда улыбающийся. Я помню разность его улыбок — усталых, менее усталых и очень. Даже на отдыхе, на пикнике, характер его улыбок не менялся. Но на последней встрече я видел другого Фаиза.

...В августе 1984 мы ужинали (вечер, суббота) в пустом дубовом зале ЦДЛ. Фаиз в элегантном костюме, отдохнувший, веселый, пил вино, курил, рассказывал смешные истории.

Он собирался на родину, и это обстоятельство наполняло его ликованием.

21 ноября 1984 года Фаиз Ахмад Фаиз ушел из жизни.

Он умер в своем возлюбленном Лахоре, в «Светлом городе своих стихов». Откуда столько раз уходил в изгнание. И куда вернулся великим поэтом.

Мне рассказали, что весь Лахор вышел на улицы проводить в последний путь своего поэта. И алые флаги профсоюзов реяли на его похоронах, и рабочие руки несли гроб с телом Фаиза к месту последнего успокоения.

Фаиз родился под счастливой звездой, ибо при жизни стал поэтом всенародным.

Величие поэта определяется не уровнем мастерства, но степенью необходимости. Великая необходимость в стихах, в мудрости Фаиза уже осознана народами Пакистана и Индии. Он навсегда останется поэтом нерассеченного Индостана: обе страны считают его поэтом своих устремлений. Нежно и жертвенно любил Фаиз эту землю. Любовь к ней сделала его гражданином мира; она научила его сострадать униженным и оскорбленным, воевать против зла, где бы оно ни вершилось. «Я уверен, что разум восторжествует, несмотря на все трудности и препятствия,— говорил Фаиз Ахмад Фаиз на церемонии вручения ему международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».— Человечество никогда не проигрывало борьбу за справедливость, оно победит и сейчас».

И Фаиз боролся за победу справедливости до последнего дня своей жизни, боролся поэтическим словом-делом. Словом, которому не дано уставать, но дано быть необходимым.

ОЛЖАС СУЛЕЙМЕНОВ

Стихи последних лет

С болью в сердце

Утешая себя то вином, то стихами — иди,
то скорбя, то молясь, пока срок твой не вышел, иди.
Если волей судьбы ты однажды явился на свет,
то дорогой любви вплоть до райского сада иди.
С подаяньем весенним, которым не брезгует бог,—
с чашей, полной цветочной бушующей крови,— иди.
Когда станет бесцветной земная обитель твоя,
распиши ее стены поярче и дальше иди.
Что бы ни было, зеркало сердца прозрачным держи,
что б ни сталось, подобно Хусрову, бесстрашно иди.
Испытания все, как пристало мужчине, пройди
и с соперником вместе навстречу любимой иди.

Деревенские улицы

Страна вельмож, изголодавшихся и голых,
страна царей, лишенных власти и престола,
твоя пылинка нам дороже, чем алмаз.
Приют наместников небесного владыки,
могила доблестных подвижников великих,
облитая в ночи сияньем звездных глаз.
Моя страна была закрыта и забыта,
как дом заброшенный, где дверь забита,
но чьи-то руки распахнули двери настежь,
по воле господа желанный пробил час —
убрали тернии с дорог, и стал слышнее
босых ступней стенающий рассказ.

Попрошайка у врат надежды

Вновь на ветру заплясали мои лохмотья,
блики бросая на городские стены.
Вновь меня хлещет жгучая плеть упреков,
приумножая мои горящие раны.
Вновь бесноватое племя зевак бездушных
плотным кольцом меня окружило,
чтоб поглазеть на любовную муку,
поиздеваться над горькой моею бедою.
Но подаянья прошу я у врат надежды,
вновь побираюсь на улицах и базарах,
чтобы сложить из жалких осколков
сон, отливающий золотом солнца.

Детям моей страны

На выставке детской фотографии

Тугие бутоны, жаждущие росы:
упади лишь одна росинка —
и лепестки развернутся.
Драгоценные камни под мраком лохмотьев:
упади лишь единый луч —
и они заиграют
всем разноцветьем яркого полдня.
Сердца их — полные чаши:
лишь прикоснись — и заплещет
животворный нектар любви и добра.
Их глаза — прозрачный источник,
и на дне — сияющий дар материнский,
самый лучший дар материнский —
серебристая рыбка улыбки.

Бейрут, 1980
Перевод с урду НАТЭЛЛЫ ГОРСКОЙ

Круги бытия художника

Движение писателей Азии и Африки возникло как ответ на требование времени, это было ясно с самого начала, когда в декабре 1956 года в Дели была созвана первая в истории встреча писателей стран, одна за другой освободившихся от колониальной зависимости. На встрече разгорелась дискуссия по поводу, который только казался организационным: принимать или не принимать заключительный документ? Вопрос за этим стоял совсем другой: достаточно ли время от времени встречаться и обсуждать литературные проблемы, или писателям вчерашних колоний нужна организация, которая позволит им совместно решать задачи, чья суть выходит далеко за пределы литературы?

У колонии, поднявшейся на борьбу, одна задача — отвоевать себе свободу. Все изменилось буквально с минуты подъема национального флага, хотя во многих случаях дистанцию между провозглашением политической независимости и обретением реальной самостоятельности народам приходилось преодолевать годами и десятилетиями. Естественно, что в ситуации тех лет внутренние проблемы каждой страны, национальные проблемы оттесняли на второй план проблемы глобальные. Международные дела, даже дела афро-азиатские представляли интерес только в той степени, в какой они непосредственно соотносились с происходившим внутри страны.

С одной стороны, писатели освобождающихся стран были поглощены совершенно неотложными внутренними проблемами, с другой же — сходство воздействия колониализма на культуры народов Азии и Африки сколь бы различны они ни были, настоятельнейшим образом диктовало необходимость объединения. Движение писателей Азии и Африки и зародилось и проявило себя как живая сила именно потому, что помогало решению внутренних задач, стоящих перед каждой страной, выходящей из колониального подчинения.

Былые споры в Дели разрешила сама жизнь: общность колониального прошлого и всех тех зол, которые достались нам в наследство от него — они еще и сегодня влияют на нашу экономику, политику и на культурное развитие,— объединила Азию и Африку в сообщество народов, набирающих силы после длительного периода рабства и зависимости.

Трудности переходного периода — перехода от зависимости к независимости — усугублялись массированным наступлением неоколониализма, как правило входившего в альянс с внутренней реакцией освобождавшихся стран. Необходимость отстаивать прогрессивные преобразования на двух уровнях — на международном, против напора неоколониализма, и на национальном, против сил собственной реакции,— формировала чувство двойной ответственности. Новая ответственность за все, что происходит в стране, сопрягалась с ответственностью перед вновь обретенным братством перед сообществом народов Азии и Африки, вызванным к жизни общей для всех афро-азиатских стран ситуацией.

Литературное движение, при всей его значительности, было одной из составных исторического процесса; писатель, даже если бы он страстно этого желал, не мог замкнуться в литературный круг. Не мог он остаться и в кругу одних лишь национальных интересов: национальное и интернациональное дополняли друг друга.

Колониальные империи начали рушиться после разгрома фашизма во второй мировой войне, но мы не можем забывать, что победы национально-освободительных движений в странах Азии и Африки совпали с началом «холодной войны», гонки ядерных вооружений — с тем, что сегодня выросло в апокалипсическую перспективу уничтожения всего человечества, а может быть, и нашей планеты.

Говорят, что будущее отбрасывает на настоящее свою тень. Тень немыслимой катастрофы образовала еще один, новый круг бытия — четвертый, если мы раньше говорили о трех. Вначале шквал огромного чис-

ла внутренних проблем, захлестнувших новые афро-азиатские государства, оттеснял планетарные проблемы или мешал осознать полностью их смысл. Нарастающая гонка вооружений на фоне хронической нищеты двух третей человечества лишь постепенно, с течением времени и чудовищным нарастанием трагической опасности, не имеющей исторических аналогий, мрачной тенью легла на нашу жизнь. Сама возможность гибели планеты в ядерном пожаре подрывает основы человеческой морали, лишает смысла саму идею справедливости. Все теряет смысл — нравственность, труд, любовь, искусство, литература, сама жизнь, наконец! Это даже не тот конец света, который предвещают все религии, не страшный суд, потому что там высший разум карает за грехи и воздает за добродетели, здесь же речь об уничтожении всего человечества — человеческими же руками и умом.

Мне вспоминаются 30-е годы, наступление «коричневой чумы», антифашистские конгрессы деятелей культуры. Тогда еще не существовала нынешняя система средств массовой информации, а мы, писатели колониальных стран были попросту в изоляции. На конгрессы могли собираться писатели Европы и Америки — нам это было недоступно. Но мы, я говорю сейчас об индийских писателях, потому что Пакистана тогда еще не было, чувствовали, что стоим в едином строю с европейскими и американскими антифашистами, что мы вместе противостоим фашистской угрозе. Как мы следили за ходом Национально-революционной войны в Испании! В Лондоне жила в то время группа молодых индийцев, которые были непосредственно связаны с испанскими делами, мы многое узнавали через наших земляков. Никогда не забуду — я тогда преподавал в Амритсаре,— мы с друзьями достали хроникальные фильмы об испанских событиях и о вторжении японцев в Китай. Ленты были плохонькие — не сегодняшняя блистательная техника,— но это никого не волновало: где бы их ни показывали, народ смотрел затаив дыхание. В Амритсар фильмы попали из Лахора, и мы начали организовывать сеансы для студентов, рабочих, старшеклассников. Совсем рядом с рабочими кварталами, куда я ходил по вечерам учить рабочих грамоте, были казармы английской воинской части, там был кинозал для солдат. У нас родилась безумная идея — договориться и показать английским солдатам хронику войны в Испании и Китае. Командиром части оказался молодой капитан, с которым мы нашли общий язык, он сказал: а почему бы и нет? И показали мы антифашистские фильмы британским солдатам в Индии — ничего подобного они в жизни своей не видели!

Это один маленький эпизод. Мы делали многое другое, поэтому и было у нас сильное чувство эмоциональной и интеллектуальной близости к антифашистам всего мира, хотя впрямую мы очень мало с кем могли общаться.

Наверняка память о том, как стояли мы все плечо к плечу, объединенные антифашистской солидарностью, бережно хранят в душе многие люди моего поколения.

Это удивительное чувство единения и сплоченности мне пришлось испытать совсем недавно — в совершенно другой обстановке.

Шесть лет мне выпало скитаться по миру, жить в добровольной, можно сказать, ссылке, вдали от родины. Изгнанник — добровольный или нет — живет в постоянном ощущении обездоленности и тоски, будто тебя разлучили с любимой. Сначала просто донимает тоска по родине. Недостает дорогих тебе людей, привычных улиц с их запахами и звуками, привычных вещей, привычного образа жизни. Невеселые мысли начинают складываться в стихи... Но как-то незаметно твое состояние приобретает политическую окраску — тревожась за тех, кто остался, размышляя над тем, как ты сам оказался на чужбине, что привело к разлуке, задумываешься над положением дел в твоей стране и в мире. Выходишь за пределы первого круга.

Пристанище я нашел себе в Бейруте: там располагалась главная редакция журнала «Лотос». Так получилось, что второй круг образовался уже не из моего народа, а из ливанцев и палестинцев, людей, среди которых и чьей жизнью я жил. Все время моей бейрутской жизни эти люди были объектами непрекращающихся актов агрессии: Израиля — извне и союзников Израиля — внутри страны. Уличные бои, убийства, обстрелы — через это нужно было пройти, разделяя все превратности судьбы и страдания жителей Бейрута, чтобы твоя и их жизни соединились.

Потом — вторжение израильских войск в Ливан и блокада Бейрута. Боль и величие тех дней, муки людей и их героизм: все это еле вмещалось в сердце — и в стихи. Языковая преграда рухнула. Не только потому, что в Пакистане читали то, что я писал в Бейруте,— это своим чередом. Редакцию «Лотоса» разбомбили, и я перебрался в дом, где жил Муин Бсису — человек, которого я никогда не смогу забыть. Мы проводили много времени вместе, слушали радио, а по радио часто передавали стихи Муина — вперемежку с последними известиями. Я писал стихи, просил Муина перевести их, и по бейрутскому радио звучали мои стихи. А я переводил стихи Муина, других палестинцев и старался отослать переводы в Пакистан. После шестого июня, после начала блокады с нами все время находился и Махмуд Дервиш. Они с Муином написали вместе прекрасную поэму. Я знаю, что она переведена на русский язык[1].

Ситуация в Бейруте была трагична, но били родники поэзии, и мы, все трое, испытывали странный эмоциональный подъем, вопреки опасности, наперекор всему. Стихи писались. А вот от прозябания поэзия иссякает.

Бейрутская трагедия была порождена факторами, сфера действия которых не ограничивается Ливаном, Израилем и даже всем Ближним Востоком. Стремление современных наследников классического империализма к мировому господству, глобальная агрессия против сил мира и прогресса исходит из одного центра. И где бы

[1] См. «ИЛ», 1983, № 9.

ты ни находился: на Индийском субконтиненте или на Ближнем Востоке, в Пакистане или в Ливане — всюду обнаруживаются щупальца все того же спрута. Тактика бывает разной — стратегия одна. Формы бывают разные — суть одна, хорошо знакомая суть.

Как чудовищно-логическое развитие планов мирового господства возникла и угроза самой планете, угроза, создавшая новое измерение в жизни человечества.

Итак, рожденные в первом кругу собственная боль и тоска должны были слиться с жизнью и мукой тех, кто вокруг тебя, второй круг должен выводить на третий — на общие проблемы целого сообщества народов, а отсюда — круг четвертый: жизнь всех людей на свете.

Живешь в этих кругах, терзаясь мыслью, что ты обязан в меру своего умения донести до других свое понимание остроты угрозы.

Вот сейчас в Африке небывалая засуха — разве не естественно, что возможность глобальной катастрофы сейчас, в этой ситуации, для африканцев абстракция?

Значит, необходимо найти слова, чтобы неграмотный, голодный крестьянин в Африке, измученной засухой, или в Азии, залитой наводнением, с очевидностью понял, как связана его собственная беда с глобальными проблемами. Задача не из легких, и, наверное, писателю ее нужно решать, начиная с самого себя...

Первейший долг писателя — это долг по отношению к самому себе: писатель способен писать только о том, что эмоционально, интеллектуально пережил. Это непременное условие создания настоящей литературы, все остальное — жонглирование словами, мыслями, образами. Или лозунгами...

От писателя прежде всего требуется эмоциональная сопричастность общечеловеческим проблемам, среди которых на первом месте неизбежно будет проблема жизни всех нас. От того, в какой степени он способен прочувствовать ее, и будет зависеть, сумеет ли он донести свое понимание до самого порога тех, кому тяготы повседневной жизни и уровень сознания не давали воспринять ее. Если же писатель не сумеет выйти за круг интеллектуальных упражнений на тему конца света, то едва ли это кому-то пригодится — головой мы уже давно понимаем все.

Головой писатель понимает и другое — он не в силах помешать мировым процессам, но он обязан чувствовать, сознавать и выражать потребности своего народа в их взаимозависимости с жизнью всего мира. Проблемы национальной самореализации — достижения человеческой свободы в собственной стране — сопрягаются с решением вековых проблем во всех странах Азии, Африки и Латинской Америки: преодоления нищеты, темноты, эпидемий, что в свою очередь сопряжено с избавлением человечества от леденящего душу ужаса перед гибелью.

Донести до миллионов забитых нуждой людей острую необходимость, научиться мыслить и действовать планетарно, соединяя национальное с афро-азиатским, со всечеловеческим, не под силу ни одному писателю, ни национальной и ни афро-азиатской писательской организации: задачу всемирного масштаба и решать могут писатели всего мира.

Москва, осень 1984

Публикацию подготовила М. САЛГАНИК

НЕ СТОЯТЬ В СТОРОНЕ...

Движение за мир, против атомной угрозы приобрело в Канаде в последние годы особенно широкий размах. Активное участие в нем принимают и деятели культуры, создавшие специальную организацию «Искусство за мир».

Членами руководства этой организации являются известные канадские писатели Маргарет Лоренс (почетный председатель), Фарли Моуэт, Пьер Бертон, художники Уильям Стейплтон, Бен Викс и другие. Деятельность «Искусства за мир» поддержали Союз писателей Канады, Актерский фонд Канады, коллективы «Глоб тиэтр», Торонтского театра танца. В своем «Воззвании к миру», принятом в 1982 году, организация призвала правительство объявить Канаду безъядерной зоной и отказаться от ядерного вооружения как первого шага к всеобщему разоружению. В декабре 1984 года группа активистов антивоенного движения обратилась к новому правительству Канады с призывом выступить в поддержку предложения СССР о замораживании вооружений и введении моратория на испытания космических вооружений. Среди авторов опубликованного в прессе заявления группы стоит имя «первой леди канадской литературы» Маргарет Лоренс, являющейся активной деятельницей антивоенного движения. Незадолго до этого журнал «Кенэдиен литерачер» в своем сотом номере опубликовал текст выступления Маргарет Лоренс перед студентами Трентского университета:

«Сейчас мы находимся в состоянии глубокой озабоченности не только по поводу собственной жизни, но существования всех народов, всех людей на земле. Наш мир полон угрозы. Несправедливость, страдания и страх распространились довольно широко. В таком мире трудно сохранить надежду, и все же я уверена, что надежда есть... Вся моя жизнь писательницы была связана с верой в ценность каждой человеческой жизни и ее неповторимость».

Маргарет Лоренс справедливо считают патриоткой своей родины — любовью к Канаде неизменно проникнуты ее романы и рассказы, даже когда их действие происходит за пределами страны (в Англии, Африке). Так же постоянен интерес писательницы к людям, протестующим против безысходности окружающей их жизни, выступающим в защиту гуманистических принципов межчеловеческого общения.

Маргарет Лоренс в Канаде называют и «леди из Манаваки», поскольку именно здесь, в небольшом городке в далекой провинции, чаще всего разворачиваются события ее книг, в которых писательница призывает к разрушению классовых и психологических барьеров между людьми, выступает в защиту права женщины самой определять свою судьбу. Эти темы звучат в наиболее известных романах Маргарет Лоренс — «Пророки», «Каменный ангел», «Живущий в огне», «Птица в доме».

«Мне представляется, что чем старше мы становимся, тем б о л е е, а н е м е н е е радикально настроенными мы должны быть. Конечно, я не имею при этом в виду следование политике одной партии, а готовность бороться за то, во что страстно веришь. Социальная активность, борьба за справедливость считаются естественной чертой поведения именно молодого поколения, а не среднего или старшего

Лично я думаю, что это неправильно: ведь в нашу эпоху мы являемся свидетелями огромного роста рядов людей всех возрастов, глубоко озабоченных современным состоянием нашего страдающего и находящегося в опасности мира...»

Объясняя размах антивоенного движения в Канаде, состоящего почти из тысячи различных групп, объединений и организаций, активная деятельность которых привела к тому, что 85% всех канадцев поддержали призыв к замораживанию ядерных вооружений, писательница продолжает:

«Мое поколение — первое в истории — уже в юности осознало тот факт, что человек обрел ужасающую возможность уничтожить как все живое на земле, так и саму нашу планету. Мы поняли, что после атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года мир уже никогда не будет таким, каким был раньше. Разрушительные последствия первой атомной бомбардировки были неслыханными, нам стало очевидно, что из-за войн на земле может однажды прекратиться жизнь. Многие из нас еще в 1945 году осознали, что этого нельзя допустить... Стремление выжить и обеспечить будущее новых поколений очень сильно, но растет и сознание угрозы жизни: ведь сегодня мы знаем, что бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, были маленькими в сравнении с современными ядерными бомбами...»

В середине декабря прошлого года в городе Галифаксе были арестованы 16 участников антивоенного движения. В связи с этим министр обороны Канады Роберт Коатс отпустил несколько довольно циничных «шуточных замечаний» в адрес антивоенного движения в стране и заявил, отрицая очевидные факты, что оно «...находится в плачевном состоянии». Как известно, канадское правительство дало указание своей делегации в ООН голосовать против замораживания ядерных вооружений...

«Основной спор,— считает Маргарет Лоренс,— идет сейчас между теми, кто полагает, что, чем больше атомного оружия, тем больше уверенности в том, что оно никогда не будет использовано, и теми, кто выражает опасение, что увеличение ядерного потенциала стран приближает нас к возможности возникновения атомной войны — войны, в которой не будет победителя, войны настолько ужасной, что ее последствия просто невозможно представить. Что бы там ни говорили о «чистой» или «ограниченной» атомной войне, фактом остается, что эта война уничтожит все, что создано человечеством. Она уничтожит не только будущее всех народов на земле, но все живое на нашей планете... Элен Колдикотт, мужественная женщина, детский врач, вложившая много сил в борьбу против атомного оружия, говорит: «Если представить историческую перспективу, мы должны осознать, что Америка готовится к атомной войне. Естественно, что это должно нас беспокоить. И мы должны кричать об этом, если нас волнует наша собственная судьба, судьба наших детей и если мы действительно любим нашу планету» [1].

«Еще ни один американский президент,— предостерегает М. Лоренс,— не заявлял о приверженности политике «никакого первого удара», когда речь идет о ядерном оружии. Президент Рейган даже заявил, что Америка выбросит марксизм-ленинизм «на свалку истории»... Не так давно президент, обращаясь к группе христиан-фундаменталистов, сказал, что в мире существуют добро и зло и что добро обязательно победит зло. Но под злом он отнюдь не имел в виду организованную преступность в своей собственной стране, безработицу и бедность, имеющие место в этой самой богатой стране мира. Используя голливудскую метафору, он говорил об Америке с белой ковбойской шляпой на голове. У России же на голове черная шляпа. Опять «хорошие» и «плохие» парни...»

Отдавая отчет в том, что органы буржуазной печати в США и Канаде, поддерживающие милитаристские круги, постоянно запугивают общественность «советской угрозой», писательница прямо заявляет, что не верит в нее:

«Ну а что русские? Требуя от нашего правительства запретить испытания ракет «Круиз», не льем ли мы воду на мельницу нехороших людей? Но неужели Советский Союз, если он действительно стремится к ядерному превосходству, готов нас всех взорвать, не думая о последствиях? Я в это не верю. Неужели действительно необходимо, чтобы у американцев было как можно больше ядерного оружия, чтобы мы чувствовали себя в безопасности? Я в это не верю...

Россия очень пострадала в годы второй мировой войны, в то время как на американской территории военные действия не велись со времен Гражданской войны. Я не верю, что русские хотят начать ядерную войну... Я уверена в том, что русские, так же любящие своих детей, как я люблю своих, не хотят войны так же, как и я, как ее не хочет большинство американцев... Я говорю о том,— продолжает Маргарет Лоренс,— что чувствую как писательница. Я не люблю, говоря о себе, называть себя «художник», но я чувствую свою общность со своими коллегами по профессии. Я считаю, что как писательница... как художник, если хотите... я несу ответственность — моральную ответственность — и обязана бороться против дальнейшего накопления запасов ядерного оружия, за то, чтобы все правительства и военачальники отказались от его использования. На протяжении всей истории человечества художники защищали и славили жизнь. Чем бы мы ни занимались — писали, сочиняли музыку, рисовали, снимали фильм,— мы, художники, всегда утверждали ценность жизни в нашем общем доме, на планете Земля... Неужели же

[1] «Если мы любим нашу планету» — так называется документальный фильм, посвященный выступлениям Э. Колдикотт в защиту мира. В 1983 году, когда фильм был выдвинут в качестве кандидата на получение премии «Оскар», он подвергся преследованиям со стороны официальных кругов США.

нам достался мир, у которого нет будущего? Мир, в котором будут уничтожены выдающиеся проявления человеческой фантазии и воображения, и их нельзя будет больше увидеть, прочитать или услышать?.. Мы, художники, не должны этого допустить, мы, художники, не имеем права стоять в стороне и пассивно наблюдать за происходящим... Отдельный человек — это лист на дереве. Листья опадают, но дерево продолжает расти. Появляются новые листья. Эта концепция — основа нашего творчества испокон веков. Сейчас угроза нависла над самим деревом...»

Откликнувшись на призыв известной писательницы, в ряды борцов против атомной угрозы влились многие деятели канадской культуры, от имени которых в Москве на конференции, созванной Международной федерацией актеров по инициативе профсоюза работников культуры СССР, выступил Пол Сирен, генеральный секретарь Альянса артистов кино, телевидения и радио Канады. Он сказал:

«Наверное, нет единого рецепта, по которому можно вовлечь людей в активную борьбу за мир. Но мы стараемся делать все возможное, чтобы найти путь к сердцу каждого человека, будить его совесть... Мои коллеги, независимо от того, кто они — скульпторы, драматурги, актеры кино или телевидения, ясно и открыто выражают протест против подготовки войны и находят все большее понимание в широких слоях населения страны».

В единодушно принятой на конференции резолюции поддерживается положение Преамбулы Устава ЮНЕСКО о том, что, «коль скоро войны зарождаются в умах людей, именно с умов людей должна начаться борьба за мир». Как созвучны эти слова призыву, с которым выдающаяся писательница Канады Маргарет Лоренс обратилась к молодому поколению:

«Мы должны взять на себя ответственность за наши жизни, за мир, в котором мы живем, мы должны заставить наши правительства услышать нас. Нашей целью должно быть стремление к человеческой и социальной справедливости, к миру... для всех людей на земле!»

В. ИВАНОВ

«...ВОЙНЫ КАЖДУЮ СУББОТУ-ВОСКРЕСЕНЬЕ»

Накануне 1985 года, года 40-летия Победы над фашизмом во второй мировой войне, испанская газета «Паис» опубликовала на страницах своего воскресного приложения иллюстрированный очерк Игнасио Карриона «Игра в войну».

Автор рассказывает о появившемся в Великобритании новом бизнесе — играх в войну для взрослых. Герой очерка — 34-летний Руперт Филлипс, владелец 434 гектаров земли на юге страны, поправил свое пошатнувшееся финансовое положение, проявив незаурядную предприимчивость. Репортер ведет беседу с ним, в то время как Филлипс ожидает прибытия своих «войск». Он охотно рассказывает о том, сколько денег ему пришлось вложить в новое дело, чтобы обеспечить эти «войска» оружием, обмундированием, продовольствием — всем необходимым на войне.

Филлипс горд тем, что война, которой он занимается, «ни в коем случае не вульгарна»: в ней нет экспертов-садистов или неопытных жертв. Все участники получили одинаковую подготовку, их физическая форма находится примерно на одном уровне, а главное, всех их роднит «желание убивать врага».

Какие же игры предлагает в своих угодьях Руперт Филлипс?

«За сумму, эквивалентную 40 тысячам испанских песет, муж может убить на поле боя неверную жену, служащий ликвидирует начальника по кадрам, секретарша падает, раненная, в окоп, и мертвые воскресают, чтобы поцеловать ее. Каждый может выплеснуть свою ненависть в этой военной игре, где мужчины и женщины охотятся на себе подобных».

Такова, по описанию корреспондента, психологическая подоплека игры. Вместо пуль, рассказывает он, винтовки заряжаются ампулами с желатином красного цвета, поэтому

«...погибшие воскресают, раненые не истекают кровью, а пьют чай возле камина».

В джентльменское соглашение входит обязательство хозяина вернуть деньги, если его «гости» останутся неудовлетворенными боями с восхода до заката. Однако этого никогда не случается.

«Я уже несколько раз бывал здесь, возвращаюсь снова и снова, потому что мне нравится убивать директора фирмы, настрадавшись за пять рабочих дней в конторе»,— говорит молодой служащий Ричард Роджерс.

А очаровательная 26-летняя девушка по имени Сэнди (фотографии «бойцов» в полной военной форме на фоне прекрасного леса или высокой густой травы придают репортажу рекламный оттенок) добавляет:

«Я приезжаю сюда пару раз в месяц. Мне безумно нравится растянуться на земле с винтовкой и ждать приближения врага — ласкать курок, нажимать на курок. Адреналин разливается по всему телу. Я не променяла бы это ни на какой другой спорт, даже на охоту. По вечерам я не могу уснуть, меня охватывает неизъясни-

мое чувство ужаса перед этим увлечением и его притягательностью для меня».

Правила игры не слишком сложны: два войска — красных и зеленых — должны захватить флаги друг друга. Убитым считается тот, кому «пуля» попала в грудь или голову, а кто получил отметину ниже пояса — раненый и т. д. «Убитый» получает возможность поразмыслить над своей судьбой.

«Должно быть, ужасно, что с тобой это может произойти на самом деле: другие будут продолжать перестреливаться, а ты уже вдали от мира, истекаешь кровью, как поросенок»,— рассуждает «убитый» из города Бат.

Корреспондент предоставил возможность поделиться своими наблюдениями и хозяину игры:

«К полудню война становится более жесткой, почти жестокой. Люди забывают об ограничениях. Особенно женщины грубеют, они действуют так, что от их хладнокровия волосы встают дыбом. Хотят убивать, убивать и убивать во что бы то ни стало. Улучшается тактика игры, сплоченность в командах»,— замечает Руперт Филлипс.

Игнасио Каррион подтверждает слова бизнесмена: к полудню «бойцы» забывают о своих опасениях схватить насморк или ревматизм. «Аппетит до ужасов» явно возрастает, многие говорят об ощущении «эротики убийства», зять охотится за тещей, и ему удается свалить пожилую матрону лицом прямо в кусты.

Но вот по сигналу рожка «битвы» прекращаются, и «бойцам» предлагают перекусить. Хозяин стремится максимально приблизить условия игры к «реальным» — пища подается в металлической посуде. Во время еды армии переглядываются, горя желанием мести.

Подводя итог, корреспондент замечает:

«Филлипс потирает руки: торговля войной может принести ему финансовый «мир», что и происходит с настоящими войнами — огромные прибыли для промышленности, банков, дельцов».

А сам хозяин, как бы оправдываясь, заявляет:

«Могут подумать, что у меня лагерь для развлечения террористов. Наоборот, это для богачей. Я пытаюсь привлечь как можно больше богатых людей, чтобы они «убивали» таких же богачей. Этому классу нужны сильные эмоции. У них есть все: секс, роскошь, комфорт, власть, путешествия. Им не хватает приключения войны — убивать на войне и умирать на войне. Это ли не чудесно? Эта затея не может провалиться. Миру нужны войны, бескровные, но войны — каждую субботу-воскресенье».

Филлипс уговаривает себя и других, что он выполняет терапевтическую, социальную, благородную духовную функцию — помогает пресыщенным, опустошенным богачам не просто «спустить пар», но пережить романтическое «приключение» войны, пусть всего на несколько часов ощутить ценность жизни, собственной значительности — властителей судеб других людей.

Трудно разделить умиление Руперта Филлипса. Его бизнес отвратителен не только и не столько потому, что он «вульгарен»— он удручающе пошл, отвратительна и знаменательна его суть. Какая страшная аналогия — человечество, стоящее на грани самоуничтожения, и его представитель, владелец прекрасного уголка планеты, который не нашел ничего лучшего, как превратить его в поле сражений «каждую субботу-воскресенье»!

Вряд ли стоит вспоминать здесь столь распространенные на Западе философские рассуждения о «витальных инстинктах», игре как сущностной черте человека, «принципе удовольствия» и «принципе реальности», «репрессивном разуме» и «революционизирующей», «эротизирующей» действительность фантазии, превращающей саму реальность в искусство, бесконечный хэппенинг или новейшие методы социальной психологии. Думается, что в данном случае уместно остаться на уровне публицистики и привести замечание американского журналиста Д. Макдональда, автора книги «Игра называется бизнес»:

«Можно принять без доказательств утверждение, что описание социальных норм было бы одновременно описанием нашего общества и способа распределения благ».

Очевидно не ведая об этом, буржуазный журналист повторяет мысль К. Маркса о соответствии общественного бытия и общественного сознания. Комментируя в «Немецкой идеологии» рассуждения философа М. Штирнера о «нечеловеке», который сидит «в каждом отдельном индивиде», о том, что «государство, общество, человечество не могут одолеть этого дьявола», К. Маркс и Ф. Энгельс замечали, что антагонистическое общество ограничено в своем развитии:

«...эта ограниченность развития состоит... не только в том, что один класс отстраняется от развития, но и в умственной ограниченности того класса, который производит это отстранение: «нечеловеческое» становится уделом... господствующего класса. Это так называемое «нечеловеческое» — такой же продукт современных отношений, как и «человеческое»; это — их отрицательная сторона, это — возмущение, которое... направлено против господствующих отношений... и против способа удовлетворения потребностей, соответствующего этим отношениям» [1].

Рассматривая в своей книге конфликтные ситуации в бизнесе в соответствии с математической теорией игр, Д. Макдональд подчеркивает, что «значительная часть бизнеса разворачивается на грани закона и законности». Как известно, когда речь идет о частной собственности, цель оправдывает средства и собственная свобода действий оплачивается ценой ущемления свободы других. Члены антагонистического общества оказываются отчужденными от сущностных человеческих проявлений, лишенными возможности гармоничной жизни. Для снятия агрессивности, порож-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве. Т. 1. М., «Искусство», 1957, с. 257—258.

даемой природой антагонистического общества, буржуазная массовая культура использует методы современной социальной психологии, предлагая своим потребителям псевдореальность.

Социальные нормы, порождающие современную буржуазную массовую культуру с ее пошлыми идеалами, оценивающими высшие человеческие проявления по уровню адреналина в крови, превращающими Христа в «суперзвезду», а космос — в арену «звездных войн», воспитывают и соответствующих потребителей современных видео и реальных игр. Этих вечных детей, «инфантилов», как называют их социологи, идеально приспособленных «разрешать» свои «конфликты», превращая реальность в игру «хороших» и «плохих» парней. «Инфантилов», которых в свою очередь так легко превратить в «поросят, истекающих кровью».

Совершенно очевидно, что современная политическая реальность, буржуазные «социальные нормы» враждебны высшим идеалам человека.

На протяжении всей истории человечества игры были его неизменными спутниками: переходя от действительности к ее игровой модели, человек не просто учился разрешать конфликты и задачи, решение которых невозможно или затруднено на практике,— он шел по пути усовершенствования себя. Игры были одним из действенных способов удовлетворения извечного желания человека: его стремления к совершенству, высшим идеалам. Ярчайшим примером тому служит история Олимпийских игр, неразрывно связанная с представлениями об идеальной человеческой личности, чье духовное и физическое развитие не мыслились раздельно. Наряду со спортивными соревнованиями Олимпиады в Древней Греции включали агоны — фестивали искусств. К играм допускались лучшие представители всех областей страны, чьи моральные качества соответствовали Хартии игр. На период игр в стране воцарялся мир.

Сегодня локальные войны и на время Олимпиад не прекращаются, человечество вынуждено противостоять «культурному империализму», натиску буржуазной массовой культуры, стремящейся убедить его в возможности ограниченной ядерной войны, подменить в его сознании реальную угрозу гибели жизни на планете военной игрой на Земле и в космосе. Руперт Филлипс уверен, что его бизнес «Войны по субботам-воскресеньям» «не может провалиться», потому что «миру нужны войны...».

Бизнесмен говорит о «бескровных войнах», об игре в войну, а, как известно, общественное сознание в свою очередь оказывает обратное воздействие на общественное бытие. Именно поэтому столь серьезные опасения вызывает сегодня «культурный империализм», экспорт идей и стереотипов мышления, разрушающих человеческую личность, насаждающих «нечеловеческое».

Сегодня все очевиднее становится необходимость отказа от стереотипов мышления категориями уничтожения, завоевания, разрешения конфликтов путем применения силы — технология, порожденная этими стереотипами, превышает способность биосферы поддерживать жизнь на Земле.

Т. Р.

◆

Публицистика

ПАМЯТЬ...

В строке документальной записи

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ

ДЕВЯТОЕ МАЯ

Моя последняя корреспонденция о войне, отправленная 9 мая 1945 года из Москвы в адрес нашей газеты в Лондоне, являет собой забавный контраст с моими нынешними воспоминаниями об этом дне — они куда свежее и ярче всего, что я мог написать о нем в газете тогда. Возможно, и в том давнем сообщении — эдакое моментальное фото — улавливается значимость великого дня, чувствуется дыхание моей юности — ведь это в самом деле был день, положивший конец множеству других дней, и, мне кажется, лишь те, кто пережил эти тысячу с лишним дней войны, способны понять истинный смысл великого события — войне пришел конец!

В общем, 9 мая нельзя отделять от всех дней, ему предшествовавших, и когда в годовщину этого дня по всему миру проходят торжественные церемонии и люди не скупятся на слезы, они плачут не только о погибших, в этих слезах еще и память о том, что никогда не должно было случиться,— о войне, которую можно было предотвратить, если бы страны Западной Европы сообща и политически более решительно выступили против фашизма, а не пытались умиротворить его, совершая одно предательство за другим: Эфиопия, Испания, Чехословакия...

Вспоминаю этот последний год в Москве — год побед. Еще идут военные будни, но уже началась подготовка к мирной жизни, это сложное переплетение войны и мира сейчас осмыслить легче, чем тогда. После Сталинграда в войне наступил перелом, и мы знали — победа не за горами, советские войска с боями отвоевали Украину, Белоруссию, вошли в Восточную Европу и, наконец, в саму Германию, в Москве каждый вечер гремели победные салюты в честь освобождения больших и малых городов — Советский Союз вступал в новый этап своей истории, складывалась другая Европа, другой мир...

Зная, что на наших глазах вершится сама история, мы, корреспонденты (тогда в Москве было человек 15 корреспондентов англо-американских газет), следили не только за ходом войны, но и за политическим ее фоном. И пожалуй, самым главным в этом смысле было сравнение усилий, которые затрачивали западные союзники и Советский Союз, особенно если представить себя в этой войне на месте советских людей. Тем из нас, кто побывал на других фронтах, все виденное раньше стало представляться каким-то мелким, незначительным. К примеру, мы считали, что в пустынях на западе Египта велись крупные бои, и вдруг оказывалось: да они же чуть серьезнее перестрелки в сравнении с настоящими сражениями на Восточном фронте.

Мы видели не все, что хотели, но и увиденное позволяло понять, сколь могущественна, сколь величава эта страна, поднявшаяся на свою защиту; видели мы и другое — дикого, безжалостного, способного на любые бесчинства врага, который не щадил ничего и никого — от ребенка, еще не расставшегося с чревом матери, до старых и увечных. Мы не могли остаться равнодушными к тому, что война, разворачивавшаяся на наших глазах, не имела равных в истории — никогда раньше войны не причиняли таких разрушений, не отнимали жизнь у стольких людей.

И все же, несмотря на гигантские лагеря смерти и массовые убийства, в советских коммюнике и газетных статьях на военные темы всегда подчеркивалось: страна

Получено редакцией в рукописи.

ведет Отечественную войну против системы, а не против немецкого народа. Правда, лично мне порой было трудно представить, как советские люди могут отделить одно от другого — мы же видели, что оставляли после себя в деревнях, селах и городах Советского Союза отступавшие солдаты вермахта. Но советские люди точно знали, против чего они воюют, потому-то столь огромные силы поднялись на борьбу с фашизмом, потому-то английские, американские, французские и советские солдаты стали подлинными союзниками.

Мы видели руины обезлюдевшего Севастополя, имели представление и о том, как надругались захватчики над Крымом, и когда на мысе Херсонес, совсем недалеко от Севастополя, нам пришлось пробираться сквозь остатки трех или четырех фашистских дивизий — исковерканная броня, перевернутые грузовики, хаос войны и повсюду мертвые тела,— нам казалось, что поджигатели получили по заслугам. Помню, офицер Красной Армии, совсем молодой еще паренек, посмотрел на эти трупы, покачал головой и сказал: «Сколько среди них виноватых? А сколько погибли безвинно?» Потом отвернулся и добавил: «Что же это за система, которая превращает свой народ в чудовище?»

Впоследствии я не раз вспоминал это определение фашизма: система, которая превращает свой народ в чудовище. В тот год в Советском Союзе я убедился, насколько это верно. Ведь чудовище действительно было, иначе фашистские армии не сражались бы так яростно ни часа, ни дня. Но они сражались яростно — вот где крылось самое большое зло этой системы. И молодой офицер Красной Армии, пожалевший убитых, хорошо знал, кто истинный виновник — не убитые, а смертоносная система, из-за которой глубокую трещину дала сама человеческая природа.

Сейчас эти воспоминания очень важны, потому что в тот последний год войны мы чувствовали: да, солдаты восточного и западного блоков союзников сражаются с общим врагом, сражаются не на жизнь, а на смерть, но политическое отношение к этому врагу у них несколько разное. Мы понимали: будущее зависит не только от военных побед, большую роль сыграет то, к какому политическому решению придут союзники. Смертоносная система, сложившаяся в Европе, требует замены, а чем ее заменить — над этим придется поломать голову государственным деятелям. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции по сути дела были призваны разрешить разногласия в подходе союзников к войне, и в целом желаемый результат был достигнут. Но мы, корреспонденты, знали: кое-кто вынашивал честолюбивые планы подрыва решений этих конференций еще до того, как их отпечатали и аккуратно положили в красные папки.

В Москве у нас была счастливая возможность видеть государственных деятелей других стран. На Ялтинскую конференцию корреспондентов, правда, не допустили, но мы были в Москве, когда приехали Черчилль, де Голль, миссии из освободившихся стран Восточной Европы. Мы знали, что на наших глазах делается история, что перед нами люди, которые определяют течение наших жизней на много лет вперед. И с каким обостренным вниманием мы, придя на праздничный концерт в Большой театр, смотрели на Сталина и Черчилля, неожиданно вместе появившихся в ложе! Мы не упускали ничего: вот один вынул носовой платок, вот другой что-то забыл, засмеялся и полез за сигарой: все представлялось значительным, имеющим продолжение.

Мы получали конфиденциальную информацию от соответствующего посольства или от кого-то из свиты приехавшего гостя, но о чем говорилось во время встречи, в точности не знали. Прошло двадцать или тридцать лет, прежде чем стало известно, о чем именно шла речь и кто что сказал. У некоторых участников этих встреч уже тогда были тайные намерения, о которых мы и не подозревали.

Вот, к примеру, что стало известно теперь о поведении Черчилля, вернее, о его тайных намерениях. В декабре 1984 года один из старейших и ближайших сподвижников Черчилля, мистер Гарольд Макмиллан, давал интервью английскому телевидению. В военном правительстве Черчилля Макмиллан занимал пост министра, а позднее, после Суэцкой войны, сам стал премьер-министром. Сейчас ему за девяносто, он весьма уважаемый в Англии старейшина, тори старой закалки. На вопрос тележурналиста о взглядах Черчилля в годы войны он, в частности, ответил, что «еще в 1943 году Черчилль потерял интерес к немцам. В то время его гораздо больше интересовали русские».

Итак, «еще в 1943 году» Черчилля больше интересовали русские, потому что у него были свои планы на будущее. Англия и Америка уже дали обещание высадиться в Нормандии, и Черчилль пытался отговорить от этого Соединенные Штаты, по его мнению, лучше было ударить «страны оси» «в пах» и высадиться на Балканах. До войны Балканы были для Запада «санитарным кордоном» против большевизма, и мысль о том, чтобы попасть туда раньше Красной Армии, столь явно отражала попытку создать новый санитарный кордон, а с военной точки зрения подобная операция была столь малозначительной, что даже президент Рузвельт высказался против. В том же году, чуть позднее, Черчилль снова пытался протащить эту идею на Тегеранской конференции, но ее снова отклонили как несостоятельную, ибо интересы союзников требовали другого. Еще позже, в 1944 году, когда Черчилль приехал в Москву, а Красная Армия уже вошла в Румынию и Болгарию, он пытался уговорить «поделить» эту зону с Англией. Но его предложение снова отклонили.

Итак, мы видели, как мистер Черчилль приезжал в Москву, но почти не знали, о чем в действительности он там ведет переговоры, что именно ставится на карту и каковы перспективы. Мы не знали тогда, что уже вынашивается мысль о «холодной

войне», что этот старый антибольшевик уже тогда планировал для Европы будущее, которое как в капле воды отразилось через несколько лет в его знаменитой речи о «железном занавесе», произнесенной в Фултоне, штат Миссури.

Трагедия заключалась в том, что бойцы Красной Армии, английские и американские солдаты, гражданские борцы за освобождение во всех странах Европы отдавали свои жизни, просто защищая мир от фашизма. Они не могли даже вообразить, что их будущее вот-вот могут предать. С тех пор нередко задается вопрос: «А если бы они знали? Если бы подозревали, как все может обернуться десять, двадцать лет спустя? Что тогда?»

Случалось, английский солдат не очень-то доверял своим лидерам в верхах. Но это были скорее отголоски старых подозрений, ибо откуда было знать простым солдатам, что́ на уме у их политических лидеров? Даже их вера в Уинстона Черчилля, который отдал приказ о вступлении в войну от имени английского народа,— даже эта вера имела свои границы: ведь сразу после войны Черчилль потерпел поражение на выборах.

Пожалуй, наиболее циничные или критически настроенные среди нашей корреспондентской братии в Москве тоже не очень доверяли ему. Но война есть война, и пока он вел военные действия, все остальное не имело значения. Шла война, она была основой великого альянса, и, подобно солдатам, мы были вынуждены мириться с каждодневной реальностью — вплоть до победы.

Как-то вскоре после того, как была снята осада Ленинграда, я шел по улицам этого города, и при виде лишений, выпавших на долю ленинградцев, мне на какое-то страшное мгновение стало жутко, потому что мозг пронзила мысль: «А что, если этому поразительному городу снова придется пережить такое?» Не знаю, почему я подумал об этом именно тогда,— в то время не было и намека, что такое возможно. И все же это было не мистическое предчувствие, просто я подсознательно не доверял будущему, которое для нас уже готовили. Кое-что я все-таки знал и пусть смутно, но представлял, что может случиться после войны — раньше или позже. И всякий раз, стоит мне оказаться в Ленинграде, на том месте, где эта странная мысль впервые пришла мне в голову (недалеко от театра имени Кирова), меня охватывает то же тревожное чувство. Позднее, в годы «холодной войны», когда угроза новой войны стала весьма ощутимой, пожалуй, именно эта мысль о Ленинграде помогла мне понять, как советские люди относятся к войне. Они столько выстрадали, что жажда мира никогда не будет для них пустой фразой. За этой фразой — страстная надежда, глубокое убеждение.

И вот теперь, сорок лет спустя, мы празднуем не только последний день войны, но и первый день мира. Этот мир всегда был очень хрупким, он выжил лишь благодаря удивительному, ни с чем не сравнимому терпению и решимости советского народа, благодаря помощи миллионов людей во всем мире, защищавших мир с убеждением, что теперь на карту поставлено само существование человечества. Война в Европе кончилась победой. Победой над смертоносной системой. Но сейчас все не так просто, и ясно далеко не все. Вот что сказал однажды участник марша мира, выступавший на лондонской Трафальгар-сквер: «Во время войны ты воюешь. Здесь все ясно. Во время мира ты сопротивляешься. А это гораздо труднее». Тогда кто-то из толпы выкрикнул: «Да, но чему мы должны сопротивляться?» Выступавший даже рассердился — что же тут непонятного? — и сразу перечислил: мы должны сопротивляться тому, чтобы нас обманом не вовлекли в войну, чтобы не вынудили развязать войну, чтобы не убедили начать войну, чтобы не запугали необходимостью вступить в войну, чтобы не взяли за шиворот и не швырнули в войну — и так далее и так далее.

Все мы, жившие в 1945 году, стали на сорок лет старше, и, оглядываясь на эти сорок лет, можно, наверное, сказать: были дни, месяцы и даже годы, когда людям на земле дышалось легко и спокойно. Разрядка стала реальностью. Она стала достижением. Теперь реальностью и «достижением» должно стать выживание. За эти сорок лет я побывал во многих городах Советского Союза, которые на моих глазах освобождались или, оставленные нацистами, лежали в руинах, но если сейчас я могу гулять по улицам Одессы и не думать о войне или видеть Киев сегодняшний, а не распятый вермахтом, это вовсе не значит, что о прошлом можно забыть.

Западные журналисты любят корить советских людей: те, дескать, слишком часто вспоминают войну. Но эти журналисты, как правило, люди, для которых война — пустой звук, либо они просто не понимают, какой болью в душе народа может остаться потеря двадцати миллионов человек. Похоже, некоторые из этих критиков вовсе не имеют души, так откуда им понять, что такое страдание? И, если вдуматься, мы сейчас вспоминаем не только саму войну, но и каких усилий нам стоило спасти человечество от системы, насаждавшей новую, изощренную форму рабства, системы, которая могла бы продержаться века. Мы спаслись от такой судьбы, а сейчас нам снова надо спасаться, причем от чего-то худшего — ведь псы войны, если спустить их с поводка, на сей раз не оставят нам даже рабства. Они не оставят нам ничего, потому что оставлять будет нечего. Сегодня наша единственная надежда — сплотить ряды сопротивления; это, наверное, и есть лучший способ воздать должное великой дате — 9 мая 1945 года.

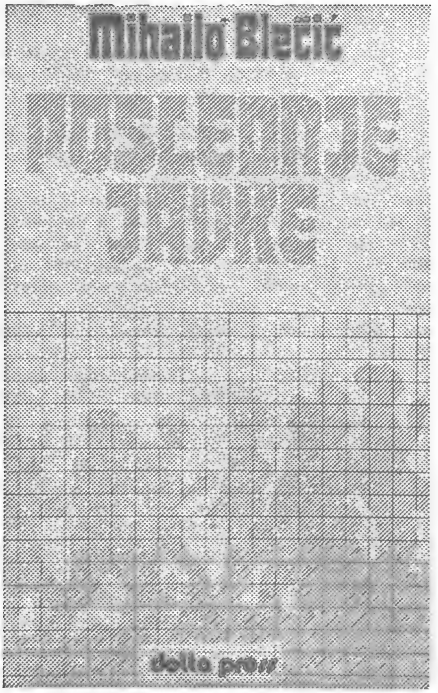
Перевод с английского М. ЗАГОТА

Лондон
Апрель 1985 г.

МИХАИЛО БЛЕЧИЧ

ПОСЛЕДНЕЕ ЭХО

Отмечая сороковую годовщину победы народов над фашизмом, журнал публикует в отрывках из книги Михаило Блечича «Последнее эхо» письма погибших, расстрелянных врагом югославских патриотов, сопровожденные составителем книги краткими биографическими данными. Среди этих героев были сербы, хорваты, словенцы, черногорцы, представители других народов Югославии. Среди них были инженеры, поэты, учителя, партийные руководители, солдаты и офицеры. Среди них были пожилые и зрелые люди, студенты и гимназисты, только что со школьной скамьи. Они не дожили до Победы, но даже осенью и зимой 1941 года, когда враг был под Москвой, а горизонт был сплошь затянут тучами, они верили в Победу, верили в братство и единство своих народов, верили в коммунизм.



ПИНО ТОМАЖИЧ

11 декабря 1941 года

Товарищи!

Фашистский Специальный суд потребовал для меня и для товарища Дуйца смертной казни...

Мне двадцать шесть лет, и я люблю жизнь. Я радовался каждому самому краткому ее мгновению. Я люблю людей, люблю детей, люблю природу, наш Крас, наши горы и море. Именно потому, что я так люблю все это, я готов отдать жизнь за Партию, за будущее, за ликвидацию рабства, за уничтожение эксплуатации человека человеком, за победу коммунизма.

Моя смерть статистически не принесет большого урона — сейчас во всем мире миллионы товарищей, несомненно более заслуживающие того, чтобы жить, приносят в жертву свои жизни...

Знайте, что мы всегда всеми силами боролись против буржуазии за победу трудящихся масс, за победу пролетариата, за создание словенской советской республики и за Союз советских республик всего мира.

Когда словенская молодежь, коммунистическая молодежь будет жить в своей советской республике, пусть она вспомнит о нас и о всех бойцах, которые до нас и после нас боролись и будут бороться за ликвидацию капитализма, за коммунизм, за продолжение того пути, который отмечен нами огромными жертвами.

Мы отдали за партию самое большое, что можем дать: жизнь!

Да здравствует победа коммунизма!

Пино Томажич

Уроженец Триеста Пино Томажич рано примкнул к революционному движению. Он участвовал в борьбе против итальянских оккупантов. Арестован 2 июня 1940 года, в декабре 1941 года предстал перед Специальным судом в Риме, на котором обвинялось еще семьдесят патриотов. Пино Томажича приговорили к смертной казни и расстреляли с четырьмя его товарищами в Опичине. Ему присвоено звание Народного Героя.

МИЛИЦА РАДОВАНОВИЧ

Милая мама!

От меня потребовали, чтобы я раскаялась.

Предательство даже подумать об этом! Не горюй обо мне, я партизанка.

Умираю не от болезни, умираю за свободу.

Твоя Милица

Белградская студентка Милица Радованович начала революционную работу еще в школьные годы. С 1941 года она в партизанах, однако вскоре попала в руки к врагу и была отправлена в тюрьму в Свилайнаце. Фашистские следователи много дней подряд допрашивали и пытали ее, но не добились успеха. Она была расстреляна 30 июня 1942 года.

© Издательство «Дельта пресс», Белград, 1981.

РАТКО ЖАРИЧ

Цетинье, Богданов Край, 4 июня 1943 года

Дорогие товарищи,

Вот я уже «на белом хлебе». Я приговорен к смерти фашистским судом. Завтра утром меня расстреляют, а сегодня — «белый хлеб». Знаете ли вы, что такое «белый хлеб» у «культурных» фашистов? Они бьют свои жертвы цепями и палками по спине и по голове, полагая, что таким образом сломят дух... Но убеждаются, что и это им не помогает. Ничем не могут они подавить то, что так укоренилось в наших душах.

И завтра я не буду мертв, я буду сражаться с ними, моя кровь будет помогать вам, товарищи, в священной борьбе и победе.

И хотя мы лишены возможности рядом с вами вести бой на полях сражений, мы всегда вместе мыслью и духом.

Наша вера в победу, наша стойкость, наша работа в тюрьме заставляли холодеть фашистских псов, а пролитая нами кровь, в которой они видят свою погибель, рождала у них страх и отчаянье.

Они убивают мое тело, но мой дух будет жить во всех моих живых товарищах.

Мне легко умирать. Я знаю, за что я умираю. Со своего могильного холмика я вижу счастливую свободу нашего исстрадавшегося народа и горжусь тем, что я тоже отдал свою жизнь за свободу и прогресс.

Я счастлив, что ничем не опорочил честь вашу и моей семьи,— умираю, с гордостью восклицая:

Да здравствует Красная Армия!

Да здравствуют партизаны!

Да здравствуют наши искренние союзники!

Смерть фашизму! *Ратко Жарич*

Студент из Никшича Ратко Жарич участвовал во многих революционных выступлениях в предвоенные годы. С началом восстания он по заданию партии был внедрен в итальянскую тайную полицию, откуда доставлял партизанам ценную информацию. В начале 1942 года его связь с партизанами была обнаружена. В августе того же года из-за предательства четников[1] Жарич попал в руки фашистов. Его поместили сперва в тюрьме в Подгорице, где подвергли жутким пыткам. Когда он ни в чем не признался, его отправили в цетиньскую тюрьму, где им занялись тамошние «специалисты» по истязанию коммунистов. Им также не удалось сломить Ратко Жарича — он был приговорен к казни 4 июня 1943 года и расстрелян в тот же день.

ЛЕОНТИНА КРАУС

Милану Недичу,
главе сербского правительства,
Белград, декабрь 1942 года

Господин председатель,

Прошу вас освободить этого мальчика, о котором пишут газеты, а меня расстрелять вместо него.

Леонтина Краус,
учительница на пенсии, Белград,
Цветкова ул., 6.

Господин Недич!

Свобода — это полные народом улицы. Выгляните в окно, и вы увидите редких прохожих, торопливо бегущих по улицам. Свобода — это смех и песни. Когда вы слышали песню, нашу, настоящую? Слышится только «Лили Марлен» Свобода — это распахнутые окна, пройдите по улицам — и вы увидите наглухо опущенные шторы. Свобода — это когда люди сыты, а вы заставили нас часами стоять в очередях возле магазинов, чтобы на выданные вами карточки получить кусок черствого кукурузного хлеба. Свобода — это полные кино- и театры, а они начисто опустели. Кому сейчас придет в голову развлекаться? Свобода — это осенние ярмарки и свадьбы... Свобода — это любовь, а вы убили любовь. Единственное, что вы знаете,— это вешать и расстреливать молодежь без всякого суда, потому что единственное, в чем вы можете их обвинить,— это любовь их к своей стране. У вас битком набиты тюрьмы, но, к счастью, и в лесах оказывается все больше людей...

Леонтина Краус,
Лагерь в Банице, 1943 год.

Сербскому народу!

В канун смерти, в последнем письме, которое я пишу, хочу передать вам лучшую часть своего жизненного опыта.

...Каждый, кто чувствует главное в человеке, все свои силы предоставит в распоряжение сторонников коммунистического экономического строя, а его носителей наградит всей своей любовью и благодарностью.

Мои последние чувства посвящаю коммунистам.

Леонтина Краус,
Баница, июнь 1943 года

Леонтина Краус, шестидесятидвухлетняя учительница на пенсии, в декабре 1942 года написала письмо председателю марионеточного сербского правительства Милану Недичу. Она просила отпустить на свободу юношу из группы арестованных коммунистов. Для Недича, Вуйковича и Бечаревича[1] это была неожиданность: Леонтина Краус, немка, предлагала свою жизнь за жизнь сербского юноши-патриота! Начались допросы и следствия. Однако она продолжала писать письма Недичу и вскоре была арестована. Потом она отказалась от своей национальности — в знак протеста против зверств оккупантов и развязанного ими террора.

Ее расстреляли в Банице 7 июня 1943 года вместе с молодым коммунистом Димитрием Стоичем, за жизнь которого она предлагала свою. Они познакомились на месте казни.

БРАТЬЯ ЦИЦОВИЧИ
МИЛО, ЙОВО и БЛАЖО

Твою посылку мы наконец получили, и то только вчера. Она долго блуждала. Произошло это оттого, что несколько дней назад нас перевели из лагеря в Баре в город Кавайя в «Кампо концентраменто интернационале», как он называется. Теперь мы все трое опять вместе. В одном помещении в бараке под номером четыре. Когда мы открыли посылку, сразу узнали чулки

[1] Четники — члены националистических группировок в Югославии, осуществлявшие в годы второй мировой войны вооруженную борьбу против народно-освободительных сил.

[1] Высокопоставленные сербские чиновники, возглавлявшие борьбу против патриотов.

и носки, которые Ты вязала для нас. Этому мы очень обрадовались, словно увидели Тебя собственными глазами.

Дорогая мама, Ты должна быть мужественной и ко всему готовой, какой была всегда. Мы понимаем, что Тебе труднее всего. Но мы не смеем ничего от Тебя скрывать и Тебя обманывать, особенно в нынешние тяжкие времена И ради Тебя самой и ради нас. Сегодня утром начальник лагеря сообщил, что мы все трое приговорены к смерти Чрезвычайным военным судом. Даже спросил, каковы наши последние желания. Я сказал, что хотим втроем, три брата, вместе сфотографироваться, чтобы хотя бы фотографии вместо нас пришли домой. Капо не разрешил. Сказал, что можно только написать Тебе. Тогда я в шутку попросил, чтобы нас расстреляли из большой пушки. И мы все трое весело засмеялись.

Мы понимаем, милая мама, каково Тебе сейчас. Но Ты вырастила нас, чтобы мы были способны храбро умереть за правое дело, а не были трусами и подонками. Чтобы как мужчины все выдержали, как настоящие Твои сыновья

Не ходи, мама, ни к кому из них, не проси их, не выпрашивай милости ни к одному из нас. Скрепи сердце и выдержи горе. Ты не единственная, кто отдал своих сыновей за свободу Если нужно, мы умрем выпрямившись, как подобает. Это наш ответ преступникам. Так поступали наши предки. А за нас отомстят наши товарищи, которые однажды добьются свободы и вместо нас назовут Тебя своей мамой. Они исцелят, мама, Твои раны.

Все три Твоих сына обнимают Тебя, милая наша мама, и навсегда уносят с собою в сердце Твой образ. И спасибо Тебе, мама, что Ты и теперь будешь храброй и гордой...

Старший брат в семье известных патриотов из города Никшич, Мило Цицович, был шофером и рано вступил в революционное движение. Накануне войны он вступил в КПЮ, а когда война началась, стал партизаном. Его примеру последовали братья Йово и Блажо. Первый из них был железнодорожным служащим, второй — фотографом и музыкантом. Они были выданы врагу в феврале 1942 года. Мать братьев Цицовичей написала лично командующему итальянскими оккупационными силами генералу Пирцио Биролли, надеясь, что освободят хотя бы одного сына. Ответ был лаконичен: «Нет никаких шансов на то, что они будут выпущены до конца войны. Они опасные коммунисты». Однако братья Цицовичи не дожили до конца войны. 25 июня 1943 года их расстреляли в родном краю, на Капином Поле близ Никшича. По рассказам очевидцев, они храбро ушли на смерть: обнявшись, они стояли в кузове грузовика, который вез их к месту казни, и пели революционные песни. Мило было 27 лет, Йово — 25, Блажо — 21 год.

ЙОВАНКА БУКУМИРОВИЧ

8 сентября 1944 года

Дорогая мама и все остальные,

Вчера вечером внезапно, когда мы меньше всего ожидали, пришли выводить на расстрел. Вызвали двенадцать человек и среди них и нашу Србу. Я ждала, что следом назовут и меня, и уже нагнулась, чтоб собраться. Однако полицай умолк и велел названным выходить. В этот момент мне стало страшно. Она оделась и сказала: «Прощайте». Мы наскоро поцеловались. Она пошла с гордо поднятой головой, как всегда. Я невольно пошла за нею, а потом, когда дверь захлопнулась, прислонила ухо к скважине. В коридоре, где им связывали руки за спину, раздался голос Србы: «Да здравствует Коммунистическая партия!» Затем послышались удары. При выходе наружу, у «Марицы», она опять крикнула, кто-то ее поддержал. Они выходили в течение пяти минут. Мы, остальные, в тишине и во мраке слушали, как отъезжала «Марица». Потом мы ждали, что солдаты вернутся за нами, потому что их увезли в пол-одиннадцатого, а мы думали, что нас всех расстреляют в первую же ночь. Однако они оставили нас на сегодня, заставили, значит, нас ждать еще двадцать четыре часа. Если б Срба не ушла первой, мне, может быть, было бы тяжелее. А так я даже как будто испытываю желание пойти следом за нею. Вот таким образом вчера вечером и сегодня мы проводили время.

Ружу я видела, она все слышала из своей камеры, и ты знаешь, каково ей, она плакала. Что поделаешь, сегодня вечером ей будет еще тяжелее, когда я тоже уйду. А уйду я наверняка, потому что сейчас начали расстреливать и женщин.

Если ты уцелела после этой среды, то не очень тебе повезло. Но другие тоже потеряли своих детей, мужайся как можешь.

Всем большой привет, особенно моей доченьке, которая нас наверняка будет ждать... Но мы должны так поступать, и вы тоже. Главное, чтоб все остальное было хорошо.

Всех вас крепко, крепко любит ваша Йока

Учительница из Шетоня близ Петроваца на Млаве в народно-освободительной борьбе участвовала с первого дня, но была арестована 7 октября 1943 года и отправлена в лагерь в Банице вместе со своей младшей сестрой Србиянкой, которую расстреляли 7 сентября 1944 года. Четыре дня спустя наступил черед Йованки. Ей было тридцать три года. В своем прощальном письме она рассказала о мужественном поведении своей сестры в последние мгновения жизни.

Д-р ЗОРА ОБРАДОВИЧ-ИЛИЧ

Моя дорогая Леля, пишу тебе из тюрьмы, надеясь и желая, чтобы это письмо застало тебя живой и здоровой. Не горюй обо мне, родная моя девочка, если завтра меня не будет. Ты не останешься одна, мои уцелевшие друзья и товарищи о тебе позаботятся. Когда вырастешь, поймешь, что другого пути для честного человека не могло быть, кроме пути борьбы за освобождение нашей страны от всяческих врагов, борьбы за социалистическое общество Эта борьба требует огромных жертв но они окажутся не напрасны, так как победа за нами.

Горько мне, Леленька моя, что ты останешься без отца и без мамы. Сердце раз-

рывается от боли, когда думаю об этом, но изменить ничего не могу. Будь здорова, родная моя, слушайся бабушку; не позволяй ей плакать, у нее теперь никого, кроме тебя, нет. Будь внимательна к ней и нежна так же, как ты была ко мне.

Целует тебя всем сердцем своим

твоя мама.

Зора Обрадович-Илич родилась в 1911 году. Она окончила философский факультет и затем получила также степень доктора юридических наук. В революционное движение вступила в довоенные годы и в 1941 году стала членом КПЮ. Вела нелегальную работу в Белграде, а в 1942 году переехала в Кралево, где продолжала работать в подполье. После одного из провалов в начале 1943 года была арестована и передана Специальной полиции в Белграде. После жесточайших пыток, которые она выдержала, никого не выдав, была отправлена в лагерь в Баница, где ее расстреляли 11 сентября 1944 года. Дочери ее было четыре года.

Перевод с сербскохорватского
АЛЕКСАНДРА ДАНИЛОВА

ВЛАДА ЗЕЧЕВИЧ

РАССВЕТАЕТ СВОБОДА

Отрывок из книги

Битва за освобождение Югославии от фашизма близилась к завершению. Осенью 1944 года, в пору солнечных октябрьских дней встретились советские и югославские воины. Теперь они вместе добивали врага и освобождали Белград, вместе праздновали приближение окончательной Победы. Красная Армия шла дальше, а югославским коммунистам, вышедшим из огня борьбы и разрушившим старую, буржуазную Югославию, теперь предстояло создавать новое социалистическое государство. Об этих днях рассказывает книга воспоминаний одного из политических и государственных деятелей страны Влады Зечевича (1903—1970). Сербский православный священник, он был одним из тех патриотов, кто с первых же дней оккупации приступил к организации партизанского движения. В марте 1942 года он вступил в ряды Коммунистической партии Югославии.

Части Красной Армии, продвигаясь по освобожденной Румынии, быстро приближались к Дунаю и границам Югославии. Товарища Тито уполномочили установить в Москве личный контакт с Верховным Главнокомандованием Красной Армии и Советским правительством и от нашего имени одобрить вступление войск Красной Армии на югославскую землю. Во второй половине сентября он вылетел на советском самолете с острова Вис для встречи и переговоров с Верховным Главнокомандованием Красной Армии и Советским правительством. Во время этой встречи было подписано соглашение о вступлении Красной Армии в Югославию для совместной борьбы нашей и советской армий против германских воинских формирований...

...Из Валева мы по железной дороге отправились в Аранджеловац. Навстречу попадаются разные отряды нашей армии и частей Красной Армии. Сколько лет мы мечтали о встрече с красноармейцами — и вот теперь одну из частей Красной Армии видим из окон своего вагона. Кто-то взволнованно произносит: «Смотрите, человечество наступает на Гитлера и его германскую армию».

В Аранджеловаце было созвано заседание кабинета. В деталях обсудили обязанности каждого руководителя новой Югославии, приняв решение немедля переехать в Белград, когда он будет освобожден.

После этого заседания я с двумя сопровождающими на джипе выехал в направлении к Белграду. На шоссе Белград — Крагуевац перед нами прошли части нашей и Красной Армии. На дороге и возле нее — трупы убитых, сожженные танки, разбитые орудия, автомашины, упряжки и фуры всех видов и форм...

Возле Авалы догоняем колонну бойцов 23-й дивизии, составленной из бойцов Сербии. На вопрос, каким путем они шли до сих пор и будут ли участвовать в битве за Белград, товарищи из штаба дивизии отвечали, что двигаются они из Краины в тесном взаимодействии с Красной Армией. Здесь, под Авалой, они на марше столкнулись с германской дивизией, стремившейся прорваться к Белграду, разбили ее и вынудили повернуть на Обреновац, к реке Сава; разбитые остатки ее уничтожаются на пути от Смедерева, наши преследуют их и, возможно, от Умки или Обреновца повернут вдоль Савы к Белграду. На лицах бойцов — усталость от непрерывных боев и маршей последних дней. В конце колонны смешались обозы нашей и Красной Армии с их разнообразными транспортными средствами, от гужевых до механизированных, которыми в основном перевозятся боеприпасы и оружие, захваченные у немцев.

Белград, Издательство «Просвета», 1970.

Мы продолжали путь к Белграду, то и дело обгоняя бойцов нашей и Красной Армии, грузовики, танки, артиллерийские орудия и снова бесконечные колонны пехоты. Возле Авалы нам пришлось проселком перебраться с Крагуевацкого на Смедеревское шоссе, так как эта часть местности и предместий Белграда уже освобождена, в то время как в районе вокруг Топовских сарайчиков, при въезде со стороны Крагуеваца еще идут жестокие бои с сильными немецкими группировками.

Площадь возле Цветковой корчмы полна народа. Штатские, военные — все взволнованы, кругом радостные лица, целуют наших и русских бойцов.

Останавливаюсь и я возле Цветковой корчмы, выхожу из машины... Издалека доносятся звуки орудийной стрельбы — сражения идут на белградских улицах. Командиры — наши и советские офицеры — поторапливают бойцов, чтоб проворнее двигались, а как это сделать? Люди обнимают, целуют их, суют подарки, угощают куревом...

В этой пестрой толпе я обратил внимание на одну девочку и стал ее пристально рассматривать. Лицо, зимнее пальтишко напоминали о моей дочери — я ее не видел с 1941 года,— но вроде бы несколько великовата, на спине — косы, в руках пустая молочная бутылка. Я медленно подошел к ней, осторожно окликнул: «Оля», она стремительно обернулась и бросилась мне на шею... Народ вокруг, бойцы смотрят на эту неожиданную встречу отца с дочерью. Как она тут оказалась, где моя сестра, зять, племянники? Она обо всем рассказала, на все ответила. Я велел ей собираться со мной в путь — мы условились, где она будет меня ждать. А пока простились, она пошла на соседнюю улицу, где жили знакомые, а я направился к центру.

Чем ниже я спускался по широкой Александровой улице, тем очевиднее было, что мы приближаемся к зоне настоящей битвы за Белград. Снаряды артиллерийских и танковых орудий, пулеметные очереди гремели впереди и вокруг нас. Вернувшись за Оливерой, я посадил ее в машину, и в сумерках мы тронулись в направлении Аранджеловаца.

Утром на заседании правительства и Президиума АВНОЮ [1] я сделал подробное сообщение о том, что видел, и о том, что узнал от наших офицеров разведки из состава частей, сражавшихся за освобождение Белграда. Немцы упорно держались за каждую улицу, каждый дом и перекресток — ждали даже помощи и подкреплений от своих дивизий, отступавших из Греции через Югославию.

Целых три года немцы удерживали города, населенные пункты на железных дорогах и главных магистралях. При каждом своем наступлении против частей Народно-освободительной армии и партизанских отрядов они стремились — и нередко это им удавалось — основные наши силы загонять в горы и в малонаселенные районы, отрезанные от снабжения продовольствием и водой. Теперь крупные города и транспортные артерии удерживали мы; наша и Красная Армия отшвырнули германские дивизии, отступавшие из Греции в районы бездорожья и горных массивов Македонии, Косова и Метохии к Черногории и в Восточную Боснию.

Немцам приходилось день и ночь пробиваться с непрерывными боями уже по освобожденной Югославии, неся огромные потери в живой силе и особенно в тяжелом вооружении. Наши части и войска Красной Армии гнали фашистов, не давая упорядочить фронт. Командование всех германских войск в нашем районе получило директиву Гитлера любой ценой пробиваться в Срем и Славонию, чтобы там создать устойчивый фронт, который защищал бы «немецкую крепость» и таким образом оттянул бы с запада силы наших союзников и тем самым ослабил давление и прорыв Красной Армии к сердцу Германии — Берлину.

...Мы спешно готовимся перебраться в Белград, договорились, что каждое ведомство в основном занимает здания соответствующих министерств бывшей Югославии — согласно прежнему распределению обязанностей. Верховный штаб отдал приказ командирам наших частей, ведущих бой за освобождение Белграда, обеспечить сохранность зданий, мебели, архива, назначить особые команды, которые должны за этим следить и нести ответственность за соблюдение приказа.

Товарищ Тито в Москве подписал соглашение с Советским Верховным Главнокомандованием и правительством, согласно которому мы получаем от братского Советского Союза комплект вооружения на двенадцать дивизий Народно-освободительной армии и около трех миллионов тонн пшеницы для питания армии и народа Югославии.

Двадцатого октября 1944 года наша Народно-освободительная армия во взаимодействии с частями Красной Армии освободила Белград и начала преследование немцев на другом берегу Савы. Радостные, оживленные, покидали люди свои убежища. Много страшных испытаний досталось на их долю во время оккупации, а особенно в эти последние дни. Весть об освобождении Белграда распространялась устно, письменно, по всевозможным каналам связи.

В Белград съезжались члены Верховного штаба, Президиума АВНОЮ, Национального комитета освобождения Югославии, все сопутствовавшие им службы со специалистами, которые до сих пор были бойцами, командирами и комиссарами в наших боевых частях. На площади перед Народным театром обращались к народу и бойцам наши и советские военные и политические руководители и комиссары. Повсюду ликование, песни, коло, объятия, поцелуи — на каждой белградской улице.

[1] Антифашистское вече народного освобождения Югославии.

Представители власти новой Югославии со своими сотрудниками размещаются в зданиях бывших министерств, кроме моего ведомства внутренних дел, которое «свое бывшее» здание уступило министерству социальной политики, а само поместилось в гостинице «Палас», где до вчерашнего дня располагались службы немецкой контрразведки. Тут же был взят под охрану архив, множество упакованных ящиков, которые немцы в спешке не сумели увезти.

В разгар радостных переживаний только что освобожденный Белград пришла печальная весть: налетела на плавучую мину моторная лодка, где находился вместе с советскими офицерами Милутин — Иван Милутинович, член Национального комитета освобождения Югославии, уполномоченный по делам народного хозяйства, направленный в Румынию, чтобы с представителями Советского правительства и командования Красной Армии договориться о поставках оружия и зерна в порядке братской помощи Советского Союза народам Югославии. При взрыве лодка разлетелась вдребезги, и почти все бывшие на ней люди встретили смерть в холодных волнах поднявшегося Дуная...

При форсировании Дуная у Кладова Красная Армия встретилась с дивизиями Народно-освободительной армии. С этого момента все более меняется наш существовавший прежде метод партизанской войны. Теперь столкнулись лицом к лицу целые армии, германские и четнические с одной стороны, а с другой — крупные формирования Красной Армии и дивизии и корпуса Народно-освободительной армии Югославии. Изучая ежегодно бюллетени с полей сражения, мы понимали, что немцы и их союзники — четники находятся перед нами, слева и справа, что мы со всех сторон окружены неприятелем. Но теперь мы лучше вооружены, лучше обучены, лучше питаемся. И Красная Армия, могучая и непобедимая, здесь, рядом,— мы видим ее своими глазами, и это вливает в нас новые силы.

...Фронт удалялся от Белграда, Красная Армия ускоренным маршем очищала территорию перед собой, она спешила в Венгрию и Австрию, чтобы освободить и эти страны от оккупантов, а фланги и тыл ее прикрывали части Югославской армии — так она по-новому стала называться...

Перевод с сербскохорватского
АЛЕКСАНДРА ДАНИЛОВА

БИДДИ ЯНГДЕЙ

БЕРЛИН, 1944, 1945...

От переводчика

В конце 50-х годов в Обществе СССР — Великобритания я познакомилась с членом британского Общества культурных связей с СССР Бидди Янгдей. Мы подружились, стали переписываться, изредка встречались. Я знала, что Бидди не только работает в Обществе, но что она активистка движения за мир, участница знаменитых Олдермастонских маршей. И только через несколько лет я услышала о ее необычно сложившейся судьбе. «Меня спасли советские солдаты,— поделилась она однажды.— Да, да, в 1945 году в Берлине».

Бидди рассказала, что в 1928 году она вышла замуж за немца-коммуниста Вилли Юнгмиттага[1] (отсюда ее необычная фамилия-перевод). Муж был членом антифашистской подпольной организации, в 1944 году его схватили гестаповцы и казнили. Бидди осталась в фашистском логове с двумя детьми, Кларой — десяти лет и Мэри — трех, каждую минуту ожидая ареста и гибели и зная, что спасение может принести только Советская Армия.

Миссис Янгдей не стала уточнять подробности, пообещав прислать свои письменные воспоминания о тех днях. Я получила ее записки. Несколько лет хранилась эта рукопись. Сейчас, в преддверии 40-летия Великой Победы, видимо, пришел час познакомить читателей с некоторыми страницами ее безыскусного повествования о пережитом. Не так давно Бидди не стало. До последних своих дней она оставалась преданным другом Советского Союза.

[1] Немецкое «Юнгмиттаг» соответствует английскому «Янгдей».

В тот день союзники высадились на побережье Франции. Эту новость мы услышали по радио в пансионате на Балтийском море, где тогда жили. А накануне вечером мой муж уехал на речном пароходе в Тильзит, чтобы там пересесть на поезд в Берлин. Мне казалось, еще месяца

полтора — и война будет окончена. Мы с мужем договорились, что он сразу же напишет из Берлина. Поводов для беспокойства у меня было достаточно: в нашей берлинской квартире скрывался Эрнст Бестляйн — политический заключенный, которому удалось бежать из тюрьмы, но мне хотелось думать, что задержка почты вызвана высадкой союзников.

Я ждала письма со дня на день, но получила только перевод от мужа на сто марок. Я решила, что все в порядке. А через неделю пришла телеграмма. Она была без подписи: «Прямое попадание, немедленно возвращайся в Берлин». Ясно было, что произошло что-то ужасное, но я все еще как-то продолжала надеяться, что, может быть, это действительно была бомба, что просто в спешке Вилли забыл подписать телеграмму. Я позвонила в фирму, где работал муж, и мне сообщили, что три недели назад его арестовали и после отпуска он уже не возвращался на работу.

Я не знала, что делать. Везти детей в Берлин я не хотела, а самой мне надо было туда ехать. Не хотела я и оставлять их в Кукернесе, так как русские наступали очень быстро, и я боялась, что в общем хаосе, который начнется, я не смогу попасть из Берлина в Восточную Пруссию. Я не решилась сказать правду людям, с которыми мы вместе были эвакуированы. Я только сообщила им, что в наш дом попала бомба, что муж ранен и мне надо ехать в Берлин.

Я телеграфировала свекрови, прося ее приехать, но в ответ она предложила привезти детей к ней, в Бремен. Так я и решила сделать.

Я упаковала кое-что из вещей, а остальное бросила. Женщины помогли нам дотащить до станции старую детскую коляску с пожитками и посадили нас в поезд. О том, что произошло на самом деле, я так никому и не сказала.

Ночным поездом мы доехали до Берлина. Я не решилась сделать там остановку — прежде всего надо было обеспечить безопасность детей, и мы поехали прямо в Бремен. Оставив детей со свекровью, я уехала в Берлин.

Я страшно устала, известие об аресте мужа потрясло меня — устоять перед желанием встретиться с кем-нибудь из товарищей, прежде чем пойти домой, я была не в состоянии. Я решила поехать к Джонни, она жила в яхте на Ванзее — это озеро под Берлином. Когда я добралась туда, был уже вечер. Лодка была причалена к берегу и казалась совсем пустой. Но когда я по сходням спустилась в каюту, то нашла там свою подругу. Джонни очень обрадовалась мне, и мы обо всем поговорили.

Джонни и сама была арестована, но ее выпустили, а вот Альф, ее муж, еще в тюрьме, его осудили на четыре года заключения. С 1933 года он работал в подполье. О Вилли она знала немного, но сказала, что мне надо было бы повидать Веру Гласс. Мы решили, что безопаснее будет поехать к ней, прежде чем я пойду домой или в гестапо, так как вряд ли до этого я попаду под слежку.

Утром я поехала в Целендорф, где жила Вера Гласс, и встретилась с ней и с ее отцом. Мы обсудили, что мне делать, и решили, что я сначала поеду домой и посмотрю, что делается у меня в квартире, а потом пойду в гестапо и на следующий день постараюсь встретиться с Верой у Восточного вокзала. Если же я увижу, что это может быть опасно, то я им позвоню. На этом мы расстались.

Прежде всего я поехала в контору фирмы, где работал мой муж. Она находилась около Альт Моабит. Вышла я на станции Тиргартен и пошла пешком по разрушенным улицам. Длинная перспектива пустых стен, глядящих вниз дырами окон, и каждую сотню ярдов — громадные кучи мусора: вот все, что оставалось от зданий при прямом попадании.

В конторе, где-то на верхнем этаже здания, которое все еще имело над собой крышу, мне дали бумагу, которую должен был подписать Вилли, чтобы получить компенсацию за вещи, пострадавшие при бомбежке. Эта бумага была тогда для меня очень важна: ведь если я получу подпись Вилли, то по крайней мере буду знать, что он жив. Из конторы позвонили в гестапо и договорились, что меня там примут.

Когда я возвратилась к себе домой, соседи рассказали мне, что гестаповцы три дня и три ночи продежурили в квартире, карауля Вилли. Он вернулся только в среду. От нас он уехал в субботу, так что он, наверное, заметил за собой слежку и пытался скрыться. Где он был эти три дня, я так и не узнала, потому что в тюрьме, когда я его увидела, спрашивать его об этом я не могла.

Дома я обнаружила, что Вилли обернул газетами и тряпками газовый счетчик, чтобы не слышно было, как он включается,— наш газовый счетчик очень громко тикал, и если бы Бестляйн захотел приготовить еду в отсутствие Вилли, счетчик мог бы его выдать. Еды у меня никакой не было, только хлеб да картошка, но я все равно ничего не могла есть. Утром началась тревога, и мы вместе с соседкой побежали в бомбоубежище. Там уже была жуткая толпа, внутри было очень душно, мы были прижаты друг к другу, как сардинки в банке, и я решила больше в убежище не ходить. Тревога длилась около часа, потом я пошла в гестапо. На посту у дверей стоял очень молодой эсэсовец. Здание казалось пустым, и в то же время все словно говорило о муках тех, кого здесь пытали. Я вошла в полупустой и неопрятный кабинет, в котором сидели два гестаповца. Я сказала, что я жена Вилли Юнгмиттага и что у меня есть от его фирмы бланк, который он должен подписать, чтобы я могла получить причитающиеся ему деньги. В комнате был свободный стул, я села на него, стараясь показать, что отношусь ко всему спокойно. Гестаповец позвонил куда-то и сказал, что если я поеду в тюрьму на

Принц Альбрехтштрассе, то смогу получить подпись мужа, но его самого не увижу.

Принц Альбрехтштрассе — это примерно четыре остановки на метро. Меня пропустили через здание в какой-то подвал, где был вход в тюрьму. Я позвонила, вышел охранник. Я рассказала, что мне нужно, он взял бумагу, которую должен был подписать Вилли, и ушел, закрыв дверь. Примерно через десять минут он принес бланк с подписью Вилли, сделанной очень нетвердой рукой, и я ушла. Теперь мне надо было позвонить Вере Гласс. Только я зашла в будку и начала набирать номер, как дверь открыл какой-то мужчина. Я настолько растерялась, что не могла остановиться и продолжала набирать номер — набрала пять цифр из шести. Мужчина пробормотал, что он из Вены, не знает, как пользоваться берлинским автоматом, но было совершенно очевидно, что он следил за мной. Я выщла из будки, абсолютно ничего не соображая. Мы должны были встретиться с Верой у Восточного вокзала в шесть часов. Сейчас было 4.30. Я решила, что у меня еще есть время попытаться избавиться от слежки. Я пересаживалась с одного поезда на другой, но, видно, недостаточно быстро, мне никак не удавалось отделаться от шпиков, и я вернулась домой

Итак, пять из шести цифр Вериного телефона были им известны. Надо было как-то предупредить ее, чтобы она прекратила всякую связь с организацией. В ту ночь я не раздевалась, ждала, что в любую минуту за мной могут прийти. Я решила встать затемно, надеть макинтош Вилли, выйти через сад там, где забор разрушен бомбой, на Геллштрассе, пройти к трамвайной остановке, поехать и предупредить Веру. Когда я села в трамвай, хвоста за мной не было. Я доехала до Вериной остановки, я была так измучена и так, наверно, странно выглядела, что полицейский на станции безусловно меня заметил, но я все равно пошла дальше — уже не могла остановиться. Добралась до квартиры Веры, позвонила. Ответа не было, я решила позвонить в дверь напротив, соседям, которые, как я знала, были с Верой в хороших отношениях. Соседка была насмерть перепугана. Она сказала, что всю семью Глассов арестовали накануне вечером и чтобы я убиралась к черту.

Я была абсолютно убита. Я была уверена, что это произошло по моей вине, что за мной тоже придут, так как совершенно очевидно, что я — сообщница. Всю неделю я оставалась в Берлине и ожидала ареста, но за мной так и не пришли.

Все это время продолжались налеты. В бомбоубежище я ходить перестала. Помню, однажды ночью я смотрела из окна — небо, залитое светом прожекторов, дома в красном огне пожаров. Зрелище, полное ужасной красоты и фантастичности, словно день страшного суда.

Через неделю я связалась с адвокатом, которого мне рекомендовала Джонни, но он побоялся вести дело, может быть, потому, что я была англичанкой. Потом я поехала в Бремен и забрала детей домой. Соседи ко мне относились неплохо, но они были слишком напуганы и старались поменьше со мной общаться. В убежище мы ходили все вместе. В день бывало обычно по три налета. Мне бомбежки приносили даже какое-то облегчение — позволяли забыться и некоторое время не думать о других вещах.

Встречаться с Джонни я не рисковала, боялась навести гестапо на ее след.

В пятницу, на другой день после июльского покушения на Гитлера, я поехала в тюрьму. У ворот стояла удвоенная охрана. В здании, когда эсэсовец подвел меня к тюремной двери, мне сказали, что моего мужа здесь больше нет. Когда я спросила, где же он, мне ответили, что они не знают. Я уже начала бояться, не прикончили ли они просто всех сразу. В конце концов меня направили в Потсдам, где находилось управление гестапо.

Был субботний день. Я оставила детей с соседкой и поехала в Потсдам. Я ожидала, что меня будут допрашивать, поэтому всю дорогу вбивала себе в голову, что именно мне надо будет говорить и что я не должна даже обмолвиться о Вере или о Джонни. Меня впустили в кабинет, где сидели три гестаповца, судя по всему — высокого ранга. Меня сразу же стали спрашивать, откуда я узнала, что мой муж арестован. Я ответила, что, не получая никаких вестей от него, позвонила в контору его фирмы. Я знала, что мне нельзя упоминать о телеграмме (ее послала Вера); я была так перепугана, что произносила слова очень медленно. Они спросили, знаю ли я Джонни. Я сказала, что знаю (так мы заранее договорились), что она брала у меня уроки английского. Знала ли я Альфа? Я ответила, что Альфа не знаю, но что однажды встретила приятеля Джонни, и кажется, его звали Альфом. Бывала ли я когда-нибудь у них в доме? Да, один раз. Меня отпустили...

Через несколько дней я получила письмо от Вилли. Он был в Бранденбургской тюрьме, там было лучше, чем на Принц Альбрехтштрассе, потому что заключенных не избивали. У меня даже появилась надежда, что война скоро кончится, русские придут в Берлин до того, как дело Вилли передадут в суд, и мой муж будет спасен.

Шел сентябрь 1944 года... И вдруг я случайно встретила на улице нашего управляющего домами, и он мне сказал, что мой муж накануне был приговорен к смертной казни. Вера, и Люси, и герр Гласс получили по два года. Благодарение богу, что моя глупость не привела их всех к смерти. Положение Вилли уже ничто не могло изменить.

Я сразу же поехала к адвокату. Часа два мне пришлось ждать; это был маленький, какой-то пыльный человечек;

как в нем уживалось хоть что-то человеческое при такой его работе — не понимаю. Он показал мне дела тех, кого он защищал,— один смертный приговор за другим. Он мне сказал, что мне будет разрешено свидание с мужем и что я могу подать прошение о помиловании. Получив разрешение на свидание, я поехала в Бранденбург.

Я уезжала с Потсдамского вокзала. В голове поезда был тюремный вагон, и заключенные, которые должны были ехать, еще стояли на перроне, скованные цепями друг с другом,— все мужчины выглядели старыми, с выражением полного отчаяния и безнадежности на землистых, истощенных лицах; там же было и несколько женщин, думаю, из восточных рабочих.

От вокзала до тюрьмы надо было ехать на трамвае — тюрьма была на окраине города. Тюрьма громадная, современная — такие показывают в кино. Нужно было войти в ворота и отдать разрешение на свидание в маленькой комнатке справа от ворот; в ней был стол, стулья и что-то все время звенело, не помню уж что. Вышел тюремщик. Мы прошли через тюремный двор; был солнечный день, и серые высокие стены казались белыми на солнце. Мы подошли к тому зданию, где был Вилли; вошли в комнату, которая была перегорожена деревянным барьером; по обе стороны стояли сиденья, похожие на церковные. Свидание было мучительным. Мне нужно было притворяться, что у нас все в порядке, что мы собираемся эвакуироваться, что налеты не так уж страшны, он тоже старался держаться. Мы не решались ничего сказать, боясь выдать себя. В конце концов он сам прервал свидание. Мне кажется, у нас обоих было такое впечатление, что они дали бы нам говорить сверх положенного времени в надежде выудить какую-нибудь информацию и что кроме тюремщика еще кое-кто слушал наш разговор.

Я вышла на солнце и поехала домой. Я не верила, что останусь жива. Нас всех вылавливали и уничтожали, одного за другим, и я не видела причин, почему бы им оставить меня в живых.

Клару под чужим именем мне удалось вывезти из Берлина в Саксонию со знакомой учительницей. Мы купили ей форму, и она, бедная малышка, так радовалась. Еще она получила нарядные белые чулочки — ей всегда нравилось наряжаться. Я поехала с ней на вокзал и все время думала, что никогда больше ее не увижу. Весь последний день я читала ей «Гекльберри Финна». Мне это помогло. Сама я читать не могла, а для нее читала. По дороге на вокзал я несколько раз принималась уговаривать ее: «Не уезжай!» — но ей нравилась учительница, с которой они ехали, да и я сама ведь ей говорила, что надо ехать, что это шанс спастись, которого у нас не будет.

Я в последний раз повидалась с мужем; свекровь приехала из Бремена, и мы пошли на последнее свидание вместе. Был прекрасный осенний день. Нам позволили обняться. Вилли выглядел измученным, может быть, потому, что он теперь все время был в наручниках, их сняли только на время свидания. Свекровь принесла с собой несколько яблок, он их ел, пока мы разговаривали. Как мы с ним простились, не могу рассказать. Я была рада, что Вилли смог повидаться с матерью. Я думаю, она помогла ему больше, чем я. Я была в состоянии такого потрясения, что толку от меня не было. После того как уехала Клара и я осталась одна с Мэри, я совсем перестала спать. Каждый раз просыпалась около двух часов ночи, вставала и уходила на кухню, чтобы как-то справиться со своим отчаянием. Меня все время мучила мысль, что я все сделала не так, что, может быть, что-то можно было сделать по-другому. Я постоянно винила себя в том, в чем не было моей вины.

20 ноября я получила документ из гестапо: они сообщали, что приговор — казнь через повешение — был приведен в исполнение в 12 часов 30 минут, свидетельство о смерти подписано 14 минут спустя — четырнадцать минут он умирал!

Ужасным холодным ноябрьским днем мы со свекровью, взяв с собой Мэри, поехали в Бранденбург, чтобы получить вещи Вилли. Когда мы приехали в Бранденбург, начался налет, мы пошли в убежище, а когда вышли, то по дороге в тюрьму увидели руины громадного завода, полностью разрушенного бомбой. Мы получили вещи Вилли и дневник, который он вел в тюрьме — булавочные царапины на кусочке копирки,— так он отмечал дни...

Связаться через Красный Крест со своими родственниками в Англии я не пыталась. Мне казалось, что это не имеет смысла. У нас на стене висела большая карта, и я отмечала на ней продвижение союзников, хотя была уверена, что у меня нет никаких шансов спастись. Я боялась, что меня могут арестовать. А что тогда случилось бы с детьми? Мы ведь все знали, что делают нацисты с детьми коммунистов.

Вскоре мне пришлось идти на медицинскую комиссию, которая должна была определить, могу ли я работать. Меня признали годной. Я пошла работать на фабрику в Вейсензее. В бомбоубежище, набитое этими истеричными нацистами, мы не ходили — там в толпе несколько детей задавили насмерть. Иногда нас будили соседи, и мы спускались в подвал.

Конец был уже близок, русские подходили... Я надеялась, что меня не вышлют куда-нибудь. Может быть, я все-таки продержусь, пока они не придут, а тогда уж все будет хорошо. Правда, чаще я не верила, что останусь жива. Это представлялось невозможным.

И вот, наконец, мы проснулись ночью и услышали гул русской артиллерии. Одна девушка, которая приехала из восточного пригорода, сказала, что там

грохот русской артиллерии гораздо слышнее. Я решила в первое же воскресенье поехать туда. Я думала, что русские вот-вот перейдут в наступление, захватят восточные пригороды и тогда мы будем спасены.

Последняя бомбежка закончилась в два часа ночи. Утром, когда мы проснулись, мы услышали шипение и потом глухой удар — над нашими головами летели русские снаряды. Больше воздушных налетов уже не было. Мы перенесли постели в подвал, взяли с собой все огарки свечей, что были еще в доме. Электричества не было, так что весь день мы просидели в темноте, зажигая свечи, только если нужно было что-то найти. Я пошла домой и сварила на балконе в ведре картошку, дрова для костра мы приносили из разрушенных домов. Вареную картошку я отнесла вниз, в подвал.

Я боялась, что в последний момент придут эсэсовцы и меня прикончат... В ту ночь мы не ложились, дети же немного поспали. Потом мы услышали, что по улице бегут солдаты. Мы слышали, как немцы что-то кричали друг другу. Потом кто-то стал дергать дверь, она открылась — в подвал вошел русский солдат. Это был парень небольшого роста, он уселся рядом с нами и стал перевязывать раненый палец. Я подошла и помогла ему. Мы попытались как-то объясниться друг с другом. Правда, это было очень трудно: я не знала русского, а он не говорил ни по-немецки, ни по-английски, ни по-французски. Он дал Мэри конфетку, а потом что-то написал по-русски на листке бумаги. Как я узнала позже, там было написано вот что: теперь жизнь немцев в безопасности, в Германии будет демократия и когда-нибудь немецкие дети научатся говорить по-русски. Потом он ушел. А в десять часов утра пришли еще солдаты, они сели и начали есть громадные бутерброды со свиной тушенкой. И сразу же дали всем детям по большому куску хлеба с тушенкой. Такой роскоши мы не видели уже давно. После того как все дети получили еду, кое-что досталось и взрослым. Затем русские ушли.

Я испугалась, что русские совсем уйдут с нашей улицы, поэтому решила бежать к ним и просить о помощи. Я схватила одеяло в одну руку, а Мэри — в другую и побежала вниз по улице, к Вейсензее. Я боялась, что эсэсовцы могут вернуться. В одном подвале я нашла нескольких русских. Я им объяснила, что моего мужа казнили. Мне дали кольцо колбасы, хлеба, конфет и направили меня в службу безопасности, чтобы там со мной переговорили. Пока я ждала, я стала разговаривать с русскими солдатами. Это были крестьяне с Кавказа. Они спрашивали, правда ли, что это Берлин. Один из них немного говорил по-немецки. Он говорил, что русские, и англичане, и американцы — все придут в Берлин, все пожмут друг другу руки и разойдутся по домам. Он давно не видел свою жену, и ему очень хотелось домой. Когда я встретилась с офицером безопасности, говорившим по-немецки, он меня заверил, что со мной все будет в порядке, и сказал, чтобы я шла домой. Но я все не могла этому поверить и не хотела уходить.

Когда мы наконец вернулись домой, я не сказала немцам в нашем подвале, где я была; они, конечно, боялись, что я донесла на них, как это было принято в Германии.

После этого мы еще около недели находились на ничейной земле. Немцы все еще были на мосту, а русские — на другом конце Пренцлауэр аллее, и улица, куда приходилось ходить за хлебом, постоянно простреливалась.

Несколько раз я выбиралась за помощью к русским на Вейсензее, там они прочно укрепились. В одну из таких экспедиций мы набрели в поле на лагерь русских. Там было несколько девушек. Они были очень дружелюбны. Они готовили еду на костре. Там же было привязано несколько лошадей. День был прекрасный, весенний, солнечный, все выглядело как в волшебной сказке и казалось абсолютно несовместимым с представлением о берлинском пригороде. Они дали нам поесть, мы разговорились, и в конце они мне сказали: «Так, выходит, вы хотите вернуться в капиталистическую Англию»...

Появились объявления, в которых сообщалось, что иностранцы могут зарегистрироваться в комендатуре в Вейсензее, и я отправилась туда. На этот раз мне удалось понятно объяснить все. Я захватила с собой мой старый британский паспорт, который я сберегла как сувенир. Из комендатуры меня направили в дом приходского священника, где русские устроили пункт для перемещенных лиц. Там был часовой, с которым я беседовала. Мы стали учить друг друга языку. До сих пор я сохранила память о нем как о необычайно славном, добром человеке. Он был молод, черноволос и стоял в вестибюле со своим автоматом. Мы указывали на предмет, и по очереди называли его — он по-русски, я — по-английски. Много солдат входило и выходило. Я была с коляской, в которой сидела Мэри. Наконец, один из офицеров сказал мне, что в Вейсензее устроили в школе лагерь для перемещенных лиц, где много итальянцев, угнанных на работы в Германию, и что я могу пойти туда. Нас накормили супом и хлебом, и мы отправились в эту школу, где действительно было много итальянцев. Там была также польская девушка-переводчица, она немного говорила по-немецки. Я объяснила ей свою ситуацию, и она сказала, что я могу остаться. Я поднялась наверх, нашла там место для ночлега. В классных комнатах длинными рядами стояли койки с соломенными матрасами. Мы с Мэри пробыли там три дня. В комнате, где мы спали, было много итальянских рабочих — все мужчины. В первый же вечер они отпраздновали свое освобождение и устроили концерт; почти до двух часов ночи они пели свои прекрасные песни.

Несколько раз я ходила домой, взяла одеяла, кастрюли. Чувствовала я себя ужасно, боялась, что может вернуться Клара и не застать нас дома. Но все пережитое прошедшей зимой в Берлине было так страшно, что я просто не могла больше находиться в своей квартире.

Три раза в день мы получали еду и хлеб. Русский комендант поручил мне доставлять молоко в школу. А потом наша полька-переводчица объявила: «Вас всех отправляют по домам». Мы сложили свои вещи — кто в коляску, кто на тележку. И двинулись в путь. Проходя мимо нашего доброго коменданта, все приветствовали его. Был прекрасный майский день. Так странно было идти по знакомым улицам города, в котором я пережила столько горя и ужаса.

Наша процессия медленно двигалась вниз по Берлинерштрассе к вокзалу Вейсензее и дальше, на Александерплац. Первый раз после артиллерийского обстрела Берлина я оказалась в центре города. Горы битого кирпича, розовеющие в солнечном свете, искореженные трамвайные рельсы, пустые глазницы окон и дверей еще не разрушенных фасадов, гигантский вал руин рассекал весь центр города — громадные кучи мусора, и все так тихо и мирно! Около четырех часов дня мы вышли на большую площадь в восточной части Берлина и остановились. Офицер Красной Армии, очень высокий, крупный, светловолосый, обратился к нам с речью по-русски, другой офицер переводил. И тот сказал, что, если среди нас есть англичане или американцы, пусть они назовут себя, им будет оказана специальная помощь.

Даже не знаю, как описать этих русских и то впечатление, которое они произвели на меня: в них была какая-то простота, и честность, и прямодушие, которых мне здесь так не хватало.

Никогда мне не забыть эту сцену: широкая берлинская площадь в косых лучах предвечернего солнца, длинный ряд итальянцев с тележками, и этот русский, обращающийся к нам с речью...

Перевод с английского Т. ЖУКОВОЙ

БРЮС МАЙЛЗ

«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

Монтаж по книге

Брюс Майлз — телерепортер Би-Би-Си, уроженец Шотландии. Еще в юности овладел искусством управления самолетом. Занимаясь изучением боевых действий авиации на Восточном фронте, он обнаружил показавшийся ему уникальным факт: в годы войны в СССР было сформировано три женских авиаполка. Молодые летчицы участвовали в жесточайших воздушных боях и заслужили высшие награды родины — многим из них было присвоено звание Героя Советского Союза.

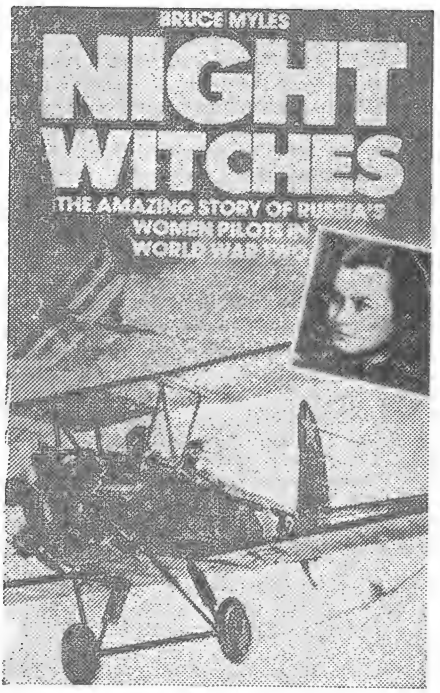
Б. Майлз несколько раз приезжал в СССР, при помощи сотрудников советского посольства в Лондоне и АПН в Москве разыскал этих отважных женщин и записал свои многочасовые беседы с ними на магнитофон. Представляя книгу читателю, автор пишет: «Чем больше я говорил с этими женщинами, тем ярче открывался мне драматизм их человеческих судеб. За плечами у меня двадцатилетний опыт репортерской работы, но никогда еще на мою долю не выпадало столь волнующего материала. Правдой было каждое слово — и вместе с тем все напоминало приключенческий роман. Я достаточно летал и сам, чтобы оценить силу духа и мужество молодых женщин: им было немногим больше двадцати лет, а они, защищая родину, сражались в небе с захватчиками. Я не мог не написать об этом. Так родилась книга «Ночные ведьмы».

В ноябре 1941 года, когда фашисты подступали к Москве, среди других и вчерашние школьницы, члены аэроклубов, осаждали военкоматы, сжимая в руках летные книжки. Ответ был один: «Не хватало еще, чтобы мы детей брали в авиацию! Ступай домой, к маме!»

Но вскоре знаменитая советская летчица Марина Раскова по радио обратилась к добровольцам с призывом создать женские авиаполки. Девушки, прошедшие отбор, отправились в Энгельс, небольшой городок к северу от Сталинграда. Там началась их боевая подготовка. Программа занятий была сокращена с двух лет до шести месяцев: летали и занимались по четырнадцать часов в сутки. В мае сорок второго года они закончили обучение и ушли на фронт.

Под Саратовом они получили боевое крещение — Валерия Хомякова стала

© Presidio Press, Novato, California, 1981.



Обложка книги Брюса Майлза

первой женщиной в мире, сбившей вражеский самолет. Летчицы накапливали опыт с каждым вылетом. Вскоре они должны были отправиться на Сталинградский фронт — Лилю Литвяк и ее подругу Катю Буданову из 586-го полка перевели в 73-й истребительный полк, который принял участие в воздушных боях над горящим Сталинградом.

А 588-й женский авиаполк находился на южном фронте...

Экипаж бомбардировщика Евдокии Бершанской был готов к вылету. По курсу, данному штурманом, поглядывая то на карту, то на компас, майор Бершанская на высоте девятисот метров приблизилась к объекту, потом выключила двигатель и, планируя, стала снижаться в ночной тьме. Высунув руку, штурман сбросила из открытой кабины две небольшие осветительные бомбы. Вспыхнув, они озарили землю ярчайшим светом. Самолет был прямо над целью. Евдокия Бершанская рассказывает:

— Полет удался. Я ясно видела под собой очертания заданного объекта. Я знала, что если попаду в цель, то Люба Ольховская, следовавшая за мной, тоже не промахнется. Немцы не заметили нас, потому что мы подошли на планирующем спуске, и вдруг прожекторы осветили небо и ударила зенитная артиллерия. Самолет сильно качнуло взрывной волной, но мы продолжали идти по курсу. Затем штурман сбросила бомбы. Мы спикировали, чтобы уйти от лучей прожекторов, и взяли обратный курс. Я видела, что одно из зданий внизу охвачено пламенем: теперь оно послужит Любе сигнальным огнем.

Отрывки из полкового журнала полетов показывают, насколько серьезной была задача летчиц летом 1942 года.

11 июля. В результате четырех атак уничтожена железнодорожная станция, взорваны цистерны с горючим.

25 июля. Помощь с воздуха в уничтожении переправы через Дон.

26 июля. Выполнено 47 боевых вылетов, на переправе через Дон уничтожено моторизованное соединение.

27 июля. Весь полк участвует в боевых вылетах. Переправа через Дон взорвана. Войска противника, пытавшиеся переправиться на лодках и плотах, остановлены.

К осени летчицы уже делали каждая по десять вылетов в ночь.

Самолеты «ПО-2» легко было узнать по треску двигателей, и на юго-восточном фронте немецкие солдаты стали бояться их как огня. Летом 1942 года, когда немцы наступали, передвигаясь по тридцать километров в день, «ПО-2» лишали пехоту противника возможности передохнуть ночью — вместо этого приходилось копать глубокие траншеи, чтобы укрыться от нападения с воздуха.

...Летчицы 588-го полка ночных бомбардировщиков сражались на Северном Кавказе. Необходимо было остановить наступление немецкой армии на юге, в районе Каспийского моря и крупнейших месторождений нефти возле Баку.

2 августа 1942 года Надя Попова и ее штурман не вернулись с задания. Это случилось под Майкопом. Подруги видели, как снижался по спирали «ПО-2», объятый пламенем. Несколько дней прошло в тревожном ожидании.

А им удалось спастись... Они плутали всю ночь, на шоссе вышли только к утру. Дорога была запружена людьми и повозками, солдатами и женщинами с детьми, лошадьми и коровами. Впереди в облаке пыли с грохотом двигалась колонна танков «Т-34»: они шли на фронт.

И тут появились «штукас» — немецкие бомбардировщики[1]. Они стремительно пикировали на танковую колонну. Надя бросилась в поле. Она лежала у дороги, зарывшись лицом в траву, закрыв уши руками. Минут через пять бомбежка прекратилась. На дороге пыль стояла столбом. В суматохе Надя потеряла своего штурмана. Увиделись они снова только через полмесяца...

Многие советские командиры были против участия летчиц в воздушных боях, несмотря на тяжелое положение на фронте. Они считали, что в пору, когда речь идет о судьбе Родины,— не время для «экспериментов».

Так думал и полковник Баранов, командир 73-го истребительного, знакомясь с летными книжками Литвяк и Будановой. Он не собирался рисковать жизнью своих летчиков из-за этих девчушек.

В районе Волги был создан из луч-

[1] Sturmkampfflugzeug *(нем.)* — штурмовой бомбардировщик. *(Прим. перев.)*

ших летчиков истребительный полк. Главной задачей было самостоятельно найти возможный объект и атаковать парами. Одновременно участвовать в вылете могли до восьми машин.

...Баранов шел по летному полю. Лиля, отдав честь, обратилась к нему:

— Товарищ командир, вы свободны сейчас? Я хотела бы узнать свое боевое задание на завтрашний день.

Едва взглянув на нее, Баранов отвел глаза и ответил отрывисто, четко:

— В моей эскадрилье женщин не будет. Спорить со мной бесполезно. Через два дня вас переведут в другой полк.

Вечером, когда Баранов вернулся с последнего вылета, Лиля все-таки отправилась к нему. Командир был в хорошем расположении духа, громко смеялся... Однако при виде Лили улыбка его исчезла. Баранов закурил, откинулся на спинку стула и спросил:

— Зачем вы пришли, Литвяк? Я уже сообщил вам о своем решении. Говорить нам больше не о чем.

— По-моему, вы несправедливы. Нас с Катей прислали сюда, чтобы мы участвовали в сражениях. Я не уйду, пока вы не допустите нас к полетам...

...В конце концов Лиля Литвяк и Катя все же убедили Баранова оставить их в полку.

Инна Паспортникова, механик Лили, вспоминает:

— Я помогла Лиле надеть парашют. Она была радостной, возбужденной. Видя ее в открытой кабине самолета, я всегда думала: как может она, такая маленькая, худенькая, справляться с мощным «Яком»?

Это был ее первый боевой вылет в 73-м полку... Леша Соломатин вел Лилин самолет к восточному району Сталинграда. На высоте девятисот метров они заметили одинокий «хейнкель-III» без всякого прикрытия. Леша зашел сзади, зная, что на «мертвом пространстве» у хвоста пулемету немца его не достать,— а Лиле приказал подойти ближе и атаковать.

Лиля буквально села «хейнкелю» на хвост и нажала на гашетку. Десять секунд грохотал пулемет: все брюхо немецкого самолета изрешетили пули. Потом она резко повернула влево, направив огонь на двигатель и левое крыло «хейнкеля». Двигатель, вспыхнув ярким пламенем, взорвался. Леша, прикрывая Лилю сзади, пошел за ней вниз. Теперь они атаковали по очереди. Пламя охватило оба крыла «хейнкеля» и перекинулось на фюзеляж.

На высоте трехсот метров оба «Яка» вышли из пике, сделав крутой левый поворот. Они кружили над обреченным немецким самолетом, пока он не взорвался на земле. Черный столб дыма взметнулся ввысь от яростных языков пламени.

...На аэродроме Соломатин, обняв Лилю, сказал:

— Эта девочка будет настоящим асом, даю вам слово!

К концу декабря Лиля сама сбила шесть немецких самолетов — три истребителя и три транспортных самолета, отчаянно пытавшихся прорваться сквозь огонь русских зениток, чтобы наладить с воздуха снабжение своей 6-й армии, взятой в кольцо.

Инна Паспортникова вспоминает:

— Имя Лили время от времени появлялось в газетах. Но она была очень скромной. Однажды Баранов привел к нам журналиста и представил ему Лилю: «Вот наша гордость». Но ей удалось увернуться от этого интервью...

Правда, репортеру помогли Лилины подруги, и через несколько дней большая статья об отважной летчице Литвяк появилась в одной из крупнейших газет.

Имя Лили было известно не только русским, но и немцам. Ее самолет легко было узнать по большим белым лилиям, нарисованным по обеим сторонам фюзеляжа. Их изобразил поближе к кабине один из механиков, а вдоль носа нарисовал ряд маленьких лилий: каждая обозначала сбитый немецкий самолет. Лилю называли «Белой Лилией Сталинграда». И часто, когда она поднималась в воздух, наши радиоперехватчики слышали, как немецкие летчики предупреждают друг друга: «Ахтунг, Литвяк!»

...Летчицы 587-го полка бомбардировщиков прибыли на Сталинградский фронт, когда советские войска перешли в контрнаступление на 6-ю армию генерала Паулюса. Теперь советская авиация превосходила немецкую и в количественном отношении.

Командование полком приняла Марина Раскова. Первой боевой задачей стала совместная с наземными силами атака на немцев в районе Сталинградского тракторного завода. Хотя за ночь температура упала до сорока градусов ниже нуля, видимость над Сталинградом была хорошая.

Рассказывает Галина Джунковская:

— Мы должны были сбросить бомбы справа от завода — там, где в руинах зданий прятались немцы.

И когда «ПО-2» вышел из пике в верхний поворот, экипаж самолета увидел, как бомбы взорвались гирляндой оранжевых вспышек, окутав землю клубами серого дыма.

Катерина Федотова вспоминает:

— Те, кто летал над Сталинградом до того, как в город вошли немцы, были потрясены картиной разрушения. Казалось, нет ни одного целого дома — только развалины... Что стало с теми семьями, которые жили здесь обычной, спокойной жизнью?

...Майор Марина Раскова чувствовала явное переутомление. Конечно, она слишком много работала. Каждую ночь составляла рапорты полка, готовила полетные инструкции, изучала новую тактику, чтобы передать ее своему экипажу, и сама искала новые тактические приемы. Она остро ощущала ответственность за молодых летчиц. До сих пор они были почти неуязвимы для врага:

полк потерял пока всего один самолет. Раскова понимала, что это положение может перемениться во мгновение ока. Она была командиром, знала, что должна подавать пример своей целеустремленностью и энергией, но иногда на лице ее читалась явная усталость. А ведь она была и женой, и матерью и часто думала о тех, кто был ей дорог.

Шестого января вылеты продолжались без Марины Расковой. Ее с двумя другими экипажами отозвали на несколько дней со Сталинградского фронта и направили по спецзаданию в район Кубани.

...На улице валил снег, в одной из землянок было жарко натоплено. Пригласив летчиков из соседнего полка, женщины устроили вечеринку. Марина с подругами должны были вернуться еще до наступления темноты. Погода была нелетная, и девушки успокаивали друг друга: вернутся завтра утром.

Вдруг дверь распахнулась, и вошел командир мужского авиаполка. Он вытащил из кармана листок бумаги. Радиограмма была ужасающе краткой. В ней говорилось, что самолет майора Расковой разбился при падении и она погибла.

Командиром полка стал Валентин Васильевич Марков. Он не позволил летчицам предаться отчаянию после смерти Марины — его резковатое обращение скорее помогло девушкам... Они продолжали сражаться.

588-й авиаполк ночных бомбардировщиков вел боевые действия уже восемь месяцев. Напряжение было огромным — стоило хотя бы перелистать записи в полковом журнале полетов.

...Капитан Ирина Ракобольская, обычно спокойная и сдержанная, вбежала к подругам, раскрасневшись от возбуждения.

— Девочки, скорее строиться! Генерал Попов приехал.

Генерал обратился к летчицам:

— Получен приказ о присвоении 588-му женскому авиаполку ночных бомбардировщиков звания 46-го гвардейского авиаполка.

Удостоиться звания гвардейского полка! Эту честь они заслужили все вместе.

Генерал протянул Евдокии Бершанской знамя. Та приняла его, развязала золотой плетеный шнур, обмотанный вокруг древка. Красное полотнище забилось на ветру.

Генерал Попов взял у Бершанской знамя, отошел шагов на десять назад и склонил его, так что золотая бахрома от порывистого ветра зашуршала по снегу.

Командир женского полка майор Бершанская, опустившись на колено, взяла край знамени обеими руками и поцеловала его. Это была глубоко волнующая минута. Подняв голову, Бершанская вслед за генералом произнесла слова присяги. И все летчицы полка по очереди повторили присягу за своим командиром.

...Трудно представить себе, как могла Евдокия Бершанская не только участвовать в боевых вылетах, но и с успехом исполнять обязанности командира. Муж ее сражался на другом фронте, а сына она отправила к своей матери в Краснодар. Город заняли немцы, и Евдокия не знала, живы ли ее мать и сын.

Все летчицы понимали, что чувствовала Евдокия, бомбя немецкие укрепления под Краснодаром. На следующий день после отступления немцев она с несколькими летчицами поехала в освобожденный город. Пробираясь по развалинам, они дошли до той улицы, где жили мать и сын Евдокии.

Повернув за угол, они заметили мальчика лет восьми, который шел им навстречу. На нем был не по росту большой пиджак темного цвета. Услышав женские голоса, худенький мальчик поднял голову. Евдокия ахнула и бросилась к нему, спотыкаясь, падая, повторяя его имя. Это был ее сын. Минуту мальчик стоял не шевелясь, будто не веря своим глазам, потом бросился к матери. Она подхватила его на руки, прижала к груди и заплакала.

А через два дня полк перевели из-под Краснодара на новый аэродром.

...Десятый самолет, который сбила в воздухе Лиля Литвяк, пилотировал немецкий ас. Бой между ними длился пятнадцать минут — немец был очень опытным летчиком. На фюзеляже у него была нарисована игральная карта — трефовый туз, вдоль носа выстроился длинный ряд победных отметок. «Белая Лилия Сталинграда» в конце концов выиграла бой: «мессершмитт», объятый пламенем, рухнул вниз. Пилот выпрыгнул с парашютом. Его взяли в плен советские солдаты.

Немцу было уже за сорок. Оказалось, что он сбил больше двадцати самолетов советских летчиков и союзников. Его спросили, не хочет ли он встретиться с тем, кто победил его в бою. Немец заносчиво ответил, что это, вероятно, был один из лучших советских пилотов.

Когда подошла Лиля, переводчик спросил:

— Ну, как вам победитель?

Немец равнодушно взглянул на хрупкую светловолосую девушку, стоявшую перед ним. Несколько секунд длилось молчание. Потом немецкий ас ответил переводчику, что не понимает русского юмора. Все рассмеялись, кроме Лили. Заставив немца встать, она подробно прокомментировала ход сражения.

Инна Паспортникова вспоминала:

— Поведение немецкого летчика сразу изменилось... Он едва мог выдержать Лилин взгляд.

...Лиля погибла близ города Красный Луч в районе Донбасса, в неравном бою с двумя «мессершмиттами». Белая лилия на фюзеляже ее «Яка», несомненно, привлекла внимание врага... За год участия в боевых операциях Лиля сбила двенадцать немецких самолетов.

Инна рассказывает:

— Когда мы поняли, что Лиля не вернется, даже мужчины, не выдержав, плакали... Ни самолета, ни тела ее не нашли — и похорон не было.

...В начале лета 1944 года 46-й гвардейский полк был переведен из Крыма, освобожденного от немецкой оккупации. В июне полк за десять дней раз десять менял аэродромы, участвуя в наступлении вместе с наземными силами. Из Белоруссии полк перебросили в Польшу, потом в Пруссию. Летчицы приближались к Берлину...

Первого мая 1945 года над рейхстагом был поднят советский флаг. Гитлер не смог взять Москву. А русские войска Берлин взяли.

46-й гвардейский авиаполк ночных бомбардировщиков находился на аэродроме к северо-западу от Берлина. В ту ночь девушки спали, выполнив свои последние боевые вылеты.

Кто-то из механиков вбежал в дом с криком:

— Победа, девочки, победа! Кончилась война!

Марина Чечнева рассказывает:

— Я надела шинель и тихонько вышла. Все вокруг дышало покоем. Ни выстрелов, ни прожекторов в небе, ни самолетов. Я прислонилась к дереву и закурила. Так я стояла часа два, пока не рассвело. Все мысли мои перепутались. Я думала о возвращении домой, о своем любимом, о дорогих моему сердцу друзьях — тех, кто погиб, и тех, кто выжил в этой страшной войне. Я смотрела на восток и ждала, когда на небе вспыхнет заря. Я хотела увидеть, как взойдет солнце в первый мирный день.

...А Надя Попова закончила долгую беседу со мной такими словами:

— Глубокой ночью встану у своего дома и смотрю на небо, ветер теребит волосы... Глядя в темноту, закрываю глаза, опять и опять вспоминаю себя молодой, в кабине маленького бомбардировщика. И спрашиваю себя: «Надя, как же ты смогла?..»

Послесловие автора

Годы идут, и время меняет наши некогда юные лица: бывает, нам трудно узнать самих себя на старых фотографиях. Но этого никак не скажешь о женщинах, с которыми я встретился во время работы над книгой. Конечно, они постарели; большинству из них уже за шестьдесят. Однако стойкость и жизнелюбие, отличавшие этих замечательных летчиц много лет назад, позволили им сохранить юношески живой облик — такого я почти не встречал в своей жизни.

Выражаю благодарность всем советским организациям и руководителям за помощь в подготовке встреч и бесед с бывшими летчицами и глубоко сожалею, что не смог получить исчерпывающих биографических материалов о тех, кто не дожил до наших дней.

Перевод с английского И. ИСТРАТОВОЙ

КАРЕЛ БОРСКИЙ

С АВТОМАТОМ И ФОТОКАМЕРОЙ...

Главы из книги

В майском номере за 1984 год журнала «Литерарни месичник» — органа Союза чешских писателей — был опубликован отрывок из мемуаров Карела Борского. «Сотни его снимков с Восточного фронта запечатлелись в нашей памяти,— писал во вступлении к этой публикации чешский литератор Збынек Кожнар,— но мало кто знает, что принадлежат они первому военному фотокорреспонденту чехословацкой воинской части в СССР Карелу Борскому».

В 1939 году восемнадцатилетний К. Борский, спасаясь от преследования гестапо, эмигрировал в СССР. Весной 1942 года он в числе первых добровольцев вступил в ряды чехословацкой воинской части, сражавшейся вместе с Советской Армией. Кадровый военный, ныне полковник запаса, член ЦК чешского Союза борцов-антифашистов, Карел Борский — автор многих мемуарных публикаций, появлявшихся в печати за последние годы.

«Полковник Карел Борский, награжденный восемнадцатью чехословацкими и иностранными орденами и медалями, написал волнующую книгу о судьбе молодого человека, решимость которого расплатиться за все унижения 1939 года привела его в ряды борцов с нацизмом. Пребы-

© Karel Borský, 1984.

вание в Бузулуке, бои под Соколовом, Киевом, на Дукле, участие в освобождении Словакии и Праги он изобразил необычайно впечатляюще. В книге оживает невероятно длинная дорога наших солдат от Бузулука до родного дома»,— заканчивает Збынек Кожнар свое вступление к книге, с главами из которой мы в сокращении знакомим читателей «Иностранной литературы».

3 ноября 1943 года. Хмурое осеннее утро. Мы стали частью 38-й армии, наше желание исполнится — воевать будем на передовом рубеже.

По приказу штабного капитана Прохазки я прибыл в расположение второго пехотного батальона. Когда я пробирался мимо минометной роты, послышались разрывы артиллерийских снарядов и мин. Неприятель бил вслепую, простонапросто палил по лесу туда, где предположительно могли быть укрыты войска.

Несколько мин попало в расположение минометной роты. Командир роты, мой коллега по офицерской школе, крикнул мне

— Карел, следующую, которая прилетит, сфотографируй! Нам на память!

Все засмеялись, но вообще-то было не до смеха. Несколько наших солдат были легко ранены осколками — первые раненые в боях за Киев.

В восемь утра все и началось. Целых сорок пять минут длилась артподготовка — 350 артиллерийских и минометных стволов извергали огонь. Низко над нашими головами, прямо над кронами деревьев, проносились советские орлы с грузом бомб, который они сбрасывали над передним краем обороны вермахта. В этой, доселе нами невиданной артиллерийской подготовке приняли участие и наши артиллеристы из первого артдивизиона. В воздухе то и дело слышался свист снарядов гвардейских минометов —«катюш». Легко можно было представить себе, что происходило на той стороне. Только кое-где неприятель пытался сопротивляться, и в наши порядки нет-нет да и попадал шальной артиллерийский снаряд.

Солдаты второго батальона, с которым я должен был наступать, изготовились к атаке. Они лежали по большей части в неглубоких траншеях, выкопанных в мелком песке. Все молчали и прислушивались к канонаде. Я залег возле сержанта Штепра. Мой автомат был перекинут за спину, я главным образом следил, чтобы в фотоаппарат не попал песок.

— Не хотел бы я оказаться там,— сказал сержант Штепр.

Но вот артподготовка закончилась салютом «катюш». Над вершинами деревьев загудели моторы штурмовиков советской авиации... Одновременно поступил приказ: «Пехота, вперед!» Леса снова ожили. Тысячи солдат цепями двинулись вперед. Поднялась наша первая бригада, слева от нас 240-я, а справа — 136-я стрелковая дивизия. Слышалась стрельба из пушек, легких и тяжелых пулеметов, то здесь, то там громыхали выстрелы из противотанковых пушек, чей «голос» я так хорошо знал. Пока еще наш батальон не вошел в соприкосновение с неприятелем. Нас обогнали танки — представился первый случай пустить в ход мой фотоаппарат. Лес расступался. Танки в некоторых местах буксовали, поднимая тучи песка. Пехота держалась от них на расстоянии. На броне некоторых танков ехали наши автоматчики, готовые к бою.

Мы миновали вражеские траншеи, разрушенные артиллерийским огнем. С первого взгляда было ясно, что сегодняшней атаки враги не ждали. Перед немецкими бункерами лежали трупы фашистских солдат. Расстегнутые мундиры, ни касок, ни пилоток. Обстрел, должно быть, застиг солдат за утренним туалетом. За бункерами на неумело сколоченных скамейках лежали бритвенные приборы и мыло, лосьоны и полотенца. Их владельцам они уже не понадобятся.

Пока наша пехота продвигалась вперед, я вошел в один из бункеров. Чувствовалось, что тут недавно топили. На одних нарах висел поясной ремень с надписью: «С нами бог», в ножны засунут штык. Исписанный листок почтовой бумаги и конверт с адресом «Бремен», газета «Фёлькишер беобахтер». Интересно, за какое число, подумал я. Нужно бы отдать это в политотдел, и газете, наверное, обрадуются... Я засунул бумаги за пазуху, сфотографировал это негостеприимное жилище, наполовину засыпанное песком, и рысью бросился догонять пехоту.

Где-то справа от нас вдалеке слышалось «ура-а-а». Это красноармейцы ломали сопротивление врага.

Второй батальон и наши танки выбрались на небольшую высотку на слегка холмистой местности. Над опушкой медленно сгущались сумерки. И тут мы впервые, точно в дымке, увидели силуэт большого города. Это был Киев, столица Советской Украины, цель нашего наступления.

Когда совсем стемнело, я вернулся в политотдел. Пришлось помучиться, пока я его разыскал. Штабы выдвинулись вперед, ближе к воюющим частям. В отделе кипела жизнь. Все работали. Девушки прослушивали сводки Совинформбюро о событиях на фронтах. Другие ловили сообщения вражеских станций. О боях под Киевом враг пока молчал. Подпоручик Мареш готовил передовую статью для бригадной газеты о наступлении на Киев и успехах нашего артдивизиона, который заставил замолчать две вражеские батареи — одну орудийную и одну минометную, уничтожил много солдат противника. Штабной капитан Прохазка делал какие-то пометки. Имришек Клен принес мне перекусить. Я здорово проголодался, но сперва надо было рассказать обо всем, что видел. Товарищ Прохазка вызвал из частей офицеров политотдела. Выслушал он меня с интересом, взял письма и газеты, найденные во вражеских окопах.

В отделе уже были данные о наших убитых и раненых. Их было немного. Потрясло меня известие о гибели адъютанта командира бригады Кости Хюбнера. Он напоролся на мину. Это был прекрасный солдат и коммунист.

Я вынул фотопленку, тщательно ее упаковал, зарядил новую кассету и составил короткий перечень того, что зафиксировано на снимках.

Ночь на фронте прошла спокойно. Не утихало движение на понтонном мосту через Днепр. Подвозили снаряды, подходили военные подкрепления, а обратно за Днепр санитары вывозили раненых.

Второй день битвы за Киев решительно отличался от предыдущего. Красная Армия бросила в бой новые танки. Помогала также и 3-я Гвардейская танковая армия. Плацдарм на правой стороне Днепра расширился, численность войск увеличилась.

Еще затемно я вернулся на передовую. Решил теперь держаться возле наших танкистов. Я предполагал, что они ворвутся в Киев одними из первых, а уж эту возможность для съемок упустить было нельзя. В расположении танкового батальона я встретился с сержантом Хелиском и Ладей Шлезингером. Ладя был отличный парень, к тому же прекрасный техник. С Хелиском мы вместе учились в офицерской школе и пережили бои под Соколовом[1] в третьей роте старшего лейтенанта Янко. Хелиско остался верен своему командиру, закончил курс обучения на танкиста и сейчас как новоиспеченный танкист впервые со своим «Т-34» участвовал в бою. Артподготовка была уже не столь мощной, как вчера, зато больше досталось пехоте. Вместе с танкистами и советскими соседями она вела тяжелые, упорные бои во второй половине дня.

Еще до полудня я сфотографировал головной танк с надписью «Ян Жижка». Один снимок танка и один — его экипажа. Этот танк впоследствии прорвал немецкую оборону и прокладывал пехоте дорогу вперед. Жаль, что сохранившийся до сих пор и часто публикуемый снимок танка не в состоянии рассказать еще и о его экипаже.

Я отправился во второй батальон, который воевал на нашем левом фланге. Пехота уже заметно устала. Мины, препятствия, скрытые ловушки врага — ничто не могло остановить батальон. На минуту я задержался у командира противотанкового взвода подпоручика Арношта Штамбергера. Большинство из этих ребят начинали еще в Новохоперске[1]. Сегодня это были герои. Они разбили несколько вражеских опорных точек и вывели из строя пулеметные гнезда, которые задерживали продвижение нашей пехоты.

Прошло несколько часов, и подпоручик Штамбергер был тяжело ранен в ногу. Еще мгновение он отдавал приказы своему взводу, а потом его отвезли в госпиталь, где ему пришлось ампутировать ногу.

Я попал в роту пехотинцев и наступал вместе с ними. Сделал несколько снимков прямо в бою. Обстановка тем временем становилась все сложнее. Пехоту опередили танки, и бой стал еще яростнее. Некоторые танки были остановлены вражеским артогнем. Мы очутились в предместье Киева. Я еще успел сфотографировать разбитый и горящий фашистский танк. Ситуация, однако, настолько изменилась, что мне пришлось сменить фотоаппарат на автомат, который до этого был закинут за спину. Все чаще нам удавались прорывы в оборону врага. Я видел своих старых боевых друзей из-под Соколова — Сергея Петраса с автоматчиками, Роберта Райха у пулеметов, Ладю Килиана, а вон и Сохор атакует! Нет, не время было бегать только с фотоаппаратом. Моя репортерская функция отступала на задний план.

К вечеру наши танки начали неудержимо приближаться к центру города. Впереди был завод «Большевик». Оттуда стреляли хорошо замаскированные противотанковые орудия, которые угрожали дальнейшему наступлению наших танков и пехоты. Танкам пришлось остановиться, чтобы танкисты обнаружили цель и попытались ее уничтожить. Всюду было полно дыма, горели дома. Бои в городе продолжались. Стреляли с крыш, из окон, из воронок от авиабомб.

[1] Около села Соколово в Харьковской области в 1943 г. впервые вступил в бой с немецкими фашистами сформированный в Советском Союзе 1-й Чехословацкий армейский батальон под командованием полковника Людвика Свободы (с 1944 г.— 1-й Чехословацкий армейский корпус).

[1] В мае 1943 г. в Новохоперске было создано офицерское училище.

И вот наши солдаты вместе с советскими воинами 38-й армии вступили на прославленный Крещатик — главный проспект исторического Киева.

Вместе с танкистами и солдатами второго пехотного батальона мы приближались к центру города. В предместье я успел еще сделать несколько снимков, а потом уже только нажимал на гашетку автомата. И все же не удержался, когда на окраине на нашем пути оказался горящий немецкий танк. Я подполз к нему. Пехота перебежками со стрельбой продвигалась в заданном направлении. Погода была не из лучших: моросил дождь, огонь горящего танка был единственным освещением.

Только я собрался щелкнуть «лейкой», как возле меня упал артиллерийский снаряд. Я успел залечь, а лучше сказать, плюхнуться в заболоченную промоину, увидел гигантскую вспышку — и потерял сознание.

Прошло, быть может, несколько секунд, а может, минут, прежде чем я пришел в себя. В первое мгновение мелькнула мысль — конец. Нет, не конец, я все чувствую. В спине — такая боль, точно приложили кусок раскаленного железа. Над головой летели советские самолеты. Я слышал их звук. Передо мной все еще догорал немецкий танк. Воздух был насыщен запахом пороха, горелого мяса, бензина... Дождь припустил сильнее. Меня охватил страх. Неописуемое ощущение. Я все еще лежал на животе. Попытался подняться — не удалось. Как во сне, мне слышались какие-то звуки. Сначала неясные, неразборчивые, потом я стал понимать. Говорили по-русски:

— Здесь кто-то шевелится.

Прошла вечность, пока я снова услышал:

— Живой, он ранен.

Кто-то склонился надо мной. Это была женщина в форме. Я узнал ее. Лида Матушкова... Лидушка... Наша медсестра, которая была с нами и под Соколовом.

Она меня узнала. Я видел ее вымученную улыбку.

— Ничего, Карел, все будет хорошо. Сейчас немедленно в госпиталь.

Я попытался объяснить ей, что со мной фотоаппарат. Она поняла.

— Лежи спокойно, не шевелись!

Что было дальше, не знаю. Я опять потерял сознание.

Пришел в себя на операционном столе в госпитале. Я чувствовал, что изо рта и носа у меня течет кровь. Медсестра в белом халате вытирала ее куском марли. Где-то далеко назвали мое имя. Кто-то сказал:

— Легкие не задеты. Приготовьте инструменты.

Вокруг на носилках лежали солдаты. С соседнего стола уносили молодого человека. Я узнал в нем командира пехотного взвода сержанта Элснера. Видимо, его ранило в ногу — она вся была забинтована. В углу большой палатки, которая служила операционной, кто-то страшно кричал. Слов я не понимал, но меня охватил ужас.

— У меня в фотоаппарате ценные кадры. Где он? — спросил я врача.

— Твой аппарат и сумка в политотделе. Там уже о тебе знают. А теперь спокойно, сейчас дадим наркоз.

Я еще слышал, как на брезент падают дождевые капли. Издалека доносились звуки артиллерийской стрельбы. Полевой госпиталь находился глубоко в сосновом лесу. В вершинах деревьев свистал противный осенний ветер...

Проснулся я утром, дрожа от холода. К моей постели подошла доктор Энглова — жена главного врача, капитана Франтишека Энгла, который вчера меня оперировал. Она сказала, что операция продолжалась долго. В это время в небе над лесом, где размещался полевой госпиталь, а неподалеку штаб первого чехословацкого корпуса, разыгрался воздушный бой. Советские истребители преследовали фашистских бомбардировщиков. Фашистский летчик сбросил несколько бомб, из которых одна попала в наш грузовик с боеприпасами. Машина сгорела, а осколки долетали даже до операционной палатки. Одна из сестер была ранена в ногу. И вот в таких условиях врачи оперировали меня и моих друзей, которые лежат здесь в полумраке госпитальной палатки.

— Мы ждем две санитарные машины, — сказали нам. — Каждую минуту они могут подойти. Все вы тяжелораненые и будете эвакуированы в тыл. А мы начинаем собираться. Штаб перемещается вперед.

Я узнал, что Киев окончательно освобожден от гитлеровских войск и весь фронт, включая и наш корпус, продвигается на запад.

Меня как раз выносили из палатки, когда под раскидистым деревом остановилась так хорошо мне знакомая личная машина штабного капитана Прохазки, начальника политотдела. Навстречу ему шел главный врач корпуса, который вчера меня оперировал. Они о чем-то поговорили, а потом направились к носилкам, на которых санитары бережно, точно лежащего магараджу, несли меня. Парни осторожно поставили носилки наземь и пошли в палатку за следующим раненым. Нас ожидали две санитарные машины. Прохазка еще немного поговорил со мной. Он говорил спокойно и серьезно, как всегда. Поздравил меня с повышением в звании и пожелал скорейшего выздоровления.

— Постарайся нас догнать, пока мы не дошли до дома!

Еще минуту он смотрел мне в глаза, словно хотел что-то добавить, а потом отошел к другим раненым. Смертельно усталый главврач сопровождал его.

Появилась младший сержант Лялькова. Маню, как все мы ее звали, я знал еще по Бузулуку. Она воевала вместе с нами под Соколовом. Невероятную находчивость и героизм проявила эта де-

вушка, сражаясь рядом с командиром второй роты старшим лейтенантом Кудличем, который погиб в боях у Артюховки. За свой героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР она была награждена советским боевым орденом Красной Звезды.

К санитарному поезду нас везли на двух машинах. Первая машина тронулась, а меня уже последним погрузили во вторую. Нас было семеро тяжелораненых. Ни один не мог двигаться. Захлопнулись двери, младший сержант села рядом с водителем, и наша машина тронулась следом за первой.

Это была пытка. Разбитый лесной проселок, полный ям и колдобин, давал о себе знать.

Какое-то время нас мотало из стороны в сторону, потом машина поехала поспокойнее, наверное, выбрались на хорошую дорогу.

С начала нашего путешествия прошел час, а может, и больше, как вдруг раздался страшный взрыв. Потом второй и третий. Мы сразу же поняли, что происходит. Фашистский летчик бомбил шоссе. А может, это он нас? Машины, помеченные большим красным крестом? Да. Мы слишком хорошо знали гитлеровский фашизм, для которого не было ничего святого. После зверств, которые совершала нацистская армия в Харькове, после того, что мы видели в Воронеже, после того, что нам сообщали с родины, нас не удивляло, что нацистские летчики бомбят санитарные машины с видным издалека красным крестом на крыше.

Наш водитель, видимо, быстро затормозил, и машину занесло. Она вдруг накренилась, точно съезжая в кювет. Носилки, на которых мы лежали, правда, из пазов не выскочили, но раненые покатились друг через друга. В этот момент совсем рядом раздался новый взрыв. Мы прямо-таки почувствовали взрывную волну. Из крыши машины вырвало доску. Очевидно, попал осколок. Снаружи послышались крики и громкий разговор по-русски:

— Быстрее вытаскивайте раненых. Может быть, они еще живы. Это чехословаки. Быстрее!

Кто-то пытался открыть двери нашей машины, у которой тем временем заглох мотор. Мы лежали друг на друге. В нашей машине были рядовой Михалко, еще два раненых солдата, сержанты Гафтл, Шпалтер, Элснер и я. В самом низу оказался Шпалтер, которому ампутировали руку, а кроме того, у него были и другие ранения. Никто из нас не мог сам освободиться. Эта отчаянная беспомощность лишила нас даже голоса. Никто не закричал, никто не понимал, что случилось.

Наконец кому-то снаружи удалось открыть дверь. В нее просунулись головы красноармейца и молодого лейтенанта. За ними появилась наша черноволосая сопровождающая, младший сержант Лялькова. Я заметил, что она бледна как смерть.

Лейтенант, у которого было забинтовано горло, взял инициативу в свои руки. Наша Маня помогала ему изо всех сил. Снаружи слышались взволнованные голоса. Одного за другим нас вытаскивали из машины. Моросил дождь. Нас отнесли в лес за кювет. В ста метрах от нас догорали останки первой, шедшей перед нами машины. В нее попала бомба. Здесь спасать было некого.

Несколько человек пытались как можно скорее привести в порядок нас и нашу машину. Сгущались сумерки. Откуда-то появился грузовик. В кузове сидели красноармейцы... По приказу сержанта они спрыгнули с машины и с криком: «Эй, ухнем!» — за несколько минут вытащили нашу машину из кювета.

Хотя вся эта операция продолжалась не больше двадцати минут, мне они показались вечностью. Ужасно болела рука, а спину словно кто-то щекотал раскаленным железом. Я боялся, что, наверное, разошлись швы. Видел, как Шпалтер извивается на носилках и здоровой рукой выдирает вокруг себя траву. Сержант Гафтл лежал неподвижно, и я боялся, что он уже на том свете. Один солдат, я не знал его имени, кричал: «Воды!», а Лялькова его предупреждала, что единственный глоток для него будет... Она не договорила. Взяла свою фляжку и обтерла ему пересохшие губы. Раненый метался в горячке. Лучше всех держался Арношт Элснер. Даже попытался встать. Он был ранен в правое колено и убежден, что рана у него не тяжелая, а в данной ситуации он может быть полезен.

— Лежи и не двигайся! — прикрикнула на него наша Маня. К ней уже вернулись ее спокойствие и рассудительность.

Пока два солдата несли меня обратно в санитарную машину на шоссе, я успел кинуть взгляд на остов первой машины.

— Никого не удалось спасти? — спросил я советского лейтенанта с забинтованной шеей. Он молча печально покачал головой.

Было уже совершенно темно, когда наша машина подъехала к какому-то вокзалу — прямо к закрытому грузовому вагону. Все делалось быстро и организованно. Никакой роскоши. На полу солома, одеяла, носилки. Нами занялась русская медсестра. Крепкая, энергичная, она отдавала толковые приказания, и солдаты, тоже из санитарного подразделения, их выполняли. Всюду шла погрузка. Это был длинный эшелон. Главный надзор, как я успел заметить, осуществлял майор Красной Армии с эмблемой медика. Для чехословацких солдат был приготовлен отдельный вагон. Сейчас он был наполовину пуст.

Не прошло и часа, как поезд тронулся. На каждые несколько вагонов приходилась одна медсестра в военной форме. На остановках они переходили из вагона в вагон, проверяли состояние раненых, помогали. В наш вагон поместили одного раненого красноармейца. У

него была забинтована рука, но он мог двигаться.

Поезд шел по широкой колее. Еще какое-то время мы разговаривали. Михал, как мы звали красноармейца, быстро с нами подружился.

Утро, ребята один за другим просыпаются. Поезд где-то остановился, мы и не знали где.

Открылись тяжелые двери вагона. Вошли врач и сестра. Сестра немного приподняла меня и наложила еще одну повязку на грудь.

— Вы должны продержаться. Только продержаться.— уговаривала она нас.— В госпитале будет хорошо.

Врач остановился над спящим сержантом Элснером. Стал расспрашивать его соседа сержанта Гафтла, как Элснер вчера себя чувствовал. Из всех нас Арношт был самый бодрый. И мы думали, что он в хорошем состоянии.

Врач констатировал смерть. Сержант Арношт Элснер нынешней ночью тихо скончался. Он был ранен в колено, и у него начался сепсис. Никому не жаловался, ничего не сказал, вечером разговаривал с нами, а потом уснул навеки.

Пришли два солдата в белых халатах поверх формы, прикрыли простыней нашего сержанта и взяли носилки. А мы не могли даже подняться, чтобы проводить Арношта в последний путь, когда его выносили из вагона санитарного поезда...

Осталась его шинель. В кармане обнаружили небольшой дневничок, который он вел. Последняя запись была такая: «Сегодня идем брать Киев. Я своим ребятам верю. Будем храбро сражаться».

Поезд пошел дальше. Следующая ночь прошла спокойно. Но день выдался трагический. На железнодорожный состав напали фашистские истребители и обстреляли его из пулеметов. Поезд, не останавливаясь, продолжал свой путь. И это было правильно. Тяжелораненые все равно не смогли бы без посторонней помощи покинуть вагоны и укрыться. Налет продолжался всего несколько секунд. Нас уже вовсе не удивляло, что фашистов не остановил красный крест на крышах вагонов. Мы даже не знали, где произошел налет — на вокзале или где-то среди поля. Просто поезд шел, и всюду ему давали зеленый свет. Теперь-то я понял слова русской медсестры: «Продержаться, только продержаться».

Вдруг над поездом загудели моторы. Потом знакомый треск пулеметов. Я уже хорошо отличал звук пулемета советского истребителя от немецкого. Крышу нашего вагона пробил осколок, отщепив кусок дерева. Он упал как раз на то место, где еще недавно лежал сержант Элснер. Из других вагонов доносились крики, проклятия. Поезд сбавил ход. Михал пытался открыть двери теплушки. Единственная его здоровая рука была слаба для этой работы. Мы, остальные, не могли даже пошевелиться. Рядом со мной стонал Шпалтер.

— Что с тобой?— спросил я у него.

— Вроде пальцы чешутся...— И он показал на руку, ампутированную по локоть.— Скорее бы ехали дальше!

Тут отозвался рядовой Михалко:

— Был бы у меня здесь мой крупнокалиберный, я бы им врезал!— Он имел в виду свой крупнокалиберный пулемет. Михалко был ранен осколком во время боев за завод «Большевик» в Киеве. Свое ранение переносил мужественно, двигаться ему было запрещено. Все время жаловался, что хочет есть.

Наконец крики утихли. Тяжелые двери открылись, и в наш вагон вскочил командир эшелона, майор-военврач.

— Ну что, ребята? Все в порядке?

Каждого из нас взял за руку, посчитал пульс, положил руку на лоб, проверяя, у кого температура.

Поезд тем временем тихонько тронулся, и военврач остался в нашем вагоне. У одного рядового и сержанта Шпалтера была температура. Всем нам дали проглотить какие-то порошки, которые мы запили чаем. Я даже не мог самостоятельно приподняться, чтобы сделать глоток чая. Михал помогал мне. От доктора я узнал, что во время налета у нас погибло несколько человек. Один старший лейтенант Красной Армии был ранен в ногу. Жизнь его вне опасности.

Для нашего гостя, советского врача, зверский налет на безоружных людей в санитарном поезде не был первым. Он рассказал нам об эвакуации раненых с Волги во время Сталинградской битвы. Потом военврач сменил тему.

Я понял, что доктор не случайно выбрал наш вагон. Он хорошо понимал, что мы пережили за последние дни. Фронтовые ранения, бомбежка санитарных машин, смерть сержанта Элснера, а теперь еще налет фашистов на поезд с ранеными. Пожалуй, это слишком даже для обстрелянных солдат.

— Вы ведь не знаете — да и откуда вам знать?— в Москве был праздничный салют в честь освобождения столицы Украины — Киева. В день годовщины Октябрьской революции. Среди войск, которые были награждены за освобождение города приказом Верховного Главнокомандующего,— и ваш чехословацкий корпус.— Майор на минуту умолк, посмотрел на каждого из нас и тихо добавил:— Да, здесь есть и ваша доля...

Дорога до Курска в санитарном поезде продолжалась несколько дней.

Курск! Еще недавно мы с жадностью следили за сообщениями о самой большой танковой битве в этой войне. Тысячи танков Красной Армии и гитлеровского вермахта стояли тут друг против друга, готовые к решающему сражению. Здесь сказались преимущества советской военной науки и техники, фашистские танки были уничтожены или отступили. Каждый вечер мы с напряженным вниманием следили, как будет развиваться ситуация. И вот сегодня мы здесь, в Курске. Чистый, белый, отремонтированный госпиталь. Милые улыб-

Ротный Карел Борский получает боевую награду

ки сестер и серьезные лица врачей. Отовсюду мы слышим:

— Чехословаков, свóбодовцев привезли!

Сестра и один солдат-санитар схватили меня под мышки и помогли встать. У меня кружилась голова, но дело пошло. Сержант Шпалтер уже самостоятельно сидел на скамейке, остальные наши раненые лежали на носилках в ожидании своей очереди. У меня было такое впечатление, словно весь персонал госпиталя, побросав свои дела, кинулся к нам.

Меня отвели мыться. Сестричка пустила благотворный теплый душ и мягкой губкой буквально выдраила меня. Я чувствовал себя заново родившимся.

— Здорово вам досталось,— словно мимоходом бросила сестра, осторожно обмывая засохшую кровь вокруг раны.— А какое у вас звание?

— Сержант, хотя теперь ротный [1].

Я вспомнил, что капитан Прохазка повысил меня до чина старшего сержанта.

— А что такое ваш ротный? Это вроде командира?

— Да,— ответил я,— младший командир.

— Такие молодые, а война их уже так отметила... ротный... — говорила сестра, будто сама с собой.

Я получил чистое белье. Надел только штаны. На улице было неприятно холодно, шел дождь. В госпитале было тепло, но, несмотря на это, сестра накинула что-то на мою раненую спину.

В широком коридоре перед кабинетом врача уже сидели двое наших солдат и сержант Гафт. Они оживленно беседовали о чем-то.

— Где Шпалтер?— спросил я.

— На перевязке, вон там,— и рядовой Михалко показал на высокую белую дверь.

Настроение заметно улучшилось. Мы беспокоились только за одного нашего рядового, раненного в живот, который лежал в другом отделении и был прикован к постели. Мы уговорились, что навестим его при первой же возможности.

[1] Старший сержант.

Дверь открылась, моя сестричка (я уже знал, что ее зовут Надя) высунула голову, крикнула:

— Ну, ротный, давай!

И придержала дверь, чтобы я мог войти. Я встал, но почувствовал ужасную боль в спине и едва не упал. Сестра подскочила, помогла мне встать и войти.

Я вошел в ординаторскую. Чисто выбеленное помещение, книжный шкаф, шкафчики с медицинскими инструментами, большой письменный стол: за ним пожилой врач с бородкой и молодая докторша. Сестры бегали взад-вперед. В правом углу у окна пожилая сестра в белой шапочке перевязывала нашему сержанту культю ампутированной руки. У сержанта было искаженное лицо, он стискивал зубы. Видно было, что он очень страдает.

Врач с помощью молодой докторши прощупал рану и область вокруг нее, меня заставили вдохнуть и выдохнуть, потом врач глубоко вздохнул, встал передо мной и сказал:

— Вам повезло. Легкие не задеты. Рана глубокая, но чистая. Операция была сделана хорошо. Швы пока не будем снимать. Здесь вы немного отдохнете, а потом пошлем вас и вашего друга в тыл. Там вас долечат.

— А тут мы разве не в тылу?— спросил я.

— Нет, это только эвакогоспиталь. Вы сами видели, что здесь мы едва можем хоть немного привести в порядок раненых. Тяжелораненых посылаем в больницы и санатории, где имеются условия для полного излечения.

Врач, который в мирной жизни явно был бы уже на пенсии, улыбнулся из-под своих очков:

— Вот, ребята-чехословаки! Воевали вы храбро. Недаром вас наградили нашим орденом Суворова второй степени. И вашего Свóбоду уже весь Советский Союз знает. И вы скоро дождетесь освобождения, а проклятый Гитлер отправится ко всем чертям.

Два дня и две ночи мы провели в курском эвакогоспитале.

На третий день мы с сержантом Шпалтером узнали, что нас эвакуируют в тыл. Куда — неизвестно. Больных и раненых разделили на группы, и вместе оказались только я и Шпалтер. Мы простились с остальными, пожелав друг другу скорой встречи в корпусе.

В тот же вечер нас отвезли на вокзал. Санитарный поезд был оборудован современно. Там имелись амбулатория, вагон-столовая, белые постели, как в больнице. И в каждом вагоне обслуживающий медперсонал. Сестры в большинстве принадлежали к младшему медицинскому составу Красной Армии. Они были энергичны, требовательны к порядку и дисциплине. К нам относились с особой симпатией и с удовольствием приходили посидеть и поговорить. Не у одной из этих девушек за плечами были Сталинград, битва под Курском, одна даже служила во флоте. Мы им

тоже рассказывали о храбрости наших девушек в боях под Киевом. Да разве мог я забыть Лиду Матушкову, которая вытащила меня из пекла, когда я был ранен возле завода «Большевик»?!

Поезда, которые везли на фронт войска и боеприпасы, отправляли в первую очередь. Мы иногда стояли на путях целую ночь.

— Не все ли равно где лежать — в больнице или здесь,— говорили мы тогда.— У нас есть все, и раны заживают.

Как только поезд останавливался на какой-нибудь станции, мы жадно допытывались, что сообщают Совинформбюро и газеты. За время пути узнали о героической смерти Яна Налепки, о его партизанском отряде, воевавшем под Овручем. Советская пресса сообщала также о наступлении чехословацких солдат к западу от освобожденного Киева.

Мы проехали Москву. Несколько сотен километров к востоку от Москвы прошел наш поезд. Постепенно на станциях раненые выходили, и медперсонал доставлял их в ближайшие больницы. Мы, двое, продолжали свое путешествие. На маленькой станции Юдино мы услышали, как в коридоре кричат: «А чехи? Где же наши чехи? Тоже выходите!»

Из разных вагонов высаживались офицеры-летчики. Некоторые спускались сами, другим помогали медики. Летчики, два майора и один капитан, были на костылях.

— Осторожно, на снегу скользко. Вы еще не привыкли!— кричал нам лейтенант из нашего вагона. Мы помогли ему встать. Он улыбался, словно доброй шутке, но мы видели, что лейтенант превозмогает боль в раненой ноге.

Вел нас старшина медицинской службы. Шли гурьбой, то здесь, то там кто-нибудь отпускал шутку. Мы заметили, что старшина все время искоса наблюдает за мной и Шпалтером, не зная, как к нам подступиться. Наконец он взял под руку молодого лейтенанта, ковыляющего с палочкой, и мы услышали, как он его пытает:

— А эти кто? Я про тех двух, видно, пленные?

— Какие такие пленные?— во весь голос вскричал лейтенант, так, чтоб все слышали.— Это же наши друзья по оружию — наши чехословаки из-под Киева! Ты что, не слыхал?

Старшина смущенно поглядел на нас, а потом подошел приветствовать. Он проделал это так торжественно-серьезно и официально, что сержант Шпалтер похлопал его здоровой рукой по спине:

— Вот мы и у вас, чтобы поскорее попасть на фронт к своим, пока еще война не кончилась!

...Санаторий в Юдино — большой каменный дом, выкрашенный в белый цвет. Стоял он посреди хвойного леса. Сейчас все было засыпано снегом. Шел конец ноября 1943 года.

Доктор Иванова приняла нас в ординаторской. Внимательно осмотрела мою рану, прощупала ее.

— Кто делал вам операцию, молодой человек?— спросила она, не отрывая глаз от раны.

— Главврач нашего корпуса.— При этом меня мороз подрал по коже — что же последует дальше?..

— Наташа, позовите...

Она назвала несколько имен, и сестра вышла из ординаторской. Доктор Иванова тем временем осматривала правую руку Шпалтера, ампутированную до самого локтя. Ничего не сказала. Тем временем вошли женщина и двое мужчин в военной форме, сверху белые халаты, закрывающие знаки различия. Врачи. «Вот это не повезло!»— подумал я.— Теперь меня, наверное, опять будут резать». О чем-то поговорив между собой, они все вместе стали разглядывать мою спину.

— Операция проведена образцово. Я позвала своих коллег, чтобы они посмотрели вашу рану,— сказала доктор Иванова.— Операция, так прекрасно сделанная в полевых условиях, заслуживает всяческой похвалы. У вас дело быстро пойдет на поправку.

Шли дни... Со многими пациентами мы стали настоящими друзьями. Сколько нам рассказали об эпизодах войны раненые офицеры Красной Армии! В большинстве своем это были летчики. Участники авиационных атак и свидетели таранов, скромные Герои Советского Союза, командиры из Сталинграда — все они стали нашими товарищами.

Поскольку раны затягивались без осложнений, нам стало казаться, что лечение продолжается слишком долго.

Однажды в декабре после обеда в комнату влетела медсестра Зина. В руке у нее была газета, которой она размахивала над головой. Не успела Зина поделиться с нами своей новостью, как появилась и наша начальница, доктор Иванова, и ее коллеги.

— Мы пришли вас поздравить!— торжественно сказала она.

Мы со Шпалтером смотрели друг на друга, не понимая, в чем дело.

Зина начала читать:

— Советское правительство оценило героизм чехословацких воинов, их мужество, отвагу и боевое мастерство... Указом Президиума Верховного Совета СССР награждаются...— Дальше следовали имена.

Мы узнали, что нашими новыми Героями Советского Союза стали младший лейтенант Сергей Петрас и старший лейтенант Янко. Внимательно читая все новые и новые имена своих боевых товарищей, с которыми освобождали Киев, мы узнали, что и Шпалтер и я награждены чехословацким военным крестом. Это была моя вторая военная награда после медали «За храбрость», полученной в боях за Соколово.

Радость была огромной, и ее следовало отпраздновать. После ужина пошли на танцы в клуб железнодорожников.

В тот вечер мы танцевали до полуночи. Большой зал был полон молодежи, главным образом железнодорожников, и двух баянов было вполне достаточно для танцев. Наша форма поначалу привлекала внимание, а потом зал к нам привык. Ведь мы здесь не были чужими...

У Шпалтера дела шли хуже, чем у меня. Его раны заживали медленнее. Я уже думал о том, что вполне могу вернуться в корпус. Но были проблемы с рукой. Без чужой помощи я не мог ее поднять. Пока дела не пойдут на лад, меня никто не отпустит отсюда. А уж как мне хотелось быть со своими ребятами!

В начале января я попросился на прием к начальнице санатория. Она любезно приняла меня. Я просил отпустить меня: чувствую себя настолько хорошо, что мог бы вернуться в свою часть.

— Медицинская комиссия решит, можно ли вас выписать,— ответила она.

Через несколько дней я получил разрешение на выписку с пометой «По собственному желанию». Администрация санатория, правда, не знала, куда меня выписывать, но билет было решено выдать до Москвы, где в нашей военной миссии я должен был получить документы до места расположения своей части. Вот так во второй половине января я покинул Юдино, оставив там сержанта Шпалтера и много хороших друзей...

В двадцатипятиградусный мороз все пришли проводить меня на железнодорожную станцию. Поезд пришел минута в минуту. Я был единственным человеком, который сел на этот поезд. В коридоре вагона открыл замерзшее окно, чтобы еще раз помахать всем на прощанье. Сержант Шпалтер махал левой рукой и кусал себе губы. Я невольно, по привычке, поднес к голове правую руку и отсалютовал. Рука поднялась без усилий. Я был здоров.

Машинист поддал пару, колеса несколько раз прокрутились на обледенелых рельсах, потом, с пыхтением оторвавшись, состав потихоньку тронулся. Маленькая железнодорожная станция Юдино, где благодаря безграничной заботе советских медиков я так быстро поправился, исчезла вдали. Еще некоторое время я смотрел на бескрайние белые поля, чистый искрящийся снег, дремучие леса, протканные свежими следами диких зверей. С трудом закрыл обмерзшее окно, вытащил из кармана кисет с табаком и раскурил свою старую, но любимую трубку.

Поезд вез меня в Москву...

Семнадцатого мая 1945 года

Прага пробуждалась солнечным весенним днем. Первый Чехословацкий армейский батальон в СССР, переименованный в Первый Чехословацкий корпус, двигался по направлению к Национальному музею. Во главе на белом коне — генерал Клапалек. За ним — его штаб и отдельные батальоны. Вокруг — толпы пражан. Тысячи поднятых рук с цветами и платочками. Город все еще носит следы недавних баррикадных боев...

Головная часть корпуса строится у Пороховой башни. Над домами развеваются чехословацкие флаги и флаги государств антифашистской коалиции.

Посреди улиц — подразделение, которому оказана честь пронести боевое знамя. Восемьсот сорок бесконечных дней и ночей минуло с того момента, когда под этим знаменем мы давали присягу пронести его незапятнанным от Бузулука до освобожденной Праги.

Прапорщик Шафарик — огромный детина в желтых крагах из свиной кожи до самого локтя — чуть-чуть напряженно держит древко знамени. Сознает, что глаза всех присутствующих устремлены на это знамя, которое пронесут сегодня перед трибунами.

К желтому, окаймленному красно-голубыми треугольниками знамени с надписью «Правда победит» робко подходит пожилой мужчина. У него морщинистое лицо, руки в мозолях. Он держит видавшую виды шляпу. Сощурившись, разглядывает награды, приколотые к знамени: орден Суворова второй степени, орден Богдана Хмельницкого первой степени, чехословацкие боевые кресты, медали «За храбрость».

— Вот под ним вы, значит, и воевали?

Сержанты и солдаты, которые стояли рядом и весело разговаривали, замолчали, продолжая курить сигареты, полученные вчера. Я вытащил фотоаппарат, сделал снимок: восхищенное лицо этого незнакомого человека.

Теперь — сделать снимок, когда боевое знамя будут проносить перед праздничной трибуной на Староместской площади. Я взглянул на часы. Времени уже не оставалось. Не успею вернуться в свою часть. В конце концов, сегодня я не фотокорреспондент, а командир батареи Пятого артиллерийского полка «Яселски». Хоть война и окончилась, солдат не может делать что ему захочется.

Сажусь в открытый «виллис» и приказываю водителю поспешить обратно через Вацлавскую площадь к Панкрацу. Дорогой удается еще несколько раз щелкнуть. Украшенная Вацлавская площадь, море знамен и флагов. На первом плане — лица ликующих пражан, спустя несколько дней после освобождения приветствующих Первый Чехословацкий армейский корпус.

Добрался до своей части, как раз когда командир отдал приказ колонне автомобилей двигаться.

Фотоаппарат отдаю связному — рядовому Гецанину:

— Держи его все время наготове, он может мне понадобиться.

Встаю возле водителя и условленным знаком приказываю включить зажигание.

Колонна со штабом полка во главе уже двинулась. Где-то рядом играет духовой оркестр, но звуки марша заглушает шум моторов.

На тротуарах толпы людей. Чем ближе к центру города, тем они гуще.

Вацлавская площадь. Оглядываюсь назад, на ровную колонну автомашин. Вслед за несколькими «доджами», в каждом из которых сидят шесть офицеров, водитель и командир машины, идут большие грузовики. На первых — наши девушки: связистки, медсестры, машинистки. На головах у них лихо сидят пилотки с чехословацким львом.

Солдаты сидят прямо, глаза устремлены вперед, на груди автоматы. Девушки в военной форме восторженно отвечают на крики и приветствия пражан.

Головное подразделение торжественно продвигается по Целетной улице к исторической Староместской площади. Золотой наконечник древка знамени сияет в лучах весеннего солнца.

Впервые за долгие годы Староместская площадь снова полным-полна народу. Когда появился командующий парадом, люди сняли шляпы и шапки, на площади послышались бурные аплодисменты. Это — благодарность за освобождение. Еще несколько дней назад эти места были центром боев Пражского восстания. Мужественные патриоты гибли уже в последние дни войны в Европе... Сегодня люди вытирают слезы радости и печали при воспоминании о тех близких, которые отдали свои жизни за свободу, не дождавшись ее.

Все глубоко взволнованы. И не только зрители. Слезы на глазах и у нас, фронтовиков. Мы дождались победы и возвращения на родину вместе с Красной Армией.

Когда по неровной брусчатке мы выезжали из Целетной улицы на бушующую Староместскую площадь, самое первое, что я увидел над тысячами голов, был силуэт Староместской ратуши. Вернее, обгорелый остов.

Как и большинство моих боевых товарищей, сегодня я впервые в жизни в столице нашей республики — Праге. Сколько раз мы повторяли это слово за последние годы! С того дня, как в сорок втором году за тысячи километров отсюда надели военные мундиры, освобожденная Прага была для нас конечной целью. «Направление — Прага» — коряво написали мы мелом на двери нашего вагона, когда из приуральского городка Бузулук уезжали на запад, на фронт. Песню «Направление — Прага» играл нам военный оркестр в Новохоперске, когда нас выпускали из офицерского училища. «Направление — Прага» — было написано на стрелке указателя, которую кто-то из наших прибил на дереве, когда мы переправлялись через вершины Карпат к словацким границам.

И вот мы тут. В Ржичанах, где наш полк останавливался на несколько дней, чтобы в буквальном смысле слова смыть фронтовую пыль, мы вдруг осознали, что война действительно приближается к концу. Сегодня мы поставим точку.

Когда наша колонна проезжала мимо крепко поставленной трибуны, где находились представители чехословацкого правительства и гости, возгласы: «Да здравствует Чехословацкая республика!», «Да здравствует Красная Армия!»— заглушали шум моторов.

Я был напряжен как струна. Стоял по стойке «смирно», держась левой рукой за дверцу, а правой отдавая честь.

Гости на праздничной трибуне махали нам. Среди них, рядом с маршалом Советского Союза И. С. Коневым, стоял новый министр национальной обороны, генерал Людвик Свобода.

В эту минуту я думал о своих боевых товарищах, которые погибли в боях под Соколовом, Киевом, о тех, кого мы похоронили на Дукле. О тех, кто всегда с нами, кого мы никогда не должны забывать...

Перевод с чешского
НАТАЛИИ ВАСИЛЬЕВОЙ

ДЖЕЙ ХИГГИНБОТЭМ

ДОРОГА ЖИЗНИ

Джей Хиггинботэм, американский писатель, историк, путешественник и общественный деятель, родился в 1938 году в г. Мобил (штат Алабама). Автор двенадцати книг, среди которых — исторические труды, отмеченные международными и национальными премиями, два романа, сборники рассказов и очерков. В 1966 году совершил кругосветное путешествие, «наиболее интересный отрезок которого», по словам автора, составила поездка от бухты Находка до Одессы. Эту поездку по нашей стране Хиггинботэм описал в книге путевых очерков «Скорый поезд «Россия», которая печаталась в русском переводе в журнале «Дальний Восток», а в 1983 г. вышла на английском языке в Нью-Йорке. В последний раз Хиггинботэм посетил нашу страну в 1984 году. Активно выступает в американской печати, по радио и телевидению с призывами к дружественным отношениям с Советским Союзом, против гонки вооружений и угрозы ядерной войны.

Глядя на огромное Пискаревское кладбище в Ленинграде, я мысленно возвращался к тем дням второй мировой войны, когда здесь ежедневно вырастали гигантские братские могилы. На молчаливых скорбных просторах, раскинувшихся неподалеку от бурлящего центра этого величественного портового города, тихий ветер овевает надгробные памятники, донося до нас эхо несбывшихся людских мечтаний, трагически оборвавшихся жизней.

Людей здесь погибло такое множество, человеческие страдания были столь велики, что четыре истекших десятилетия не изгладили из памяти мук ленинградской блокады,— одной из самых ужасных страниц в анналах человеческой жестокости. У нас, не испытавших таких страданий, не прошедших сквозь жгучий огонь и не дрожавших ночи напролет от леденящего холода, этот исторический факт, эта жуткая повесть нечеловеческого горя и муки не укладываются в воображении.

Что за люди, спрашиваем мы, могли подвергнуть блокаде гражданское население, оставаясь глухими к рыданиям несчастных матерей, которые прижимают к груди умирающих детей? Кем надо было быть, чтобы хладнокровно глядеть, как умирают мучительной голодной смертью полмиллиона человек? Однако трагедия эта, как мы знаем, была реальным, действительным фактом. Останки тех, кто пал ее жертвой, покоятся здесь, на Пискаревском кладбище.

Мне, американцу, трудно в полной мере представить себе масштабы подобной трагедии. Да ни один американец и не способен себе их представить. Мы никак не можем уразуметь того, что в итоге этой войны советский народ потерял больше человеческих жизней, чем американцы за все войны нашей истории: только тот, кто сам испытал ужас вторжения вражеских войск на свою родную землю, ужас долгой осады, кто замерзал голодным на протяжении бессчетных зимних ночей, кто видел, как замерзают и умирают от голода родные и близкие, только тот способен понять, что это такое — блокада при температуре ниже нуля.

Каким же образом, спрашиваем мы, жители Ленинграда оказались в силах выдержать невероятные испытания, выпавшие на их долю? Как им удалось перед лицом такого отчаянного бедствия сохранить веру в победу? Это чудо стойкости, человеческого достоинства, самопожертвования, преданности родине не поддается рациональному объяснению. И в тот момент, когда казалось, что петля, накинутая нацистами, задушит город вместе со всем его населением, был найден выход. По тонкому льду Ладожского озера проложили «Дорогу жизни», и именно эта дорога, тоненькая ниточка жизни, прорвала блокаду, в конечном итоге позволила освободить Ленинград, спасти его жителей от уничтожения.

Факты, касающиеся блокады Ленинграда и конечной победы в Великой Отечественной войне, хорошо известны в Советском Союзе, и давно пора, чтобы весь остальной мир, в особенности же мы в США, в полной мере признали, в каком мы долгу перед народами Советского Союза за их героическую борьбу против злодеяний нацизма. Ибо в значительной мере именно весь советский народ — не только генералы и солдаты, но и их матери и дочери, сыновья и бабушки — принял на себя самое страшное из того, что нес людям Гитлер, чтобы затем, сплотившись, окончательно разгромить захватчиков. Поднявшись как один, сражаясь плечом к плечу, народы Советского Союза остановили жесточайший вал истории, избавив человечество от самых опасных

Статья получена редакцией в рукописи.

безумцев, какие когда-либо ему угрожали. Своим героическим сопротивлением люди, покоящиеся ныне на Пискаревском кладбище, заслужили вечную благодарность живущих на Земле. Их величайший подвиг должен навеки сохраниться в памяти человечества.

Сегодня цивилизации грозит новая блокада. Эта угроза нависла не только над Советским Союзом, но и над Америкой. Эта новая угроза таит в себе еще большую опасность, нежели та, что нес с собою нацизм во время Великой Отечественной войны, ибо на этот раз речь идет не только о народах Советского Союза и Америки, но о всем человечестве на земле. Эта новая блокада предполагает вторжение в дух человека, в его ум и сердце, и она угрожает самому нашему существованию, блокируя пути к взаимопониманию. Это — утонченная и коварная по своим методам блокада, с невиданными доселе последствиями. Опасность реальна, угроза придвинулась вплотную, за нашими стенами дуют чудовищной силы ледяные ветры.

Чтобы прорвать сегодняшнюю блокаду, миру нужен героический пример, подобный тому, какой в свое время преподали нам жители Ленинграда. На этот раз агрессор более увертлив, труднее уловим. В отличие от нацистов прошлого сегодняшний враг «внутренний», его отличает не чудовищная жестокость, а страх, подозрительность, невежество, неразумие — те уродства, без которых зло процветать не может. Чтобы сломить эту блокаду духа, нам нужна новая «Дорога жизни», путь, который позволил бы нам преодолеть ледяные барьеры, столь долго разделявшие советский и американский народы, нужен новый широкий путь на твердой основе доверия, дружелюбия и доброй воли. Наши правительства, наши народы должны сегодня отыскать эту «Дорогу жизни» и смело пойти по ней. Отдавая себе отчет в том многом, что может отличать нас друг от друга — раса, религия, убеждения, — однако, признавая ту истину, что, как бы ни были велики эти различия, все нации способны, каждая на свой особый лад, стремиться к благородным целям. Не надо обязательно быть американским капиталистом, французским социалистом или русским коммунистом, чтобы верить в справедливость, прогресс, в ценность каждой человеческой личности. Нет сейчас в мире народов, которые не стремились бы, каждый по-своему, к такого рода достойным целям.

Социалист ты, коммунист или капиталист — в наше время мы не должны «перечеркивать» целую нацию или общественный строй, объявляя его «средоточием зла» или ничего не стоящим. Старой, фашистской идеологии, строившейся на той посылке, что война — явление положительное, а сила есть право, четыре десятилетия назад был брошен вызов и затем нанесено поражение. Человечество многому научилось на страшном примере фашизма. В наши дни истинное средоточие зла — в извращенном строе мыслей ограниченного числа людей, которые в силу тех или иных причин никак не научатся смотреть на своих собратьев справедливым и сочувственным оком. Как и фашисты прежнего времени, они обречены. Повсюду на земном шаре эти чудовища разоблачают себя; на смену им приходят люди с высоким чувством гражданской ответственности, просвещенные и вдохновляемые сознанием возможностей, открывающихся для прогресса при условии сотрудничества; объединения усилий. Достижению этой цели советский и американский народы должны содействовать сообща. Это тот великий идеал, которому мы должны посвятить свою энергию и труд, идеал, гласящий, что сотрудничество — это путь к жизни, что дорога к миру, справедливости и прогрессу — это и есть «Дорога жизни».

Давайте же, подобно героическим ленинградцам, которые сорок лет назад в тисках катастрофы нашли «Дорогу жизни», призовем на помощь всю нашу глубочайшую мудрость и волю к жизни. Поклянемся быть верными примеру их мужества и тем самым увековечим их память и борьбу, во имя которой они жили, во имя которой умирали.

Перевод с английского В. И.

◆

СТАДС ТЕРКЕЛ

«ХОРОШАЯ ВОЙНА»

Устная история второй мировой войны

Фрагменты книги

Перевод с английского С. ЛИТВИНОВОЙ

От автора

— Примечание: Название книги предложил Герберт Митганг, участвовавший во второй мировой войне рядовым солдатом. Такое выражение довольно часто употребляется мужчинами его и моего поколения, чтобы отличить эту войну от других войн, как объявленных, так и необъявленных. Кавычки были добавлены не для украшательства и не в качестве редакционного комментария — просто прилагательное «хорошая» никак не сочетается с существительным «война».

«Я был в бою шесть недель, сорок два дня. Я помню каждый час, каждую минуту, каждый кусочек событий всех этих сорока двух дней. Неужели это было... сколько?.. сорок лет назад?» Он начинает вспомнить вслух, и постепенно седеющий бизнесмен превращается в девятнадцатилетнего солдата. Слишком долговязого для пехоты, сокрушалась его мать.

В 1982 году одна тридцатилетняя женщина, вполне преуспевающая в Вашингтоне, открыла для меня, как обстоит дело в ее окружении: «А я никак не отношусь ко второй мировой войне. О ней написано в учебниках, вот и все. Какие-то битвы выиграны, какие-то проиграны. Ну, иногда покажут по телевидению сентиментальную драму о войне. Все это история, эпизоды прошлого. Все это так далеко. так абстрактно. Меня, во всяком случае, это не волнует».

Судя по всему, утрата памяти о второй мировой войне — явление того же характера, что и наша забывчивость в отношении Великой депрессии, и это так же тревожит: ведь вторая мировая война изменила не только лицо, но и душу Соединенных Штатов и всего мира.

Память солдата — вот о чем эта книга; и о нечаянных товарищах, сведенных наугад военной судьбой; и о тех мужчинах, женщинах и детях, оставшихся дома, кто знал и кто не знал, из-за чего загорелся весь этот сыр-бор; и об отдельных действующих лицах из других миров, с кем свел случай; об отданных жизнях и о полученных денежках. И о том отрезке истории, когда, как вспоминает один бывший капрал, «мы все чувствовали себя более значительными, были лучше по-человечески, стоили большего, чем стоим сейчас». Память об этом драгоценна.

Ричард М. (Рыжий) Прендергаст

Это крупный, ширококостный мужчина, грузный, седеющий. Так мог бы выглядеть бывший футболист-защитник. Он — вице-президент и шеф отдела распространения одного чикагского коммерческого журнала.

Моя группа входила в состав 106-й пехотной дивизии, которая была полностью разгромлена в Арденнском «мешке». Мы были группой тяжелого оружия. Располагались примерно в пятидесяти ярдах позади пехоты. У меня был миномет 81-го калибра. Они старались подобрать парней

© 1984 by Studs Terkel. This translation published by arrangement with Pantheon Books, A Division of Random House, Inc.

СТАДС ТЕРКЕЛ — STUDS TERKEL (род. в 1912 г.)

Американский писатель, публицист. «Иностранная литература» публиковала отрывки из его книг «Улица разделения: Америка» (1969, № 8—9), «Работа. Люди рассказывают, чем они занимаются весь день и что об этом думают» (1976, № 1).

Книга «Хорошая война». Устная история второй мировой войны» вышла в Нью-Йорке в 1984 г. («The Good War. An Oral History of World War Two». New York, Pantheon Books, 1984).

покрупнее: штука-то эта тяжеленная. Все время тащишь на плечах сорок два фунта металла. Плюс твое обычное снаряжение.

Мы сменили Вторую дивизию «Голова индейца». Им досталось по первое число. Потерь было чуть ли не триста процентов. На место убитых и раненых присылали новых людей, но и они долго не продерживались. Наши доты все как один стояли задом наперед. Они входили составной частью в «линию Зигфрида», построенную немцами и нацеленную, естественно, на Францию. *(Смеется.)* Так что нам от них было мало проку.

Два наших полка растянулись по линии фронта на двадцать три с лишним мили, это более чем не густо. Нам говорили: не волнуйтесь. *(Смеется.)* Ну, мы и не волновались. Каждое утро выдавали по три залпа, ближе к вечеру — еще по три. Ночью высылали разведгруппы. Несколько раз ходил и я, без особых приключений. Иногда приводили пленных. Среди них было много поляков и венгров, насильно мобилизованных в немецкую армию. В бой они не очень рвались. Все они говорили, что там, за линией фронта, скапливаются большие силы, что повсюду стоят наготове танки. Мы каждый раз докладывали об этом командованию, но никто, по-моему, не обращал никакого внимания на наши сообщения.

Утром 16 декабря на нас неожиданно обрушился огненный шквал. Из-за горы полезли танки — все танки Европы двигались на нас, вся броневая мощь мира. А у нас вообще не было танков. К тому же погода была такая, что мы не могли рассчитывать на помощь с воздуха. Они прошли сквозь наш ружейный огонь, будто его вовсе не было. Мы были полностью отрезаны и окружены. Мы побежали в горы, стреляя наобум во что попало.

Нас осталось что-то около шестидесяти человек, это примерно два взвода. Мы оказались в густом лесу. В тех самых Арденнах, Шнее-Эйфель — Снежные Вершины. Отступая, мы еще отстреливались. У нас не было с собой ни провианта, ни боеприпасов и никакого транспорта. И нам, собственно говоря, некуда было бежать, они были и впереди, и сзади. Когда мы переходили вброд какую-то речушку, я сказал: «А чего мы тащим эти минометы, кому они нужны теперь, бросим их в воду». Но офицер, который был с нами, сказал: «Не разрешаю, вы не имеете права уничтожать казенное имущество». *(Смеется.)* Ну, а я все-таки утопил свой миномет в следующей речке. Считаю, что действовал по обстановке.

И вот мы уже ходим по кругу. Целая армия стреляет в меня, а у меня в руках только автомат 45-го калибра. Правда, возможности перевооружиться неограниченны, так как повсюду лежат убитые. Больше всего американцев. Мне кажется, за те дни, что я был в окружении, у меня в руках побывали все виды оружия, выпускаемые Соединенными Штатами. Кончаются патроны, ты бросаешь оружие и ищешь другое. Раз мне даже пулемет попался, я тогда впервые имел с ним дело.

Большой проблемой были снайперы. Когда немцы уходили из каких-либо районов, они обычно оставляли на деревьях двух-трех парней. *(Смеется.)* Одного майора они застрелили прямо из-под меня. Вот вам еще доказательство того, что иногда надо действовать по обстановке. По уставу тот, кто ниже рангом, должен идти слева. И он потребовал, чтобы я шел слева от него. *(Смеется.)* «Ты,— говорит,— будешь меня прикрывать». Ну, а кто же в немецкой армии не знает, что слева идет низший по званию. *(Смеется.)* Этот майор получил пулю прямо в шею.

В каком-то месте мы влились в более крупную группу. Перед нами была небольшая деревушка. Тот, кто был у нас начальником, отдал приказ атаковать. У нас не было ни укрытия, ни прикрытия, ничего. Одна открытая местность. И мы пошли в атаку. Наткнувшись на сильный огонь, мы залегли. Вдруг кто-то стал размахивать флагом. Оказалось, деревня была занята нашими. Мы стреляли друг в друга. И вообще была сплошная неразбериха. К счастью, в этой конкретной неразберихе жертв было очень мало.

Мы несли с собой раненых, и довольно много. Никакого продовольствия, не ели уже несколько дней, а нас что-то около 150 человек. И вот мы окружены на вершине снежной горы. Лежим на снегу, а немцы вокруг нас стреляют по всему, что движется. Стреляют также из орудий малого калибра, 20 и 40 миллиметров. Мы не отстреливаемся — нечем, ни у кого нет ни пуль, ни снарядов.

Это уже девятнадцатое. Побегали мы, значит, взад-вперед по горам, так ничего и не добившись. *(Смеется.)* Солнце начало садиться, время — три часа тридцать минут, подняли флаг перемирия, и к нам направился немецкий офицер. На чистом английском языке обратился к нашему полковнику: «Вы довольно долго здесь находитесь, и с полудня не сделали ни одного выстрела. Мы сильно подозреваем, что у вас кончились все боеприпасы. Если через двадцать минут вы не спуститесь вниз, никто из вас вообще не спустится». Наш командир подумал минуты три *(смеется)* и сказал: «Хорошо». Нам он приказал уничтожить оружие. Все, что у меня оставалось,— это красавец «сорок пятый», которым я очень дорожил. Разобрал я его на части и расшвырял по снегу.

Подошли окружавшие нас немцы. Отобрали ручные часы, вечные ручки и все сигареты, что могли найти.

Они очень разозлились, что мы уничтожили оружие. По правде говоря, их «тридцать восьмые» и «люгеры» были превосходные пистолеты — им просто хотелось взять наши «сорок пятые» в качестве сувениров.

С меня они сняли верхние теплые сапоги, и это было худшее, что со мной случилось. Начали их мерить по очереди: всем оказались велики — у меня 14-й размер. Тогда они взяли нож и разрезали их, чтобы никому не достались. И вот под охраной мы отправились в долгий, долгий путь. Ноги я, конечно, обморозил. До сих пор с октября по май не чувствую пальцев на ногах. Уж если это есть, то никуда не денется. Шли мы по снегу дня два-три. Казалось, будто сто миль прошли. Потом нас

посадили в эти поезда — в вагоны, рассчитанные на сорок человек или восемь лошадей. Загнали туда по шестьдесят человек. Ехали только ночью — днем американские и английские бомбардировщики лупили по всему, что двигалось.

Никаких надписей на вагонах, что здесь, мол, пленные, не было. Обычный военный эшелон. Появляются английские самолеты — один из знаменитых ночных рейдов английских ВВС. Бросают осветительные бомбы — и что они видят? Прекрасный длинный эшелон — весьма симпатичная цель. Как же они нас колошматили! Чуть ли не полтысячи погибло в ту ночь. Самолеты союзников убивали своих же — военнопленных. Одна из жутких нелепостей, они частенько случаются на войне.

Когда мы прибыли в Шталаг 4-В, нас сразу повели в дезкамеры. Я уже был наслышан об этих страшных лагерях уничтожения, куда свозили евреев и политических заключенных. Им говорили: примите для начала душ. Они входят, а вместо горячей воды из дырочек выходит ядовитый газ. И вот нам говорят то же самое. *(Смеется.)* Входим в огромное помещение с кафельными стенами; душевые рожки — штук пятьдесят—шестьдесят. Ну, думаю, вот оно! *(Смеется.)* Оказалось, действительно настоящий горячий душ. Но он все-таки не прошел для меня даром. Мы уже несколько недель не мылись. Горячий душ открыл все поры, мы, распаренные, шли двадцать минут до бараков, и я заболел гриппом.

Приходим в барак. А там англичане, которым мы нужны, как собаке пятая нога. У них все так уютно устроено. Занавесочки, почти все в гражданском платье. Регулярная почтовая связь с Англией. Даже стирка белья организована по почте. Посылают домой грязное, получают чистое. Надо же было до этого додуматься! Они туда попали после Дюнкерка и за это время довольно хорошо обосновались. У них даже были созданы различные комитеты: по подготовке побегов, по разбору жалоб и т. п. Они все время составляли планы побегов. И вообще заправляли всеми делами в бараках.

А тут прихлынула эта волна пленных из Арденнского «мешка». Они не знали, что с нами делать. Хотя, правду сказать, были очень гостеприимны. Им пришлось уплотниться и спать по двое на койках. На всех коек не хватало.

Потом двадцать три человека, и меня в том числе, отобрали для работы на химическом заводе Бюкгульденверк, это примерно в десяти милях от Дрездена. Местечко, как оказалось, хуже не придумаешь. Десять, двенадцать часов в день мы должны были перекидывать уголь лопатами. Там были огромные печи, и в них варились разные химикаты. Давали нам в день миску супа из турнепса и кусок хлеба, эрзац-хлеба.

Мы могли в любой момент бежать, это была не проблема. Но куда бежать, не зная языка? Сотни и сотни миль от маломальски знакомого лица. А вокруг все вооружены — почтальоны, водители трамваев. Однажды ночью, это было в феврале, стоял зверский мороз, двое наших удрали. Так их поймал отряд немецких бойскаутов. Избили до полусмерти. Принесли в лагерь на носилках. Это отбило у нас охоту даже думать о побеге... *(Смеется.)*

Помню пасхальное воскресенье. Наши собственные штаны и куртки давно изодрались, и нам выдали немецкие брюки и гимнастерки. Лежим мы во дворе, отдыхаем, вдруг откуда ни возьмись — шесть американских «П-38». Прошли над нами на малой высоте и увидели нас в немецкой форме. *(Смеется.)* Вернулись и обстреляли. Прилетали они бомбить нашу фабрику.

А дня через два приходит к нам где-то около полуночи охранник и говорит: «Гражданские волнуются. Они хотят линчевать вас, всех американцев». Потом говорит: «Русские совсем рядом. Предлагаем вам собрать свои вещи и вместе с нами бежать к американцам. Мы,— говорит,— будем нужны вам, чтобы спасти вас от народа. А вы нам будете нужны, когда доберемся до американцев,— скажете, что мы не так уж плохо с вами обращались». Ну, ясно, если бы они попались в руки русским, пиши пропало.

Этой же ночью мы и рванули в сторону американской линии фронта.

За спиной пушки бьют, русские все ближе и ближе, совсем рядом. Наши охранники собрали нас в кучу посреди большого поля и приказали: «Не трогайтесь с этого места». А мы им: «Что вы, что вы, ни в коем случае». *(Смеется.)* Сбросили они свою форму, оделись во все гражданское, вскочили на велосипеды и укатили к американцам.

Стоим это мы посередине Германии. Снова свободные люди. У меня к тому времени отросла огромная рыжая борода. Лохматая и, естественно, грязная. Все мы были похожи на пиратов. И не знаем, что делать, куда бежать. Многие уже исчезли, просто ушли, разбившись на группы.

Большинство направилось в сторону расположения американских войск. Я и два моих дружка в конце концов сделали то же самое.

7 мая мы ночевали в каком-то сарае, утром входит хорошенькая девочка с льняными косичками и говорит: «Der Krieg ist über». Война кончилась. «Иди домой, глупышка»,— говорю я. Не поверил. А война-то и в самом деле кончилась.

Всякий раз, вспоминая войну, я думаю: хоть и много было тяжелого и страшного, все равно это была самая яркая часть моей жизни.

Делли Хейни

Год назад она ушла на пенсию, проработав тридцать три года учительницей музыки в разных школах Лос-Анджелеса. Два дня в неделю продолжает заниматься с детьми-инвалидами. «И немного пишу».

Подтянутая фигура и быстрые движения делают ее моложе своих лет.

Хотя совесть говорила, что война ужасная вещь — кровопролитие и горе,— царившее вокруг возбуждение передавалось и мне. Я только что окончила колледж и работала практиканткой в школе. Жизнь была довольно скучной. И вдруг оказыва-

ется, молодые одинокие женщины чрезвычайно нужны стране. Об этом долбили с утра до ночи, по радио, в газетах и журналах. Нас приглашали на вечера встречи с мобилизованными солдатами. Молодая женщина получала возможность в течение одной-двух недель познакомиться с сотнями потенциальных женихов, столько ей не встретить бы и за всю жизнь, если бы не война. Жизнь превращалась в цепь свиданий.

Так я встретила своего будущего мужа. Мне он не особенно нравился, но со всех сторон так нажимали. Брат сказал: «Что значит не нравится? Ведь он сделал предложение!» Впервые я осознала, что мне надо за кого-то выходить замуж. Нам так усиленно внушали, что мы должны выйти замуж за солдата, что я в конце концов поддалась этому внушению. Все равно когда-нибудь надо выходить, так почему не сейчас?

Девушки выходят замуж за солдат, и те, счастливые, отправляются за океан — об этом сочинялись радиопьесы, снимались кинофильмы, печатались рассказы в журналах. И конечно, все это оказывало на нас огромное влияние. Помните Джуди Гарланд и Роберта Уокера в фильме «Часы»?

Я знала Гленна всего шесть, даже не недель, шесть уик-эндов. Встречались в субботу вечером. После танцев сбивались в компании и где-нибудь проводили остаток ночи. Случаев, чтобы спали до брака, было очень мало. Мы были последним эшелоном морального поколения. Открытую связь не прощали. Незаконный ребенок — позор и несчастье. Почти крах всей жизни. Сейчас к этому относятся по-другому, и я рада за девушек: общество теперь не выбрасывает их как отверженных.

Служба военной информации потрудилась на славу для того, чтобы убедить нас в безусловной правоте нашего дела. Мы должны были остановить Гитлера. Его действительно надо было остановить. Мы спасали мир. Россия была нашим союзником, тогда она называлась нашим великим союзником. Германия начала первую мировую войну, теперь она начала вторую мировую войну, поэтому ее надо стереть с географической карты. Когда через несколько лет мы стали вооружать Германию, я была потрясена. Что же это со мной делают? Я отказывалась верить. Помню, как я сидела однажды на заднем крыльце, взяла в руки свежую газету и читаю, что наш заклятый враг — теперь наш союзник. Рухнули сразу все иллюзии, с этого момента начало расти чувство недоверия к нашему правительству.

В начале войны все представлялось священным делом, как крестовый поход. Патриотический дух был такой, что, как, бывало, заиграют по радио «Звездно-полосатый флаг», все встают. Но война шла и шла, и мы стали читать в газетах о неприглядных делах кое-кого из стоящих у власти. Читали о генералах, Макартуре например, который вынимал куски изо рта у наших солдат на Филиппинах в пользу своей семьи. Наш энтузиазм угасал, мы становились циниками, да и вообще устали от крови и смерти. Все повернулось другой стороной. По крайней мере я так чувствовала.

Было много людей, которые вообще не хотели воевать. С какой, черт возьми, стати я должен драться за эту страну? Что она для меня сделала? Вышла тогда книга, называлась «Первым долгом». Основная мысль была в том, что сначала мы выиграем войну, а потом займемся вашей бедностью, вашим несчастливым детством, вашей обездоленностью и вашей нуждой. Вы отправляетесь за океан, возвращаетесь и получаете... Все, что они получили — это право солдата на стипендию для продолжения образования. А что касается остального... Хорошая война? Это приводит меня в ярость. Да сама идея называть вторую мировую войну хорошей чудовищна! Я как подумаю обо всех этих зверствах, о сумасшедшем с такой огромной властью, об уничтожении евреев, об ужасных нечеловеческих страданиях в концлагерях...

Я знаю, это надо было остановить. И мы остановили. Но я не испытывала особой гордости, потому что делалось это все неискренне, с какой-то задней мыслью. Сколько лет прошло? Сорок? А я все еще чувствую на лице размазанную яичницу. Мне врали. Меня обманывали. Из меня делали дурочку. Сказали бы просто: знаешь, это надо сделать, мы пойдем и сделаем свое дело... Нам всем оторвут руки и ноги, но это надо сделать — я бы поняла. А меня вместо этого пичкали всем этим дерьмом: красивая военная форма, девушки в воздушных платьицах, танцы на прощальных балах, эти душещипательные песенки «Голубые птички на белых скалах Дувра» — дерьмо, дерьмо!

Если уж надо пройти через войну, будьте честными. Скажите прямо, что наш мир вовсе не самый прекрасный изо всех миров, что в Вашингтоне жульничают, дают взятки, и дети остаются без молока, потому что какой-то заднице хочется отдохнуть во Флориде. Если бы мне все это честно сказали, мне было бы легче.

Во всем этом было только о д н о хорошее. У многих моих подруг матери пошли работать на фабрики. Впервые в жизни они работали не дома. И вдруг поняли, что способны на нечто большее чем стоять у плиты. Помню, как одна из таких женщин пригласила меня на воскресный обед. За столом она и ее сестра горячо обсуждали, как лучше всего затачивать резцы. Никогда в жизни я не слышала ничего подобного. Это было прекрасно. Я получила большое удовольствие.

Но даже здесь нам постарались запудрить мозги. Постоянно твердили, что женщина встала к станку лишь на время, чтобы помочь своему мужу воевать, а когда он вернется, она с облегчением побежит назад к плите.

В одной газете было напечатано письмо какой-то женщины своему мужу за океан: «Вот точные показания на нашем приборном щитке. Нужно ли подлить кварту масла?» Показывали, как мы зависим от наших мужей. Те из нас, кто читал это, смеялись: самое настоящее дерьмо собачье. «Если не знаешь, нужно ли долить масла, подкати свою колымагу к ближайшей бензоколонке, попроси парня, он те-

бе покажет, научит и дольет, если нужно». Но ведь им хотелось, чтобы женщины были зависимыми от мужа, беспомощными.

Я думаю, многие женщины говорили: «Заткните эту скважину». Потому что они уже почувствовали вкус свободы, ощутили, что значит зарабатывать собственные деньги, тратить их по собственному усмотрению. По-моему, начало женского движения надо искать именно здесь, семена его были посеяны в годы второй мировой войны.

P. S. Я родила двух детей и через семь лет — довольно большой срок — поняла, что мой муж совершенно безответственный человек. Он был игроком, пьяницей и бабником. Я развелась с ним и осталась без гроша. Началась суровая борьба за существование.

Если бы не война, я вряд ли бы так глупо выскочила замуж. Если бы не военная форма, если бы это был гражданский, я бы подумала, повременила. Но это был солдат. Кто-то должен был выйти за него замуж. Война впрямую воздействовала на всю мою остальную жизнь.

Бетти Бейси Хатчинсон

С первого же взгляда на нее чувствуете, что когда-то она была королевой красоты. Сейчас ей шестьдесят.

В 41-м я была в последнем классе школы. Понимаете? А к зиме Лесли Бидуэлл уже погиб в Пёрл-Харборе. Мальчики нашего класса пошли умирать.

Оровилл был маленьким шахтерским поселком, в восьмидесяти милях к северу от Сакраменто. Мой отчим арендовал под ферму небольшой клочок земли. Только за три года до войны он провел электричество. Мы все жили на кухне, там было теплее. Я первая из девяти детей окончила среднюю школу.

О Пёрл-Харборе я узнала целую неделю спустя, когда приехала во Фресно на танцы,— такая у нас была глухая провинция.

Тут же решила стать медсестрой. Мне хотелось делать что-то по-настоящему нужное для войны. Что для меня значила война? Это — мой брат на танкере в Средиземном море, везущий нефть в Африку и Италию. Это — еще несколько убитых одноклассников. Это — мой жених, с которым мы обручились сразу же после окончания школы, он пошел в морскую пехоту и погиб. Это — просто конец всей моей прежней жизни.

Профессиональные медсестры уходили в армию. Ушли и мои наставницы. В нашей больнице во Фресно медперсонал был сокращен до минимума и фактически всем заправляли практиканты.

Чтобы стать дипломированной медсестрой, полагалось проработать практиканткой три года, но армия забрала нас на полгода раньше.

Первый мой военный госпиталь был в Санта-Барбаре. Нам выдали форму с симпатичной шапочкой.

Я попала в ортопедическую палату. Очень много было парашютистов. Надо было делать массаж позвоночника, а до него часто и не доберешься — все тело в гипсе, с головы до ног. Ужас! Но оказалось, бывает еще страшнее. Это в пластической хирургии, где лежали по-настоящему изуродованные люди.

Перевели меня в Диббльский госпиталь общего типа в Менло-парк на переподготовку. Через шесть недель из нас сделали таких квалифицированных специалистов по пластической хирургии, что решили оставить у себя. За шесть недель — это чудо! Война уже подходила к концу, и пластическая хирургия стала очень важным делом. Слепые, безглазые, безногие — молодые ребята. У некоторых нет пол-лица. Множество ожогов. Никогда не забуду свое первое дежурство. Старший лейтенант Молли Бёрч представляла меня раненым: «Знакомьтесь, лейтенант Бейси». А я иду за ней как окаменелая: вот на третьей кровати лежит человек почти без лица, я не знаю, как попасть взглядом в единственный глаз, еле видный в щелочку между бинтами. Как себя вести? Притвориться, что ничего особенного не вижу? Или, наоборот, поговорить об этом? Молли подвела меня к следующей кровати. Этого она просто назвала — Нос. У него не было носа. Потом-то я привыкла ко всем их шуточкам над своим увечьем. Парень деланно засмеялся и сказал: «А что? Скоро получу новый нос». У него не было и бровей, один огромный белый шрам. У него не было ушей — сгорели. Все надо было восстанавливать. Но для него главное был нос. Его поэтому и прозвали — Нос. Он не обижался — хотя... кто его знает? Молли была права. Она давала им возможность выговорить свое несчастье. Но я тогда была потрясена.

Вспоминаю того лейтенанта. Сплошная масса белого бинта со щелочкой в том месте, где, я знаю, должны быть глаза. Помню его руку, которую он протягивал, здороваясь: «Привет, рыженькая». Помню, как сидела у его постели. Молоденький летчик, сгорел от своей собственной зажигательной бомбы. Над кроватью портрет красивого пилота рядом со своим «П-38». Он очень хочет, чтобы я знала, кто изображен на фотографии: «Смотри, рыжик, это я!» И он не собирается уходить отсюда, пока ему не вернут его лицо. Пусть висит здесь портрет, чтобы люди знали: вот кого они тогда увидят.

Не могу сказать, чтобы я ко всему этому до конца привыкла. Но как медсестра я стала более ловкой, приобрела некоторую непринужденность, научилась шутить, отбиваться от остряков. Больше всего острили, конечно, на тему секса.

Вообще для них было очень важно видеть вокруг себя хорошеньких медсестер.

По неписаному закону мы не могли заводить романы с рядовыми, а с офицерами не возбранялось.

Одна из медсестер полюбила рядового. Их тайный роман длился долго. Мы не выдали их даже намеком. Через год они поженились. Но и это в те дни держалось в тайне. Такие браки не поощрялись. У меня на этот счет есть теория: я считаю, что они произвели нас в офицеры, чтобы сохранить для офицеров.

Ведь мы были лишь подсобным персоналом. Вот я, например, двадцатидвухлетняя девчонка, умеющая выносить судна. Какой из меня офицер? Я думаю, таким путем хотели уберечь нас от солдатских орд и сохранить для офицеров. О! Классовое чувство было страшно сильным.

День победы над Японией я встретила еще в госпитале. Потом госпиталь закрылся, и всех пациентов разослали по разным местам. Моим раненым предстояли еще годы и годы операций. Нас направили в Пасадену. Это был 46-й год. Мы заняли целиком один из больших, старых и очень уютных отелей, прямо в центре. Все мои друзья попали сюда — операции продолжались. И самый близкий друг Билл, тот летчик. Я повела его гулять по городу — никогда этого не забуду! У него, вы помните, половина лица, так? А центральная часть Пасадены стала после войны очень аристократическим районом. Элегантно одетые женщины останавливались и пялили на него глаза, просто стояли и таращились. Он, конечно, видел эти ужасные взгляды. Представляете, люди уставились на вас, будто не понимая, что это такое. Я чуть было не высказалась, но сдержалась и увела его. Можно было подумать, в Пасадене только сейчас узнали, что была война. О! Наш приезд произвел сильное впечатление на жителей города. В местную газету пришло несколько писем: пусть, дескать, сидят у себя в отеле, не пускать их на улицы. Гнев, возмущение — война кончилась, а они еще здесь! Такие письма мне показывали и сами раненые.

Вот так я входила в мирную жизнь. Глаза женщин, уставившихся на моего друга Билла, показали мне, что людей привлекала только романтика войны. Настоящей войны они не знали. Ну что ж, теперь такие войны кончились навсегда. Теперь у нас есть ядерные бомбы, и мы можем уничтожить и себя и всех других.

Долгие годы я молчала об этом, глотала подступавшие к горлу слова. Надо было заниматься делом, выходить замуж, рожать детей. То есть жить как положено. Да еще купить домик в пригороде. И никто не хочет по-серьезному думать о войне.

Мой муж воевал на Тихом океане. Но невозможно заставить отца моих четверых детей говорить о войне. Будто ставнями закрываемся от прошлого.

Война меня отметила, а я ее прячу за спину. И ничего особенного не сделала, если не считать участия в марше протеста против вьетнамской войны.

И счастлива, что мой сын отказался воевать там.

Зачем все это? Корея? Вьетнам? Мы все еще в состоянии войны. Неужели та война была напрасной?

Уин Стрейки

Чикагский певец, исполнитель баллад, основатель «Школы народной музыки Старого города».

Я служил в береговой артиллерии, в 62-й батарее. Мне надоело быть при командовании. И когда мы поднялись в горы, в Алжире, я попросил, чтобы меня перевели в батарею. У нас были сорокамиллиметровые «бофорсы». Каждый орудийный расчет состоял из пятнадцати человек.

Впервые эти пятнадцать парней жили не по законам общества конкуренции. Никто не стремился стать офицером. И мне очень нравилось это ощущение. Надо было только делать свое дело, и все выкладывались как могли. Впервые в жизни они могли помогать друг другу без страха потерять коммерческие преимущества. Можно было не вцепляться друг другу в глотку, не подставлять товарищу ножку, не выслуживаться перед хозяином.

Это чувство оставалось во мне всю войну — я был в армии три года и четыре месяца, с июня 42-го по сентябрь 46-го.

Прошло сорок лет, а все мы помним это ощущение. Мы иногда собираемся, наша батарея, но с каждым годом нас становится все меньше. Для всех этих ребят тот отрезок их жизни был самым важным, никогда больше они не испытывали ничего подобного. Я тоже. Мне даже кажется, это изменило наш характер, наше отношение к ближнему. Может, я романтизирую. Не знаю.

Роджер Таттрап

Он сидит на ступеньке крыльца у подъезда многоквартирного дома. В этом районе живут старики, негры, латиноамериканцы, иммигранты из Азии, очень много детишек здесь. По-моему, он знает почти всех соседей.

Пожимает мне руку. Ох! Ну и железная хватка! «Я все еще в душе морской пехотинец. Волосы стригу коротко. Работаю на воздухе, сохраняю физическую форму. Вешу сейчас даже меньше, чем в самый разгар службы. Держусь на ста пятидесяти» [1].

Мы поднимаемся наверх. На своем этаже он помогает старушке-соседке справиться с дверным замком. Продолжаем разговор в его квартире. Выпиваем по две рюмочки.

Я рвался на войну. Мне было пятнадцать. И я считал, что занимаюсь какой-то ерундой. Ходил в школу и подрабатывал в кегельбане, подсчитывая очки. Решил, что нужно делать что-то более стоящее. Пошел на военный завод. А кое-кого из моих друзей уже стали призывать в армию. Черт возьми, а я что? Я не человек, да?

Наврал о своем возрасте и попытался попасть в призыв 43-го. Мне было теперь шестнадцать. Мать, конечно, была против. Она хоть и жаждала от меня избавиться, но не таким способом. *(Смеется.)* Я прошел тест на летчика в Оук-парк-хай. Прошел по высшему классу. Я все делаю по высшему классу. А потом прикинул: какого черта, пока я два года буду учиться, война кончится. Пойду в морскую пехоту.

Честно говоря, я хотел быть героем. В

[1] 150 фунтов — примерно 68 кг.

школе со мной были одни неприятности. Дома у матери тоже. Они не знали, что со мной делать. Война уже шла два года. И больше всего на свете я боялся на нее опоздать. Мне семнадцать лет. Я американец.

Четыре или пять дней пробыл в учебном лагере. Подъем в 4.30, помыться, побриться и на утреннюю поверку. Инструктор по строевой подготовке — здоровенный мужик, сержант Линн, ручища — во! Стою навытяжку. Он спрашивает: «Брился сегодня?» «Да, сэр»,— отвечаю. Тогда надо было обязательно добавлять «сэр». Он говорит: «А я вижу клочок на щеке. Считаю, что ты не брился, и снова спрашиваю: ты брился сегодня?» Я опять говорю: «Да, сэр». Тогда он хватает меня за горло — а рука его толще моей шеи — и чуть ли не поднимает в воздух. Говорит: «Я сказал, что ты не брился: вот здесь клочок торчит». Ей-богу, никто и в микроскоп бы не увидел. Он отпускает меня и говорит: «Значит, я вру, так? Тогда спрошу тебя еще раз. Ты сегодня брился?» Знаете, что я ответил? Я ответил: «Нет, сэр». И знаете, что мне пришлось потом делать? Мы с еще одним парнем, Гаррисоном, пошли в кабинет инструктора и полчаса скребли свою кожу без воды, без кожаного ремня, без ничего.

Я не плакал. Не так уж меня это задело. Просто почувствовал, что я никто. Эти люди, они сразу ставили тебя на место. Мягко выражаясь. Они тебя унижали, да, заставляли делать то, что ты считал физически невозможным. Но и давали тебе почувствовать, что́ ты есть такое. Ты — часть чего-то целого.

Потом нас отправили за океан. Включили в состав Второй дивизии морской пехоты. Где мы высадились? На Сайпане. Тут вот всякая сволочь треплется, что я и пороху-то не нюхал. Могу доказать, у меня все бумаги целы. Прямо скажу, я, конечно, никакой, так-растак, не герой, но и не пустое место. Я был в запасных частях сил вторжения на Окинаву. А это вторжение оказалось последней битвой войны. Наша задача была грузить и разгружать корабли.

Все немного приукрашивают. Я не вру, но не всегда же говорить стопроцентную правду. Вот я и говорю: участвовал во вторжении на Окинаву. И это правда. Наше подразделение совершило диверсионный рейд на южную оконечность Окинавы. Потом вернулись на Сайпан. Потом захватили какой-то вшивый островок. В меня несколько раз стреляли, но, повторяю, я никакой, так-растак, не герой. Я обыкновенный мужик, и на этом точка.

Вдруг неожиданно нам говорят: все кончено. И это слово — Хиросима. Все так и сели. Чего я никак не мог понять — это второго: Нагасаки. Они проиграли уже после первого удара. Зачем нужно было делать это дважды? Ведь все было и так ясно. Они сдались еще на Окинаве. Их генералы покончили самоубийством. Хиросима? Черт его знает, может, она и впрямь спасла мне жизнь. Ну, ладно. И хватит об этом.

Когда кончилась война, меня перевели в Первую дивизию морской пехоты, в минометный взвод. Вскоре нас послали в Китай, в оккупационные войска, якобы для того, чтобы репатриировать японцев. На самом деле, как мы потом догадались, для того, чтобы утвердить у власти Чан Кайши и не допустить этих коммунистов. Мы видели, что делали и те и другие, и понимали, кто на какой стороне.

Мы ненавидели Чан Кайши. Все это были богачи. Некоторые жили даже пошикарней многих американских богачей.

Потом перевели нас в Таку, портовый город. Сформировали отряд военной полиции. Такой бедности я еще не видел. Просто сердце разрывалось. Выбрасывали новорожденных детей на улицу. Нас держали там, чтобы охранять насквозь прогнившую власть. За это — дешевые девочки, дешевое спиртное, безопасная жизнь. И все это ради какого-то сукина сына, которого поддерживало американское правительство. Нам это было непонятно. Вот считают, что морские пехотинцы — люди жесткие, нерассуждающие. А как вспомнишь этого подонка и как его поддерживало наше правительство, черт его побрал... Я хочу сказать: это был позор.

Когда я думаю о войне, первое, что вспоминаю, как сержант Линн схватил меня за горло. Я понял тогда: жизнь моя теперь пойдет в другую сторону. Морская пехота сделала меня не таким человеком, каким я мог бы стать. А последнее воспоминание — это то, чему нас учили про японцев. Грязные японцы, подлые, трусливые, вероломные, с ними держи ухо востро. Господи, кто же всем этим, так сказать, занимался? Кто забивал нам мозги, так сказать, всякой дрянью? Я двадцать четыре года женат на Садзуко-сан (кивает на жену, которая только что вошла в комнату) — Мисс Америка, потрясающая личность. Лучшее, что у меня есть.

Адмирал Джин Ларок

Контр-адмирал в отставке. Сейчас — директор Центра оборонной информации. «Мы наблюдаем за расходами Пентагона. Мы — это группа бывших офицеров, которая пытается сдерживать растущее влияние военных и промышленников, чтобы гражданские получили больше прав».

Семь лет он работал в Пентагоне и семь лет читал лекции в военных училищах.

Летом 1941 года я попросился в Пёрл-Харбор. Там базировался наш тихоокеанский флот, да и название звучало так романтично[1].

В день, когда напали японцы, я находился в море на патрульном корабле «Макдонаф». Мы с десяти часов утра вели рядовую морскую разведку, искали, как обычно, японские корабли. Нам повезло, что мы их не нашли. Они бы нас, конечно, потопили. Всю войну я провел на Тихом океане, все четыре года.

В первый момент воздушного налета на Пёрл-Харбор я подумал, что это просто ошибка наших ВВС. Мы были так высокомерны, так тщеславны, настолько не пред-

[1] Pearl Harbor — жемчужная гавань.

ставляли себе реальной силы японцев! Нам просто в голову не могло прийти, что они осмелятся на нас напасть. Мы знали, что у японцев плохое зрение, что они особенно плохо видят ночью — все это считалось само собой разумеющимся. Мы знали, что они не умеют делать хорошее оружие — так, какие-то жестянки — и вообще все копируют у нас. Нам достаточно выйти в море, чтобы потопить их. Оказалось, что они видят лучше нас, а их торпеды в отличие от наших действуют безотказно.

Мы думали, что́ могут какие-то желтокожие человечки по сравнению с нами — сильными белыми мужчинами. Это же низшая раса. Вот немцы — другое дело: великолепные солдаты и строители. А японцев — стоит только пальцем толкнуть. И на этих-то желтокожих человечков мы сбросили ядерные бомбы. Мы обсуждали, не сбросить ли их на Вьетнам. Мы обсуждали, не применить ли военную силу, чтобы получить нефть на Ближнем Востоке от каких-то темнокожих. Я что-то никогда не слышал об использовании военной силы, чтобы получить нефть от Канады. Мы все еще считаем себя сверхвеликой расой.

После войны мы стали самой сильной нацией в мире. Наши закрома были полны. Мы наслаждались своим могуществом. Мы управляем миром. Мы оказались единственной крупной державой, которая не была разорена и разрушена войной. Франция, Великобритания, Италия, Германия все это испытали. Советский Союз, наш большой союзник, еле держался на ногах. Двадцать миллионов убитых.

Мы уникальная нация — у нас тридцать миллионов ветеранов войны. Мы — единственная страна в мире, которая воюет с 1940 года. Посчитайте войны — Корея, Вьетнам,— посчитайте годы. Среди наших политиков создалась группа стариков, которые смотрят на военную службу как на благородную, полную увлекательных приключений деятельность.

Все свои войны мы вели в стороне от дома, поэтому ничего не знаем о подлинных ужасах войны. Семьдесят процентов нашего военного бюджета идет на то, чтобы воевать где-то в другом месте.

Мы «институционализировали» милитаризм. Это началось после второй мировой войны. В 1947 году был принят закон о национальной безопасности. Раньше этого термин — «национальная безопасность» — ни в какой литературе не встречается. Он породил департамент обороны. До этого, если ставился вопрос об ассигнованиях для военного департамента, вы знали: это на войну — и все было ясно. А теперь речь идет о департаменте обороны. Кто же против обороны? Еще прослывешь плохим патриотом. Поэтому нет абсолютно никаких пределов их притязаниям.

У нас никогда раньше не было Объединенного комитета начальников штабов. Во время второй мировой войны это было естественное сотрудничество, но не было института. Теперь у нас есть и Национальный комитет безопасности. У нас появилось ЦРУ, которое вполне может сейчас нас подслушивать. Впервые в истории человечества одна страна разделила весь остальной мир на военные зоны. Никто до нас, да и после нас, ничего подобного не делал. И для каждого района существует военное решение любой возникшей там проблемы. Составляются планы на случай непредвиденных событий — попросту говоря, военные планы.

Наши военные управляют и внешней политикой. Госдепартамент занимается только тем, что подбирает мусор и щепки там, где военные успеют наломать дров. Он стал прислужником Пентагона. Ничего похожего не было перед второй мировой войной. Военный и Военно-морской департаменты только в случае войны выступали на первый план. И то при полном контроле гражданских властей. Вторая мировая война все это изменила.

Не так давно Пентагон с гордостью объявил, что США после войны 215 раз применяли военную силу для достижения своих международных целей. Пентагону это нравится: силой утверждать свою волю. А теперь еще есть для этого и ядерное оружие.

Ядерное оружие стало оружием обычного типа. Мы серьезно рассматривали возможность его применения во Вьетнаме. Я работал в Пентагоне и лично изучал, какие цели лучше всего подойдут для этого. Нам никак не удавалось подобрать достаточно хорошую. Мы даже не задумывались о моральной стороне вопроса, о позоре, который падет на голову того, кто применит ядерное оружие.

Я был во Вьетнаме. Видел бессмысленную трату человеческих жизней. Видел, как стадо за стадом сходили со своих комфортабельных кораблей морские пехотинцы. Мы ничего не жалели для наших моряков, солдат и морских пехотинцев. Мы спускали на берег симпатичных девятнадцатилетних молодцев, спаянных дурашливой мальчишеской солидарностью, а увозили домой тела в черных пластиковых мешках.

Я попросился добровольцем во Вьетнам. Вопрос, нужна ли эта война моей стране, для меня даже не вставал. Я был профессиональным офицером флота, и раз идет война, я должен воевать. Надеюсь, с возрастом мы станем все-таки умнее.

Вы скажете, вторая мировая война — это совсем другое дело. Гитлера надо было остановить. К сожалению, мы переносим это без изменений и на сегодняшнюю ситуацию. Я встречался с русскими в конце войны, с морскими офицерами. Нормальные люди. Я в свое время уже обжегся: с какой настойчивостью меня заставляли ненавидеть японцев. У меня тогда не было никаких причин ненавидеть русских, я знал, как храбро они дрались всю войну.

Я думаю, они сейчас хотят, чтобы их признали мировой державой. Допускаю, что они действительно хотят распространить свою гегемонию. Но я считаю, что мы должны соревноваться с коммунизмом всюду, где он возникает. Наша ошибка в том, что мы пытаемся преградить ему дорогу оружием. А это лишь отталкивает от нас тех самых людей, которых мы хотим завоевать на свою сторону.

Джон Кеннет Гэлбрейт

Экономист, бывший посол в Индии.

Главный принцип американской военной стратегии таков: раз у нас есть самолеты, значит, они действуют эффективно.

Еще в 1944 году Рузвельт пришел к выводу, что в донесениях об успехах нашей авиации много преувеличения и цифр «с потолка». И он согласился с предложениями создать гражданскую комиссию, которая могла бы на месте, по мере продвижения наших войск во Францию и Германию, установить истинное положение дел.

Весной 1945 года по инициативе Джорджа Болла и Пола Нитце меня включили в эту комиссию. Мы трое составили ядро оперативной группы, которую возглавил Генри Александер, пришедший к нам из компании Дж. П. Моргана. Преимущество нашей деятельности состояло в том, что мы находились далеко от линии артиллерийского огня. Очень многие люди на войне считают это преимуществом, включая некоторых генералов.

Сведения, добытые нами, не оставляли никаких сомнений. Бомбардировка Германии как нашими, так и английскими самолетами дала гораздо менее ощутимый результат, чем было принято думать в то время. Немецкая военная промышленность продолжала наращивать выпуск продукции вплоть до осени 1944 года, несмотря на самые мощные атаки с воздуха. Наши знаменитые массированные налеты, в частности бомбежка немецких заводов, производящих шарикоподшипники, на несколько месяцев вывели из строя практически всю нашу Восьмую армию ВВС: так велики были ее потери. А в конце войны немцы снова выпускали подшипники на экспорт. Наши попытки уничтожить их самолетостроительные заводы также окончились полным провалом. В считанные месяцы после крупнейших весенних налетов 1944 года производство самолетов не только возобновилось, но и значительно увеличилось.

Тому было три причины. Во-первых, станки сами по себе относительно неуязвимы: за день-два их можно очистить из-под развалин. Во-вторых, производство можно децентрализовать: рассредоточить оборудование по школам, церквам и т. п. И сделано это было гораздо быстрее и оперативнее, чем мы могли себе представить. Немцы открыли, что совсем не обязательно для производства быть замкнутым в стенах одного предприятия. Кроме того, они изобрели целый ряд заменителей, что позволило значительно перестроить технологию и сократить использование шарикоподшипников. В-третьих, у немцев появилась возможность реорганизовать общее руководство предприятиями, которое было до этого непоследовательным и, мягко говоря, не очень квалифицированным. Производство самолетов было изъято из ведения экспансивно-некомпетентного Германа Геринга и передано министерству Шпеера. Эта акция почти полностью компенсировала ущерб, причиняемый нашими бомбардировщиками.

Так же неэффективны были бомбардировки Гамбурга. Они разрушили центральные районы города и высвободили большое количество рабочих рук — работников ресторанов, кабаре, банковских служащих, учителей, торговцев. Все они перебрались на окраины и стали работать на военных заводах.

В этом деле существовало два стратегических подхода. Англичане бомбили по ночам и в основном крупные города, так как только их они и могли ночью обнаружить. Естественно, больше всех подвергались разрушению рабочие кварталы. Средние классы, жившие в пригородах, почти совсем не страдали от бомбежек. Так было во всех больших городах — и немецких и наших. В Англии больше всего досталось лондонскому Ист-Энду. Или такому рабочему городу, как Ковентри. То же самое относится и к немецким городам.

Американская стратегия предусматривала дневные налеты. Мы нацеливались на заводы. Здесь проблема была — попасть в цель. Очень часто мы били мимо. В 1945 году ходила даже шутка: нам удалось нанести серьезный урон сельскому хозяйству Германии.

Я не хочу преувеличивать. Несколько крупных заводов все-таки были разрушены. А один завод в Центральной Германии мы бомбили систематически. Это был завод по производству синтетического топлива. Уничтожение немецких запасов горючего сильно сказывалось на мобильности их наземных сил. Наши налеты были эффективными только потому, что это был огромный завод, занимавший колоссальную территорию, и потому, что бомбили его снова и снова. У немцев на восстановительных работах постоянно трудилось несколько сотен тысяч человек.

Предполагалось, что стратегическая бомбардировка должна уничтожить промышленную базу противника и деморализовать население. Ни та, ни другая цель не была достигнута.

Стоит ли говорить, что эти выводы были более чем непопулярны в то время.

А насколько эффективными были бомбежки Токио?

Мы пришли к выводу, что в целом японская промышленность не имела такой же восстановительной способности, как немецкая. Если японские военные заводы подвергались нападению, они по большей части прекращали производство. Надо помнить, что Япония в 1941—1945 гг. была очень маленькой страной с такой же маленькой промышленной базой. У нее не было таких резервов, как у Германии, все работало на пределе.

И все же бомбежки Токио не стали решающим фактором в войне. Победа в Азии была достигнута трудным, медленным продвижением с Юга и с Тихого океана.

Все войны жестоки и бессмысленны, а из-за бомбежек эта война — особенно. Разрушение Дрездена было непростительно. Это было уже в самом конце войны и явилось частью вышедшей из-под контроля силы — никакой военной необходимости в этом не было.

А разве атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, не ускорили конец войны на Тихом океане?

Нельзя сказать, что войну с Японией кончила атомная бомба. Этот вопрос тщательно изучался нашей комиссией. В Японии работу комиссии возглавлял Пол Нитце, так что вряд ли здесь можно говорить о какой-либо предвзятости. Я вижу только иронию судьбы в том, что теперь он стал приверженцем культа разрушения. Вывод, сделанный в монографии «Борьба Японии за окончание войны», заключается в том, что разница была не больше двух-трех недель. Япония уже приняла решение кончить войну, искать пути к мирным переговорам.

Японское правительство того времени было в высшей степени бюрократическим. Требовалось время, чтобы претворить решение в действие. Кроме того, боялись, что какие-то части армии просто встанут насмерть, превратятся в отряды камикадзе. Решение Японии не было известно Вашингтону. И хотя не бомба привела к окончанию войны, нельзя сказать, что Вашингтон отдал приказ, зная об этом решении.

Можно ли утверждать, что если бы не бомба, то в ходе планируемого вторжения на территорию страны погибли бы миллионы американцев и японцев?

Это неправда. В любом случае через несколько дней или несколько недель начались бы переговоры о капитуляции. Япония проиграла войну еще до атомной бомбы. Это было ясно.

То, что я узнал и увидел в качестве члена комиссии, оказало огромное влияние на мое отношение к войне.

Я признал необходимость второй мировой войны и в целом был рад, когда мы наконец в нее вступили. Я был в Германии в 1937 и в 1938 годах и не сомневался в природе гитлеровского режима. Япония не оставила никаких сомнений после Пёрл-Харбора. Но страшное зрелище уничтоженных авиацией городов до сих пор стоит у меня перед глазами.

Джин Вуд

Солидная дама, приехавшая из Лондона в Нью-Йорк навестить свою дочь, которая здесь живет и работает.

Я была балериной, только что начала делать какие-то успехи. У меня был муж и ребенок. Мне было двадцать пять. Война вырезала из моей жизни десять лет.

Хотя сама война длилась шесть лет, мы еще долго после этого жили по карточкам, впроголодь, а иногда и без крыши над головой. Муж служил в артиллерии. Был ранен. От прежнего человека в нем ничего не осталось. Через несколько лет он умер от своих военных ран. Я получила мизерную вдовью пенсию.

Когда началась война, я была на гастролях в одном из приморских курортных городков. Помню, как стояла на берегу Ла-Манша и думала: неужели в такой прекрасный день люди могут воевать и убивать друг друга. Это казалось настолько невероятным, нереальным.

Но все это стало реальным: все вокруг прекратили заниматься своим делом и потянулись на призывные пункты. Магазины остались без продавцов, банки закрывались. Я оставила свою дочку у мамы. И стала умолять мужа: «Давай заберем нашу девочку из Лондона». И мы ее забрали. Правительство просило: если вы оказались вне Лондона с ребенком, оставайтесь на месте. Ваше возвращение в Лондон создаст лишние проблемы. Я вернулась на побережье. Говорили, здесь будет спокойно.

Война по-настоящему началась с блицкрига. Это было в октябре. Среди бела дня разбомбили две школы. Убитых ребятишек вытащили на школьный двор. Мы не могли поверить, что такое возможно. Это было в Кройдоне.

Здесь, на побережье, оказалось хуже, чем в Лондоне. Пока я там жила, у нас над головой произошло 109 сражений. Я видела, как в «Битве за Англию» гибли наши мальчики, как они спиралью падали вниз. Видела также и их победы, когда падал немецкий самолет. И днем и ночью поднимались наши летчики в воздух на этих самых «спитфайрах», слепленных на скорую руку чуть ли не жевательной резинкой. У моей ближайшей соседки два сына летали на таких самолетах. Мы жили в постоянном страхе и за себя и за них. Наш дом находился неподалеку от аэродрома, поэтому бомбежки были страшные. И это называлось спокойным местом!

Однажды я пошла с дочкой за покупками в центр города. Откуда ни возьмись — немецкий самолет, начал стрелять из пулемета. Я бросилась в ближайший магазин, запихнула дочку под прилавок, влезла за ней сама. А зад-то остался снаружи. *(Смеется.)* Слышно было, как пули щелкали вдоль мостовой: взиг-взиг-взиг!

Были, конечно, бомбоубежища, небольшие, сотни на две человек. Можно было добежать, услышав сигнал воздушной тревоги. Но обычно сигналы опаздывали. Поднимаешь глаза к небу и видишь — на тебя летит самолет и стреляет из пулемета. Но чаще всего это были бомбардировщики. С ними дрались наши истребители.

Можно было взять напрокат семейное переносное укрытие — что-то вроде металлического стола. Его ставили в спальню или в гостиную, и во время налетов люди залезали под него. Стол был не очень высокий, и если вы имели солидную комплекцию, залезть туда было нелегким делом. *(Смеется.)* А сидеть под ним приходилось часами.

В больших городах, таких как Лондон или Манчестер, люди строили семейное бомбоубежище прямо перед домом — из цемента или старой жести. Не знаю, что хуже: в этих склепах всегда было ужасно сыро. В нашем лондонском убежище вода однажды стояла вот до сих пор. Но стойкость рабочего класса, простых людей была так велика, что они ухитрялись даже там создавать уют. *(Смеется.)* Они брали с собой в убежище клетки с птицами и домашних кошек. О кошках всегда вспоми-

нали в последнюю очередь: «А где кошка?»

Моя родная тетя погибла из-за чашки чая. Только что прозвучал сигнал отбоя. *(Изображает голосом.)* Она сказала мужу: «Пойду поставлю чайник, заварю хорошего горячего чая». Они всю ночь просидели в убежище, слушая вой самолетов и взрывы бомб. Она поднялась в дом, поставила чайник на плитку, и тут — прямое попадание бомбы в их дом.

После налетов на улицы выходили санитары, очень хорошие люди. По разным причинам они были непригодны для службы в армии или занимали здесь важные должности. Помимо основной своей работы они входили в санитарные отряды и оказывали помощь пострадавшим от бомбежки, вытаскивали мертвых. Однажды мой муж получил отпуск и несколько дней добирался до дому через Лондон. По дороге он каждый раз останавливался и помогал вытаскивать мертвых из-под развалин. Он пришел домой потрясенным.

У меня четыре дочери, все, кроме первой, родились во время войны.

Когда их стало три, помню, как однажды я встала посреди комнаты и обратилась к богу: «Господи, прошу тебя, если ты собираешься убить нас этими бомбами, пусть мы умрем все вместе, сегодня ночью, сейчас». Ну, сколько детишек можно прикрыть своим телом, спрятать, как птица, под крыло? Я думала, если спрячу этих двух, третья не уместится, а вдруг ее убьют и я останусь с двумя. Поэтому я всех их собирала в кучу под себя — если погибнем, то все вместе. Никогда не подозревала за собой такое.

Не представляла себе, что смогу сидеть и читать им про Золушку под гул немецких самолетов. Иногда их было до тысячи за ночь, шли волнами. Мы слышали: «Дойду-у, достану-у, дойду-у, достану-у». Такой был звук у самолетов. Слышишь, как рядом взорвалась бомба, и думаешь: эта — мимо, о господи, следующая будет прямо в нас. Но продолжаешь читать: «И злая сестра сказала...» — и говоришь: «Не вертись, пожалуйста...». И думаешь: господи, я не могу больше, не выдержу. Но выдерживешь. А я была совсем не храброго десятка, поверьте мне.

Однажды я видела, как убили детей-школьников. Это было в субботу утром. Никаких сигналов тревоги. Тогда впервые мы узнали о «Фау-2». Длинные, прямые, как телеграфный столб, они проносились над головой без пилота, без ничего, врезались в какое-нибудь здание, и весь квартал взлетал на воздух. В то утро ребятишки пришли в магазин Вулворта купить какую-то мелочь — ничего особенного тогда и не продавалось. Конфеты только по талонам. Дом моей матери находился квартала за два до того места. Мы услыхали сильнейший взрыв. Побежали туда. Вулворт в развалинах, и оттуда достают тела ребятишек, чьи руки, чьи ноги — неизвестно. Потом их хоронили, в картонных гробах. Сколько их ни делали, всегда не хватало.

Я знаю, американцы не испытали бомбежек. И никогда не пожелаю им узнать, что это такое. Но я хотела бы, чтобы они перестали чуть что хвататься за оружие, а то ведь когда-нибудь это вам отзовется: война придет на вашу землю и тогда — да поможет вам бог!

Когда война кончилась, мы думали, что наступят новые, лучшие времена. Помню свое состояние какого-то восторга, честное слово. Никогда в жизни я не испытывала ничего подобного. Все вокруг были такие счастливые, такие добрые друг к другу, потому что мы вместе пережили весь этот кошмар.

Положение с жильем было ужасное. Мужчины возвращались с войны, а дома у них не было. Их жены и дети жили в этих подземных бомбоубежищах, шли недели за неделями, а все оставалось по-прежнему. Тогда они заняли отель «Савой» и стали скваттерами[1]. Это был в то время лучший отель в Лондоне. Потом так же были заняты и другие большие отели. Рабочие, конечно, пришли на помощь скваттерам. Из окон отелей спускались на веревках ведра, и все мы приходили и клали туда какую-нибудь еду, чем могли поделиться,— крохи от наших скудных пайков. Это длилось месяцами. Власти растерялись, не знали, что делать. Боялись чуть ли не большевистской революции. Примерно полгода то здесь, то там появлялись скваттеры. А потом начали быстро строить сборные многоквартирные дома.

Война отгрызла от моей жизни невосполнимый кусок. О прежней профессии нечего было и думать. У меня на руках — искалеченный войной муж и четверо детей. Я стала совсем другим человеком. До войны я видела все сквозь розовые очки, жила в мире музыки и танца. После войны я стала ко всему приглядываться и размышлять. Надо было дать образование детям. Надо было привыкнуть к постоянному безденежью, так как жили мы на мужнюю военную пенсию. Надо было отучиться заглядывать в витрины: все равно эти красивые модные платья мне не по карману. Никогда не желать того, что есть у других, иначе превратишься в старую злобную завистницу.

Может быть, я пессимистка. Может быть, мы еще доживем до лучших времен. Но я так беспокоюсь за внуков. Мне их так жалко. А с другой стороны, может быть, кто-нибудь должен пожалеть и меня, пережившую вторую мировую войну. *(Смеется.)* И все-таки, несмотря на все ее ужасы, эта война заставила людей проявить такую доброту друг к другу, на которую они считали себя неспособными.

Эллиот Джонсон

У него мягкие, неторопливые движения. Не говорит ничего лишнего, хотя детали для него очень важны. Долгие годы он был генеральным директором одной компании в Стоктоне, Калифорния.

Я служил в артиллерийской части при Четвертой пехотной дивизии. Наши пушки

[1] Squatter — лицо, самовольно захватывающее чужую землю или поселяющееся в чужом доме *(англ., разг.)*.

были самоходными, поэтому мы передвигались вместе с пехотой. Прежде чем сесть на корабли для вторжения в Нормандию, мы в течение двух лет проходили интенсивное обучение. Среди нас были опытные артиллеристы, и мне пришлось потрудиться, чтобы уметь не хуже их обращаться со своим орудием.

Мы отплыли утром 6 июня. Хорошо помню это утро. Разве кто-нибудь мог уснуть? Многие всю ночь играли в покер. А я захотел вымыться. Не спрашивайте зачем, я не смогу объяснить. Помимо всего прочего, это было нарушением дисциплины. Но я все-таки принял душ.

Мы переправлялись на десантном корабле. Триста футов в длину. Спереди открывалась огромная пасть и откидывался пандус, по которому съезжали орудия, танки, грузовики. Помню, как я забрался на самую верхнюю часть корабля и передо мной открылась вся панорама. Вот и сейчас закрою глаза и вижу, как один из наших кораблей огненным шаром взлетает на воздух от прямого попадания. А вокруг огромные гейзеры, поднятые упавшими в воду снарядами, и трупы, трупы, лицами вверх, лицами вниз. Капитан нашего корабля, молодой офицер, не хотел подходить к самому берегу. А я всем нутром чувствовал, что, если мы спустим нашу 155-миллиметровую самоходную пушку в воду, это будет ее последняя гастроль. Сами по себе мы могли бы доплыть до берега, но пушку нам никогда не вытянуть. В конце концов я выхватил пистолет и наставил ему прямо в рот. Можете поверить? Ему бы только поскорее отсюда убраться к чертовой матери. Хотел просто вывалить нас в воду. Совсем, мол, близко от берега, прыгайте. В общем, он подошел так, что оставалось только три фута глубины: «Ближе,— говорит,— не могу». Ну и ладно, выбрасывай пандус.

Эта наша самоходка не что иное, как полтанка. Вместо башни на ней 155-миллиметровая гаубица. И нет рулевого управления. Потянешь один рычаг — идет направо, потянешь другой — идет налево. Потянешь за оба — останавливается. По какой-то непонятной причине мы не согласовали знаки. Капрал Рэкли вел пушку и следил за моими сигналами. Я поднял руку вверх. Он решил, что это значит «стоп». И вот я «вторгаюсь» в Нормандию самым бесславным способом — сальто в воздухе и приземление на спину. Поднимаю голову и вижу, что этот полутанк движется прямо на меня — ему нельзя останавливаться, чтобы не увязнуть в мокром песке. Ребята долго потом дразнили меня: никогда ты так быстро не бегал. *(Смеется.)*

Огляделся я вокруг и вижу, что место нашей высадки быстро заполняется водой. Можно было здесь застрять. Я говорю Рэкли: давай что есть духу подальше отсюда. Мы рванули вперед и скоро выбрались из песков пляжа.

Я должен был стоять рядом с водителем и в случае необходимости стрелять из установленного наверху пулемета 50-го калибра. Посмотрели мы назад, а там немцы. А за ними подальше американцы, все еще на пляже. Я мог стрелять в немцев с тыла.

Наш полковник был первоклассный инструктор, и мы многим ему обязаны. Но командовать он не мог: задолго до высадки был уже невменяем. Сейчас он вышел на дорогу, держась за свою машину, чтобы не упасть, и махнул нам рукой: «Пржай, пржай!»

Теперь мы двигались по дороге. Справа лежали убитые немцы, слева — поле, а по нему шел французский крестьянин с коровой. Обхватив ее голову руками, он старался, насколько возможно, прикрыть ее своим телом.

Я был совершенно спокоен, когда мы устанавливали свою батарею. Получили первый приказ открыть огонь. Куда падали наши снаряды, мы так никогда и не узнаем. Я только надеюсь и уповаю на бога, что от них не пострадал никто из мирных жителей. Надеюсь, они упали в океан.

Это было в первый день, все в первый день. Целая жизнь в один день.

Страх я испытал только на третий день. Когда мы высадились, наша задача была повернуть на запад, идти на Шербур и занять его. Потом уже мы могли двигаться дальше, в глубь страны. А пока мы остановились перед огромным старинным замком, и я решил пробраться в него. Говорили, что там в подвалах полным-полно отличного вина.

Мне надо было пересечь дорогу, а я уже кое-что знал о 88-миллиметровых немецких гаубицах. Их можно было узнать по характерному звуку выстрела. Я услышал: «чпок» и понял — это в меня. С самой середины дороги перебросил свое тело через живую изгородь и скатился в придорожную канаву, покрытую какой-то зеленой слизью. Всякая охота до выпивки отпала. Сердце бешено колотилось. Я хотел только одного — вернуться назад. После второго выстрела я рывком пересек дорогу и спрятался за другую изгородь. Он сидел на колокольне и по телефону руководил стрельбой, а я был мишенью.

Стреляли часто и, к моему ужасу, все точнее и точнее. А мне нужно было пересечь еще одну дорогу. Еще одну. Он следовал за мной по пятам. Это был классный наводчик. Я почувствовал, что живым мне не уйти. Согнулся в три погибели и побежал. Он взял слишком низко, и это меня спасло. Только один осколок попал вот сюда. *(Показывает на бедро.)* Это единственная моя рана на войне. Я никому о ней не рассказывал — было стыдно признаться, как я ее получил. Не скажешь ведь: был ранен при попытке достать выпивку. *(Смеется.)* Настоящий страх я испытал через несколько дней. Прекрасный был парень, Фитцпатрик, совсем юнец. Переходил от одной стены до другой, и снаряд от 88-й прямым попаданием разорвал его в клочья. Ничего от него не осталось. 88-миллиметровая легкая гаубица универсального действия.

На пятый день мы сидели каждый в своем окопчике на очень странной линии фронта: немцы были перед нами, немцы были сзади нас, а за немцами впереди — американцы. Артиллерия стояла рядом с

пехотой. Пехота двинулась, мы тоже двинулись. В общем, полная неразбериха.

Мы настолько перепутались, американцы и немцы, что наши чуть не подбили моего лучшего друга Эда Бостика, передового наблюдателя. Он успел прыгнуть в канаву и спасся только тем, что прикрыл себя телом мертвого немца. Так он лежал несколько часов, пока не смог в минуту затишья выбраться оттуда. Еле дополз до нас и упал мне на руки. Представляете, что́ он пережил, лежа там под трупом.

Я вернулся в свой окоп, и вдруг меня начал одолевать сон. Не могу ничего с собой сделать, засыпаю. Было около половины второго ночи. Мое дежурство — до двух. Эд должен был меня сменить. А я чувствую: не дотяну. Если офицер или унтер-офицер засыпал, он клал голову около наушников. Поэтому мы между собой не пользовались ни телефоном, ни рупором. Вместо того чтобы звонить или кричать, мы просто... *(тихонько свистит)*, и это поднимало даже самого крепко спящего. Эд откликнулся: «Слушаю, Эл». Я говорю: «Ты можешь меня сменить? Я выдохся». Он отвечает: «Сейчас приду». Подходя к моему окопу, он зачем-то начал свистеть. Я так и не знаю зачем. Один из наших молоденьких артиллеристов, видно, дремал. Свист разбудил его. Он увидел перед собой фигуру и выстрелил.

Я выскочил из окопа, бросился к Эду, подхватил его. Он умер у меня на руках. Считайте это глупостью, считайте безумием, но я погрузил Эда в джип. Я должен был похоронить его как следует. Сейчас! Немедленно! Я помчался в штаб батальона, меня отправили к этому пьянице полковнику. Он вышел и говорит: «Убери к чертовой матери этот кусок гнилого мяса». Никакими словами нельзя выразить, что́ я почувствовал к этому человеку. Это осталось во мне, от этого не избавиться. Даже сейчас не могу об этом спокойно говорить.

Это был пятый день.

Через какое-то время меня назначили передовым наблюдателем всего батальона. Если, например, я считал, что нужно привести в действие дивизию, я просил исполнить такую-то песенку. Если нужна была вся артиллерийская мощь, просил серенаду. Я сидел на лесной вышке и смотрел вниз на крутой берег реки и узкую — чуть шире дороги — долину, ведущую к треугольнику густого леса. Целый день я наблюдал, как немецкие танки и автомашины шли по этой дороге к лесу. Несметное число. Я все время просил серенаду. Просил фосфорные снаряды, которые ненавижу по сей день. Просил осколочно-фугасные. Они взрывались в воздухе и сыпали сверху стальным дождем. Все это было страшно разрушительным. Если белый фосфор попадал на кожу и начинал гореть, потушить было невозможно. Уж не помню, сколько всего залпов я вызвал туда. Ребята били исключительно точно. Во что превратился этот клочок земли, трудно себе представить. Одно из моих тяжелых воспоминаний, мучительных.

Спустя день или два я сидел в своем окопчике в лесу. Отдельно от остальных. Снег днем растаял, и в окопе на два-три дюйма стояла вода. Ночью стало примораживать. Мокрые ноги заледенели, и я решил вылезти и походить вокруг. В десяти футах от себя я увидел немецкого лейтенанта. Он стоял спиной ко мне и оглядывался по сторонам. Я опустился назад в окоп. *(Смеется.)* Просто не смог выстрелить ему в спину в такой ситуации. У меня был автомат. У него не было никаких шансов. На следующий день подумал, что, наверное, зря не выстрелил. А потом решил, что все-таки правильно сделал. Глупо было поднимать шум на весь свет — вот я какой бдительный.

Однажды меня послали в тыл привезти грузовик с пополнением. Совсем молодые мальчишки. У них не было за плечами долгих месяцев обучения, как у нас. Я им в самом начале сказал: если я что-нибудь услышу и крикну: «Прыгайте»,— делайте все точно, как я. Надо было опасаться заградительного огня, особенно на перекрестках. Подъехали к перекрестку, я слышу вдалеке «чпок!». Кричу ребятам: «Из машины!» Прыгнул сам через борт в канаву. Из двадцати или двадцати двух, что я подобрал в тот день, десять были мертвые.

Я вырос в религиозной семье. Но, видно, нужно было пережить нечто подобное, чтобы до конца осознать: я испытываю отвращение к убийству к войне.

Когда началась война во Вьетнаме, я считал, что раз президент решил, что мы должны там быть, значит, мы должны там быть. Когда пошел мой сын, я гордился им. И до сих пор горжусь. А вот насчет необходимости этого — тут я теперь сомневаюсь и буду всегда сомневаться. Эта война была безнравственной войной.

В следующей войне победителей не будет. Это безумие.

Чарльз Гейтс

Крепкий, подвижный, он ходит по гостиничному номеру с естественным изяществом атлета. И неудивительно: в молодые годы он был в Канзас-Сити чемпионом по плаванию и теннису.

В Нью-Йорк он приехал на тридцать четвертую ежегодную встречу ветеранов 761-го танкового батальона.

Наш батальон был первым танковым подразделением, состоящим из негров.

Мне было двадцать девять лет, когда я пришел в армию. 10 апреля 1941 года. В июле 1942 года меня направили в офицерскую школу в Форт-Ноксе, Кентукки. До декабря 42-го года, уже в звании лейтенанта, служил в учебном лагере в Клейбурне, Луизиана.

Зима была холодная и сырая. Поэтому, как только мы выезжали на полигон для тренировок, ребята выскакивали из танков и начинали раскладывать костры. Я собрал свой взвод и сказал им: «Вот что, джентльмены, эти танки, как вы знаете, стоят 60 000 долларов за штуку. Поэтому вы должны первым делом думать о том, как побыстрее научиться использовать их наилучшим образом. Слушайте мой приказ на сегодня: потушить, к дьяволу, костры и

сесть в танки. Я вас так сейчас начну гонять, что не только вам, чертям жарко станет. Будете делать все, что нужно. Мне тоже хочется поиграть, повеселиться, но когда я работаю — это значит и вы работаете». На этом принципе мы с тех пор строили свое дело.

Ближайшим к нам городом была Александрия. Лагерь находился на окраине, в районе очистных сооружений. Кругом одни негры. До нас военная полиция в городе состояла только из белых. Теперь им пришлось это изменить. Но они потребовали, чтобы офицеры-негры не носили личное оружие. А белые его носили. Поэтому я в первый же раз поехал в город с оружием. Они мне говорят: «Вам не требуется оружие». Я спрашиваю: «А все остальные тоже ходят без оружия?» — «Конечно нет, но вам не требуется». Тогда я говорю: «Я выполняю такие же обязанности, как и вы, и должен поэтому быть так же снаряжен, как и вы». Они знали, что я прав, хотя, может быть, считали меня просто наивным дурачком.

Пригрозили мне даже наказанием. Но я решил, что, уж если занимаюсь этим делом, буду строго следовать правилам и установлениям. Я всегда внимательно изучаю все уставы и инструкции. Мы добились своего и стали носить личное оружие.

В Луизиане мне на себе столько раз довелось узнать, что такое расовые предрассудки, что, когда попал потом в Европу, тамошние показались мне просто комариными укусами. *(Смеется.)*

В начале 44-го мы отправились в Форт-Худ, в Техасе. Там в учениях перед нами ставилась задача — обыграть противотанковые подразделения. И мы постоянно оставляли их с носом. Там были и белые и черные. Мы себя неплохо зарекомендовали.

В 44-м генерал Паттон попросил прислать ему из Штатов самый лучший отдельный танковый батальон. Для своей Третьей армии. А мы тогда как раз не входили ни в какую дивизию. Между прочим, Паттон в свое время заявил, что негры не способны быть танкистами. Слишком сложная для них техника. И кого же он увидел, когда пришел к нам на позицию посмотреть, кого ему прислали? Нас. Самое лучшее, что могли ему дать Соединенные Штаты. *(Смеется.)*

Он долго нас разглядывал. Наконец, сказал: «Вы первые негры-танкисты, которые будут воевать в составе американской армии. Вот и поставьте рекорд, свой личный, и рекорд своей расы. Когда встретите в бою этих сукиных детей, этих колбасников, не жалейте снарядов». Естественно, негры заорали «ура!». Еще бы! Белый просит негров стрелять в белых. *(Смеется.)*

В среднем жизнь отдельного танкового батальона — десять-двенадцать дней. Потом его вычеркивают из списков, а оставшихся людей переводят в другую часть. Нужно где-нибудь заткнуть прорыв, прикрыть отступление главных сил — посылают отдельный танковый батальон. Нас подставляли как пушечное мясо. А мы продержались 183 дня без смены и с минимальным пополнением.

У нас было только десять человек белых. Все десять — офицеры. Двое из них — командиры рот. Один погиб через два дня. Другой через две недели. К этому времени уже не осталось ни одного белого. И офицеры и рядовые — негры. Так мы и прошли через Францию, Бельгию, Голландию, через «линию Зигфрида» в Западную Германию. И все время в боях. Закончили войну в Австрии. Ни одна часть не имела такого боевого опыта.

Когда мы начали воевать, в батальоне насчитывалось 750 человек. 35 было убито. 293 получили «Пурпурное сердце», 60 — «Бронзовую звезду», 11 — «Серебряную звезду». И нужно при этом учесть, что представления к награде шли через штаб дивизии, которой мы были приданы. А они, конечно, в первую очередь думали о своих. Для меня, например, такое большое количество награжденных в нашем батальоне означает, что те, кто получил «Бронзовую звезду», были достойны «Серебряной», а те, кто получил «Серебряную», были достойны «Почетной медали конгресса». Ведь мы получали только крохи со стола.

Немцы не могли понять, как это мы оказываемся сразу в нескольких местах. А нас делили на взводы, иногда даже взводы делили пополам. Мы действовали на всех участках фронта. Если рассказать боевую историю 761-го батальона, она покажется невероятной.

Однажды мы получили боевое задание выгнать немцев из леса. Сначала мы стреляли как обычно. Потом я отдал приказ поднять прицел выше, чтобы снаряды рвались на верхушках деревьев. Увеличилась площадь поражения шрапнелью, повалились деревья — немцы стали выходить. Они размахивали белыми флагами и кричали: «Kameraden!» Я передал своим людям, чтобы не вылезали из танков и не открывали люки, а когда немцы подойдут, направить их дальше, к пехоте. Так кто-то из ребят все-таки открыл свой люк. Немцы остолбенели: «Schwarzen Soldaten». Черные солдаты. Как только эти слова прошли по рядам, вся толпа смешалась и бросилась назад в лес. Ну, нет, решили мы, черта с два мы дадим вам уйти... В конце концов они сообразили, что лучше с этими черными солдатами договориться по-хорошему. *(Смеется.)*

Они не могли поверить, что мы лишь отдельный танковый батальон. На их картах мы были помечены во многих местах. Их майор даже спросил: «Сколько же у вас здесь негритянских танковых дивизий?» Мы, конечно, не стали их разубеждать.

Сообщения о нас редко появлялись в Штатах. Большинство вообще не знали, что существует негритянская танковая часть. Мы еще в 45-м году начали кампанию за то, чтобы наш батальон был включен в президентский список воинской славы. Это отняло у нас 33 года.

К концу войны — вот когда начались странные вещи. Они стали проверять все районы, где находились негритянские части, пытались отравить сознание людей.

Кто это они?

Наша разведка. Армейская разведка. Я вам точно говорю кто. Это они внушали людям, что черный солдат — подлый, ненадежный человек. Когда еще мы были в Англии, они доходили до того, что рассказывали англичанам, будто у негров есть хвосты, как у обезьян. Мы на это просто не обращали внимания. Мы воевали. Меня часто спрашивали, сталкивался ли я с расовыми предрассудками. Я отвечал: да. Первые два-три дня. Потом ничего не было. Когда сидишь вместе в окопах, не до предрассудков.

Тимьюэл Блэк

Школьный учитель из Чикаго. Мы встретились в поезде, едущем в Вашингтон. Он собирался участвовать в Походе за гражданские права 1963 года. «Это напоминает мне другое событие — освобождение Парижа. Радостное возбуждение, воодушевление французов. Мы вошли в Париж вслед за Французскими внутренними силами, предоставив им символическое право освободить город. Выглядели мы обтрепанными, форма грязная, запыленная, но как приветствовали нас французы! Не нас, американских солдат, а свободу. На улицах еще кое-где продолжалась стрельба. Французские солдаты вылавливали последних немецких снайперов. Елисейские поля в тот день! Никогда этого не забуду».

Меня призвали в 1943 году, сразу же после волнений в Чикаго и Детройте. К нам с Юга прибыло много рабочих, и белых и черных, особенно в Детройт. Напряжение росло, и наконец произошел взрыв. Об интеграции тогда не могло быть и речи. Вопрос стоял о том, кто займет дома Брюстера. Это был новый жилой район в Детройте. Черным рабочим негде было жить, никому до них не было дела. И вдруг они стали солдатами. Конечно, в тщательно сегрегированной армии. Я попал сначала в учебный лагерь Кастер в Мичигане, а потом в Кэмп-Ли, Виргиния. Все офицеры были белыми. Мы достаточно успешно прошли общеармейский классификационный тест и полагали, что станем офицерами. Если сумма набранных очков выше определенного уровня, можно было подать заявление в офицерскую школу. Я в первом же тесте получил хорошую сумму. Все мы знали свои цифры. И цифры друг друга. Черным давали только одну попытку. А некоторые белые офицеры сдавали тесты по два и по три раза. Можете представить себе, какими напряженными были отношения между белым начальником и черным подчиненным, если оба знали, что черный имеет более высокий классификационный уровень?

Большинство черных солдат служили в интендантских частях. И я тоже. Мы занимались снабжением: продовольствие, обмундирование, экипировка. В Европе имели дело и с боеприпасами. Проще говоря, были грузчиками. Многие из нас хотели по-настоящему воевать. Я попал в Нормандию с боевыми частями, но только как обслуживающий персонал.

Когда нас переправляли за океан, у белых и черных были отдельные помещения на корабле. Мы не общались друг с другом. Разные кубрики, разные столовые, разное все. Шли через Атлантику зигзагами, из-за немецких подводных лодок. Расположились в Уэльсе для подготовки к вторжению.

Черные солдаты и белые солдаты не могли ездить в один и тот же город. Местные жители не знали, что и думать, глядя на эти две армии. Им, наверное, не приходило в голову сравнить их со своими двумя армиями: обычной и колониальной. Во всяком случае, с такой расовой ситуацией они никогда не сталкивались, поэтому были в полной растерянности. Белые солдаты говорили им: остерегайтесь этих черномазых, они хвостатые и воют по ночам. И тому подобную чепуху. Часто мы ввязывались с ними в драку. Так британцы, и парни и девчонки, вставали на нашу сторону. *(Смеется.)*

Во время Арденнской операции мы находились в Бельгии и должны были обеспечить питание трех миллионов солдат. В качестве грузчиков нам дали немецких военнопленных. Некоторые были ничего. Но большинство вели себя по-хамски, считая нас низшими существами. И очень часто наши белые офицеры принимали их сторону в конфликте. Жуткое унижение.

Вот и 1945 год. Немцы готовы к массовой капитуляции. Тысячами сдаются в плен. Kamerad, Kamerad. А мы подходим к Бухенвальду. Я думаю, это был Бухенвальд. Еще на расстоянии мы почувствовали какое-то зловоние. Человеческое зловоние. Начали догадываться, что здесь произошло что-то страшное. Тишина. Подходим ближе и видим эти несчастные существа. И в груди поднимается... такого бешенства я не испытывал никогда в жизни. Говорю ребятам: «Надо идти и убивать всех этих сволочей. Всех этих проклятых немцев. Кто мог такое сделать с людьми, не достоин жизни». Позже понял, что не все немцы делали такое, но как они могли позволить это другим?

Для меня это было решающим моментом. Если такое могло случиться здесь, оно может случиться где угодно. Может случиться со мной. Со всеми черными в Америке. Пожалуй, зрелище Бухенвальда, как никакое другое событие в моей жизни, вызвало у меня решимость сделать все возможное, чтобы помочь силам разума в этом безумном мире.

В Европу пришел День Победы. Я находился тогда в Марселе. Нас готовили к вторжению в Японию. И вдруг читаю в «Старз энд страйпс», что на Японию сброшено некое устройство. Читаю, а в голове страх и смятение — целый город разрушен какой-то штукой размером с мячик для гольфа. Большинство солдат вокруг радуются. А я опечалился. Лучше бы мы отправились туда и испробовали свои шансы. Я почувствовал, что мы вступаем в новый мир, который я не мог себе и представить. Пошел я в казарму и лег на койку. Какой будет этот мир?

(Окончание следует)

СЛОВО, БЬЮЩЕЕ В ЦЕЛЬ

Страницы немецкой антифашистской сатиры

Передовые немецкие писатели, эмигрировавшие из третьего рейха, создали много выдающихся произведений — романов, драм, стихотворений,— получивших международное признание. Активное противостояние фашизму нередко проявлялось у этих писателей не только в произведениях большого эпического или сценического размаха, не только в философски углубленной лирике, но и в оперативных литературных жанрах, в рассказах-миниатюрах, памфлетах, коротких сатирических стихотворениях, которые разными путями — через радио, через нелегальную прессу, а то и путем устного распространения — доходили до адресата.

Можно понять, что поэтам и прозаикам, вынужденным покинуть свою страну, и более всего тем из них, кто прошел через ад концлагерей или находился в подполье, было не до смеха. И тем не менее они боролись с фашизмом и посредством смеха. Антифашистская сатира часто окрашена горем и горечью. Но юмор входит в нее как необходимая составная часть. Трескучей фашистской риторике, пышной монументальности фашистского псевдоискусства, лживой «стальной романтике», предписанной ведомством Геббельса, антифашисты противопоставляли ясное и честное слово, отрезвляющий, оздоровляющий смех. Нередко сатира прямо откликалась на острые события текущей политической жизни.

В дни, когда гитлеровцы готовили провокационный процесс о поджоге рейхстага, Эрих Вайнерт создал свою ставшую широко известной «Балладу об императоре Нероне». На фашистские кампании «зимней помощи», на сборы вещей у населения Вайнерт отозвался веселыми издевательскими стихами:

Поди, жена, обшарь кладовку:
Мои носки остались там.
Ты понимаешь обстановку:
Сейчас в почете всякий хлам.
...Найди-ка рваную пижаму
И молью съеденную шаль.
И помни: никакого хлама
Нам для правительства не жаль.

В сокровищницу мировой революционной поэзии вошли стихи и песни, написанные в эмиграции Бертольтом Брехтом, например, исполненное сарказма стихотворение «Что получила жена от солдата?» — о судьбе немки, получившей с фронта после многих посылок с заграничным барахлом «вдовью вуаль» из далекой России. Некоторые поэтические циклы Брехта — «Немецкие сатиры», «Немецкие заметки» — рассчитаны на устное исполнение, прежде всего по радио: они максимально лаконичны, их назначение в том, чтобы активизировать мысль слушателя, возбудить в нем не только ненависть, но и презрение к «маляру» — Гитлеру. И — тревогу за будущее.

Рабочие требуют хлеба.
Купцы требуют рынков.
Руки, пребывавшие в невольной праздности, снова работают:
Они изготовляют снаряды.

Выдающийся драматург Фридрих Вольф в годы эмиграции испробовал свои силы в новых для него жанрах фельетона, монолога-пародии: ему хорошо удавалась стилизация фашистского казарменного красноречия. Франц Карл Вайскопф, создавший ряд коротких новелл-«анекдотов», умел придавать им остросюжетный и насмешливый характер.

Многие произведения немецких антифашистов-сатириков, в частности тексты, процитированные выше, известны советским читателям, печатались не раз в журналах и сборниках. Произведения поэзии и малой прозы, публикуемые здесь, дополняют новыми штрихами картину деятельности антифашистских литераторов, для которых сатира была не единственным, но немаловажным родом идеологического оружия.

Т. МИХАЙЛОВА

ЭРИХ ВАЙНЕРТ

Немецкий апокалипсис, 1933

Не видно звезд в тумане фимиама.
Грохочет барабан. На площадях —
Триумфа тупости помпезная программа:
Броженье и восторг в пивных мозгах.

Как дым пустых речей они глотают!
Как «хайль» орут пред каждым дураком!
Довольные: вновь ими управляют,
Счастливые: вновь можно быть рабом!

У городов, обкормленных дурманом,
В мозгах мутится, пучится живот.
И бьет блевотина речей фонтаном,
И гниль по дряхлым улицам течет.

Лемуры выползают из музеев.
Напялив шитый золотом мундир,
На площадях, под крики ротозеев,
Чеканит бодрый шаг загробный мир.

Стеклась в одну клокочущую лужу
Взбесившаяся варварская мразь
И века нового живую душу
Со сладострастьем втаптывает в грязь.

Но век, растоптанный, кровоточащий
Тысячей ран,— не мертв. Он жив. Он ждет
Своих солдат свободы восходящей,
Несломленных, и вновь на бой зовет.

Мужайтесь же, друзья мои солдаты!
Мужайтесь же, презрев и смерть и страх!
Настанет день — и новые отряды
Плечо к плечу взойдут на баррикады
И смрадных идолов развеют в прах!

1933

Перевод И. БОЛЫЧЕВА

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ

То, что было в тебе вершиной, Германия

То, что было в тебе вершиной —
разровняли.
То, что было в тебе долиной —
засыпали.
Через тебя теперь
Пролегает удобный путь.

1933

Только при помощи отличной
пропаганды
Удалось убедить миллионы,
Что создание вермахта означает мир,
Что каждый новый танк является голубем
мира.
Что еще один новый полк — лишнее
доказательство
Миролюбия...

1937

Канцлер утешает

После тяжелых ударов судьбы
Канцлер умеет длинною речью
Вновь распрямлять плечи своих сторонников.
Известно, что жнец
Тоже любит прямые колосья.

1938

Режим демонстрирует силу.
Следом за марширующими,
Как тени, ползут слухи.
Правящие орут.
Народ говорит шепотом.

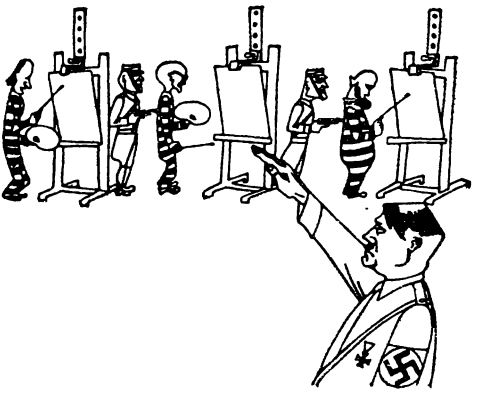
1938

Маляр [1] заявляет:
Чем больше будет отлито пушек,
Тем дольше быть миру.
По этой логике:
Чем больше посеешь зерна,
Тем меньше взойдет колосьев.
Чем больше забьешь телят,
Тем меньше получишь мяса.
Чем больше растает снега,
Тем быстрей обмелеют реки.

1938

[1] Б. Брехт во многих своих произведениях называл Гитлера «маляром», подразумевая под этим его занятия живописью в молодости. *(Прим. перев.)*

Гитлер реформирует Академию искусств.



Крепость Европа

А вот вам новая нелепость:
«Европа Гитлера как крепость!»
Но сколько Геббельс ни ори,
Кто ж видывал такую крепость,
Чтоб враг снаружи и внутри?

1939

Перевод ВАЛЬДЕМАРА ВЕБЕРА

ЛУИ ФЮРНБЕРГ

Совесть

Год подбирался к концу. Листва на деревьях в нашем саду облетела, лишь стройные серебряные ели всем своим видом показывали, что им зима нипочем. Белки, которые ясными осенними утрами наблюдали за нами в окно прямо с веток, теперь суетливо сновали в палой листве, выискивая пропитание. Их пушистые хвосты, чья окраска пугала нас, когда они огнеподобно мелькали в густых зеленых кронах, подернулись дымчатой сединой. Еще немного — и белки скроются в своих гнездах. Не затем чтобы спать, а чтобы подремывать, философствовать, усердствовать друг перед другом в рачительности, сетовать на суровые времена да строить планы на лето.

Таковы уж они, эти белки, уверял нас близкий друг-натуралист.

Навалилась безмерная усталость. Мутное небо зависло так низко, что подмывало его потрогать.

Зима хороша лишь тогда, когда идет снег, покрывая землю мягкими белыми мазками. Но снега не было, природа в проеме окна покоилась недвижимо и серо, не скованная морозом, не стылая, разве что отстраненная, неприветливая и равнодушная. День проходил за днем. Уныло текли служебные будни, словно придавленные большим тяжелым куском свинца.

— Хочу убраться отсюда,— сказала съежившаяся Душа, и это прозвучало весьма мрачно и печально.— Все, что было живого и имело крылья, покинуло эти места. Одни воробьи остались.

— И куда тебе хочется? — спросила строгая надсмотрщица Совесть. Это было сказано хмуро и с презрением, так что маленькая Душа еще больше съежилась.— Сейчас не время для идиллий,— отрезала Совесть.

Тут маленькая Душа, набравшись храбрости, возразила:

— Идиллия — это благоухающее цветение мира.

Она была ужасно горда, что ей удалась такая фраза.

Совесть наморщила лоб и сказала:

— Но пока мира не видно...

1935

Перевод ПАВЛА ФРЕНКЕЛЯ

ФРАНЦ КАРЛ ВАЙСКОПФ

Удавка

На заключенных, которые из-за своей «строптивости» или просто по решению коменданта попадали в карцер, канцелярия концлагеря Дахау заводила не только «штрафную карточку», но и специальный бланк желтого цвета. Его высылали почтой в полицейское управление, а копию — в мюнхенскую прокуратуру.

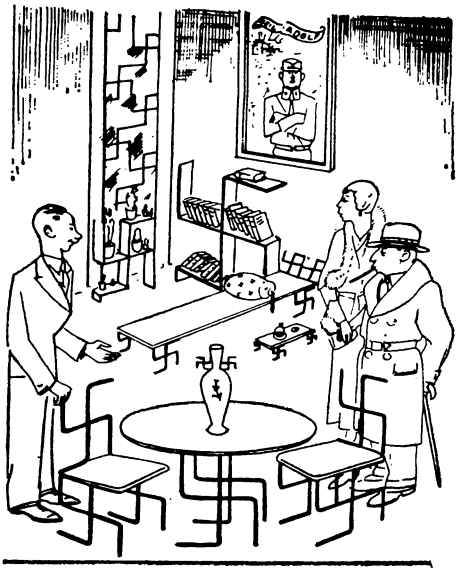
Записи в уведомлениях, за исключением фамилии, даты поступления в лагерь и смерти, повторялись слово в слово. На каждом значилось: «Повесился в камере. Мотив неизвестен».

При этом, разумеется, умалчивалось, что «вещественное доказательство» всякий раз оставалось прежним: это была прочная удавка, петля которой потемнела и залоснилась от частого употребления. Лишь однажды вполне устоявшийся порядок ее использования был нарушен, и упоминание об удавке впервые попало в дела лагерной канцелярии.

Это случилось в конце 1933 года.

Депутата ландтага из Верхней Баварии, лесоруба Б., в лагере встретил его земляк, начальник охраны, сказавший: «Добро пожаловать на кладбище!» Потом лесорубу, как и всем остальным заключенным, попадавшим в карцер, принесли Библию и удавку. На вопрос: «Зачем она?» — ему ответили, что после визита спецкоманды назначение этого «подарка» станет достаточно ясным. Впрочем, добавили, стоит подумать, не воспользоваться ли удавкой до посещения спецкоманды, которая — как об этом можно было догадаться по глухим ударам и крикам — находилась в соседней камере.

Замечательный рождественский подарок — обстановка в стиле «Адольф Гитлер»!



Живым ему из карцера все равно не выйти, а вешаться здоровым куда удобнее, чем делать то же самое с переломанными руками и ногами.

Б. не внял этому совету ни после первого посещения спецкоманды, когда ему разбили лицо, ни после второго и третьего визитов, когда он лежал на полу с отбитыми почками и без зубов. Тогда вечером к нему в карцер бросили труп его товарища Д., прибывшего в концлагерь одновременно с ним. Начальник охраны сказал, что это, мол, «наглядное пособие», и добавил с угрозой, что веревкой надо воспользоваться не позднее завтрашнего утра.

Заключенный исполнил приказ, хотя и совершенно неожиданным образом. На следующее утро надзиратель пришел проверить камеры и увидел, что веревка действительно привязана к пруту оконной решетки, только конец ее свисал не внутрь, а наружу. Удавка помогла заключенному бежать.

Пиво к обеду

Целый год военный завод, несмотря на строжайший контроль гестапо, выпускал гаубичные стволы, которые выходили из строя либо еще на полигоне, либо после первых же выстрелов на фронте.

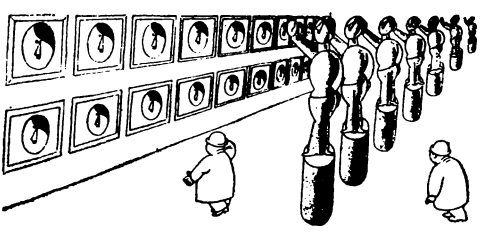
Угрозы не дали результатов. Фашистам не удалось узнать, как осуществляется саботаж, а в том, что это именно саботаж, сомнений не было. Случайно гестаповцы напали на след. Орудийные стволы приводили в негодность просто и остроумно. Фашисты ввели укороченный обеденный перерыв, поэтому рабочие обедали в цехе и при этом обычно сдували пену с пива прямо на раскаленные жерла орудий. Сталь остывала неравномерно, теряла вязкость и не выдерживала давления пороховых газов.

Гестаповец, расследовавший дело, приказал расстрелять полсотни рабочих, вдвое больше отправил в концлагеря. Но он знал не хуже, чем товарищи убитых и отправленных в концлагерь: страшнее пива, попавшего на горячий ствол, было то, что каждый из девяти тысяч рабочих завода знал об этом секрете, но не выдал его, несмотря ни на что.

1938—1945

Перевод Е. КАЩЕЕВОЙ

Германия — единственная из стран, где понимают искусство.



ВАЛЬТЕР МЕРИНГ

Василиск [1]. Зимняя сказка

Зима. Мы сказку в дом позвали.
Давным-давно, где мед я пил,
Под нашей крышею в подвале
Раз василиск яйцо пробил
И явлен был на свет всей статью,
Как эхо божьего проклятья.
...Бьет восемь. Восемь тоже било,
Когда он выполз, полный силы,
Своею злобой упоен.
Эй, берегись,
Сожрет вас он!

Уж легче бы под топоры нам...
Он жрал наш хлеб и рыкал зло,
Толстел и в крике петушином
Он с «хайлем» разевал хайло.
Чу! Крики похотливых хайл:
Поднялся василиск Хайль-хайль!
Вот девять бьет. Под вой и визг
Взял след коварный василиск.
Клюв страшным ядом заражен.
Эй, берегись,
Сожрет вас он!

В дому у нас был грохот слышен —
Никто и охнуть не успел,
Как выполз василиск на крышу
И жирным голосом запел.
(А песня та была умыта
Его слюною ядовитой):
— Бьет десять — это дважды пять.
Вы мне начнете присягать!
Обжоры, бьет урочный час!
Эй, берегись,
Сожру я вас!

С бездумной верой ротозеи
Ему внимали на миру,
Кругом безродные плебеи
Варились в собственном жиру
И возглашать могли без риска
Аристократом василиска.
Одиннадцатый час настал —
Взгляд василиска всех сковал.
Бессильны Библия и крест.
Эй, берегись,
И их он съест!

За нами он следил упорно,
С ним лобызались короли,
Они к его ногам покорно
И честь и золото несли.
Но вновь чудовище орало:
— Давайте больше! Мало, мало!..
Бьет полночь, и возмездье близко —
Разбито царство василиска!..
Кто верно служит тьме ночной,
Сам будет сожран
Сатаной!

---

[1] Сказочное чудовище с головой петуха, туловищем жабы, хвостом змеи и короной на голове, убивавшее одним своим взглядом.

Стремясь набить свою утробу,
Сжирают хищники овец.
Но мы, как прежде, смотрим в оба.
У каждой сказки есть конец.
Проклятье прошлого над нами,
Как василисковое знамя.
За часом час — за годом год.
Вновь седина на лоб спадет,
Когда мы вспомним о былом.
Спи, мой малыш.
Мы не уснем!

1934

Перевод А. СОЛЯНОВА

ГЮНТЕР ВАЙЗЕНБОРН

Небольшая маскировка

Когда тебе впервые надевают наручники, ты в который раз поражаешься неумолимости нашего правосудия, поступающего с тобой как с закоренелым преступником. Ты говоришь себе, что это ошибка, ты не преступник — и борешься с искушением сказать человеку в штатском (ах, эти неизменные гестаповцы в штатском со стальными наручниками, револьверами в кармане и на особый манер застывшей улыбкой) пару слов примерно такого содержания: «Приятель, вы же сами понимаете, что мнения относительно войны могут быть разными, верно? На вашей стороне револьвер, отменное питание, натренированные мускулы, я же, после девяти месяцев одиночки, в постоянном холоде и почти без света, малость сдал, как ни крути. Вешу сто фунтов. Можно ведь и без наручников обойтись, а?»

Однако я забываю: у этого человека приказ — и со смешанным чувством стыда, возмущения и нервной веселости протягиваю ему руки. Изящным заученным жестом парикмахера он накладывает на запястья наручники, защелкивает их и запирает миниатюрным ключиком, пока от ворот взирает с улыбкой на эту процедуру тюремщик.

Солнечный морозный день, ты уже неделю не брился, щетина царапает по отвороту свитера, а сталь еще теплая от кармана гестаповского чина.

Затем ты садишься в просторный легковой автомобиль гестапо с безобидным номерным знаком. И на голенях сходятся стальные зажимы, укрепленные под задними сиденьями. Гестаповец усаживается рядом с эсэсовцем, тот за рулем, но тоже в штатском, и вот уже трое непритязательно одетых в цивильное мужчин катят по Хеерштрассе.

Тому, кто нас видит, и в голову не придет, что это гестапо везет одного из потенциальных смертников. Такой у нас отсутствующий, такой примелькавшийся вид, как у всех. Однако же мы не коммерсанты, не обычные граждане, беззаботно разъезжающие в это морозное утро по элегантной Хеерштрассе. Едут кровавые палачи с одной из жертв, слегка замаскированные, чтобы не догадались, кто они такие. Никто и не догадывается.

1942(?)

ПЕТЕР БРАТТ

Бомба и облако

— Горы-ы-в, взры-ы-в, разры-ы-в,— завывала бомба, летя над каналом.— Грандиозно. Динамично. Тотально. Сверх того. Победный дух. Самопожертвование.

— Должно быть, ты сработана в Германии,— сказало облако, много повидавшее на белом свете.— Головы у тебя нет, зато есть философия.

— Я триумф немецкой изобретательской мысли,— гордо ответила бомба.— Я искусственный сверхчеловек. Живу, чтобы убивать. И свое земное назначение исполняю автоматически.

— Ни дать ни взять культуртрегер,— сказало облако.— Миссионер избранной расы. Перед тобой станут униженно пресмыкаться.

— Я всего лишь загоняю варваров туда, где им место,— в норы. Неарийцам — норы! Нордическим сынам солнца — свет!

— Ты напоминаешь мне древних драконов, что носились в поднебесье несколько тысячелетий тому назад. Правда, огонь извергался у них из пасти, а не с хвоста. Их называли Дети Ночи.

— Маленькое, хлипкое, отсталое облако — что ты смыслишь в истории? Не в твоих силах угнаться за временем. Старомодная летная модель. Непрочный материал. Ни характера, ни самодисциплины. Скелета нет, чести нет, гуманистическая туманная дымка — для любителей посозерцать. Демократический моллюск. А теперь на меня посмотри. Сильная. Непоколебимая. Целеустремленная.

— Цель, а в чем она, твоя цель? — спросило облако невинно. Ветер усилился, и облаку удавалось держаться неподалеку от бомбы.

— Любая — только не военная. Школы, больницы, жилые дома, исторические сооружения. Если в казарму или фабрику врежусь, то разве что по недоразумению. Лишь первобытные варвары ведут боевые действия чисто военными методами. Мой девиз: сперва женщины и дети.

— Так ты знаешь свою цель? — спросило облако.

— Фюрер знает ее,— скромно ответствовала бомба.— Я лишь одна из его мыслей. А его мысли суть дела.

— В конце — дело,— заметило туманно облако.— А в начале было слово.

— Служака. Драка. Атака. Контратака,— отчеканила бомба.— И мне слово подвластно.

— Покуда ты издаешь визг,— сказало облако,— ты прирожденная пропагандистская машина.

— Я идеальное оружие наступления,— возразила бомба. Уж если попаду, то успех стопроцентный. И так же, как моя старая приятельница и сродственница душегубка, гарантирую абсолютную победу над беззащитными.

— А тебе самой защита не нужна? Не пришлось бы тебе, кстати, в качестве прикрытия довольно-таки плотно сбитое облако?

— Мне задано лишь одно направление,— сказала бомба,— вперед. Рахитичные порождения жизни упраздняются. Я праздную победу.

— Если тебе ничего не мешает,— сказало облако.— И потом, ты никогда не возвращаешься. Твои минуты сочтены. Тут у меня некоторое преимущество. Я видоизменяюсь. Даже когда я истаиваю, жизнь не оставляет меня. Я испаряюсь лишь затем, чтоб возродиться заново. Я продолжаю жить.

— Мой конец входит в мою задачу,— сказала бомба.— Я солдат фюрера — без страха и упрека, яркий пример для его черных, коричневых, серых когорт. Я лишена собственной воли, личных эмоций. Не отличаюсь от себе подобных. Никогда не отклоняюсь от указанной траектории. И приношу себя в жертву не моргнув глазом — нет у меня глаз. Мой конец — событие драматичное и никогда не безрезультатное. Это смертоносная смерть. А посему — целесообразная.

— Да,— сказало облако.— Понимаю. Ты достославнейший символ национал-социализма. Ты поднимаешься ввысь не за счет собственных сил, когда же тебя подхватывает плотный воздушный поток, ты на короткое время зависаешь, наслаждаясь властью, и мнишь себя владыкой воздушных сфер. Ты млеешь от устрашающего свиста, который исторгаешь. Между набором высоты и сбросом ты упиваешься своей ролью в спектакле, что наводит страх и ужас. Ты стремительно несешься к катастрофе. Но катастрофа и есть смысл твоего существования. Ликвидируя, ты самоликвидируешься — это все, на что ты способна. После себя ты оставляешь одни пепелища и слезы. Но как знать — вдруг и тебе, великой, мощной, беспощадной, не по зубам хлипкое, беспомощное, старомодное облако?

С этими словами облако налилось свинцом и накренилось, будто изготовясь к рывку. И при вспышке сверкнувшей иглы от трескучего величия бомбы остался только пшик.

1944

Перевод ПАВЛА ФРЕНКЕЛЯ

ФРИДРИХ ВОЛЬФ

Речь обер-лейтенанта Цанлюкке о стальных пластинах корсета

— Рота, смирна-а! Слушай меня! Эй ты, ублюдок, «смирно» команда была! Задние шеренги! Я, кажется, сказал: молчать! Ты что, дурень, команды не слышал? Честное слово, оборванцы, да и только: грязные, вшивые-паршивые. Просто стадо! Я вас спрашиваю, черт бы вас всех побрал, что это такое: моя прежняя бравая пятая рота или цыганский табор? Молчать!

Значит, что я хочу сказать. В последнее время в нашей роте распеваются такие вот идиотские песни:

> Здесь, вдали от фатерланда,
> Жрут нас вши, а мы — баланду,
> Фюрер нас погнал взашей
> Разводить на Волге вшей.

Молчать! Или вот еще. Тут уже попахивает государственной изменой:

> Господи ты боже мой,
> Ты отправь меня домой...

«Смирно» команда была! Майер, не верти своими бельмами, как гелок на бойне. Уж не ты ли талдычил: «Домой, домой»? Но с сегодняшнего дня всякие «домой» — долой! Бывший командующий армией, в которую входит наша славная рота, генерал-фельдмаршал фон Бок строжайшим образом запретил распевание таких песенок да куплетов. От себя могу добавить только одно: полностью с ним согласен!

Что же это будет, если нам начнут подпевать другие полки и дивизии? Так дойдет до того, что весь Восточный фронт хором затянет: «Домой, домой»!

Тихо! Все эти кислые настроения оттого, что война слишком затянулась. Но вы же сами слышали, как фюрер на днях говорил в своей речи: «В этой России невозможно нормально воевать! Зима там ненормально холодная, лето ненормально жаркое, и расположена она ненормально далеко!» Что может поделать фюрер, если его предусмотрительность относительно ненормальностей столкнулась с самым подлым предательством? А эта Красная Армия, которую мы, как сказал фюрер, в прошлом году растерли в порошок? Черт знает откуда она взялась и начала гвоздить из своих кошмарных минометов. Хоть на стену лезь, хоть на эти проклятые деревья, что, я считаю, в равной мере противоестественно. Правый фланг, перестань кивать своей дурацкой башкой, как египетский верблюд! Да-да, знаю я тебя, седая бестолочь! Составь свои телячьи копыта, когда с тобой разговаривают! Конечно, вы, сорокалетние папаши, трясете слюнявыми бородами, а сами только и мечтаете, как бы вас отправили обратно под подол к вашим мамашам. Уши

ваши туда отправят, горе-вояки! А вы, пацаны семнадцатилетние, чего глазенками хлопаете? Подождите, когда действительно шарахнет, так вы и... Ну как с такими вояками здесь, под Сталинградом, в казацкой степи, выстоять зиму! Еще и ворчите, что все идет вкривь и вкось, как прошлой зимой под Москвой. Я вам скажу, подкидыши: когда нашим закаленным дивизиям пришлось отступать под Москвой — так это был сахар по сравнению с тем, что нам здесь теперь светит!

Может быть, и среди моих железных ветеранов найдутся такие, которые помышляют об отпуске или о «замене»? Вас что, бешеная собака укусила? Вы знаете, сколько осталось бывалых солдат в моей славной пятой роте? Девять человек вместо прежних двухсот пятидесяти! Взвыть можно! Вы, мои девять старых бойцов, вы — стальные пластины корсета. Без вас весь этот балаган развалится к чертовой матери! И это вы судите о какой-то там «замене»! Нет, милые мои, подождите с этим до заключения мира.

И вообще, я смотрю, последнее время стали слишком много молоть чепухи, и в основном о войне. Молоть чепуху о войне может только один человек — фюрер. Эта война — война фюрера, а не ваша. Нечего соваться со своими дурацкими мыслями туда, где рассуждает фюрер. Логично, вы, олухи?

А вот когда мы здесь зимой превратимся в холодец, когда еще кое-кто из вас драпанет к русским, как недавно эти пятнадцать бандитов из шестой роты, когда предусмотрительность фюрера опять столкнется с самым подлым предательством, и на этот раз окончательно... разговорчики в строю! задник шеренги!.. так вот тогда, малыши, нам останется тут же повеситься на ближайшем телеграфном столбе, и никакие стальные пластины корсета не помогут, но вас, вшивая банда, я смотрю, даже на это не хватит! Вот тогда и начнется мясорубка.

Короче, кто еще будет молоть чепуху или ныть, тому я самолично укажу место, где зимуют раки!

Вольно! Разойдись!

Речь обер-лейтенанта Цанлюкке о пользе логики

— Рота, смирна-а! Слушай меня!

Опять буду говорить о своей почте. На этот раз какая-то скотина отчеркнула красным карандашом одно место в моем «Генеральанцайгере» про польских партизан Эти бандиты разбегаются из тысяч наших исправительно-трудовых лагерей бродят по лесам и в глубоком тылу уничтожают целые отряды наших солдат.

Вот об этом-то и пишет мой «Генеральанцайгер». Прямо черным по белому: «Новые беспорядки в Польше». Именно это и подчеркнул какой-то болван.

Много вы понимаете, идиоты. Польские мужики вечно нам житья не давали, а сейчас и тем более, и вот тридцать, а то и все сорок миллионов поляков сидят на нашей шее. Вместе с французами, которые нас ненавидят как заразу и, несмотря на массовые расстрелы заложников во Франции, продолжают убивать наших солдат и офицеров, и к тому же это еще сорок миллионов на нашей шее. Или возьмите развращенных тупоголовых норвежцев! Да и вообще на севере творится черт его знает что. Эти дикие голландцы и бельгийцы ждут не дождутся, когда высадятся англичане и американцы, точно так же как сербские лапотники, я уж не говорю о болгарах, которые вообще наполовину славяне, а наполовину русские. А Греция? Только наши старые тупицы профессора могут ею восхищаться, а на самом деле это еще все шестьдесят, а то и семьдесят миллионов, рассыпанные по Европе, которые только того и ждут, чтобы мы, немцы, несущие этой самой Европе мир и культуру, убрались к чертовой матери. Вообще мир платит нам одной неблагодарностью. Я смотрю, лучше бы нам было оставаться дома, а все эти банды бросить на произвол заслуженной ими судьбы.

А ну хватит там рожи корчить! Да-да, ты, что ты раскорячился, как кабан на вертеле? Что ты на меня таращишься, как Один[1], которому одному известно наше мрачное будущее?

Вы понимаете, недоноски, что целый миллион немецких солдат мы держим в оккупированной Европе и бандитских союзных государствах. Вот и вся простая арифметика, понятно вам, дурачье?

По-моему, теперь даже вам, неграмотному сброду, должно быть ясно, почему наш вермахт вынужден призывать каждого рабочего, у которого еще осталось две ноги, и отправлять на Восточный фронт, и последнего крестьянина забирать с поля, и всех этих семнадцатилетних гимназистов со школьной скамьи! Я понятно говорю, черт побери?

Скоро начнется новое наступление. И опять треть, а то и половина из нас здесь, на далекой святой Руси, останется лежать мордой в землю. А другая половина перемерзнет к чертовой матери сейчас, в новую русскую зиму. И вот после этого спрашиваю я вас, недомерков, можем ли мы вдвоем с фюрером, одни выиграть эту войну, а потом колонизировать эти земли? Что вы себе думаете, а? Вы, банда падали? Или вы, может быть, вообще не хотите воевать? А после победы только наживаться здесь, за две тысячи километров от ваших вонючих хлевов сапожных мастерских и скобяных лавок? Ну тогда какого же черта вы сюда притопали? Во имя чего вы здесь воюете, если ваш бандитский лозунг: «Домой, и только домой!» Логично я рассуждаю или нет? Логично, и это даже самому последнему готтентоту ясно.

Конечно, мало-мальская логика нужна даже солдату на фронте, иначе он станет еще тупее, чем есть. И если вы, идиоты,

[1] Верховный бог в скандинавской мифологии.

не имеете ни малейшего представления о том, зачем вы сюда приперлись, в эти далекие степные края, и если вы все время только и мечтаете о Германии и вообще хотите жить только в Германии, то получается, что все, чем вы здесь занимаетесь, это чушь и бред сивой кобылы, понимаете вы, стадо баранов? И вот выходит, что ваш обер-лейтенант Цанлюкке, как обер-баран впереди этого стада, с «ура!» должен идти на смерть? Благодарю покорно! Это абсолютно нелогично! Это идиотизм и слабоумие!

И вообще, чего бы мне хотелось, так это побольше логики, потому что без логики человек превращается в скотину, которая только и думает, как бы нажраться, и больше ничего! Логично я говорю, вы, шакалы?

Вольно! Разойдись!

1943

Перевод И. БОЛЫЧЕВА

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ

С чувством стыда

Семь лет мы ели хлеб палача.
Семь лет мастерили телегу войны.
Порабощенное племя
Порабощало других.

1945

Перевод ВАЛЬДЕМАРА ВЕБЕРА

◆

ГЕОРГИОС ВАКИРТЗИС — МАСТЕР-СОЛДАТ

В декабре 1984 года в одном из центральных выставочных залов Афин открылась выставка Георгиоса Вакиртзиса. Теперь уже трудно не сбиться, какая она по счету: примерно пятнадцатая из его персональных и групповых, в которых он участвовал. Вакиртзис — имя известное в Греции, никто не скажет — не слышал, а многие закивают головой: как же, Георгиос Вакиртзис — художник, публицист, хранитель народных традиций и новатор.

А мне вспоминается май 1979 года в Москве. Тогда Георгиос Вакиртзис приехал по приглашению издательства «Плакат» для участия в работе жюри Международного конкурса плакатов. Он запоминался: яркий темперамент, неординарность подхода к своим задачам, а по жажде общения Вакиртзиса можно было сравнить лишь с Бидструпом, также сотрудничавшим в том жюри.

Художник много говорил со своими советскими коллегами о месте искусства в современном мире. Теперь, спустя пять лет, в преддверии 40-летия Победы, мы продолжаем разговор.

— Я мастер,— говорит он.— Стараюсь всегда оставаться им. Мастер в моем понимании — человек рабочий, человек труда. Но иногда приходилось быть бойцом, сменить кисть на винтовку.

В годы оккупации Греции фашистскими захватчиками Вакиртзис был активным участником Сопротивления. Вместе со всеми он сражался на улицах городов и в горах, но в отличие от товарищей у него не было передышек. В минуту затишья Вакиртзис создавал гравюры. Они передавали боль греческих матерей, ярость борцов Национально-освободительного фронта, пламя членов Единого всегреческого союза молодежи — ЭПОН (молодежной организации Сопротивления периода фашистской оккупации).

— Эти гравюры печатались прямо там, где шли бои. Они расходились моментально; художникам было неважно, чья подпись будет стоять в уголке листовки. Некоторые из товарищей погибли, сейчас трудно сказать, кому принадлежит какой рисунок.

Среди художников, создавших эти плакаты-листовки, были многие друзья Вакиртзиса. И вот к 40-летию создания молодежной организации ЭПОН вышло несколько буклетов гравюр того времени. Вакиртзис объединил издание этих миниплакатов военных лет, дополнив их современными рисунками на обложке.

Вместе с ростом движения Сопротивления набирали силу маленькие типографии, печатавшие листовки. В начале войны их

лишь изредка можно было найти, и текст был написан от руки, карандашом. Постепенно листовки стали печатать, рос их формат. А к 1944 году в Греции выходили целые подпольные газеты. Маленькие, но настоящие газеты.

— Тема войны, Сопротивления, народных страданий и необыкновенного подъема духа тех лет — моя тема,— говорит художник.

И действительно, это лейтмотив творчества Вакиртзиса.

Справедливость его слов подтверждена каждой его выставкой, начиная с первой, состоявшейся в 1949 году.

В 1966 году в зале «Архитектоники» состоялась выставка «Раскопки» — посвящается поколению 40 — 50-х годов». Название «Раскопки» не было преувеличением: прошло полтора десятилетия после кровавых событий войны и гонений, которым подвергались в послевоенный период греческие патриоты.

— Официальной политикой Греции было замалчивание любых фактов и событий тех лет. Правые правительства страны предпочитали не вспоминать о том, что за Народной национально-освободительной армией (ЭЛАС), руководимой коммунистами, шло большинство населения Греции.

Вакиртзис помнил об этом.

Человек огромной работоспособности, он успевает все: ездит с выставками по стране, публикует книги и статьи, выступает с лекциями. Некоторая элитарность искусства характерна для Греции: на вернисажи приходят дамы в драгоценностях и мехах, цены на модных художников растут. Вакиртзис — имя престижное, а он дарит свои произведения школам, общественным организациям, народным галереям. Стремление приобщить людей к искусству, выступить пропагандистом прекрасного чувствуется во всем. Велико уважение художника к народному творчеству: за несколько лет он буквально исколесил всю страну, фотографируя и зарисовывая надписи — названия маленьких магазинчиков, кофеен, мастерских в самых отдаленных деревнях и на маленьких островах. Результатом этих поистине титанических усилий явилась публикация объемного тома — альбома «Народные надписи». С горечью художник говорит, что его попытки запечатлеть это неповторимое народное искусство были весьма своевременными: очень скоро многие из тех мастерских и таверн сменили подлинно художественное оформление на рекламу кока-колы и «Аддидас».

— В СССР меня поразило бережное отношение к памятникам народного искусства; особенно большое впечатление произвел живописный архитектурный ансамбль в Загорске.

Вернувшись на родину, Вакиртзис создал литературную зарисовку, посвященную Загорску: по форме — проза, а по духу и настроению — поэзия.

Георгиос Вакиртзис уходит в свою мастерскую рано утром и работает там до позднего вечера. Сам он избегает быть на виду, а его произведения можно видеть на всех маршах мира и митингах антиимпериалистического характера. Дух публициста заставляет его много сил отдавать искусству плаката. Вакиртзис одним из первых в Греции понял, что плакат — «это полноправный вид изобразительного искусства со своими законами и динамикой развития». Его плакаты отточены и бьют в цель. Вышел также сборник — альбом, посвященный плакату.

Необычно гармонично сочетаются в творчестве художника простота и доходчивость техники плаката и изощренная утонченность, сложность его работ маслом. Один из самых известных греческих критиков Никос Алексиу так писал о нем:

«Увидеть работы Вакиртзиса — это значит увидеть то, чего не ожидал. Вакиртзис — всегда неожиданность, всегда сюрприз как в тематическом отношении, так и в его образном воплощении. Его фантазия поэта ищет соответствующего выражения в многоплановом изобразительном материале. Краски Вакиртзиса словно прошли полифоническую оркестровку, этот оркестр напоминает нам звуки прошлого и предвещает рождение будущего, рас-

крывает волшебство мира. Мы словно слушаем орган, звучащий светом и тьмой.

Свет у Вакиртзиса никогда не исходит из одной точки, не предполагает лишь один угол зрения. Его свет имеет много источников, расходится в разных направлениях, освещая невидимые своды.

Стремление Вакиртзиса почувствовать пульс нового, современного отражает сложность нашей эпохи, а может быть, предвещает светлое и поэтичное завтра».

Вспоминая о своей поездке в СССР, художник признается в том, что она оставила неизгладимые впечатления. Посетить Страну Советов было его давнишней мечтой, и когда греко-советское Общество дружбы предложило его кандидатуру для участия в работе жюри в 1979 году, его радость была огромна. Приехал он в СССР вместе со своим верным другом и женой Алики Георгиу; она тоже художница и надежный помощник Георгиоса во всех его начинаниях. Пятнадцатилетней девочкой Алики убежала в горы к партизанам сражаться за свободу своей страны. Девочка из обеспеченной и «правой» семьи, она выбрала жизненный путь рядом с коммунистами. Именно тогда, в горах, в гуще политических и военных событий, они встретились в первый раз. Потом судьба разъединила их, и только встретившись спустя много лет, они осознали, что им суждено быть вместе. Одно из направлений деятельности Алики — дизайн, это под ее руководством все помещения греко-советского Общества дружбы обрели такой праздничный и привлекательный вид.

Алики мужественный человек, лишь однажды чувства выдали ее. Это было на прощальном обеде в Москве, когда конкурс плаката уже завершился: было много тостов об интернациональной дружбе и сотрудничестве, о мирном будущем, но Алики вернулась к теме войны. Она говорила, что в СССР, стране, более всех пострадавшей во время второй мировой войны, она глубоко прочувствовала, как близки ей советские люди, как понятна ей их скорбь по погибшим и вера в мирное завтра. Алики разволновалась и не смогла закончить... Всем все было понятно и без слов.

Без Алики было бы трудно написать о Георгиосе Вакиртзисе, это она хранитель его архива, каталогов, слайдов. Алики поделилась с нами заметками Вакиртзиса о его кредо в искусстве:

«Как я работаю и что хочу выразить? Работаю так, как меня учили мои учителя, мастера, работаю так, как диктует мне ежедневный опыт работы. Работаю, потому что чувствую необходимость этого. Эта необходимость рождается из переживаний памяти и пульса сегодняшнего дня. Меня волнует больше всего то, что имеет отношение к Человеку. Я всегда открыт для всего нового; меня часто волновало каждое истинно художественное течение в искусстве, независимо от того, мог ли я найти в нем себя.

Принадлежу к тем художникам, которые более полагаются на практический поиск, чем на подготовленные теоретические решения.

Хочется верить, что с одинаковым уважением работаю над бытовым и великим.

Наконец, я признаю все свои ошибки, которым нет числа».

Афины, 1985 **Г. СУСЛОВА**

◆

Среди книг

Издано в СССР

БЕССМЕРТИЕ СМЕРТНЫХ

Я жил в суровый век. Писатели Западной Европы о годах антифашистского Сопротивления. Составление и справки об авторах В. Скороденко. Автор предисловия М. И. Семиряга. Москва, «Молодая гвардия», 1984.

Тридцать пять лет назад, еще в студенческие свои времена, я прочитал повесть Жана Лаффита «Мы вернемся за подснежниками». И до сих пор помню и саму эту героико-романтическую повесть, и впечатление, ею произведенное. Трудно, пожалуй, однозначно объяснить, почему так отложилось все это в памяти: то ли повесть оказалась первой для меня иностранной, как тогда говорили, книгой о войне, то ли поразило лирическое название, столь неожиданное для военной литературы, то ли был еще непривычным динамизм сюжета, в котором диалог доминировал над описанием. Ведь и впрямь на малом прозаическом пространстве уместилось столь многое: подготовка диверсионного акта группой бойцов Сопротивления, сама удачная операция, последующий арест и допросы в гестапо, концлагерь, возвращение уцелевших, вживание в послевоенную жизнь. А тут же беды и радости верной любви, терпеливого женского ожидания. И все это было дано без скороговорки, пунктирности, колоритными и резкими мазками.

С тех пор я прочитал множество книг о войне и Сопротивлении — и Армана Лану и Элио Витторини, и Ганса Фаллады, и многих других. Но первое впечатление все хранило свой жар под пеплом лет и новых впечатлений.

И вот снова встретилась мне та давняя повесть Лаффита в сборнике «Я жил в суровый век», где представлены стихи и проза о Сопротивлении, принадлежащие писателям семи стран Западной Европы. Встретил и с понятным волнением — а не разочарует ли она теперь, когда известно уже столько великолепных книг о войне? — перечитал. Нет, ничуть не разочаровала, ибо, наверное, никогда не перестанет волновать нас чистый свет мужества и самоотверженной верности высоким идеалам.

И столь многое перекликается в этой повести со сказанным в нашей прозе. И стойкость Рэймона на допросе, напоминающая стойкость фадеевских молодогвардейцев или быковского Сотникова, и маленькая послевоенная дочурка Роз-Мари как олицетворение жизни, за которую сражались и погибали бойцы.

Да и вообще, читая сборник, то и дело поражаешься тому, насколько схожи многие мотивы и образы опубликованных в нем произведений с тем, что известно нам из нашей литературы, или, если быть совсем точным, тому, как удивительно сплетаются совсем иные жизненные реалии и схожие «болевые точки» в изображении людей, поднявшихся на борьбу за честь, свободу, жизнь.

Помнится, есть в романе «Как закалялась сталь» такой эпизод. Бойцы слушают, как Павка читает «Овода», и один из них произнес задумчиво: «Есть, значит, на свете такие люди. Так человек не выдержал бы, но как за идею пошел, так у него все это и получается». Разными были условия битвы у Овода и у бойца-конармейца, но сходна их самозабвенная готовность бороться за торжество своей идеи. Так и в сборнике: не всегда отчетливо осознается самими борцами идея, позвавшая их, но неизменным сочувствием и гордостью за человека отзывается наше сердце на их самоотверженный порыв.

А как разительно близки по своему пафосу известное стихотворение А. Твардовского «Я убит подо Ржевом» и «Эпитафия» французского поэта Робера Десноса, погибшего в 1945 году от истощения в Бухенвальде (начальные слова «Эпитафии» стали названием всего сборника):

Живые! Это все — теперь богатство ваше.
Его храните вы? Возделана ль земля?

Снят общий урожай? И хорошо ль украшен
Тот город, где я жил и где боролся я?
(Перевод М. Кудинова)

Сколько похожего и различного в «Альпийской балладе» В. Быкова и «На пути к границе» норвежского прозаика Терье Стигена! Там бегут из концлагеря русский Иван и итальянка Джулия, здесь спешат к границе сбежавшие с места расстрела двое молодых патриотов — Герда и тот, от чьего имени ведется рассказ. Различна стилистика повестей, различен финал — у Стигена гибнет девушка, более развернуты (норвежская проза всегда столь обстоятельна!) перипетии бегства, более форсирован писателем и мотив страха, биологически жуткого страха, беспрестанно охватывающего беглецов. Но и в них потрясает эта жажда жить, жажда переупрямить трагическую судьбу, жажда обрести свободу.

Так без конца тревожит этот сборник нашу душу чем-то непривычным, необычным, иным, иначе сказанным и осмысленным, но в то же время мучительно знакомым.

Но пожалуй, три идеи, проходящие через произведения писателей разных национальностей, отзываются в нас наиболее трепетно: героизм во имя высокой цели, гуманизм, противостоящий фашистскому расчеловечиванию, и неутихающая вера в освобождение родины.

По-разному разворачиваются эти идеи у разных прозаиков и поэтов, но именно они главенствуют в сборнике.

Прежде всего — трудный путь к героизму. Конечно, легкого пути к героическому свершению не бывает, но путь героев опубликованных здесь повестей все-таки более сложен, более длителен и противоречив, чем в нашей прозе. И это, право же, неудивительно. На бой против фашизма советский народ поднялся с воспитанной еще в мирные годы готовностью к подвигу, в обстановке всенародной войны и ясного осознания социальной сути фашизма; там же, в Голландии или Греции, Германии или Италии, человеку приходилось принимать решение самому заново определяя свои отношения с окружающим миром и преодолевая привычность будничного быта и искушающее воркование коллаборационистов.

Оттого-то в нашей прозе предстает массовый героизм, а в литературах Западной Европы так сильно воздействие экзистенциализма.

К участию в Сопротивлении греческая учительница Маргарита в повести Димитриса Хадзиса «Маргарита Пардикари» приходит порвав путы насквозь лживой в соблюдении внешних условностей семьи и не без влияния своей влюбленности в соседа-партизана. Мотив любви зовущей на подвиг нередок и в нашей литературе (вспомним хотя бы недавнюю повесть И. Шамякина «Торговка и поэт»), и вряд ли будет справедливым так просто отмахнуться от силы этого «внеидейного» чувства: любовь обычно пробуждает в человеке лучшие душевные качества: хочется быть достойным своей любви, помогать любимому. Да и сама любовь — это ведь и есть чудо жизни, а верность своей любви — верность жизни, человечности, будущему счастью. Поистине любовь сильнее смерти. Что еще раз доказала своей жизнью и героической гибелью тихая и стойкая гречанка Маргарита.

Далекая от «политики» Анна («Берлинская Антигона» Рольфа Хохгута) выкрала из морга во время бомбежки тело своего расстрелянного гестаповцами брата и тайно похоронила на кладбище. За это «преступление» ее приговорили к расстрелу, и она погибла. Да, на внешне безрассудный поступок ее подвигнула любовь к брату, но потом-то уже ненависть к надругательству палачей и упорство гордого человека не позволили ей просить у судей снисхождения или указать могилу брата. И завершается повесть неожиданной справкой-эпитафией: «Берлинский анатомический театр получил за 1939—1945 годы тела 269 казненных женщин».

Кто-то из них шел сознательно на борьбу с фашизмом, а кто-то и так, как Анна, импульсивно, не в силах поступиться своим человеческим достоинством,— но все равно это 269 безвестных подвигов человечности, которую нельзя до конца убить, растоптать и которая поэтому побеждает.

Рядом с изображением героизма то и дело возникает в повестях мотив предательства. Это не просто романтическая краска, романтический контраст, как, допустим, в «Тарасе Бульбе»,— это вполне реалистическая деталь: в Сопротивлении и впрямь случалось много провалов из-за доносчиков. Не всем была по силам героическая ноша, попадались и те, кто быстро отступал и надеялся предательством купить милость сильных, обрести покой. Такой слабодушный и предал всю группу в «Мы вернемся за подснежниками».

А бельгийский поэт и прозаик Альбер Эгпарс написал потрясающий рассказ «Когда Иуда звался Цицероном...»— монолог человека, который пишет в камере перед смертью письмо о предателе с подпольной кличкой Цицерон. Сам Цицерон находится в той же камере, подсаженный гестаповцами, чтобы выудить еще какие-нибудь сведения. И мучается предатель, не зная, что же пишет его бывший соратник, и боится, что тот его раскусил. Хоть и знает Иуда, что записи не выйдут из стен тюрьмы, что схватит он их, как только поведут подпольщика на расстрел, а все равно дрожит, ибо словно слышит непроизнесенное вслух: «Через голову смерти я посылаю тебе свое презрение». Вот она, отплата за предательство — вечное проклятье, вечный ужас. «Запятнанные даже солнцем, испачканные светом»,— нашел прекрасный образ итальянец Альфонсо Гатто, говоря о палачах, расстрелявших на площади Лоретто женщин и детей, объявленных заложниками. Как должно быть, страшна эта участь: жить все долгие годы такими — презираемыми, испачканными светом.

И когда читаешь одно за другим произведения сборника, тебя не оставляет чувство, будто трагическая, траурная лента протянулась через все события той войны — черный цвет ночи, мрачного туннеля, предательства, слабодушия и красный цвет крови, пролитой за освобождение родины. А где-то вдалеке — яркий белый цвет, цвет надежды, цвет выхода из туннеля, цвет веры в непременное наступ-

ление утра, утра свободы. Без такой веры человеку трудно было жить в глубоком мраке фашизма, опустившемся на Европу. «Я мечтаю о дне, полном праздничных флагов, красных, белых и синих» — так начинается стихотворение неизвестного автора из сборника, нелегально изданного в Голландии в 1944 году. Это цвета национального флага, но и цвета чистого синего неба, светлой надежды, высокой памяти о крови, пролитой за свободу.

Но не только восхищение героизмом и презрение к предательству звучат в этом сборнике. Есть во многих повестях разделение, размежевание и внутри самого стана патриотов. По мере того как ширилось Сопротивление, становилось ясным, что одни боролись только за свободу родины от оккупантов, а другие — еще и за то, чтобы народ вышел из этой кровавой купели не просто очистившимся от скверны, но и возрожденным, построившим свою жизнь на новых, справедливых началах.

У Жана Лаффита это деголлевцы и франтиреры, в большинстве своем коммунисты. Деголлевцы получали снаряжение и боеприпасы из Лондона, но берегли себя, чего-то выжидали, а партизаны-франтиреры стремились к схваткам с оккупантами, но были почти безоружными. А в повести Беппе Фенольо «Личные обстоятельства» резко, чуть не до враждебности разделены отряды партизан на красных и голубых — гарибальдийцев, ведомых коммунистами и бадольянцев, преимущественно солдат распущенной итальянской армии. И в повести датчанина Ханса Шерфига «Замок Фрюденхольм» среди заложников и среди тех, кто поднимал народ на борьбу, выделялись коммунисты из организации «Свободная Дания» — они были ядром антифашистского Сопротивления, они звали к социальному переустройству жизни.

Подобное разделение знакомо нам и по польской и по югославской прозе, да и по творчеству писателей Прибалтики, но этот сборник вновь подтвердил, что проблема социального выбора оказалась не только одной из острейших, чуть не доводя партизан до междоусобицы, но и едва ли не важнейшей, ибо, как показала история, лишь правильный социальный выбор вел нацию к прочному торжеству человечности, торжеству подлинного гуманизма; иной социальный путь вел к крушению надежд, рождал опустошающее отчаяние при виде неосуществленных упований на обновление жизни.

В отчетливо явленном размежевании сил Сопротивления сказался несомненный — хотя, может быть, и не осознаваемый сразу — отголосок того непреложного факта, что именно советский народ развеял фашистскую ночь. Чем сокрушительнее были удары Советской Армии и, стало быть, чем реальнее проступал конец войны, тем интенсивнее пополнялись ряды Сопротивления и тем, пожалуй, резче обнажалось внутреннее их размежевание: слишком уж зримо вырисовывалась та социальная сила, которая громила фашизм и несла свободу всем истерзанным странам Европы.

Этим страстным ожиданием освобождения от фашизма обжигает и сегодня стихотворение Поля Элюара «Свобода», написанное в 1942 году и сразу ставшее поэтическим знаменем французского Сопротивления. Девятнадцать строф стихотворения завершаются одним и тем же рефреном: «Я пишу твое имя». И это лирическое нарастание, этот лирический захлеб, когда опущены даже знаки препинания, подводит, наконец, к заветному имени:

И силой единого слова
Я вновь возрождаюсь к жизни
Я рожден для того чтобы знать тебя
Чтоб тебя называть
Свобода.

(Перевод З. Гуковской)

И это слово, как бы заполнившее целую финальную строфу, воспринимается нашим сердцем как удар вечевого колокола, как клятва верности, как высочайшее благо.

Оно вновь напоминает людям, насколько дорога свобода, какой ценой добывали ее в борьбе с фашизмом и сколь неукротимо нужно отстаивать ее сейчас. Ту свободу, без которой не могут достойно жить ни человек, ни человечество.

А. БОЧАРОВ

НЕПРЕОДОЛЕННОЕ ПРОШЛОЕ

Бернт Энгельман. Спустившаяся петля. Перевод с немецкого Г. Я. Рудого. Предисловие В. И. Михайлова. Москва, «Прогресс», 1984.

Сорок лет прошло с того майского дня, когда под сокрушительными ударами Советской Армии и ее союзников рухнула фашистская Германия. Победоносное завершение второй мировой войны принесло свободу не только народам оккупированных гитлеровцами европейских стран, но и немецкому народу, находившемуся более двенадцати лет под гнетом коричневой тирании. Казалось, что с фашизмом покончено раз и навсегда. На Потсдамской конференции были приняты решения ликвидировать все нацистские организации и учреждения, выявить и сурово наказать фашистских военных преступников. Но, как известно, все это было осуществлено лишь в восточной части страны, на территории Германской Демократической Республики. В Западной Германии процесс очищения от нацистской скверны искусственно сдерживался, гитлеровские преступники отделывались, как правило, легким испугом, и многие из них смогли сохранить свое положение.

Непреодоленность фашистского прошлого — одна из важных тем демократической западногерманской литературы. Прогрессивные писатели ФРГ стремятся в своих произведениях вскрыть корни весьма широко распространившихся неонацистских и реваншистских тенденций в общественной и государственной жизни страны. К числу таких писателей принадлежит и Бернт Энгельман.

Советским читателям имя Энгельмана хорошо известно. Его книги «Рейх распался, олигархия жива», «Большой Федеральный крест за заслуги», «Отель «Бильдерберг», статьи и очерки, опубликованные в советской периодике, имели успех благодаря правдивому показу современной западногерманской действительности, богатству фактов, обнаруженных автором и впервые обнародованных. Писатель к тому же большой мастер острых и увлекательных сюжетных построений, что придает его книгам характер политического детектива. Эти бесспорные достоинства присущи и роману «Спустившаяся петля».

Автор назвал эту книгу «романом, основанным на фактах», подчеркнув тем самым, что в отличие от строго документальных произведений в ней будут изображены не только подлинные события и реальные личности, но и вымышленные персонажи.

Завязка романа кажется на первый взгляд вовсе не имеющей отношения к его содержанию. У молоденькой югославки Гели Пивойнович, продавщицы большого универсального магазина, спустилась на чулке петля. А поскольку правила фирмы обязывают продавщиц выглядеть на работе безукоризненно, Гели взяла себе с магазинной полки пару чулок. Это не ускользнуло от внимания старшей продавщицы, которая тут же доложила по начальству — и Гели немедленно уволили «за кражу» и препроводили в полицию. Выяснять обстоятельства дела с мелкой кражей, да к тому же иностранкой в фирме не сочли нужным. Однако это происшествие повлекло за собой череду других, куда более серьезных событий.

Выясняется, например, что заведующий секцией универсального магазина (фигура, придуманная автором) тесно связан с одним бывшим крупным нацистом, а тот ведет дела с фашистским военным преступником Кристманом. Энгельман напоминает, что в свое время Кристмана разоблачил советский писатель Л. Гинзбург в книге «Бездна». После разгрома третьего рейха Кристман, как и многие другие гитлеровские палачи, избежал заслуженного наказания и с помощью тайной организации бывших эсэсовцев «ОДЭССА» был переправлен в Аргентину. С конца пятидесятых годов он уже спокойно жил в Мюнхене как владелец процветающей маклерской конторы. Случай Кристмана, как показано в романе, далеко не единичен. Перед читателями предстают и другие гитлеровские приспешники, благоденствующие в условиях западногерманской государственной системы. Среди них — бывший глава фашистского верховного суда в Баварии Ганс Эхард. Его судейский опыт борьбы с противниками гитлеровского режима получил полное признание американских оккупационных властей. В мае 1945 года его назначили министром юстиции, а вскоре и премьер-министром Баварии. Энгельман приводит новые факты, как после окончания войны американская военная администрация во главе с генералом танковых войск Дж. Паттоном подбирала местные «руководящие кадры». «Нашими подлинными противниками,— заявил тогда бравый американский генерал,— являются не немцы, а русские». По рекомендации кардинала Фаульхабера, многолетнего прислужника Гитлера, американские власти назначили сперва премьер-министром Баварии ультрареакционера Шеффера, который стал затем основателем Христианско-социального союза и министром юстиции ФРГ. Один из главных специалистов гитлеровского правительства по «еврейскому вопросу» и автор «расовых законов» Глобке, который был включен в союзнический список военных преступников, стал статс-секретарем ведомства федерального канцлера и ближайшим советником Аденауэра. «Когда речь идет об охране интересов власть имущих,— сказано в романе,— даже самые гнусные подонки и преступники — желанные союзники!»

Главная опасность этих нацистов — в их тлетворном влиянии на западногерманскую молодежь. Милитаристские сборища, подобные нарисованной в романе встрече ветеранов дивизии СС «Мертвая голова», привлекают неопытных юнцов, которых умело обрабатывают в реваншистском духе. Западногерманские газеты нередко пишут о террористических акциях, совершаемых «неизвестными злоумышленниками». Энгельман показывает, кто такие эти так называемые «неизвестные». Это участники правоэкстремистских групп, часто замаскированных под «спортивные», «туристские» организации, объединяющие «краеведов», и т. п. Это они взорвали бомбу в одном из баварских домов для престарелых, обитатель которого осмелился возбудить судебное дело против военного преступника, бывшего эсэсовского главаря.

Защитниками и покровителями нацистских преступников выступают в ФРГ финансовые и промышленные воротилы. Энгельман знакомит читателей с жизненными путями некоторых из этих прожженных дельцов. Один из них — бывший нацист, владелец крупнейшего банкирского дома в годы гитлеризма фон Финк. В результате процесса денацификации он был отнесен к категории «попутчиков», ему вернули его земли, недвижимость, да еще выплатили многомиллионные компенсации. «Вплоть до своей смерти,— пишет автор,— Август фон Финк считался одним из самых богатых людей в Федеративной Республике. Возможно, что он даже был самым богатым». Другие изображены в романе под вымышленными именами, как, например, «его светлость князь», крупный помещик и владелец фирмы «Альпийское счастье», посылающей в африканские страны подпорченные консервы и напитки, которые в ФРГ признаны непригодными к употреблению. Здоровье африканских покупателей гнилого товара князя не интересует, а часть доходов, полученных в результате такой «коммерции», князь жертвует в фонды неонацистских западногерманских организаций.

Ну а чем же кончилась история с Гели? В лучшем случае ее могли бы не отдавать под суд, а просто выслать из страны, как ежедневно высылают многих иностранных рабочих, потерявших место или ставших неугодными хозяевам. Гели на этот раз повезло. Нашлись друзья, западногерман-

ские антифашисты, которые вызволили ее из беды и помогли вернуться на прежнее место продавщицы.

Хотелось бы отметить и работу переводчика Г. Рудого, который не только талантливо перевел роман, но и снабдил его своими комментариями и примечаниями, без них читателям было бы трудно разобраться в терминологии и многочисленных аббревиатурах, содержащихся в книге.

В. СТЕЖЕНСКИЙ

ЧТО СКРЫТО ПОД ЛИСТЬЯМИ?

Сэйити Моримура. Контейнеры смерти. Перевод с японского Л. Левина. Предисловие В. Цветова. Москва, «Прогресс», 1984.
Сэйити Моримура. Кухня дьявола. Перевод с японского С. В. Неверова. Предисловие М. В. Демченко. Москва, «Прогресс», 1984.

В какие моменты стирается грань между человеком и изувером? Какой порог в этих случаях переступает человек в своем сознании? Какова мера ответственности отдающего человеконенавистнический приказ и его исполняющего? Подобные вопросы ставят книги японского писателя Сэйити Моримуры «Кухня дьявола» и «Контейнеры смерти».

Моримура не принадлежит к поколению, которое непосредственно участвовало в войне. Он родился в 1933 году. Его перу принадлежит более ста произведений. Наиболее ярко писательский талант Моримуры проявился в жанре социально-политических остросюжетных романов. Его «Плюшевый медвежонок» (М., 1980) нашел путь и к сердцу советского читателя. «Контейнеры смерти» — внешне традиционный остросюжетный роман. Но он выходит далеко за рамки детективного жанра. «Контейнеры смерти» ознаменовали для меня переломный момент в творчестве,— пишет Моримура.— До сих пор я был убежден, что назначение детективного романа — служить развлечению читателя... Однако в этом произведении на первом плане не детективная занимательность, а обличение. Роман строится на материалах, подкрепленных фактами».

В отличие от «Кухни дьявола» действие «Контейнеров смерти» происходит в современной Японии. Журналист Хирано, пытаясь распутать уголовное преступление, невольно приоткрывает завесу тайны над коррупцией и аферами в высших эшелонах власти Японии, стремящихся к обладанию ядерным и бактериологическим оружием. Переплетение сюжетных линий неумолимо приводит к истории «отряда 731», деятельность которого автор изобличает в документальной повести «Кухня дьявола».

«Отряд 731» Квантунской армии был расквартирован в оккупированной Маньчжурии, неподалеку от Харбина. В отряде с начала 40-х годов по август 1945 года разрабатывалось и испытывалось бактериологическое оружие. «Экспериментаторы» проводили опыты на живых людях, которых цинично именовали «бревнами». В своей изобретательности японские изуверы превзошли эсэсовского «доктора» Рашера, проводившего опыты в Дахау. Автор рассказывает, как военнопленных — китайцев, русских, монголов, американцев — заражали чумой и другими смертельными болезнями, выкачивали кровь и вливали лошадиную, подвергали длительному облучению рентгеновскими лучами и мучительному вскрытию заживо, обмораживали конечности, морили голодом, высушивали...

Создание книг «Кухня дьявола» и «Контейнеры смерти» можно назвать писательским подвигом. В течение ряда лет с помощью журналиста Масаки Симодзато автор собирал по крохам материалы об «отряде 731», встретился с более чем тридцатью бывшими сотрудниками «фабрики смерти», убеждая их преодолеть страх перед возмездием, стараясь сломить сопротивление тех, кто хотел бы навсегда похоронить прошлое.

Следует сразу оговориться. Раскрытие тайны «отряда 731» принадлежит не Моримуре. О преступлениях японских медиков стало известно из секретных документов Квантунской армии, попавших в распоряжение Советской Армии. Одним из первых об истинном значении термина «бревна» догадался советский историк и лингвист В. М. Константинов, работавший с документами в качестве эксперта.

О «контейнере смерти» под Харбином было рассказано всему миру на открытом судебном процессе по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия. Процесс проходил в Хабаровске с 25 по 30 декабря 1949 года. Материалы Хабаровского процесса были изданы и в Японии, на эту тему там написана не одна книга. Однако никому еще до Моримуры не удавалось привлечь к этой теме внимание столь широких слоев японской общественности.

Застигнутое врасплох командование отряда отдало приказ экстренно взорвать корпуса «лабораторий». Сейчас у станции Пинфань, где были зарыты «зубы дракона», густая трава — такая растет обычно на кладбищах. Но история «отряда 731» на этом не завершилась. С. Моримура сумел проследить дальнейшую судьбу руководства отряда — заключение циничной сделки с американским командованием, передачу секретных документов о бесчеловечных опытах Пентагону, продолжение бактериологических исследований в Форт-Детрике в наши дни. Среди персонажей романа «Контейнеры смерти» автор вывел бывших сотрудников «отряда 731», стремящихся скрыть свое прошлое, но не расставшихся с мечтой об «идеальном оружии».

Каждая страница книги С. Моримуры «Кухня дьявола» — невыдуманные человеческие трагедии. «Рука с трудом подчинялась мне, когда я писал о трагической судьбе подопытных заключенных,— свидетельствует автор.— В процессе работы самым страшным для меня было сознание того, что все

эти зверства творили такие же люди, как и мы. Нельзя забывать, что мы являемся наследниками истории «отряда 731». И если опять вспыхнет война, не исключено, что все это может повториться».

Действительно, возможно ли, чтобы повторилось это безумие? Поводов для беспокойства предостаточно. Сейчас в Японии набирают силу круги, которые ратуют за возрождение «японского духа», «исконных ценностей нации», «древних традиций». Вот что можно прочитать в журнале «Ниппон оёби ниппондзин» («Япония и японцы»): «Если в повествовании, прекрасном своими жестокостями, не присутствует садистская радость, значит, оно далеко от древних японских традиций».

Кто-нибудь, возможно, напомнит, что жестокие опыты над людьми проводились не только японцами, но и германскими нацистами. Да, параллелей здесь немало. И они лишний раз доказывают, что такого рода аномалии не следствие национального характера, а результат действия социальных и социально-психологических факторов. Нельзя сбрасывать со счетов и целенаправленные усилия шовинистически настроенной «элиты».

Возьмем, к примеру, лишь одну параллель — использование националистической пропагандой элементов мифологии. В японской синтоистской космогонии особое место занимает миф о передаче богом ветра Сусаноо богине солнца Аматэрасу волшебного «Меча собирающихся облаков», обнаруженного в хвосте убитого им дракона Ямато-но-ороки. Этот меч — одна из трех священных регалий императорской власти наряду с зеркалом и яшмовыми подвесками. В 30-е годы Сусаноо и его «Меч собирающихся облаков» стали символами доблести и непобедимости. Аналогично геббельсовская пропаганда использовала образ мифического героя Зигфрида с его волшебным мечом в качестве стереотипов «истинного арийца» и непобедимого оружия.

Вспомним также японского писателя, «певца японской души», Юкио Мисиму, совершившего ритуальное самоубийство, и его слова, адресованные нынешней молодежи: «Япония не дает возможности молодежи удовлетворить ее стремление — отдать свою жизнь... Японский меч лучше любого ядерного оружия».

Снова японский меч, который принес столько страданий народам Азии!

Насилие, как известно, порождает насилие. Атмосфера антигуманности порождает атмосферу террора. Сон разума рождает чудовищ. У поколения японцев, вступившего во вторую мировую войну, долго усыпляли разум, его воспитывали в традициях «самурайского духа». Традиции эти восходят к средневековому кодексу самурайской чести — «Хагакурэ бусидо» («хагакурэ» переводится как «скрытый под листьями», то есть доступный не каждому; «бусидо» — «путь воина»).

Набэсима Мотосигэ, один из вассалов третьего правителя из дома Токугава по имени Иэмицу, как повествует «самурайский кодекс», описал тайны военного мастерства в четырех фразах: «Никогда не следует задумываться над тем, кто прав, кто виноват. Никогда не следует задумываться над тем, что хорошо и что нехорошо. Спрашивать, что нехорошо, так же плохо, как спрашивать, что хорошо. Вся суть в том, чтобы никогда не вдаваться в рассуждения». Вот суть мировоззрения японских врачей-изуверов. В главе о подростках-стажерах «отряда 731» Моримура показывает, как милитаризм калечил психику молодежи.

Конечно, сейчас система образования подрастающего поколения в Японии официально не ставит перед собой цели воспитания в молодежи самурайского духа и абсолютного повиновения. И все же...

«В качестве последнего довода вы можете дать понять мальчику, что он смертен. Пригрозите ему ножом, добавив: «Я убью тебя, если не сможешь подтянуться еще разок». Так мы понимаем телесные наказания и добиваемся успехов этими методами». Это слова из недавнего высказывания Хироси Тоцуки, директора специализированной школы в Канда близ Нагои, произнесенного, по иронии судьбы, накануне ареста по обвинению в истязании воспитанников.

Еще в 1979 году один из школьников скончался от перитонита, вызванного, как предполагают, зверским ударом в живот. Ученики школы на следствии упорно молчали, демонстрируя «самурайскую стойкость», которую культивировал в своем заведении Тоцука. Но последний случай не удалось скрыть. 13-летний Масато Огава умер по дороге в больницу. Врачи обнаружили у него травму двенадцатиперстной кишки и ожоги. Заговор молчания вокруг «методов воспитания» был нарушен, ученики рассказали, что после избиения «учителем» мальчика «остудили» в море, а потом немного «подсушили у костра».

В связи с «делом Тоцуки» выяснилось, что его школа не исключение. «Итак,— резюмирует журнал «Фар истерн экономик ревью»,— не из столь уж отдаленного прошлого Тоцука и подобные ему «педагоги-любители» извлекли старые идеи совершенствования через боль и усмирения непокорных вплоть до смерти».

Книги Моримуры прочно связаны с сегодняшними проблемами: «Зло, которое творим мы сами, быстро уходит из нашей памяти. Однако, по моему мнению, когда речь заходит об уроках войны, нужно воскрешать именно эти воспоминания, как бы неприятны они ни были,— призывает писатель.— В мирное время легко выступать против войны. Но когда страну охватывает военный психоз, сдерживающей силой может явиться только память о прошлом. Она должна показать истинное лицо войны тем, кто не знает, что это такое... Самый тяжкий для человека гнет — это гнет совершенных им преступлений. А преступление, даже тогда, когда говорится, что оно совершается «на благо государства», все равно остается преступлением».

В этих словах писателя — пафос его книг.

С. ЧУГРОВ

Издано за рубежом

«ЭТО ЛЕНИНГРАД...»

Clara Haesaert, Daniël Van Rysse l. Vlaamse dichters over Leningrad. Gent, Yang Poëzie Reeks, 1982.

Клара Хасарт, Даниэл ван Рейсел. Фламандские поэты о Ленинграде. 1982.

Этой книге предпослано предисловие его составителей — Клары Хасарт и Даниэла ван Рейсела, известных фламандских поэтов, которым принадлежит инициатива создать поэтическую книгу, посвященную Ленинграду. Авторы предисловия подчеркивают, что русская культура «во всех формах ее выражения всегда с необычайной силой притягивала к себе Западную Европу», а за последние десятилетия ее значение сильно выросло. Тысячи бельгийцев посещают в наши дни Советский Союз — Москва и Ленинград стали городами, обладающими огромной силой притяжения. Составители набрасывают основные вехи истории «великого города на Неве» и рассказывают, как осажденный фашистскими агрессорами Ленинград в течение 900 дней находился в блокаде, которая унесла полмиллиона жителей.

В антологии приняли участие двадцать три поэта разного возраста: от участников второй мировой войны до молодых поэтов, еще недавно покинувших стены школ и университетов, совмещающих поэтическое творчество с преподаванием в школах или работой клерками, с преподаванием музыки, иностранных языков, истории, с журналистикой и спортом. Это поэты различных политических взглядов, придерживающиеся различных художественных направлений и отличающиеся разным уровнем профессионализма, но в этой книге их объединяет любовь к Ленинграду, который они посетили — бродили по его улицам, любовались его памятниками, многие часы проводили в его замечательных музеях, в Петергофе, Екатерининском дворце, Павловске, побывали в его театрах, парках, скверах.

Часть поэтов воспевает Ленинград как город-музей, в котором хранятся неисчислимые сокровища отечественного и мирового искусства, город, украшенный уникальными памятниками, скульптурами, гениальными творениями Растрелли, Росси, Баженова, Михайлова и других прославленных зодчих. Образ Пушкина незримо присутствует и в сегодняшнем Ленинграде, и Марк Мекерс, восхищаясь в стихотворении «Медный всадник» замечательным мастерством Фальконе, не может не вспомнить поэму «Медный всадник», в которой поэт создал символический образ России, мчащейся на вздыбленном коне «сквозь все эпохи». К Пушкину мысленно обращается и Реми де Кноддер, описывая застывшую во льдах Неву, «пастельные» дворцы:

> ...минувшие зимы,
> Свет, горящий в особняках,
> Конь, со звоном скачущий мимо,
> Пушкина светлый сон в стихах[1].
>
> *(«Ленинград»)*

Пушкину посвящено и стихотворение «Дом Пушкина», в котором Ник ван Брюген рассказывает о посещении дома на Мойке, где и развешанные на стенах гравюры, и недочитанные книги напоминают о гениальном поэте, сраженном пулей чужеземца.

Литературный Ленинград — важная тема, к которой обращается поэтесса Мириам ван Хе в стихах об Анне Ахматовой, долгие годы связанной с Ленинградом. Люсьенн Стассарт пишет о Есенине, который здесь закончил свой жизненный путь, Даниэл ван Рейсел — о Достоевском.

Но не только красота города, его памятники архитектуры, музеи и окрестности привлекают внимание поэтов. Описывая Петропавловскую крепость, ее каменные стены, Даниэл ван Рейсел напоминает, что нынешний музей был тюрьмой, где находились в заключении борцы за свободу, откуда уводили на казнь декабристов и старшего брата Ленина — Александра Ульянова, где в камерах томились Достоевский, Горький и другие сыны русского народа.

Город на Неве — «красный цветок», колыбель Октябрьской революции,— славен тем, что здесь жил и боролся Владимир Ильич Ленин, в честь которого он назван Ленинградом. «Город восстания против старого мира», город, который «выстоял целых 900 дней против нападения черной нечисти»,— восклицает Фредди Смекенс в стихотворении «Высокие ожидания», когда он после двухчасового полета приземлился в ленинградском аэропорту:

> Это Ленинград, сказал я.
> Это мы, ответил мой дорожный спутник.

В стихотворении «Город мой мертв» Йохен Коппенс посылает проклятья фашистским захватчикам, которые убивали мирных жителей, оставляли детей сиротами, проливали невинную кровь, но поэт верит, что «на политой кровью земле взойдут ростки молодого льна и из него соткут новые флаги». Этим художественным образом поэт стремится выразить свою веру в созидательные силы советского народа.

Лют де Блок в стихотворении «Сон о городе» также выражает веру в будущее города. В лирическом стихотворении «О Неве» известный бельгийский поэт, участник антифашистского Сопротивления, коммунист Марк Брат напоминает об испытаниях, которые обрушились в годы войны на Ленинград, о жертвах, им понесенных, о пепле, который покрывает дно Невы.

В стихотворении «Мир в Ленинграде» Барт Верхейен пишет, что, хотя со Дня Победы прошло сорок лет, человечество не должно забывать о понесенных утратах: «ни скорбь о погибших героях», ни пережитые страдания — ничто не должно заслонить от нас угрозу новой войны.

[1] Стихи даются в переводе автора.

Как уже говорилось, в этой книге представлены самые разные поэты, но отрадно, что, побывав в Москве, Ленинграде и других городах Советского Союза и познакомившись с новым миром, новыми для них общественными отношениями, они прониклись к этому миру искренней симпатией и верой в его будущее.

И. ВОЛЕВИЧ

РАВНОДУШИЕ ПРЕСТУПНО

Ivette Z'Graggen. Les Années silencieuses. Lausanne, Editions de l'Aire, 1982.

Иветт З'Грагген. Годы умолчания. 1982.

Книги о второй мировой войне крайне редки в Швейцарии. Военный пожар, бушевавший несколько лет вокруг этой маленькой страны, не обжег ее своим пламенем. Потому и память о ней не превратилась для швейцарцев в незаживающую рану, которая бы всечасно давала о себе знать и не позволяла успокоиться сознанию.

Тем более примечательно появление книги женевской писательницы Иветт З'Грагген, заставляющей своих сограждан оглянуться на годы войны, многими в Швейцарии попросту забытые. Книга эта, получившая премию Женевского общества писателей, вышла за три года до того, как приближение сорокалетней годовщины Победы над фашизмом всколыхнуло в странах Западной Европы целую волну произведений на тему второй мировой войны.

Что же побудило известную швейцарскую писательницу обратиться к этой теме? Случайно увиденный фильм, а затем попавшая ей в руки книга швейцарца Альфреда Хаслера «Полная лодка» (вышедшая еще в 1967 г.) открыли ей глаза на неизвестные до сих пор факты из истории ее собственной страны. Десятилетия подряд швейцарцам внушали, что их родина, извечно славившаяся гостеприимством, со всей щедростью и бескорыстием принимала в годы второй мировой войны всех беженцев, искавших спасения на ее территории. Выяснилось, однако, что Швейцария оказала гостеприимство лишь десяти процентам тех отчаявшихся людей, которые искали спасения под ее крышей от фашизма и геноцида.

Это «открытие» заставило писательницу отправиться в Освенцим — там она всматривалась в фотографии погибших в газовых камерах людей, и ей чудилось, что глаза их вопрошают: «А ты где была в то время? Что ты сделала, чтобы спасти нас от смерти?».

Возникла настоятельная потребность разобраться в прошлом — своей страны и своем собственном, чтобы оживить в памяти все эти «годы умолчания».

Сопоставляя хронику военных событий, довольно объективно освещаемую в книге Хаслера, с кропотливо изученными сообщениями швейцарской прессы тех лет, явно оберегавшей спокойствие обывателей, Иветт З'Грагген вспоминает и свою жизнь в те годы — чтобы по крупицам, из осколков воспоминаний и отрывочных дневниковых записей восстановить череду дней и те настроения, которые владели не только ею, но и окружающими людьми.

В ту пору писательнице было двадцать лет. Поэтому в книге немало и светлых страниц. Она радовалась жизни вопреки скучной и монотонной секретарской работе в Красном Кресте, увлекалась танцами, совершала прогулки в горы. Она рассказывает и о первых своих влюбленностях, и о первых литературных опытах.

Однако война постоянно напоминала о себе, и на самом деле мало кто в Швейцарии нейтрально относился к боям, которые шли за пределами ее границ. Были люди, опасавшиеся, что страну постигнет участь Франции, Бельгии и Голландии. Находились и такие, кто желал победы Гитлеру только ради того, чтобы война закончилась как можно скорее, а будущее Европы их не беспокоило. Других угешало, что Швейцария остается тихим и безмятежным островом посреди штормового океана. Простой же народ, пишет Иветт З'Грагген, был целиком на стороне Советского Союза и союзников, воевавших против фашистской Германии. Не оставались, по сути, нейтральными и официальные власти, которые, как стало известно, отказывали в приюте тысячам мирных беженцев. Но писательница тщетно пыталась отыскать сообщения об этом в швейцарской прессе военных лет. Швейцарские газеты, подробно информировавшие читателей о вернисажах и театральных премьерах и призывавшие, ввиду невозможности совершать заграничные путешествия, заняться изучением собственной страны и наслаждаться ее красотами, старательно замалчивали все, что могло пробудить тревогу и чувство ответственности за судьбы соседних народов. Лишь в конце войны пресса оповестила своих сограждан, что «безграничное благородство швейцарского народа по отношению к жертвам войны привело к тому, что их страна, подобно лодке, оказалась переполненной и забота о собственной безопасности требует, чтобы швейцарцы не позволяли себе больше отдаваться своим чувствам». Это означало, что Швейцария окончательно закрыла свои границы.

Восстанавливая ход истории и течение своей жизни в годы войны, писательница вспоминает, что и в ту пору она задавалась вопросом: имеет ли она право на безмятежное любование горными пейзажами, на радость и смех, когда где-то совсем рядом погибают люди? О многом задумываться ее заставляли и приходившие с русского фронта письма молодого немца Герберта, с которым она познакомилась до войны в Швейцарии. Переписка их длилась всю войну и оборвалась уже в 50-х годах. Они больше так и не встретились, но рассказчица навсегда запомнила то, что он написал ей в 1946 году: «Чувство вины, характерное для героев классических трагедий, стало отныне личной драмой бесчисленного множества немцев».

Возвращаясь из путешествия в прошлое и завершая книгу, в которой тесно переплетены История с большой буквы, документальная хроника военных лет и биография автора, писательница напоминает о том, как преступны бывают порой самоуспокоенность и равнодушие и как важно не

забывать о своем чувстве ответственности за происходящее и сегодня — когда равнодушие снова может привести к мировой трагедии.

Н. НИКОЛАЕВА

ПЯТОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Zdeněk Volný. Pátá roční doba. Praha, Československý spisovatel, 1983.

Зденек Вольный. Пятое время года. 1983.

В 1980 году в Праге вышли две книги тридцатичетырехлетнего прозаика Зденека Вольного. Этот двойной дебют был замечен критикой и читателем. Роман Зденека Вольного «Пятое время года» подтвердил его репутацию автора со своеобычным видением мира и оригинальным стилем.

Рукопись сборника рассказов «Воскресение на продажу» выпускник Карлова университета в Праге Зденек Вольный (он занимался одновременно на факультете естественных наук и факультете журналистики) завершил в 1976 году. Соотечественник Карела Чапека и Йозефа Несвадбы, обратившись к жанру научной фантастики, проецировал в будущее социальные, философские и нравственные проблемы современного мира, а иногда (например, в рассказе «Первый шаг к послезавтрашнему дню») пытался взглянуть на завтрашний день человечества из его более отдаленного грядущего.

Как бы на перекрестке времен живет и герой повести «День незапятнанного сердца», второй книги Зденека Вольного. Молодой кардиохирург Давид Гартман, в трудную минуту решившийся на рискованную операцию, постоянно осмысливает себя и свои поступки в исторической и даже космической перспективе.

Писатель часто ставит своих героев перед жизненным выбором и заставляет их дорого платить за верность избранным принципам. Так, в рассказе «Воскресение на продажу» бегун Перот расплачивается жизнью за отказ сотрудничать с преступной шайкой игроков на тотализаторе (к тому времени лошадей на «бегах» заменили люди). Погибает мальчик, ради спасения которого так много ставит на карту Давид Гартман.

Перед таким же трагическим по своим последствиям выбором стоит и герой романа «Пятое время года», молодой инженер-металлург Петр Радимец, попавший на медеплавильный завод и вовлеченный в банду расхитителей золота, являющегося побочным продуктом производства. Перед ним две возможности — сознательно участвовать в преступлении что сулит материальные блага, или отказаться от этого выгодного сотрудничества, рискуя стать жертвой мести преступников, боящихся разоблачения. Так же как в повести «День незапятнанного сердца», герой должен сделать выбор и в личной жизни: привлекательная дочь покойного заместителя директора завода Катержина требует и будет требовать от него компромисса с совестью, а Ярмила Бергерова, вдова вальцовщика золота, погибшего при таинственных обстоятельствах, сама нуждается в помощи, чтобы вернуться к полнокровной жизни.

Спасая Ярмилу, которая после ссоры со свекровью убегает в лес и едва не замерзает в метельную ночь, и открыто идя на конфликт с преступниками, Петр выбирает единственно достойную человека дорогу, хотя она и приведет его к гибели.

Борьба Петра Радимца за жизнь и душу Ярмилы Бергеровой, которая живет под строгим надзором матери покойного мужа и наглухо отгорожена от всего окружающего мира, обретает символический смысл поединка с религиозной догмой и смертью. А стремление героя познать тайны, с которыми сталкивает его судьба, осмысливается как попытка понять сущность природных явлений.

Точность описания технологического процесса и обстановки на заводе сближает «Пятое время года» с производственным романом, а мотив неразгаданного преступления — с романом детективным, но по своей внутренней сути это роман философский, роман-притча. Как и в предшествующих книгах Вольного, в нем две основные и взаимосвязанные темы: тема преодоления страха и тема судеб человеческой цивилизации. С «потенциальной трагедией» связано все существование человечества. Само рождение каждого человека уже сопряжено с риском. И Давид Гартман, и Петр Радимец, преодолевая страх, выполняют свое человеческое предназначение.

Микрокосм рядового «человека последней четверти двадцатого века» у Вольного включен в макрокосм истории Вселенной. Постичь сущность пространства и времени для Гартмана и Радимца не абстрактно-философская, а глубоко личная жизненная проблема. Герои писателя живут как бы в двух временных измерениях — реальном, конкретно-историческом, ограниченном тесными рамками «времен года», и сверхреальном, охватывающем историю человеческого рода. Это время мифа и время общечеловеческого познания, науки. Для каждого человека ощущение времени субъективно. Субъективна и мечта Петра Радимца о «пятом времени года», времени индивидуальной свободы, полной человеческой самореализации, надежды, бессмертия. Но в своем стремлении к этому он включается в объективный исторический процесс, в мифотворческую деятельность человечества.

Философский характер прозы Вольного проявляется и в его склонности к парадоксам и афоризмам. В «Дне незапятнанного сердца» мы читаем: «У них нет времени, они все мчатся в машинах...», а на страницах «Пятого времени года»: «...каждая эпоха проявляет самовлюбленность, утверждая, что она нова и составляет предел между прошлым и будущим», или: «В вечных истинах опору не обретешь, многие не оправдали себя в изменившемся мире, но еще более опасными стали те, которые незаметно превратились в сохраняющиеся по инерции лжеистины» и т. д.

Метафорический строй «Пятого времени года» говорит о том, что молодой писатель продолжает в чешской прозе традицию Владислава Ванчуры. Так же как у Ванчу-

ры, диалог носит у него часто не бытовой и индивидуально-психологический, а философско-метафорический, обобщенный характер. Однако в отличие от Ванчуры Вольный не ограничивается поэтической, фольклорной или мифологической метафорой, устоявшимися литературными символами, а строит метафору на материале, который ему дает история науки и современное естествознание.

Некоторые чешские критики, высоко оценивая вклад Вольного в развитие новейшей чешской прозы, упрекают его в чрезмерной сложности. Не сказывается ли некоторая недооценка возможностей и творческой активности читателя? Тот же упрек делался в свое время и Ванчуре. Оказалось же, что читатель опередил критику. Представляется, что для Вольного опасна не столько «тенденция к переоценке философского элемента как художественного средства» (Зденко Павелка), сколько известное несоответствие масштабности художественного изображения и философско-метафорического обобщения. В повести «День незапятнанного сердца» сюжет играл вспомогательную роль. На первый план выступала метафора (образ оперируемого сердца), и сюжетно-психологический план произведения был подчинен ее осмыслению и раскрытию. В романе «Пятое время года» сюжетная линия более самостоятельна и развернута, но ощущается недостаточное равновесие конкретно-исторического и философско-метафорического планов. Путь к устранению этого несоответствия — в расширении реального, конкретно-исторического, сюжетного диапазона.

Творчество Зденека Вольного свидетельствует о широких возможностях и перспективах социалистического искусства. Но духовную битву за общечеловеческие ценности такое искусство может выиграть лишь при высокой идеологической оснащенности. И Зденек Вольный сознает ответственность и сложность этой задачи.

ОЛЕГ МАЛЕВИЧ
Ленинград

◆

Наши гости

Д-р Хиссам аль-Хатыб

Сирия

Сирийский журнал «Аль-Адаб аль-Аджиабийа» («Иностранная литература») существует около 10 лет. Его главный редактор, член правления Союза арабских писателей САР, д-р Хиссам Аль-Хатыб, посетил Советский Союз в качестве гостя нашей редакции и Союза писателей СССР.

В отличие от «Иностранной литературы» «Аль-Адаб аль-Аджиабийа» — издание ежеквартальное, и, по словам его главного редактора, номера, как правило, готовятся по тематическому или региональному принципу. Так, один из последних номеров посвящен литературе Африки, другой — Японии. Сейчас готовятся выпуски по литературе Китая, Австралии. В одном из ближайших номеров будет отражено литературное творчество женщин, другой — сосредоточит внимание на проблемах художественного перевода. У журнала нет постоянного штата, его выпускает д-р Хиссам аль-Хатыб и группа энтузиастов: переводчики, литературоведы, критики. Издание как орган Союза арабских писателей САР распространяется во всех арабоязычных странах сравнительно небольшим тиражом — шесть-семь тысяч экземпляров, но для Ближнего и Среднего Востока это тираж значительный.

Наряду с активной публицистической, просветительской, преподавательской и научно-исследовательской деятельностью наш гость ведет большую общественную и государственную работу. Выходец из Палестины, д-р Хиссам аль-Хатыб — генеральный секретарь агентства Арабского Парламентского Союза, член Национального Совета Палестины.

По словам писателя, в последнее время резко возрос интерес сирийцев и вообще арабов к советской литературе и культуре. Причем немалое число талантливых литераторов, получивших образование в СССР, заняты переводом с русского языка на арабский. Раньше это было большой редкостью: переводы русской и советской литературы, как правило, выполнялись через один из западноевропейских языков-посредников. Прямой перевод придал новый импульс культурному обмену наших народов.

Из месяца в месяц

БОЛГАРИЯ

ЛУЧШАЯ КНИГА ПОЭТА

Последний сборник известного поэта Павла Матева единодушно отмечен критикой как лучший в его творчестве.

Павел Матев, писал журнал «Септември», принадлежит к поколению, вступившему в литературу сразу же после социалистической революции в Болгарии. Радость победы над фашизмом, преклонение перед подвигом героев, боровшихся за свободу, пафос начинавшегося в те годы социалистического строительства — такова основная тематика произведений этих поэтов, в том числе и Павла Матева. Многие его стихотворения и поныне остаются образцами гражданской поэзии.

В 70-е и 80-е годы Матев все чаще и чаще обращается к лирике, в которой призывает бороться за нравственную чистоту, за духовное совершенствование человека. Тема любви для него становится главной. В одном из своих интервью поэт сказал: «Коммунисты положили в основу своего кредо любовь — любовь к жизни, к человеку, к справедливости, к женщине. Любовь — это величайшая красота».

Последний сборник Матева — продолжение и развитие написанного им ранее, того, чему он поклонялся всю жизнь: революции, отчему дому, величию погибших революционеров, созиданию, которое не подвластно времени и — любви. «Этот сборник, — подчеркивает журнал «Септември», — как бы озарен осенним светом прекрасного возраста, когда подводятся итоги».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

«НА ЧЬЕЙ ВЫ СТОРОНЕ?»

Корреспондент газеты «Морнинг стар» взял интервью у прогрессивного режиссера Кена Лоача, который рассказал о нелегкой судьбе своего фильма «На чьей вы стороне?», посвященного забастовке шахтеров. Название фильма взято из песни шотландского певца Дика Гогхена.

Фильм должен был появиться на телеэкранах в ноябре прошлого года, затем его перенесли на декабрь, а в последний момент и вовсе отменили. Фильм отвергли по той причине, «что он слишком политичен, — заметил Кен Лоач, — но я не могу отделять искусство от политики».

Режиссеру удалось представить свою работу на кинофестивале во Флоренции в декабре 1984 года, где она завоевала первую премию. По мнению Кена Лоача, именно признание фильма за рубежом повлияло в конце концов на решение лондонского телевидения выпустить его на экран в январе 1985 года. Правда, как отмечает корреспондент «Морнинг стар», только по четвертой программе и в девять часов утра.

ВЕНГРИЯ

«ВЕНГЕРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА — ВЕНГЕРСКИЙ АНТИФАШИЗМ»

В преддверии 40-летия освобождения Венгрии центральная газета «Непсабадшаг» регулярно публиковала материалы, посвященные этой знаменательной дате. К ним относится и статья литературного критика Пала Фехера «Венгерская литература — венгерский антифашизм», где на конкретном историческом материале показано, как зарождались и крепли антифашистские настроения в Венгрии, как происходило становление антифашистской литературы.

Фашизм, подчеркивает Фехер, представлял общую угрозу: в душе каждого честного человека он вызывал естественное чувство сопротивления. Это чувство объединяло людей самых разных верований и убеждений: католиков и православных, радикалов и социал-демократов, представителей среднего сословия и партии мелких хозяев, передовых рабочих и находящихся на нелегальном положении коммунистов.

В атмосфере жестокости, которую насаждали Гитлер, Муссолини, Хорти и Франко, отмечает Фехер, «настоящая литература могла быть только антифашистской литературой»: об этом еще в 1933 году писал один из журналов политической эмиграции в Праге.

В своей статье Фехер подробно рассказывает о видном венгерском журналисте Дёрде Балинте (1906—1943). павшем жертвой фашизма. Балинт — автор крупного публицистического произведения «Я был в Испании», из-за острой антифашистской направленности так и не увидевшего свет в хортистской Венгрии. В своих многочисленных статьях, очерках, эссе, репортажах Балинт выступал против буржуазной пассивности, призывал к объединению всех прогрессивных сил и активному сопротивлению фашизму.

Большое место Фехер уделяет деятельности журналов «Корунк» («Бухарест») и «Уй ханг» («Москва»), вокруг которых группировались венгерские писатели, вынужденные жить в эмиграции. На страницах этих журналов появлялись материалы, где поднимались важные общественные проб-

На снимке: памятник Миклошу Радноти работы скульптора Миклоша Миллоко.

(Журнал «Уй тюкёр»)

лемы, например, осуждение расовых преследований, земельный вопрос, защита культурных ценностей. Публикации журналов способствовали тому, чтобы в борьбе за новую Венгрию объединялись такие далекие друг от друга по своим взглядам люди, как буржуазный историк Дюла Секфю, филолог Карой Кереньи, писатель-народник Петер Вереш, рабочий писатель-коммунист Иштван Надь, социал-демократ Иллеш Монуш.

По мнению Фехера, программу венгерского антифашизма сформулировал, — учитывая условия, в иносказательной форме — известный поэт, прозаик и переводчик Михай Бабич в стихотворении «Молитва Ионы»: «...построить звуки в мощные когорты и, не щадя ни голоса, ни сил, бесстрашно говорить, — как Ты учил,— покуда небеса иль Ниневия позволят изрекать слова живые!..» Эта программа нашла свое развитие в творчестве поэта-антифашиста Миклоша Радноти (его «Дневники» печатались в № 4 «ИЛ» за этот год).

Антифашистская литература, пишет Пал Фехер, была смелым вызовом злу и насилию. Духовное сопротивление фашизму стало тем зерном, что дало побеги новых начинаний, приумноживших гуманистические традиции венгерской литературы.

ГДР

«ФИКСИРОВАТЬ, РАСКРЫВАТЬ, ДОКУМЕНТИРОВАТЬ»

В конце минувшего года в Лейпциге состоялся очередной международный фестиваль короткометражных и документальных фильмов. Его девиз — «Фильмы мира за свободу и мир», символ — голубка Пикассо: под ее крыло, начиная с 1961 года, собирается все больше и больше прогрессивных деятелей киноискусства.

В фестивале приняли участие 55 стран, а также Западный Берлин, Организация освобождения Палестины, Антифашистский комитет Чили, ООН и ЮНЕСКО. Всего было показано 393 фильма.

По разделу документалистики главная премия фестиваля — «Золотая голубка» — присуждена двум лентам. Первая — «Маршал Жуков». Над фильмом о легендарном маршале, чей полководческий талант ярко проявился еще в 1939 году на Халхин-Голе, где советско-монгольские войска дали отпор японскому милитаризму, советский режиссер Марина Бабак работала целых девять лет. По мнению критиков, она создала блистательный портрет Жукова-человека. В фильме использованы редкие фотографии (Жуков не любил сниматься), неизвестные ранее материалы о второй мировой войне.

Еще одну «Золотую голубку» и приз международных киноклубов получила картина, снятая группой американских кинематографистов, — «Славная битва. Бригада имени Авраама Линкольна в гражданской войне в Испании». Как известно, в рядах республиканцев сражались три тысячи добровольцев из США. Лишь половина из них вернулась на родину. «Славная битва» знакомит зрителей с судьбами ветеранов Национально-революционной войны в Испании, которые, пережив поражение Республики и мрачные времена маккартизма, сохранили верность идеалам своей молодости. Этот, по оценке критиков, необычайно возвышающий душу фильм — не что иное, как «небольшой групповой портрет иной Америки».

По традиции стержнем каждого лейпцигского фестиваля становится какое-либо крупное политическое событие. На этот раз на повестке дня стояла Никарагуа. Помимо фильмов, пронизанных солидарностью со свободолюбивой Никарагуа, на фестивале были представлены и работы никарагуанских кинематографистов. Их лейтмотив — радость революционных свершений; вместе с тем они приобщают зрителя к тревожным будням страны, которая живет под угрозой интервенции со стороны Соединенных Штатов. Премии «Золотая голубка» удостоился короткометражный фильм «Мы взрываем тишину» — о трудностях мирного созидания в обстановке непрестанного вмешательства контрреволюционных сил.

На лейпцигских фестивалях, отмечает корреспондент датской газеты «Ланд ог фольк» Хелле Хёгсбро, встречаются люди, «которых объединяет общая задача — фиксировать, раскрывать, документировать». И хотя «классовые бои с кинокамерой в руках» зачастую ведутся в одиночку, в неимоверно сложных, опасных условиях, что порой снижает технический и художественный уровень кинолент, — в информационном отношении ленты эти всегда на высоте: объектив нацелен на самые горячие точки планеты. Особенно оперативны — будь то Ливан, Чили или Сальвадор — кинодокументалисты из «маленькой Голландии». Не случайно симпатии участников фестиваля завоевали два голландских короткометражных фильма — «Ким Фук» и «Вот почему государство виновно».

Ким Фук — имя вьетнамской девочки, фотография которой двенадцать лет назад обошла весь мир: нагая, объятая пламенем напалма, она с криком бежит по дороге. Авторам кинофильма удалось разыскать Ким Фук. Вопреки мучительной болезни, сделавшей ее полным инвалидом, Ким Фук не разучилась улыбаться: она предстает на экране как воплощение несгибаемого духа вьетнамского народа. Фильм о Ким Фук был удостоен премии «Серебряная голубка».

Второй фильм посвящен памяти отважного борца за права человека в Сальвадоре Марианеллы Гарсиа Вильяс, злодейски убитой в 1983 году. В нем обличаются реакционные круги США, оказывающие поддержку сальвадорскому режиму.

Как подчеркивает корреспондент «Ланд ог фольк», немало кинолент, привезенных на фестиваль, свидетельствует о преступных акциях американского империализма. Но они также свидетельствуют о «человеческом мужестве и воле к борьбе», повышая тем самым политическое самосознание аудитории.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

Повесть известного немецкого писателя Леонгарда Франка «Карл и Анна», появившаяся в конце 20-х годов, получила признание не только в Германии, но и за ее пределами. Она легла в основу фильма «Женщина

На снимке: Петер Циммерман и Иоахим Летш в фильме «Женщина и чужой».

(Еженедельник «Зонntаг»)

и чужой», который создал на студии ДЕФА режиссер Райнет Симон. На экране ожили события последних недель первой мировой войны, история трагической любви. «Так же как и повесть Леонгарда Франка, фильм показал, что война оставляет после себя не только миллионы трупов и калек, она оставляет еще и незаживающие раны в сознании людей, искалеченные судьбы», — пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд».

Фильм «Женщина и чужой» получил «Гран-при» тридцать пятого Международного кинофестиваля в Западном Берлине — премию «Золотой медведь».

ДАНИЯ

«ИСТИННАЯ ИСТОРИЯ — ЭТО НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ»

Издательство «Фремад» («Вперед») выпустило на книжный рынок небольшой роман под названием «Шесть дней». Это — последний вклад известной датской писательницы Дитте Седерстран в извечный спор мастеров культуры о предназначении человека: через несколько дней после выхода романа в свет Дитте Седерстран не стало. В августе этого года ей бы исполнилось семьдесят.

Со смертью Дитте Седерстран новейшая литература социалистического направления в Дании понесла большую утрату, отметил в газете «Ланд ог фольк» критик Петер Грегерсен, однако созданным ею произведениям суждена долгая жизнь. В первую очередь это относится к восьмитомной эпопее «История опрошенных», первая книга которой попала к читателю в 1974 году.

Литературный дебют Дитте Седерстран состоялся более тридцати лет тому назад. Одна из ранних ее публикаций — путевые заметки «ГДР. Германская Демократическая Республика», написанные совместно с мужем, писателем Харальдом Хердалем, близким к «школе Нексё». Затем последовал созданный самостоятельно роман-трилогия «Священный альянс» (1953—1955). Уже в этом произведении Дитте Седерстран наметилась главная тема ее творчества: человек во враждебном ему капиталистическом обществе. К сожалению, констатирует Петер Грегерсен, трилогия была издана в самый разгар «холодной войны» и потому не получила широкого признания.

Дитте Седерстран, автор романов о рабочем классе, целого ряда публицистических выступлений на остросоциальные темы, всегда была активным бойцом фронта социалистической культуры. Не случайно именно она откликнулась на смерть Анны Зегерс яркой, содержательной статьей, опубликованной на страницах «Ланд ог фольк».

Творчество Дитте Седерстран пронизано, по словам Петера Грегерсена, духом борьбы и жаждой революционных преобразований. Дитте Седерстран была против того, чтобы критики причисляли ее к клану собственно реалистов, ибо считала себя представителем социалистического направления в литературе: реалист, утверждала она, всего лишь правдиво отображает действительность, писатель же, стоящий на позициях соцреализма, привносит в свои произведения революционное видение, веру в то, что действительность можно изменить к лучшему.

Вторая мировая война застала Дитте Седерстран в Германии. Увидев разгул нацизма собственными глазами, она не могла не рассказать об этом в своих книгах. Войны, подчеркивала она, развязываются в капиталистическом обществе стоящей у власти верхушкой, которой нет дела до того, хочет рабочий класс воевать или нет.

В радиоинтервью, взятом у Дитте Седерстран ровно год назад, 5 мая — в годовщину капитуляции гитлеровских войск, оккупировавших Данию, — писательница заявила:

— Истинная история — это народная память. То, что я сама и мое поколение узнали о фашизме в Европе, не должно уйти с нами в могилу. Нельзя допустить, чтобы каждое новое поколение начинало с нуля и повторяло страшные ошибки прошлого.

ИНДИЯ

К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

40-летие великой Победы Советского Союза над германским фашизмом отмечает прогрессивная общественность Индии. В Дели состоялась читательская конференция по роману Бориса Васильева «В списках не значился». Конференция была организована Индо-советским литературным клубом и проходила под председательством известного индийского поэта, президента Национальной федерации прогрессивных писателей Индии Гулама Раббани Табана.

В обсуждении романа Бориса Васильева, воскресившего в памяти читателей первые, самые трудные дни войны, приняли участие представители творческой интеллигенции индийской столицы: ученые, писатели, деятели культуры. Все они единодушно отметили высокое мастерство советского писателя, сумевшего воссоздать трудное и героическое время в истории своей страны.

ИРАК

«ЗАПИСКИ ОХОТНИКА» ВПЕРВЫЕ НА АРАБСКОМ

В Багдаде, в издательстве Министерства культуры и информации, впервые на арабском языке появилась книга И. С. Тургенева, в которую целиком включен знаменитый цикл рассказов «Записки охотника». Сам по себе этот отрадный факт, как отмечает критик Аднан Салим, отражает возросший во всем арабском мире, и в Ираке в частности, интерес к русской классической литературе.

Книга Тургенева переведена известной иракской исследовательницей доктором Хаят Шарара. Перевод отличается большой точностью и художественным мастерством. Доктор Х. Шарара является выпускницей филологического факультета МГУ, в свое время там же окончила аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию.

Жизнь и быт русских крестьян, социальные процессы, нравственные проблемы, столь ярко описанные Тургеневым в «Записках охотника», живо напоминают арабскому читателю сложности аграрной реформы, происходившей на глазах старшего поколения в Ираке несколько десятилетий назад. И в этом прежде всего видится актуальность появления книги Тургенева сейчас, в середине 80-х годов нашего столетия, отмечает критик.

В предисловии Х. Шарара справедливо подчеркивает, что «Записки охотника» Тургенева не просто продолжают плодотворные традиции русского реализма, прежде всего Н. В. Гоголя, но и дают отчетливое представление о существенных чертах национального русского характера, его доброте, нравственной чистоте, скромности, его прирожденной эстетической чуткости и способности восхищаться красотой окружающего мира.

Это убедительно показано Х. Шарара на примере подробного анализа рассказов «Хорь и Калиныч», «Касьян с Красивой мечи».

Появление «Записок охотника» на арабском языке, отмечает критик, — новое подтверждение тому, что русская литература сильна своим гуманизмом. Она отражает чаяния и надежды многих народов, вступивших на путь освобождения, на путь борьбы за лучшее будущее, независимо от их национальной принадлежности.

ИСЛАНДИЯ

«АТОМНАЯ БАЗА»

Недавно на экраны Скандинавии вышел новый исландский художественный фильм «Атомная база», поставлен-

ный режиссером Торстейном Йонссоном по одноименному роману его знаменитого соотечественника Халлдора Лакснесса, лауреата Нобелевской и других международных премий по литературе, а также Международной премии мира.

Сатирический роман «Атомная база» хорошо знаком советскому читателю, равно как «Салка Валка», «Самостоятельные люди», «Свет мира», «Исландский колокол» и другие произведения Лакснесса. Он был опубликован в 1948 году, вскоре после того, как Исландия подписала соглашение о предоставлении Соединенным Штатам части своей территории для строительства военной базы. В этом романе Лакснесс гневно обличал правящие круги, предавшие независимость Исландии. Неудивительно, что по выходе в свет книга подверглась яростным нападкам со стороны тех, против кого она была направлена; автора обвиняли даже в скоропелости выводов, в незрелости политического мышления.

Страстный призыв Халлдора Лакснесса ко всему человечеству не допустить атомной войны не утратил своей силы и по сей день. Именно чрезвычайная актуальность романа, подчеркивает рецензент датской газеты «Ланд ог фольк», и вдохновила исландских кинематографистов на его экранизацию (главную роль в фильме сыграла актриса Тина Гуннлаугсдоттир).

Режиссер Торстейн Йонссон, окончивший в свое время кинофакультет пражской Академии искусств, снял, по мнению критиков, хороший, правдивый фильм. Он сумел передать дух романа и отчетливо показал ту пропасть, что лежит между интересами кучки политиканов и надеждами и чаяниями простого народа.

НИДЕРЛАНДЫ

«ОЧИЩЕНИЕ ПРЕССЫ»

Так назвал Иэст Морриен рецензию в газете «Ваархейд» на недавно опубликованную в Нидерландах книгу «Пресса в Нидерландах в 1944—1951 гг.». Книга вышла в издательстве «Фибула ван Дисхун». Ее авторы два журналиста — Ян Дривер и Ян Брауэр. В книге сообщается о том, что сразу же после освобождения страны от фашистской оккупации бывшие участники Сопротивления, сотрудничавшие в подпольных, антифашистских изданиях, создали специальную комиссию для расследования деятельности тех лиц, которые сотрудничали в коллаборационалистских органах печати. Отныне им запрещалось заниматься журналистской деятельностью, участвовать в газетах, журналах и других печатных органах.

Были запрещены такие издания, как «Дахблад ван Норден Брабант», «Националe дахблад» и «Фолк эн фадерланд». Некоторым печатным органам, в которых принимали участие коллаборационисты, было запрещено издаваться в течение 75 лет, а потом их надлежало переименовать.

Морриен называет эту акцию «очищением», то есть денацификацией прессы, и пишет, что после окончания оккупации еще продолжал звучать голос прессы Сопротивления, звавший к мужеству, к усилению гражданского самосознания. Он с горечью констатирует тот печальный факт, что из сотен газет, выходивших в годы Сопротивления, большинство исчезло буквально мгновенно и восстановить их не удалось. А ведь они имели громадное воспитательное значение и призывали к борьбе не только с фашистами, но и намечали перспективы дальнейшего развития общества, создание новых социально - политических форм.

НИКАРАГУА

ПОЭТ, ПРОСВЕТИТЕЛЬ, РЕВОЛЮЦИОНЕР

Известному никарагуанскому поэту и революционеру Эрнесто Карденалю исполнилось 60 лет. Его творческая и политическая деятельность неразрывно связана с культурным развитием и освободительной борьбой народов Латинской Америки. В 1954 году Карденаль участвовал в апрельском восстании против сомосовской диктатуры. В 1965 году он был рукоположен в сан священника и тогда же основал на архипелаге островов Солентинаме на озере Манагуа коммуну, получившую всемирную известность. Многие его соратники впоследствии стали активными участниками Сандинистского фронта национального освобождения.

В интервью газете «Унзере цайт» Эрнесто Карденаль сказал: «Деятельность в качестве священника неотделима для меня от деятельности революционной, в которой я вижу служение ближним. Все мои стихи также посвящены общественным преобразованиям, созиданию лучшего мира».

Поэзия Карденаля, принесшая ему мировую славу, пронизана глубоким гуманизмом, в ней неизменно звучат слова протеста против эксплуатации и социальной несправедливости. Даже в своих религиозных произведениях, таких как «Евангелие солентинамских крестьян», Карденаль не ограничивается описанием тяжелой действительности: обнажая корни социального неравенства, он осуждает американских империалистов и сомосовскую диктатуру, призывает к восстанию.

После победы никарагуанской революции летом 1979 года Эрнесто Карденаль был назначен министром культуры страны. «В этой революции культуре придается очень большое значение,— говорил Карденаль.— Мы не мыслим себе материального благосостояния, которое не сопровождалось бы духовным развитием».

В последние годы Ватикан неоднократно требовал от Эрнесто Карденаля и трех других священнослужителей — членов кабинета министров Никарагуа — выхода из состава сандинистского правительства. А не так давно Карденаль был лишен права отправлять обязанности священника.

В ответ на репрессии со стороны Ватикана Эрнесто Карденаль заявил: «Если бы я согласился с требованиями Иоанна-Павла II и покинул пост в правительстве, это было бы равносильно предательству по отношению к моему народу, особенно сейчас, когда против Никарагуа готовится агрессия».

ПОЛЬША

«НЕВИННЫЕ В НЮРНБЕРГЕ»

В своей постоянной рубрике «Что читать» газета «Трибуна люду» сообщает, что в издательстве «Ксёнжка и ведза» вышла книга Северины Шмаглевской «Невинные в Нюрнберге». Это уже четвертое издание книги.

Северина Шмаглевская, узница Освенцима, пережила все ужасы фашистского лагеря. что нашло отражение в ее повести «Дым над Биркенау» (1945). Переведенная на многие языки, повесть эта была представлена польским правительством в качестве обвинительного документа на Нюрнбергском процессе, где писательница выступала как свидетель.

В основу книги «Невинные в Нюрнберге» тоже легли воспоминания. Обращаясь к прошлому, Северина Шмаглевская противопоставляет страшное время беспредельного унижения человека новой эпохе, «встающей из пепла».

Эта книга, отмечает «Трибуна люду», принадлежит к числу произведений, где коллективная народная память вопиет о преступлениях, которые совершили перед человечеством «невинные в Нюрнберге».

ПАМЯТИ ВАНДЫ ВАСИЛЕВСКОЙ

В связи с 80-летием со дня рождения Ванды Василевской в Варшаве в Доме польско-советской дружбы состоялся вечер, на котором присутствовали ветераны рабочего движения, боевые соратники писательницы из дивизии им. Тадеуша Костюшко, учащаяся молодежь.

Минуло сорок лет новейшей истории Польши, пишет газета «Трибуна люду». В январе этого года вся Варшава почтила память польских и советских солдат, которые освободили город от гитлеровских оккупантов. В честь этого события был воздвигнут памятник воинам 1-й дивизии им. Тадеуша Костюшко, которые бок о бок с воинами Советской Армии освобождали столицу. На берегу Вислы поднялся одиннадцатиметровый монумент работы скульптора Анджея Кестена (на снимке).

(Газета «Трибуна люду»)

Еще студенткой Краковского университета Ванда Василевская вступила на путь революционной борьбы. По окончании университета она стала учительницей, но ее отовсюду увольняли за свободолюбие: начальству претило, что Василевская прививает своим ученикам чувство человеческого достоинства, оно не могло допустить, чтобы учительница была организатором забастовок или шла во главе демонстрантов, вступающих в стычки с полицией. После увенчавшейся успехом шестинедельной забастовки каменщиков весь Краков знал Василевскую как активную участницу «беспорядков». С мужем и маленькой дочкой она была вынуждена уехать в Варшаву, где профессиональный союз польских учителей устроил ее на работу в журнал «Пломык». Как и прежде, Василевская продолжала выступать на рабочих собраниях и митингах, в 1937 году она организовала забастовку учителей. К этому времени относится и начало ее литературного творчества.

В межвоенное двадцатилетие ею были созданы роман «Родина» (1935) и повести «Облик дня» (1934) и «Земля в ярме» (1938) — произведения огромной обличительной силы, в которых реакционная пресса увидела грозную опасность, демократическая — мощную опору.

В сентябре 1939 года гитлеровские полчища вторглись в Польшу, и тысячи беженцев устремились на Восток. Василевская добралась до Львова, и приняла там советское гражданство.

Во время второй мировой войны особенно ярко проявились организаторские способности писательницы. Будучи одним из основателей и руководителей Союза польских патриотов, она активно участвовала и в создании польской армии на территории СССР: в составе войск Советской Армии, овладевших Берлином, была и 1-я Польская дивизия им. Тадеуша Костюшко.

В широко известной книге «Радуга», по которой был создан одноименный фильм, Василевская показала мужество и героизм советских людей в годы Великой Отечественной войны.

Всем своим творчеством Ванда Василевская боролась против социальной несправедливости, против фашизма, несущего смерть и разрушение, за мир во всем мире. Об этом, как пишет газета «Трибуна люду», говорили на вечере, посвященном памяти писательницы, ее боевые товарищи по рабочему движению и по оружию.

ПУЭРТО-РИКО

РАССКАЗЫ ДЕБЮТАНТОВ

Издательство «Норте» выпустило в свет сборник рассказов «Неслучайная встреча». Сюда вошло по два произведения этого жанра десяти начинающих авторов, выступивших в литературе почти одновременно.

«Это не случайное совпадение, — отмечает автор предисловия и составитель книги литературовед и критик Эфраин Баррадас. — Жанр рассказа получил значительное распространение в литературе Пуэрто-Рико и пользуется широкой популярностью». Дебютанты, по его мнению, следуют традициям жанра малой формы прозы в национальной литературе, сложившейся еще в 40-х годах. И вместе с тем их произведения несут на себе отпечаток новых веяний, порожденных современностью. Эти произведения свидетельствуют о большом интересе их авторов к актуальной проблематике.

«Предисловие Э. Баррадаса, — отмечается в журнале «Каса де лас Американас», — это своеобразное глубокое исследование наиболее характерных особенностей и перспектив развития жанра рассказа в литературе Пуэрто-Рико».

США

«РАНЫ ВОЙНЫ»

Так назвала известная американская романистка Энн Тайлер свою рецензию в еженедельнике «Нью-Йорк таймс бук ревью» на роман «Механические сны» (издательство «Сеймур Лоренс»), принадлежащий перу молодой писательницы из Бостона Джейн Энн Филлипс. Когда Джейн Энн Филлипс дебютировала шесть лет назад сборником рассказов «Черные билетики», о ней заговорили как об «открытии» конца 70-х годов. В «Механических снах» она обратилась к романному жанру, и здесь ей также сопутствовал успех: вышедший в середине 1984 года роман до сих пор находится в центре внимания читателей и критиков, которые высоко оценивают литературное мастерство писательницы. По мнению Энн Тайлер, «Механические сны» представляют собой на редкость органичный сплав малой, казалось бы, «семейной» темы и серьезных социальных проблем.

Эта книга — история одной американской семьи, в которой нашла отражение «большая история» страны, судьба нескольких поколений, нравственно и психологически покалеченных войной. Роман строится как серия монологов, произносимых вслух или на страницах писем членами семьи Хэмпсон. Открывается роман монологом Джин Хэмпсон: обращаясь к дочери, она мысленно возвращается к поре своей юности, полной смутных надежд и предчувствий, к поре первой любви и — краха всех иллюзий, последовавшего за нелепой смертью ее семнадцатилетнего возлюбленного. Встреча с приземленным, деловым Митчем Хэмпсоном заканчивается поспешным замужеством, которое в итоге распадается. Но кто виноват: она ли, так и не сумевшая смириться с серой повседневностью, или он, не сумевший озарить ее жизнь? Как показывает автор, причины распада семьи Хэмпсон лежат глубже, он вызван «эрозией души» Митча, и в этом повинен не только сам герой. Митчу посвящена вторая глава, а также третья, где собраны его письма с фронта: в 1942—1945 годах он воевал на Тихом океане. Здесь впервые появляется емкий образ-символ «механических снов» — навязчивых кошмаров, порожденных неприкрашенной и жестокой правдой военных будней. В письмах друзьям Митч описывает эти «сны»: ползущий по изрытому воронками полю бульдозер сгребает разлагающиеся трупы японских солдат. Вернувшись с фронта, Митч пытается вновь войти в размеренный ритм мирной жизни, но «механические сны» не дают ему покоя; подобно героям молодого Хемингуэя, он так и не оправился от «ран войны», круто изменившей всю его жизнь.

Последующие главы повествуют о судьбе дочери и сына Хэмпсонов — Дэннер и Билли. История Билли Хэмпсона перекликается с печальной одиссеей его отца: призванный в конце 60-х годов в армию, Билли отправляется в джунгли Вьет-

Многие произведения Эрнеста Хемингуэя, в том числе и о войне («Прощай, оружие!», «По ком звонит колокол»), были экранизированы. Сейчас предпринята еще одна попытка экранизации произведения Хемингуэя. Режиссер Джеймс Голдстоун снял для телевидения фильм, в основу которого лег роман «И восходит солнце». Сценарист Роберт Л. Джозеф на вопрос корреспондента «Интернэшнл геральд трибюн», какова идея фильма, ответил: авторы фильма стремились показать, что война — это ад, от нее никому не укрыться, «мы хотели сделать серьезный антивоенный фильм».
На снимке: кадр из фильма «И восходит солнце».

(Газета «Интернэшнл геральд трибюн»)

нама и пропадает без вести. В его письмах с фронта также возникает мотив «механических снов» — как контрапункт романтическим фантазиям его детства, когда они с Дэннер играли в выдуманную, полную удивительных тайн жизнь.

Война в романе Джейн Энн Филлипс, подчеркивает Энн Тайлер, трактуется не столько в историческом, сколько в нравственном аспекте — как социальное деяние, противное человеческому разуму. Его разрушительное действие проявляется не только на поле боя, где человек уничтожается физически, но и в мирные времена, ибо даже после того, как рассеивается пороховая гарь, в душе человеческой остаются глубокие незаживающие раны.

ФРАНЦИЯ

И СНОВА О СОПРОТИВЛЕНИИ

У каждой страны — своя история. У каждого кинематографа — свой подход к этой истории. Французские мастера кино не раз обращались к одному из самых трагических периодов в истории Франции — периоду нацистской оккупации в ходе второй мировой войны. Вспомним фильмы «Тихоня», «Битва на рельсах», «Горит ли Париж?» Рене Клемана, «Молчание моря» (по повести Веркора) и «Армия теней» Жана-Пьера Мельвиля, документальную ленту Алена Рене «Ночь и туман» о лагерях смерти, «Врата ночи» Марселя Карне о послевоенном Париже...

К истории оккупации обращались и комедиографы. Так появились картины «Ноэль Фортюна» Аленса Жоффе, «Бабетта идет на войну» Кристиан-Жака, «Большая прогулка» Жерара Ури. Но есть и другие примеры. Год назад по французским экранам прошел фильм молодого режиссера Жана-Мари Пуаре «Папочка и Сопротивление». Этот фильм не решилась поддержать даже правая пресса. А коммунистическая «Юманите» прямо написала о безответственности его создателей, ибо они превратили события того рокового времени в балаган: все, что происходило на экране, вызывало гогот молодых зрителей, которые получают в школах весьма поверхностное представление о второй мировой войне. К тому же французское телевидение сплошь и рядом предпринимает попытки реабилитировать правительство Петена; одна такая передача была показана в конце 1984 года в цикле «История одного дня».

В какой-то мере ответом на картину «Папочка и Сопротивление» можно рассматривать новую ленту Жана Ренара «Бланш и Мари», где показана история двух женщин-патриоток. В основу написанного им сценария легли рассказы бывших участниц Сопротивления.

В интервью журналу «Премьер» Жан Ренар подчеркнул, что участницы Сопротивления, с которыми ему довелось встречаться, «отнюдь не считали себя героинями, просто им казалось, что они сделали правильный выбор».

Выпущенный накануне празднования 40-летия окончания войны фильм «Бланш и Мари» был с интересом встречен зрителем.

РОЖЕ ВАЙЯН — ПУБЛИЦИСТ

Роже Вайян, романы которого «Бомаск» (в русском переводе «Пьеретта Амабль», «ИЛ», 1955, № 1—4), «Закон», «325 000 франков» знакомы советскому читателю, оставил большое публицистическое наследие.

Многие годы писатель сотрудничал в прогрессивной печати. В качестве корреспондента «Пари-суар» он побывал в Испании, Португалии, Румынии, где его и застала вторая мировая война.

В годы войны Вайян — активный участник движения Сопротивления, ярый противник фашизма. Недаром весь тираж его первой книги очерков «Швеция, 1940» был уничтожен оккупантами. После освобождения Франции Вайян в роли корреспондента газеты «Либерасьон» создал яркие репортажи о разгроме нацизма под названием «Эльзасская битва».

Роже Вайян объездил много стран и отовсюду посылал во Францию репортажи, был он и в Советском Союзе.

До последнего времени богатейшее публицистическое наследие Роже Вайяна оставалось разрозненным, и

На снимке: участники французского Сопротивления идут расклеивать антифашистские листовки и плакаты. В центре — Роже Вайян.

(Газета «Юманите»)

лишь благодаря усилиям составителя Рене Балле оно теперь собрано и издано в двух томах: первый — «Хроника от «безумных лет» до Освобождения» — охватывает 1928—1945 годы, второй — «Хроника от Хиросимы до Голдфингера»—1945—1965 годы. Это издание, по отзывам «Юманите», ценный источник информации о творческом пути и личности самого Роже Вайяна.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«ФОНАРЬ МАЛЕНЬКОГО ЮНГИ»

В 1980 году в братиславском издательстве «Младе лета» вышла книга словацкого писателя Яна Навратила «Фонарь маленького юнги». В том же восьмидесятом году она была отмечена премией имени известного словацкого писателя Франи Краля, которую Словацкий литературный фонд, издательство «Младе лета» и Общество друзей детской литературы ежегодно присуждает лучшей книге для детей и юношества. В восемьдесят первом году книга «Фонарь маленького юнги» была отмечена Международной премией имени Януша Корчака, а в восемьдесят втором — Почетным международным дипломом имени Ханса Кристиана Андерсена и в скором времени была переведена на многие языки, в том числе и на русский. В восемьдесят третьем году она вышла в издательстве «Детская литература».

И вот сейчас в Чехословакии режиссер Йозеф Захар по этой книге снял фильм. Действие фильма происходит в годы второй мировой войны. Маленький Марек, герой фильма, вместе со своими родителями, речниками, живет на барже и плавает по Дунаю — реке, которая связывает многие европейские государства. Мальчик встречается с простыми тружениками самых разных национальностей: словаками, румынами, сербами, болгарами, венграми, турками, немцами... Фильм рассказывает о том, как на Дунай приходит война, как там бесчинствуют фашисты. И как растет сопротивление всех народов, живущих по берегам великой реки. Этот фильм, как отмечает журнал «Филм а дивадло», о полном мучительных сомнений и ошибок трудном пути словацкого народа к новому, светлому будущему.

На снимке: исполнитель роли Марека, братиславский школьник Мартин Баранчок.

(Журнал «Филм а дивадло»)

«ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЬ»

К 40-летию освобождения Южной Моравии и города Брно брненское издательство «Блок» подготовило новую публикацию — сборник «Весенняя песнь». В этой книге нашли отражение главные этапы братислава-брненской операции. В работе над сборником принимали участие поэты и прозаики — члены южноморавского отделения Союза чешских писателей: Ян Костргун, Иржи Кршенек, Властимил Милота, Иво Одегнал, Владимир Пазоурек, Йозеф Веромир Плева, Гана Пражакова, Камила Сойкова, Йозеф Сухи, Людвик Штепан, Яромир Томечек и Индржих Угер. Сборник «Весенняя песнь» богато иллюстрирован работами современных чешских художников, архивными фотодокументами, а также фотографиями, отражающими сегодняшний день Южной Моравии.

ЧИЛИ: ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СИЛЫ

МУЗЫКА — ИНСТРУМЕНТ РЕВОЛЮЦИИ

Известный чилийский певец Освальдо Торрес является наследником древней культуры индейцев аймара. «Быть популярным певцом — значит не только уметь держать в руках чарангу, гитару или кену, это значит быть частью движения масс», — сказал певец кор-

На снимке: Освальдо Торрес.

(Газета «Морнинг стар»)

респонденту газеты «Морнинг стар» после выступления на вечере памяти Пабло Неруды в Лондоне.

Фашистская диктатура пыталась взять под контроль поэзию народной песни. Поэтому певцу пришлось искать выход на аудиторию без помощи средств массовой информации, контролируемых режимом Пиночета.

«Наша группа дает ежемесячно около 15 концертов по стране. В одном месте мы зарабатываем 200 песо, в другом — 500. Там нас покормят, тут мы утолим жажду. За неделю нас слушают около 5 тысяч человек. Музыка — инструмент революции».

ЭФИОПИЯ

АНТОЛОГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЭЗИИ

Издательская корпорация Эфиопии под названием «Пламенное перо» выпустила в свет антологию национальной поэзии. Публикация приурочена к десятилетней годовщине революции, отмечавшейся в стране в сентябре 1984 года. Данный поэтический сборник, изданный при содействии Союза эфиопских писателей, включает в себя стихотворения семнадцати поэтов, пишущих на амхарском языке. В книге представлены произведения как известных мастеров, с именами которых связано становление современной эфиопской литературы, так и поэтической молодежи. Среди первых следует назвать ветерана национальной поэзии Мэнгысту Лемма, многие стихотворения которого стали классикой амхароязычной литературы. Интересны вошедшие в юбилейную антологию новые работы тонкого лирика и самобытного драматурга Цэгайе Гэбрэ Мэдхины, автора слов государственного гимна страны — Асэффа Гэбрэ Мариама, Аяльнэха Мулату, чье творчество отмечено ярким гражданственным звучанием, Абэрра Лемма и Сэйфу Мэтафэрия, успешно экспериментирующих с традиционными поэтическими формами. Путь всех этих поэтов в отечественной литературе начался несколько десятилетий назад.

Амха Асбэ, Асрат Дамтоу, Дэбэбэ Сейфу, Тыюмэ Лисан Хайлю и другие молодые поэты, участвующие в данной антологии, делают в литературе лишь первые шаги. Их имена обратили на себя внимание читателей и критики в последние годы. Судя по опубликованным в сборнике произведениям, их попытки привнести в национальную поэзию нечто новое, сугубо индивидуальное, плодотворны. Например, Амха Асбэ стремится наполнить современным содержанием традиционный жанр эфиопской поэзии — кыне, очень популярный в народе. Он уже подготовил и опубликовал два сборника революционных амхарских кыне. Внимание к фольклору, богатому культурному наследию Эфиопии характерно для многих молодых поэтов.

Составившие антологию стихотворения откликаются на актуальные проблемы, которые решает народ революционной Эфиопии. Эта книга является своеобразным творческим отчетом литераторов, их вкладом в созидание новой социалистической культуры.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА**, **Ю. В. ДАШКЕВИЧ**, **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ**, **Г. П. ЗЛОБИН**, **И. Ф. ЗОРИНА**, **Т. П. КАРПОВА**, **Е. Ф. КНИПОВИЧ**, **А. А. КОСОРУКОВ**, **Т. Л. МОТЫЛЕВА**, **П. В. ПАЛИЕВСКИЙ**, **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ**, **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ**, **М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **Л. З. ЭЙДЛИН**.

Художественный редактор **Е. Н. Черняев**. Технический редактор **Е. П. Поляков**.

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 04.03.85. Подписано в печать 23.04.85. А 07146. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая 22,4 усл. п. л., уч-изд. л. 26,52.
Тираж 420000 экз. Зак. 899.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

МАГРИФ. Памятник Освобождению в городе Пече. (Венгрия)

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394